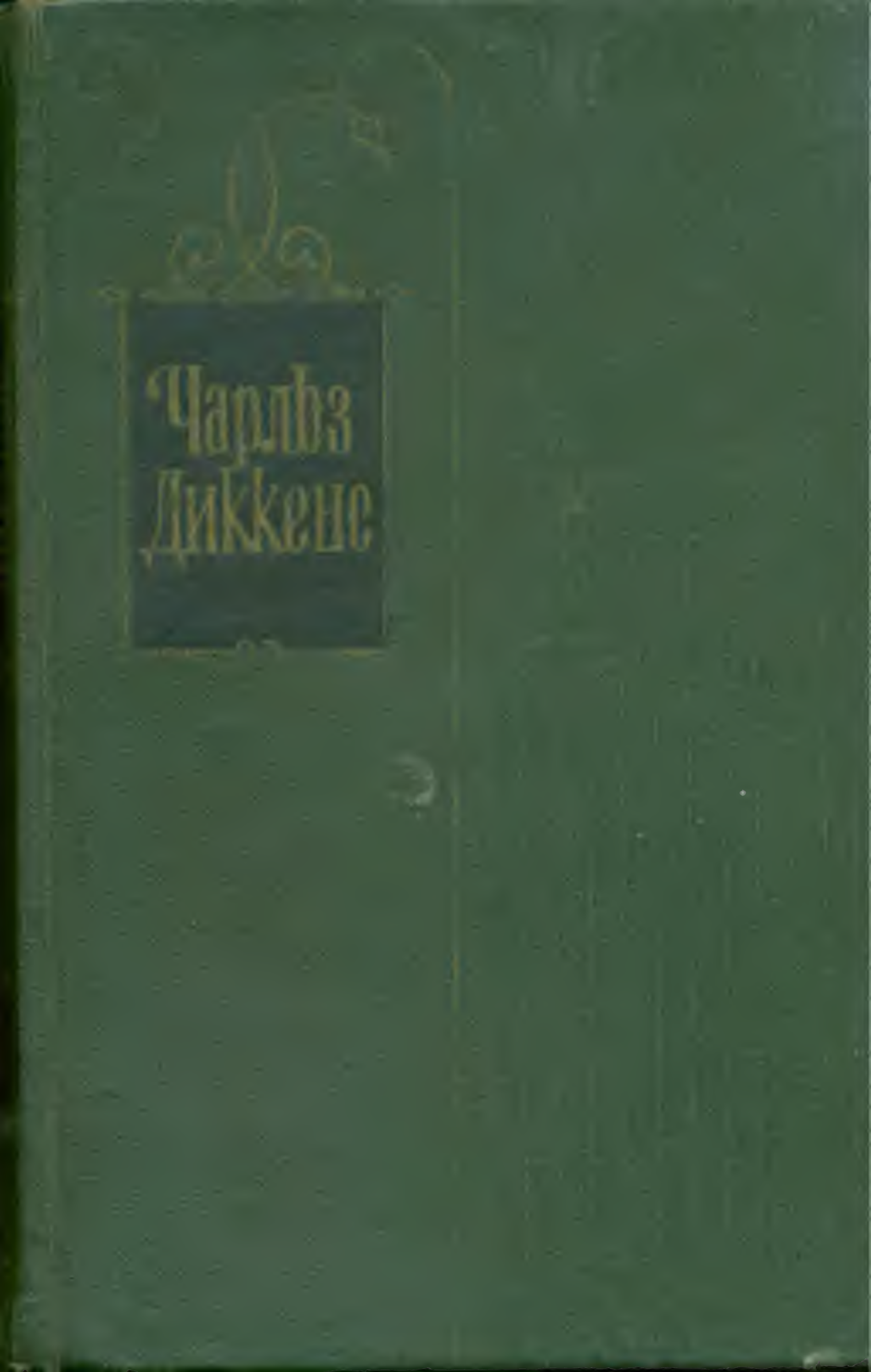

Чарлз
Диккенс

# ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

### В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

*Под общей редакцией*

*А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
*Москва 1959*

# ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

## ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

### РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОВЕСТИ

*Переводы с английского*
*под редакцией*
*О. ХОЛМСКОЙ*



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
*Москва 1959*

CHARLES DICKENS

# CHRISTMAS BOOKS

## A CHRISTMAS CAROL IN PROSE

*1843*

## THE CHIMES

*1844*

## THE CRICKET ON THE HEARTH

*1845*

## THE BATTLE OF LIFE

*1846*

## THE HAUNTED MAN

*1848*

*Иллюстрации*
*АРТУРА РЭКХЕМА, ДЖОНА ЛИЧА, ФРЕДА БАРНАРДА, Ч. Э. БРОКА, КЛАРКСОНА СТЭНФИЛДА*

# РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ В ПРОЗЕ

*Святочный рассказ с привидениями*

*Перевод Т. ОЗЕРСКОЙ*

## СТРОФА ПЕРВАЯ

Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А уже если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес.

Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.

Учтите: я вовсе не утверждаю, будто на собственном опыте убедился, что гвоздь, вбитый в притолоку, как-то особенно мертв, более мертв, чем все другие гвозди. Нет, я лично скорее отдал бы предпочтение гвоздю, вбитому в крышку гроба, как наиболее мертвому предмету изо всех скобяных изделий. Но в этой поговорке сказалась мудрость наших предков, и если бы мой нечестивый язык посмел переиначить ее, вы были бы вправе сказать, что страна наша катится в пропасть. А посему да позволено мне будет повторить еще и еще раз: Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.

Знал ли об этом Скрудж? Разумеется. Как могло быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным уполномоченным во всех делах, его единственным душеприказчиком, его единст-

венным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который проводил его на кладбище. И все же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить, и день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки.

Вот я упомянул о похоронах Марли, и это возвращает меня к тому, с чего я начал. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Марли мертв. Это нужно отчетливо уяснить себе, иначе не будет ничего необычайного в той истории, которую я намерен вам рассказать. Ведь если бы нам не было доподлинно известно, что отец Гамлета скончался еще задолго до начала представления, то его прогулка ветреной ночью по крепостному валу вокруг своего замка едва ли показалась бы нам чем-то сверхъестественным. Во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь в каком-либо не защищенном от ветра месте, ну, скажем, по кладбищу св. Павла, преследуя при этом единственную цель — поразить и без того расстроенное воображение сына.

Скрудж не вымарал имени Марли на вывеске. Оно красовалось там, над дверью конторы, еще годы спустя: *СКРУДЖ и МАРЛИ*. Фирма была хорошо известна под этим названием. И какой-нибудь новичок в делах, обращаясь к Скруджу, иногда называл его Скруджем, а иногда — Марли. Скрудж отзывался, как бы его ни окликнули. Ему было безразлично.

Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать... Умел, умел старый греховодник! Это был не человек, а кремень. Да, он был холоден и тверд, как кремень, и еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий — он прятался как устрица в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий

голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндевели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса даже на веселых святках.

Жара или стужа на дворе — Скруджа это беспокоило мало. Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не пробирал. Самый яростный ветер не мог быть злее Скруджа, самая лютая метель не могла быть столь жестока, как он, самый проливной дождь не был так беспощаден. Непогода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли похвалиться только одним преимуществом перед Скруджем — они нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу щедрость была неведома.

Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом: «Милейший Скрудж! Как поживаете? Когда зайдете меня проведать?» Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руку за подаянием, ни один ребенок не решался спросить у него, который час, и ни разу в жизни ни единая душа не попросила его указать дорогу. Казалось, даже собаки, поводыри слепцов, понимали, что он за человек, и, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: «Да по мне, человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом».

А вы думаете, это огорчало Скруджа? Да нисколько. Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех, и те, кто его хорошо знал, считали, что отпугивать малейшее проявление симпатии ему даже как-то сладко.

И вот однажды — и притом не когда-нибудь, а в самый сочельник,— старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Была холодная, унылая погода, да к тому же еще туман, и Скрудж слышал, как за окном прохожие сновали взад и вперед, громко топая по тротуару, отдуваясь и колотя себя по бокам, чтобы согреться. Городские часы на колокольне только что пробили три часа, но становилось уже темно, да в тот день и с утра все хмурилось, и огоньки свечей, затеплившихся в окнах соседних контор, ложились багровыми мазками на темную

завесу тумана — такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки. Глядя на клубы тумана, спускавшиеся все ниже и ниже, скрывая от глаз все предметы, можно было подумать, что сама Природа открыла где-то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику.

Скрудж держал дверь конторы приотворенной, дабы иметь возможность приглядывать за своим клерком, который в темной маленькой каморке, вернее сказать чуланчике, переписывал бумаги. Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше,— казалось, там тлеет один-единственный уголек. Но клерк не мог подбросить угля, так как Скрудж держал ящик с углем у себя в комнате, и стоило клерку появиться там с каминным совком, как хозяин начинал выражать опасение, что придется ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки, однако, не обладая особенно пылким воображением, и тут потерпел неудачу.

— С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на святках! — раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж — не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола.

— Вздор! — проворчал Скрудж.— Чепуха!

Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозцу, что казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щеки у него рдели — прямо любо-дорого смотреть, глаза сверкали, а изо рта валил пар.

— Это святки — чепуха, дядюшка? — переспросил племянник.— Верно, я вас не понял!

— Слыхали! — сказал Скрудж.— Повеселиться на святках! А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден?

— В таком случае,— весело отозвался племянник,— по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка?

Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты?

На это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое «вздор» и присовокупил еще «чепуха!».

— Не ворчите, дядюшка,— сказал племянник.

— А что мне прикажешь делать,— возразил Скрудж,— ежели я живу среди таких остолопов, как ты? Веселые святки! Веселые святки! Да провались ты со своими святками! Что такое святки для таких, как ты? Это значит, что пора платить по счетам, а денег хоть шаром покати. Пора подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких прибылей, одни убытки, и хотя к твоему возрасту прибавилась единица, к капиталу не прибавилось ни единого пенни. Да будь моя воля,— негодующе продолжал Скрудж,— я бы такого олуха, который бегает и кричит: «Веселые святки! Веселые святки!» — сварил бы живьем вместе с начинкой для святочного пудинга, а в могилу ему вогнал кол из остролиста *.

— Дядюшка! — взмолился племянник.

— Племянник! — отрезал дядюшка.— Справляй свои святки как знаешь, а мне предоставь справлять их посвоему.

— Справлять! — воскликнул племянник.— Так вы же их никак не справляете!

— Тогда не мешай мне о них забыть. Много проку тебе было от этих святок! Много проку тебе от них будет!

— Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку,— отвечал племянник.— Вот хотя бы и рождественские праздники. Но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней как самых хороших в году. Это радостные дни — дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних,— даже в неимущих и обездоленных,— таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не каких-то существ иной породы, которым подобает идти другим путем. А посему, дядюшка, хотя это

верпо, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что рождество приносит мне добро и будет приносить добро, и да здравствует рождество!

Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши, но тут же, осознав все неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли и погасил последнюю худосочную искру...

— Эй, вы! — сказал Скрудж.— Еще один звук, и вы отпразднуете ваши святки где-нибудь в другом месте. А вы, сэр,— обратился он к племяннику,— вы, я вижу, краснобай. Удивляюсь, почему вы не в парламенте.

— Будет вам гневаться, дядюшка! Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас.

Скрудж отвечал, что скорее он наведается к... Да, так и сказал, без всякого стеснения, и в заключение добавил еще несколько крепких словечек.

— Да почему же? — вскричал племянник.— Почему?

— А почему ты женился? — спросил Скрудж.

— Влюбился, вот почему.

— Влюбился! — проворчал Скрудж таким тоном, словно услышал еще одну отчаянную нелепость вроде «веселых святок».— Ну, честь имею!

— Но послушайте, дядюшка, вы же и раньше не жаловали меня своими посещениями, зачем же теперь сваливать все на мою женитьбу?

— Честь имею! — повторил Скрудж.

— Да я же ничего у вас не прошу, мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть друзьями?

— Честь имею! — сказал Скрудж.

— Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами, и никак не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. Итак, желаю вам веселого рождества, дядюшка.

— Честь имею! — сказал Скрудж.

— И счастливого Нового года!

— Честь имею! — повторил Скрудж.

И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы прине-

сти свои поздравления клерку, который хотя и окоченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие.

— Вот еще один умалишенный! — пробормотал Скрудж, подслушавший ответ клерка.— Какой-то жалкий писец, с жалованием в пятнадцать шиллингов, обремененный женой и детьми, а туда же — толкует о веселых святках! От таких впору хоть в Бедлам сбежать!

А бедный умалишенный тем временем, выпустив племянника Скруджа, впустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена приятной наружности, в руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу.

— Скрудж и Марли, если не ошибаюсь? — спросил один из них, сверившись с каким-то списком.— Имею я удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или мистером Марли?

— Мистер Марли уже семь лет как покоится на кладбище,— отвечал Скрудж.— Он умер в сочельник, ровно семь лет назад.

— В таком случае, мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственна и пережившему его компаньону,— произнес один из джентльменов, предъявляя свои документы.

И он не ошибся, ибо они стоили друг друга, эти достойные компаньоны, эти родственные души. Услыхав зловещее слово «щедрость», Скрудж нахмурился, покачал головой и возвратил посетителю его бумаги.

— В эти праздничные дни, мистер Скрудж,— продолжал посетитель, беря с конторки перо,— более чем когдалибо подобает нам по мере сил проявлять заботу о сирых и обездоленных, кои особенно страждут в такую суровую пору года. Тысячи бедняков терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч не имеют крыши над головой.

— Разве у нас нет острогов? — спросил Скрудж.

— Острогов? Сколько угодно,— отвечал посетитель, кладя обратно перо.

— А работные дома? — продолжал Скрудж.— Они действуют по-прежнему?

— К сожалению, по-прежнему. Хотя,— заметил посетитель,— я был бы рад сообщить, что их прикрыли.

— Значит, и принудительные работы существуют и закон о бедных остается в силе?

— Ни то, ни другое не отменено.

— А вы было напугали меня, господа. Из ваших слов я готов был заключить, что вся эта благая деятельность по каким-то причинам свелась на нет. Рад слышать, что я ошибся.

— Будучи убежден в том, что все эти законы и учреждения ничего не дают ни душе, ни телу,— возразил посетитель,— мы решили провести сбор пожертвований в пользу бедняков, чтобы купить им некую толику еды, питья и теплой одежды. Мы избрали для этой цели сочельник именно потому, что в эти дни нужда ощущается особенно остро, а изобилие дает особенно много радости. Какую сумму позволите записать от вашего имени?

— Никакой.

— Вы хотите жертвовать, не открывая своего имени?

— Я хочу, чтобы меня оставили в покое,— отрезал Скрудж.— Поскольку вы, джентльмены, пожелали узнать, чего я хочу,— вот вам мой ответ. Я не балую себя на праздниках и не имею средств баловать бездельников. Я поддерживаю упомянутые учреждения, и это обходится мне недешево. Нуждающиеся могут обращаться туда.

— Не все это могут, а иные и не хотят — скорее умрут.

— Если они предпочитают умирать, тем лучше,— сказал Скрудж.— Это сократит излишек населения. А кроме того, извините, меня это не интересует.

— Это должно бы вас интересовать.

— Меня все это совершенно не касается,— сказал Скрудж.— Пусть каждый занимается своим делом. У меня, во всяком случае, своих дел по горло. До свидания, джентльмены!

Видя, что настаивать бесполезно, джентльмены удалились, а Скрудж, очень довольный собой, вернулся к своим прерванным занятиям в необычно веселом для него настроении.

Меж тем за окном туман и мрак настолько сгустились, что на улицах появились факельщики, предлагавшие свои услуги — бежать впереди экипажей и освещать дорогу. Старинная церковная колокольня, чей древний осипший

колокол целыми днями иронически косился на Скруджа из стрельчатого оконца, совсем скрылась из глаз, и колокол отзванивал часы и четверти где-то в облаках, сопровождая каждый удар таким жалобным дребезжащим тремоло, словно у него зуб на зуб не попадал от холода. А мороз все крепчал. В углу двора, примыкавшем к главной улице, рабочие чинили газовые трубы и развели большой огонь в жаровне, вокруг которой собралась толпа оборванцев и мальчишек. Они грели руки над жаровней и не сводили с пылающих углей зачарованного взора. Из водопроводного крана на улице сочилась вода, и он, позабытый всеми, понемногу обрастал льдом в тоскливом одиночестве, пока не превратился в унылую скользкую глыбу. Газовые лампы ярко горели в витринах магазинов, бросая красноватый отблеск на бледные лица прохожих, а веточки и ягоды остролиста, украшавшие витрины, потрескивали от жары. Зеленные и курятные лавки были украшены так нарядно и пышно, что превратились в нечто диковинное, сказочное, и невозможно было поверить, будто они имеют какое-то касательство к таким обыденным вещам, как купля-продажа. Лорд-мэр в своей величественной резиденции уже наказывал пяти десяткам поваров и дворецких не ударить в грязь лицом, дабы он мог встретить праздник как подобает, и даже маленький портняжка, которого он обложил накануне штрафом за появление на улице в нетрезвом виде и кровожадные намерения, уже размешивал у себя на чердаке свой праздничный пудинг, в то время как его тощая жена с тощим сынишкой побежала покупать говядину.

Все гуще туман, все крепче мороз! Лютый, пронизывающий холод! Если бы святой Дунстан * вместо раскаленных щипцов хватил сатану за нос этаким морозцем, вот бы тот взвыл от столь основательного щипка!

Некий юный обладатель довольно ничтожного носа, к тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака в кость, прильнул к замочной скважине конторы Скруджа, желая пославить рождество, но при первых же звуках святочного гимна:

Да пошлет вам радость бог.
Пусть ничто вас не печалит...

Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал, оставив замочную скважину во власти любезного Скруджу тумана и еще более близкого ему по духу мороза.

Наконец пришло время закрывать контору. Скрудж с неохотой слез со своего высокого табурета, подавая этим безмолвный знак изнывавшему в чулане клерку, и тот мгновенно задул свечу и надел шляпу.

— Вы небось завтра вовсе не намерены являться на работу? — спросил Скрудж.

— Если только это вполне удобно, сэр.

— Это совсем неудобно,— сказал Скрудж,— и недобросовестно. Но если я удержу с вас за это полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли?

Клерк выдавил некоторое подобие улыбки.

— Однако,— продолжал Скрудж,— вам не приходит в голову, что я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалование даром.

Клерк заметил, что это бывает один раз в году.

— Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год, двадцать пятого декабря, запускать руку в мой карман,— произнес Скрудж, застегивая пальто на все пуговицы.— Но, как видно, вы во что бы то ни стало хотите прогулять завтра целый день. Так извольте послезавтра явиться как можно раньше.

Клерк пообещал явиться как можно раньше, и Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог. Во мгновение ока контора была заперта, а клерк, скатившись раз двадцать — дабы воздать дань сочельнику — по ледяному склону Корнхилла вместе с оравой мальчишек (концы его белого шарфа так и развевались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошь иметь пальто), припустился со всех ног домой в Кемден-Таун — играть со своими ребятишками в жмурки.

Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он имел обыкновение обедать, просмотрел все имевшиеся там газеты и, скоротав остаток вечера над приходо-расходной книгой, отправился домой спать. Он проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная анфилада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Дом

этот был построен явно не на месте, и невольно приходило на ум, что когда-то на заре своей юности он случайно забежал сюда, играя с другими домами в прятки, да так и застрял, не найдя пути обратно. Теперь уж это был весьма старый дом и весьма мрачный, и, кроме Скруджа, в нем никто не жил, а все остальные помещения сдавались внаем под конторы. Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там каждый булыжник, принужден был пробираться ощупью, а в черной подворотне дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой инея, словно сам злой дух непогоды сидел там, погруженный в тяжелое раздумье.

И вот. Достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Неоспоримым остается и тот факт, что Скрудж видел этот молоток ежеутренне и ежевечерне с того самого дня, как поселился в этом доме. Не подлежит сомнению и то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно живой фантазией. Она у него работала не лучше, а пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже (а это сильно сказано!) городских советников, олдерменов и членов гильдии. Необходимо заметить еще, что Скрудж, упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся семь лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли.

Лицо Марли. Оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того — излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в темном погребе. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно, и это в сочетании с трупным цветом лица внушало ужас. И все же не столько самый вид или выра-

жение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его.

Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток.

Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражен и по жилам у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. Но после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошел в дом и зажег свечу.

Правда, он помедлил немного, прежде чем захлопнуть за собой дверь, и даже с опаской заглянул за нее, словно боясь увидеть косицу Марли, торчащую сквозь дверь на лестницу. Но на двери не было ничего, кроме винтов и гаек, на которых держался молоток, и, пробормотав: «Тьфу ты, пропасть!», Скрудж с треском захлопнул дверь.

Стук двери прокатился по дому, подобно раскату грома, и каждая комната верхнего этажа и каждая бочка внизу, в погребе виноторговца, отозвалась на него разноголосым эхом. Но Скрудж был не из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, оправляя по дороге свечу.

Вам знакомы эти просторные старые лестницы? Так и кажется, что по ним можно проехаться в карете шестерней и протащить что угодно. И разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый парламент? Ну, а по той лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие, и если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперек, оглоблями — к стене, дверцами — к перилам, и тогда на лестнице осталось бы еще достаточно свободного места.

Не это ли послужило причиной того, что Скруджу почудилось, будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дроги? Чтобы как следует осветить такую лестницу, не хватило бы и полдюжины газовых фонарей, так что вам нетрудно себе представить, в какой мере одинокая свеча Скруджа могла рассеять мрак.

Но Скрудж на это плевать хотел и двинулся дальше вверх по лестнице. За темноту денег не платят, и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Все же, прежде чем захлопнуть за собой тяжелую дверь своей квартиры,

Скрудж прошелся по комнатам, чтобы удостовериться, что все в порядке. И не удивительно — лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами.

Гостиная, спальня, кладовая. Везде все как следует быть. Под столом — никого, под диваном — никого, в камине тлеет скупой огонек, миска и ложка ждут на столе, кастрюлька с жидкой овсянкой (коей Скрудж пользовал себя на ночь от простуды) — на полочке в очаге. Под кроватью — никого, в шкафу — никого, в халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид,— тоже никого. В кладовой все на месте: ржавые каминные решетки, пара старых башмаков, две корзины для рыбы, трехногий умывальник и кочерга.

Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру — запер, заметьте, на два оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки. Оградив себя таким образом от всяких неожиданностей, он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлебать овсянки.

Огонь в очаге еле теплился — мало проку было от него в такую холодную ночь. Скруджу пришлось придвинуться вплотную к решетке и низко нагнуться над огнем, чтобы ощутить слабое дыхание тепла от этой жалкой горстки углей. Камин был старый-престарый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом и облицованный диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из священного писания. Здесь были Каины и Авели, дочери фараона и царицы Савские, Авраамы и Валтасары, ангелы, сходящие на землю на облаках, похожих на перины, и апостолы, пускающиеся в морское плавание на посудинах, напоминающих соусники,— словом, сотни фигур, которые могли бы занять мысли Скруджа. Однако нет — лицо Марли, умершего семь лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь, как некогда жезл пророка *, и заслонило все остальное. И на какой бы изразец Скрудж ни глянул, на каждом тотчас отчетливо выступала голова Марли — так, словно на гладкой поверхности изразцов не было вовсе никаких изображений, но зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу.

— Чепуха! — проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Пройдясь несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик был, с какой-то никому неведомой целью, повешен когда-то в комнате и соединен с одним из помещений верхнего этажа. С безграничным изумлением и чувством неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться. Сначала он раскачивался еле заметно, и звона почти не было слышно, но вскоре он зазвонил громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме.

Звон длился, вероятно, не больше минуты, но Скруджу эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли так же внезапно, как и зазвонили,— все разом. И тотчас откуда-то снизу донеслось бряцание железа — словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что, когда в домах появляются привидения, они обычно влачат за собой цепи.

Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься еще явственнее. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа.

— Все равно вздор! — молвил Скрудж.— Не верю я в привидения.

Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть: «Я узнаю его! Это — дух Марли!» — и снова померкло.

Да, это было его лицо. Лицо Марли. Да, это был Марли, со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полы сюртука оттопыривались. Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена (Скрудж отлично ее рассмотрел) из ключей, висячих замков, копилок, документов, гроссбухов и тя-

желых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке.

Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил.

Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним, и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже, из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли. И все же он не хотел верить своим глазам.

— Что это значит? — произнес Скрудж язвительно и холодно, как всегда.— Что вам от меня надобно?

— Очень многое.— Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли.

— Кто вы такой?

— Спроси лучше, кем я был?

— Кем же вы были в таком случае? — спросил Скрудж, повысив голос.— Для привидения вы слишком приве... разборчивы.— Он хотел сказать привередливы, но побоялся, что это будет смахивать на каламбур.

— При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли.

— Не хотите ли вы... Не можете ли вы присесть? — спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа.

— Могу.

— Так сядьте.

Задавая свой вопрос, Скрудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло, и опасался, как бы не возникла необходимость в довольно щекотливых разъяснениях. Но призрак как ни в чем не бывало уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело.

— Ты не веришь в меня,— заметил призрак.

— Нет, не верю,— сказал Скрудж.

— Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств, могло бы убедить тебя в том, что я существую?

— Не знаю.

— Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам?

— Потому что любой пустяк воздействует на них,— сказал Скрудж.— Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а непереваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки, почем я знаю!

Скрудж был не очень-то большой остряк по природе, а сейчас ему и подавно было не до шуток, однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое, так как, сказать по правде, от голоса призрака у него кровь стыла в жилах.

Сидеть молча, уставясь в эти неподвижные, остекленелые глаза,— нет, черт побери, Скрудж чувствовал, что он этой пытки не вынесет! И кроме всего прочего, было что-то невыразимо жуткое в загробной атмосфере, окружавшей призрака. Не то, чтоб Скрудж сам не ощущал, но он ясно видел, что призрак принес ее с собой, ибо, хотя тот и сидел совершенно неподвижно, волосы, полы его сюртука и кисточки на сапогах все время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи.

— Видите вы эту зубочистку? — спросил Скрудж, переходя со страху в наступление и пытаясь хотя бы на миг отвратить от себя каменно-неподвижный взгляд призрака.

— Вижу,— промолвило привидение.

— Да вы же не смотрите на нее,— сказал Скрудж.

— Не смотрю, но вижу,— был ответ.

— Так вот,— молвил Скрудж.— Достаточно мне ее проглотить, чтобы до конца дней моих меня преследовали злые духи, созданные моим же воображением. Словом, все это вздор! Вздор и вздор!

При этих словах призрак испустил вдруг такой страшный вопль и принялся так неистово и жутко греметь цепями, что Скрудж вцепился в стул, боясь свалиться без чувств. Но и это было еще ничто по сравнению с тем ужасом, который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок (можно было подумать, что ему стало жарко!) и у него отвалилась челюсть.

Заломив руки, Скрудж упал на колени.

— Пощади! — взмолился он.— Ужасное видение, зачем ты мучаешь меня!

— Суетный ум! — отвечал призрак.— Веришь ты теперь в меня или нет?

— Верю,— воскликнул Скрудж.— Как уж тут не верить! Но зачем вы, духи, блуждаете по земле, и зачем ты явился мне?

— Душа, заключенная в каждом человеке,— возразил призрак,— должна общаться с людьми и, повсюду следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти. Он осужден колесить по свету и — о, горе мне! — взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы — себе и другим на радость.

И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки.

— Ты в цепях? — пролепетал Скрудж, дрожа.— Скажи мне — почему?

— Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни,— отвечал призрак.— Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле и по доброй воле ее ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе?

Скруджа все сильнее пробирала дрожь.

— Быть может,— продолжал призрак,— тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам? В некий сочельник семь лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше. А ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь!

Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь ярдов сто длиной, но ничего не увидел.

— Джейкоб! — взмолился он.— Джейкоб Марли, старина! Поговорим о чем-нибудь другом! Утешь, успокой меня, Джейкоб!

— Я не приношу утешения, Эбинизер Скрудж! — отвечал призрак.— Оно исходит из иных сфер. Другие вестники приносят его и людям другого сорта. И открыть

тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немногое дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы — слышишь ли ты меня! — никогда не блуждал за стенами этой норы — нашей меняльной лавки,— и годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь.

Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не подымая глаз.

— Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб,— почтительно и смиренно, хотя и деловито заметил Скрудж.

— Не спеша! — фыркнул призрак.

— Семь лет как ты мертвец,— размышлял Скрудж.— И все время в пути!

— Все время,— повторил призрак.— И ни минуты отдыха, ни минуты покоя. Непрестанные угрызения совести.

— И быстро ты передвигаешься? — поинтересовался Скрудж.

— На крыльях ветра,— отвечал призрак.

— За семь лет ты должен был покрыть порядочное расстояние,— сказал Скрудж.

Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожа мертвое безмолвие ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка.

— О раб своих пороков и страстей! — вскричало привидение.— Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле! Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра! Не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал! Не знал!

— Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб,— пробормотал Скрудж, который уже начал применять его слова к себе.

— Дела! — вскричал призрак, снова заламывая руки.— Забота о ближнем — вот что должно было стать моим делом. Общественное благо — вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость, вот на что должен был я направить свою деятельность. А занятия коммерцией — это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных мне дел.

И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплодных сожалений, а затем грохнул ею об пол.

— В эти дни, когда год уже на исходе, я страдаю особенно сильно,— промолвило привидение.— О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову. Ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижине бедняка.

У Скруджа уже зуб на зуб не попадал — он был чрезвычайно напуган тем, что призрак все больше и больше приходит в волнение.

— Внемли мне! — вскричал призрак.— Мое время истекает.

— Я внемлю,— сказал Скрудж,— но пожалей меня, Джейкоб, не изъясняйся так возвышенно. Прошу тебя, говори попроще!

— Как случилось, что я предстал пред тобой, в облике, доступном твоему зрению,— я тебе не открою. Незримый, я сидел возле тебя день за днем.

Открытие было не из приятных. Скруджа опять затрясло как в лихорадке, и он отер выступавший на лбу холодный пот.

— И, поверь мне, это была не легкая часть моего искуса,— продолжал призрак.— И я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, Эбинизер, ибо я похлопотал за тебя.

— Ты всегда был мне другом,— сказал Скрудж.— Благодарю тебя.



— Тебя посетят,— продолжал призрак,— еще три Духа.

Теперь и у Скруджа отвисла челюсть.

— Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб, не в этом ли моя надежда? — спросил он упавшим голосом.

— В этом.

— Тогда... тогда, может, лучше не надо,— сказал Скрудж.

— Если эти Духи не явятся тебе, ты пойдешь по

моим стопам,— сказал призрак.— Итак, ожидай первого Духа завтра, как только пробьет Час Пополуночи.

— А не могут ли они прийти все сразу, Джейкоб? — робко спросил Скрудж.— Чтобы уж поскорее с этим покончить?

— Ожидай второго на следующую ночь в тот же час. Ожидай третьего — на третьи сутки в полночь, с последним ударом часов. А со мной тебе уже не суждено больше встретиться. Но смотри, для своего же блага запомни твердо все, что произошло с тобой сегодня.

Промолвив это, дух Марли взял со стола свой платок и снова обмотал им голову. Скрудж догадался об этом, услыхав, как лязгнули зубы призрака, когда подтянутая платком челюсть стала на место. Тут он осмелился поднять глаза и увидел, что его потусторонний пришелец стоит перед ним, вытянувшись во весь рост и перекинув



цепь через руку на манер шлейфа. Призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подыматься. С каждым его шагом она подымалась все выше и выше, и когда он достиг окна, оно уже было открыто.

Призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. Когда между ними оставалось не более двух шагов, призрак предостерегающе поднял руку. Скрудж остановился.

Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха. Ибо как только рука призрака поднялась вверх, до Скруджа донеслись какие-то неясные звуки: смутные и бессвязные, но невыразимо жалобные причитания и стоны, тяжкие вздохи раскаяния и горьких сожалений. Призрак прислушивался к ним с минуту, а затем присоединил свой голос к жалобному хору и, воспарив над землей, растаял во мраке морозной ночи за окном.

Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу.

Он увидел сонмы привидений. С жалобными воплями и стенаниями они беспокойно носились по воздуху туда и сюда, и все, подобно духу Марли, были в цепях. Не было ни единого призрака, не отягощенного цепью, но некоторых (как видно, членов некоего дурного правительства) сковывала одна цепь. Многих Скрудж хорошо знал при жизни, а с одним пожилым призраком в белой жилетке был когда-то даже на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишен возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духам явно хотелось вмешаться в дела смертных и принести добро, но они уже утратили эту возможность навеки, и именно это и было причиной их терзаний.

Туман ли поглотил призраки, или они сами превратились в туман — Скрудж так и не понял. Только они растаяли сразу, как и их призрачные голоса, и опять ночь была как ночь, и все стало совсем как прежде, когда он возвращался к себе домой.

Скрудж затворил окно и обследовал дверь, через которую проник к нему призрак Марли. Она была по-прежнему заперта на два оборота ключа,— ведь он сам ее

запер,— и все засовы были в порядке. Скрудж хотел было сказать «чепуха!», но осекся на первом же слоге. И то ли от усталости и пережитых волнений, то ли от разговора с призраком, который навеял на него тоску, а быть может и от соприкосновения с Потусторонним Миром или, наконец, просто от того, что час был поздний, но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул как убитый.

## СТРОФА ВТОРАЯ

### *Первый из трех Духов*

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемо черных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак — зрение у него было острое, как у хорька,— и в это мгновение часы на соседней колокольне пробили четыре четверти. Скрудж прислушался.

К его изумлению часы гулко пробили шесть ударов, затем семь, восемь...— и смолкли только на двенадцатом ударе. Полночь! А он лег спать в третьем часу ночи! Часы били неправильно. Верно, в механизм попала сосулька. Полночь!

Скрудж нажал пружинку своего хронометра, дабы исправить скандальную ошибку церковных часов. Хронометр быстро и четко отзвонил двенадцать раз.

— Что такое? Быть того не может! — произнес Скрудж.— Выходит, я проспал чуть ли не целые сутки! А может, что-нибудь случилось с солнцем и сейчас не полночь, а полдень?

Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ощупью добрался до окна. Стекло заиндевело. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось протереть его рукавом, но и после этого почти ничего увидеть не удалось. Тем не менее Скрудж установил, что на дворе все такой же густой туман и такой же лютый мороз и очень тихо и безлюдно — никакой суматохи, никакого переполоха, которые неминуемо должны были возникнуть, если

бы ночь прогнала в неурочное время белый день и воцарилась на земле. Это было уже большим облегчением для Скруджа, так как иначе все его векселя стоили бы не больше, чем американские ценные бумаги, ибо, если бы на земле не существовало больше такого понятия, как день, то и формула: «...спустя три дня по получении сего вам надлежит уплатить мистеру Эбинизеру Скруджу или его приказу...», не имела бы ровно никакого смысла.

Скрудж снова улегся в постель и стал думать, думать, думать и ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе, а чем больше он старался не думать, тем неотвязней думал.

Призрак Марли нарушил его покой. Всякий раз, как он, по зрелом размышлении, решал, что все это ему просто приснилось, его мысль, словно растянутая до отказа и тут же отпущенная пружина, снова возвращалась в исходное состояние, и вопрос: «Сон это или явь?» — снова вставал перед ним и требовал разрешения.

Размышляя так, Скрудж пролежал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили еще три четверти, и тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака — когда часы пробьют час, к нему явится еще один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час, а принимая во внимание, что заснуть сейчас ему было не легче, чем вознестись живым на небо, это решение можно назвать довольно мудрым.

Последние четверть часа тянулись так томительно долго, что Скрудж начал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав, бой часов. Но вот до его настороженного слуха долетел первый удар.

— Динь-дон!

— Четверть первого,— принялся отсчитывать Скрудж.

— Динь-дон!

— Половина первого! — сказал Скрудж.

— Динь-дон!

— Без четверти час,— сказал Скрудж.

— Динь-дон!

— Час ночи! — воскликнул Скрудж, торжествуя.— И все! И никого нет!

Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола. И тут же он прозвучал: густой, гулкий, заунывный звон —

*ЧАС*. В то же мгновение вспышка света озарила комнату, и чья-то невидимая рука откинула полог кровати.

Да, повторяю, чья-то рука откинула полог его кровати, и притом не за спиной у него и не в ногах, а прямо перед его глазами. Итак, полог кровати был отброшен, и Скрудж, привскочив на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого отдернула полог. Да, они оказались совсем рядом, вот как мы с вами, ведь я мысленно стою у вас за плечом, мой читатель.

Скрудж увидел перед собой очень странное существо, похожее на ребенка, но еще более на старичка, видимого словно в какую-то сверхъестественную подзорную трубу, которая отдаляла его на такое расстояние, что он уменьшился до размеров ребенка. Его длинные рассыпавшиеся по плечам волосы были белы, как волосы старца, однако на лице не видно было ни морщинки и на щеках играл нежный румянец. Руки у него были очень длинные и мускулистые, а кисти рук производили впечатление недюжинной силы. Ноги — обнаженные так же, как и руки,— поражали изяществом формы. Облачено это существо было в белоснежную тунику, подпоясанную дивно сверкающим кушаком, и держало в руке зеленую ветку остролиста, а подол его одеяния, в странном несоответствии с этой святочной эмблемой зимы, был украшен живыми цветами. Но что было удивительнее всего, так это яркая струя света, которая била у него из макушки вверх и освещала всю его фигуру. Это, должно быть, и являлось причиной того, что под мышкой Призрак держал гасилку в виде колпака, служившую ему, по-видимому, головным убором в тех случаях, когда он не был расположен самоосвещаться.

Впрочем, как заметил Скрудж, еще пристальней вглядевшись в своего гостя, не это было наиболее удивительной его особенностью. Ибо, подобно тому как пояс его сверкал и переливался огоньками, которые вспыхивали и потухали то в одном месте, то в другом, так и вся его фигура как бы переливалась, теряя то тут, то там отчетливость очертаний, и Призрак становился то одноруким, то одноногим, то вдруг обрастал двадцатью ногами зараз, но лишался головы, то приобретал нормальную пару ног, но

терял все конечности вместе с туловищем и оставалась одна голова. При этом, как только какая-нибудь часть его тела растворялась в непроницаемом мраке, казалось, что она пропадала совершенно бесследно. И не чудо ли, что в следующую секунду недостающая часть тела была на месте, и Привидение как ни в чем не бывало приобретало свой прежний вид.

— Кто вы, сэр? — спросил Скрудж.— Не тот ли вы Дух, появление которого было мне предсказано?

— Да, это я.

Голос Духа звучал мягко, даже нежно, и так тихо, словно долетал откуда-то издалека, хотя Дух стоял рядом.

— Кто вы или что вы такое? — спросил Скрудж.

— Я — Святочный Дух Прошлых Лет.

— Каких прошлых? Очень давних? — осведомился Скрудж, приглядываясь к этому карлику.

— Нет, на твоей памяти.

Скруджу вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Дух надел свой головной убор. Почему возникло у него такое желание, Скрудж, вероятно, и сам не смог бы объяснить, если бы это потребовалось, но так или иначе он попросил Привидение надеть колпак.

— Как! — вскричал Дух.— Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю? Тебе мало того, что ты — один из тех, чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить ее, надвинув на самые глаза!

Скрудж как можно почтительнее заверил Духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть и, насколько ему известно, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог принуждать его к ношению колпака. Затем он позволил себе осведомиться, что привело Духа к нему.

— Забота о твоем благе,— ответствовал Дух.

Скрудж сказал, что очень ему обязан, а сам подумал, что не мешали бы ему лучше спать по ночам,— вот это было бы благо. Как видно, Дух услышал его мысли, так как тотчас сказал:

— О твоем спасении, в таком случае. Берегись!

С этими словами он протянул к Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть.

— Встань! И следуй за мной!

Скрудж хотел было сказать, что час поздний и погода не располагает к прогулкам, что в постели тепло, а на дворе холодище — много ниже нуля, что он одет очень легко — халат, колпак и ночные туфли,— а у него и без того уже насморк... но руке, которая так нежно, почти как женская, сжимала его локоть, нельзя было противиться. Скрудж встал с постели. Однако заметив, что Дух направляется к окну, он в испуге уцепился за его одеяние.

— Я простой смертный,— взмолился Скрудж,— я могу упасть.

— Дай мне коснуться твоей груди,— сказал Дух, кладя руку ему на сердце.— Это поддержит тебя, и ты преодолеешь и не такие препятствия.

С этими словами он прошел сквозь стену, увлекая за собой Скруджа, и они очутились на пустынной проселочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Город скрылся из глаз. Он исчез бесследно, а вместе с ним рассеялись и мрак и туман.— Был холодный, ясный, зимний день, и снег устилал землю.

— Боже милостивый! — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и озираясь по сторонам.— Я здесь рос! Я бегал здесь мальчишкой!

Дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его легкое прикосновение, сколь ни было оно мимолетно и невесомо, разбудило какие-то чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячью запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах.

— Твои губы дрожат,— сказал Дух.— А что это катится у тебя по щеке?

Скрудж срывающимся голосом,— вещь для него совсем необычная,— пробормотал, что это так, пустяки, и попросил Духа вести его дальше.

— Узнаешь ли ты эту дорогу? — спросил Дух.

— Узнаю ли я? — с жаром воскликнул Скрудж.— Да я бы прошел по ней с закрытыми глазами.

— Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней! — заметил Дух.— Идем дальше.

Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливо извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки верхом на трусивших рысцой косматых лошаденках или в тележках и двуколках, которыми правили фермеры. Все ребятишки задорно перекликались друг с другом, и над простором полей стоял такой веселый гомон, что морозный воздух, казалось, дрожал от смеха, радуясь их веселью.

— Все это лишь тени тех, кто жил когда-то,— сказал Дух.— И они не подозревают о нашем присутствии.

Веселые путники были уже совсем близко, и по мере того как они приближались, Скрудж узнавал их всех, одного за другим, и называл по именам. Почему он был так безмерно счастлив при виде их? Что блеснуло в его холодных глазах и почему сердце так запрыгало у него в груди, когда ребятишки поравнялись с ним? Почему душа его исполнилась умиления, когда он услышал, как, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь по домам, они желают друг другу веселых святок? Что Скруджу до веселых святок? Да пропади они пропадом! Был ли ему от них какой-нибудь прок?

— А школа еще не совсем опустела,— сказал Дух.— Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми, остался там один-одинешенек.

Скрудж отвечал, что он это знает, и всхлипнул.

Они свернули с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию, с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии полного упадка. Расположенные во дворе обширные службы, казалось, пустовали без всякой пользы. На стенах их от сырости проступила плесень, стекла в окнах были выбиты, а двери сгнили. В конюшнях рылись и кудахтали куры, каретный сарай и навесы зарастали сорной травой. Такое же запустение царило и в доме.

Скрудж и его спутник вступили в мрачную прихожую; и, заглядывая то в одну, то в другую растворенную дверь, они увидели огромные холодные и почти пустые комнаты.

В доме было сыро, как в склепе, и пахло землей, и что-то говорило вам, что здесь очень часто встают при свечах и очень редко едят досыта.

Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, Скрудж — за ним. Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с уныло голыми стенами, казавшаяся еще более унылой оттого, что в ней рядами стояли простые некрашеные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина, и Скрудж тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном, всеми забытом ребенке самого себя, каким он был когда-то. Все здесь: писк и возня мышей за деревянными панелями, и доносившееся откуда-то из недр дома эхо, и звук капели из оттаявшего желоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безлистых сучьях одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающейся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине — все находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам.

Дух тронул его за плечо и указал на его двойника — погруженного в чтение ребенка. Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии, с топором, заткнутым за пояс. Он стоял перед ними как живой, держа в поводу осла, навьюченного дровами.

— Да это же Али Баба! — не помня себя от восторга, вскричал Скрудж.— Это мой дорогой, старый, честный Али Баба! Да, да, я знаю! Как-то раз на святках, когда этот заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый всеми, Али Баба явился ему. Да, да, взаправду явился, вот как сейчас! Ах, бедный мальчик! А вот и Валентин и его лесной брат Орсон * — вот они, вот! А этот, как его, ну тот, кого положили, пока он спал, в исподнем у ворот Дамаска,— разве вы не видите его? А вон конюх султана, которого джины перевернули вверх ногами! Вон он — стоит на голове! Поделом ему! Я очень рад. Как посмел он жениться на принцессе!

То-то были бы поражены все коммерсанты лондонского Сити, с которыми Скрудж вел дела, если бы они могли видеть его счастливое, восторженное лицо и слышать, как он со всей присущей ему серьезностью несет

такой вздор да еще не то плачет, не то смеется самым диковинным образом!

— А вот и попугай! — восклицал Скрудж.— Сам зеленый, хвостик желтый, и на макушке хохолок, похожий на пучок салата! Вот он! «Бедный Робин Крузо,— сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова.— Бедный Робин Крузо! Где ты был, Робин Крузо?» Робинзон думал, что это ему пригрезилось, только ничуть не бывало — это говорил попугай, вы же знаете. А вон и Пятница — мчится со всех ног к бухте! Ну же! ну! Скорей! — И тут же, с внезапностью, столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячьем возрасте, вдруг преисполнился жалости и, повторяя: — Бедный, бедный мальчуган! — снова заплакал.— Как бы я хотел...— пробормотал он затем, утирая глаза рукавом, и сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил: — Нет, теперь уж поздно.

— А чего бы ты хотел? — спросил его Дух.

— Да ничего,— отвечал Скрудж.— Ничего. Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь, вот и все.

Дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал:

— Поглядим на другое рождество.

При этих словах Скрудж-ребенок словно бы подрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала еще темнее и грязнее. Теперь видно было, что панели в ней рассохлись, оконные рамы растрескались, от потолка отвалились куски штукатурки, обнажив дранку. Но когда и как это произошло, Скрудж знал не больше, чем мы с вами. Он знал только, что так и должно быть, что именно так все и было. И снова он находился здесь совсем один, в то время как все другие мальчики отправились домой встречать веселый праздник.

Но теперь он уже не сидел за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол.

Тут Скрудж взглянул на Духа и, грустно покачав головой, устремил в тревожном ожидании взгляд на дверь.

Дверь распахнулась, и маленькая девочка, несколькими годами моложе мальчика, вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя своим дорогим братцем.

— Я приехала за тобой, дорогой братец! — говорила малютка, всплескивая тоненькими ручонками, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть не пополам от радостного смеха.— Ты поедешь со мной домой! Домой! Домой!

— Домой, малютка Фэн? — переспросил мальчик.

— Ну, да! — воскликнуло дитя, сияя от счастья.— Домой! Совсем! Навсегда! Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде, и дома теперь как в раю. Вчера вечером, когда я ложилась спать, он вдруг заговорил со мной так ласково, что я не побоялась,— взяла и попросила его еще раз, чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал: «Да, пускай приедет», и послал меня за тобой. И теперь ты будешь настоящим взрослым мужчиной,— продолжала малютка, глядя на мальчика широко раскрытыми глазами,— и никогда больше не вернешься сюда. Мы проведем вместе все святки, и как же мы будем веселиться!

— Ты стала совсем взрослой, моя маленькая Фэн! — воскликнул мальчик.

Девочка снова засмеялась, захлопала в ладоши и хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась и, заливаясь смехом, встала на цыпочки и обхватила его за шею. Затем, исполненная детского нетерпения, потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней.

Тут чей-то грозный голос закричал гулко на всю прихожую:

— Тащите вниз сундучок ученика Скруджа! — И сам школьный учитель собственной персоной появился в прихожей. Он окинул ученика Скруджа свирепо-снисходительным взглядом и пожал ему руку, чем поверг его в состояние полной растерянности, а затем повел обоих детей в парадную гостиную, больше похожую на обледеневший колодец. Здесь, залубенев от холода, висели на стенах географические карты, а на окнах стояли земной и небесный глобусы. Достав графин необыкновенно легкого вина и кусок необыкновенно тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться этими деликатесами, а тощему слуге велел вынести почтальону стаканчик «того самого», на что почтальон отвечал, что он благодарит хозяина, но если это «то самое», чем его уже раз потчевали, то лучше не

надо. Тем временем сундучок юного Скруджа был водружен на крышу почтовой кареты, и дети, не мешкая ни секунды, распрощались с учителем, уселись в экипаж и весело покатили со двора. Быстро замелькали спицы колес, сбивая снег с темной листвы вечнозеленых растений.

— Хрупкое создание! — сказал Дух.— Казалось, самое легкое дуновение ветерка может ее погубить. Но у нее было большое сердце.

— О да! — вскричал Скрудж.— Ты прав, Дух, и не мне это отрицать, боже упаси!

— Она умерла уже замужней женщиной,— сказал Дух.— И помнится, после нее остались дети.

— Один сын,— поправил Скрудж.

— Верно,— сказал Дух.— Твой племянник.

Скруджу стало как будто не по себе, и он буркнул:

— Да.

Всего секунду назад они покинули школу, и вот уже стояли на людной улице, а мимо них сновали тени прохожих, и тени повозок и карет катили мимо, прокладывая себе дорогу в толпе. Словом, они очутились в самой гуще шумной городской толчеи. Празднично разубранные витрины магазинов не оставляли сомнения в том, что снова наступили святки. Но на этот раз был уже вечер, и на улицах горели фонари.

Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, узнает ли он это здание.

— Еще бы! — воскликнул Скрудж.— Ведь меня когда-то отдали сюда в обучение!

Они вступили внутрь. При виде старого джентльмена в парике, восседавшего за такой высокой конторкой, что, будь она еще хоть на два дюйма выше, голова у него уперлась бы в потолок, Скрудж в неописуемом волнении воскликнул:

— Господи, спаси и помилуй! Да это же старикан Физзиуиг, живехонек!

Старый Физзиуиг отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали семь пополудни. С довольным видом он потер руки, обдернул жилетку на объемистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь от сапог до бровей,— и закричал приятным, густым, веселым, зычным басом:

— Эй, вы! Эбинизер! Дик!

И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым человеком, стремительно вбежал в комнату в сопровождении другого ученика.

— Да ведь это Дик Уилкинс! — сказал Скрудж, обращаясь к Духу.— Помереть мне, если это не он! Ну, конечно, он! Бедный Дик! Он был так ко мне привязан.

— Бросай работу, ребята! — сказал Физзиуиг.— На сегодня хватит. Ведь нынче сочельник, Дик! Завтра рождество, Эбинизер! Ну-ка, мигом запирайте ставни! — крикнул он, хлопая в ладоши.— Живо, живо! Марш!

Вы бы видели, как они взялись за дело! Раз, два, три — они уже выскочили на улицу со ставнями в руках; четыре, пять, шесть — поставили ставни на место; семь, восемь, девять — задвинули и закрепили болты, и прежде чем вы успели бы сосчитать до двенадцати, уже влетели обратно, дыша как призовые скакуны у финиша.

— Ого-го-го-го! — закричал старый Физзиуиг, с невиданным проворством выскакивая из-за конторки.— Тащите все прочь, ребятки! Расчистим-ка побольше места. Шевелись, Дик! Веселей, Эбинизер!

Тащить прочь! Интересно знать, чего бы они ни оттащили прочь, с благословения старика. В одну минуту все было закончено. Все, что только по природе своей могло передвигаться, так бесследно сгинуло куда-то с глаз долой, словно было изъято из обихода навеки. Пол подмели и обрызгали, лампы оправили, в камин подбросили дров, и магазин превратился в такой хорошо натопленный, уютный, чистый, ярко освещенный бальный зал, какого можно только пожелать для танцев в зимний вечер.

Пришел скрипач с нотной папкой, встал за высоченную конторку, как за дирижерский пульт, и принялся так наяривать на своей скрипке, что она завизжала, ну прямо как целый оркестр. Пришла миссис Физзиуиг — сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли три мисс Физзиуиг — цветущие и прелестные. Пришли следом за ними шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины и женщины, работающие в магазине. Пришла служанка со своим двоюродным братом — булочником. Пришла кухарка с закадычным другом своего родного брата — молочником. Пришел маль-

чишка-подмастерье из лавки насупротив, насчет которого существовало подозрение, что хозяин морит его голодом. Мальчишка все время пытался спрятаться за девчонку — служанку из соседнего дома, про которую уже доподлинно было известно, что хозяйка дерет ее за уши. Словом, пришли все, один за другим,— кто робко, кто смело, кто неуклюже, кто грациозно, кто расталкивая других, кто таща кого-то за собой,— словом, так или иначе, тем или иным способом, но пришли все. И все пустились в пляс — все двадцать пар разом. Побежали по кругу пара за парой, сперва в одну сторону, потом в другую. И пара за парой — на середину комнаты и обратно. И закружились по всем направлениям, образуя живописные группы. Прежняя головная пара, уступив место новой, не успевала пристроиться в хвосте, как новая головная пара уже вступала — и всякий раз раньше, чем следовало,— пока, наконец, все пары не стали головными и все не перепуталось окончательно. Когда этот счастливый результат был достигнут, старый Физзиуиг захлопал в ладоши, чтобы приостановить танец, и закричал:

— Славно сплясали! — И в ту же секунду скрипач погрузил разгоряченное лицо в заранее припасенную кружку с пивом. Но будучи решительным противником отдыха, он тотчас снова выглянул из-за кружки и, невзирая на отсутствие танцующих, опять запиликал, и притом с такой яростью, словно это был уже не он, а какой-то новый скрипач, задавшийся целью либо затмить первого, которого в полуобморочном состоянии оттащили домой на ставне, либо погибнуть.

А затем снова были танцы, а затем фанты и снова танцы, а затем был сладкий пирог, и глинтвейн, и по большому куску холодного ростбифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные пирожки с изюмом и корицей и вволю пива. Но самое интересное произошло после ростбифа и говядины, когда скрипач (до чего же ловок, пес его возьми! Да, не нам с вами его учить, этот знал свое дело!) заиграл старинный контраданс «Сэр Роджер Каверли» и старый Физзиуиг встал и предложил руку миссис Физзиуиг. Они пошли в первой паре, разумеется, и им пришлось потрудиться на славу. За ними шло пар двадцать, а то и больше, и все —

лихие танцоры, все — такой народ, что шутить не любят и уж коли возьмутся плясать, так будут *плясать,* не жалея пяток!

Но будь их хоть пятьдесят, хоть сто пятьдесят пар — старый Физзиуиг и тут бы не сплошал, да и миссис Физзиуиг тоже. Да, она воистину была под стать своему супругу во всех решительно смыслах. И если это не высшая похвала, то скажите мне, какая выше, и я отвечу — она достойна и этой. От икр мистера Физзиуига положительно исходило сияние. Они сверкали то тут, то там, словно две луны. Вы никогда не могли сказать с уверенностью, где они окажутся в следующее мгновение. И когда старый Физзиуиг и миссис Физзиуиг проделали все фигуры танца, как положено,— и бегом вперед, и бегом назад, и, взявшись за руки, галопом, и поклон, и реверанс, и покружились, и нырнули под руки, и возвратились, наконец, на свое место, старик Физзиуиг подпрыгнул и пристукнул в воздухе каблуками — да так ловко, что, казалось, ноги его подмигнули танцорам,— и тут же сразу стал как вкопанный.

Когда часы пробили одиннадцать, домашний бал окончился. Мистер и миссис Физзиуиг, став по обе стороны двери, пожимали руку каждому гостю или гостье и пожелали ему или ей веселых праздников. А когда все гости разошлись, хозяева таким же манером распрощались и с учениками. И вот веселые голоса замерли вдали, а двое молодых людей отправились к своим койкам в глубине магазина.

Пока длился бал, Скрудж вел себя как умалишенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, в котором узнал себя. Он как бы участвовал во всем, что происходило, все припоминал, всему радовался и испытывал неизъяснимое волнение. И лишь теперь, когда сияющие физиономии Дика и юноши Скруджа скрылись из глаз, вспомнил он о Духе и заметил, что тот пристально смотрит на него, а сноп света у него над головой горит необычайно ярко.

— Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности,— заметил Дух.

— Немного? — удивился Скрудж.

Дух сделал ему знак прислушаться к задушевной беседе двух учеников, которые расточали хвалы Физзиуигу, а когда Скрудж повиновался ему, сказал:

— Ну что? Разве я не прав? Ведь он истратил сущую безделицу — всего три-четыре фунта того, что у вас на земле зовут деньгами. Заслуживает ли он таких похвал?

— Да не в этом суть,— возразил Скрудж, задетый за живое его словами и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж.— Не в этом суть, Дух. Ведь от Физзиуига зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд — легким или тягостным, превратить его в удовольствие или в муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, чего нельзя ни исчислить, ни измерить,— все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния.— Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд Духа и запнулся.

— Что же ты умолк? — спросил его Дух.

— Так, ничего,— отвечал Скрудж.

— Ну а все-таки,— настаивал Дух.

— Пустое,— сказал Скрудж,— пустое. Просто мне захотелось сказать два-три слова моему клерку. Вот и все.

Тем временем юноша Скрудж погасил лампу. И вот уже Скрудж вместе с Духом опять стояли под открытым небом.

— Мое время истекает,— заметил Дух.— Поспеши!

Слова эти не относились к Скруджу, а вокруг не было ни души, и тем не менее они тотчас произвели свое действие, Скрудж снова увидел самого себя. Но теперь он был уже значительно старше — в расцвете лет. Черты лица его еще не стали столь резки и суровы, как в последние годы, но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо. Беспокойный, алчный блеск появился в глазах, и было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе и что̀ станет с ним, когда она вырастет и черная ее тень поглотит его целиком.

Он был не один. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. Слезы на ее ресницах сверкали в лучах исходившего от Духа сияния.

— Ах, все это так мало значит для тебя теперь,— говорила она тихо.— Ты поклоняешься теперь иному боже-

ству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать и утешить тебя, как хотела бы поддержать и утешить я, тогда, конечно, я не должна печалиться.

— Что это за божество, которое вытеснило тебя? — спросил Скрудж.

— Деньги.

— Нет справедливости на земле! — молвил Скрудж.— Беспощаднее всего казнит свет бедность, и не менее сурово — на словах, во всяком случае,— осуждает погоню за богатством.

— Ты слишком трепещешь перед мнением света,— кротко укорила она его.— Всем своим прежним надеждам и мечтам ты изменил ради одной — стать неуязвимым для его булавочных уколов. Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим и новая всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком!

— Ну и что же? — возразил он.— Что плохого, даже если я и поумнел наконец? Мое отношение к тебе не изменилось.

Она покачала головой.

— Разве не так?

— Наша помолвка — дело прошлое. Оба мы были бедны тогда и довольствовались тем, что имели, надеясь со временем увеличить наш достаток терпеливым трудом. Но ты изменился с тех пор. В те годы ты был совсем иным.

— Я был мальчишкой,— нетерпеливо отвечал он.

— Ты сам знаешь, что ты был не тот, что теперь,— возразила она.— А я все та же. И то, что сулило нам счастье, когда мы были как одно существо, теперь, когда мы стали чужими друг другу, предвещает нам только горе. Не стану рассказывать тебе, как часто и с какой болью размышляла я над этим. Да, я много думала и решила вернуть тебе свободу.

— Разве я когда-нибудь просил об этом?

— На словах — нет. Никогда.

— А каким же еще способом?

— Всем своим новым, изменившимся существом. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель.

И она для тебя важнее всего. И это сделало мою любовь ненужной для тебя. Она не имеет цены в твоих глазах. Признайся,— сказала девушка, кротко, но вместе с тем пристально и твердо глядя ему в глаза,— если бы эти узы не связывали нас, разве стал бы ты теперь домогаться моей любви, стараться меня завоевать? О нет!

Казалось, он помимо своей воли не мог не признать справедливости этих слов. Но все же, сделав над собой усилие, ответил:

— Это только ты так думаешь.

— Видит бог, я была бы рада думать иначе! — отвечала она.— Уж если я должна была, наконец, признать эту горькую истину, значит как же она сурова и неопровержима! Ведь не могу же я поверить, что, став свободным от всяких обязательств, ты взял бы в жены бесприданницу! Это — ты-то! Да ведь даже изливая мне свою душу, ты не в состоянии скрыть того, что каждый твой шаг продиктован Корыстью! Да если бы даже ты на миг изменил себе и остановил свой выбор на такой девушке, как я, разве я не понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние и сожаление! Нет, я понимаю все. И я освобождаю тебя от твоего слова. Освобождаю по доброй воле — во имя моей любви к тому, кем ты был когда-то.

Он хотел что-то сказать, но она продолжала, отворотясь от него:

— Быть может... Когда я вспоминаю прошлое, я верю в это... Быть может, тебе будет больно разлучиться со мной. Но скоро, очень скоро это пройдет, и ты с радостью позабудешь меня, как пустую, бесплодную мечту, от которой ты вовремя очнулся. А я могу только пожелать тебе счастья в той жизни, которую ты себе избрал! — С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда.

— Дух! — вскричал Скрудж.— Я не хочу больше ничего видеть. Отведи меня домой. Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня!

— Ты увидишь еще одну тень Прошлого,— сказал Дух.

— Ни единой,— крикнул Скрудж.— Ни единой. Я не желаю ее видеть! Не показывай мне больше ничего!

Но неумолимый Дух, возложив на него обе руки, заставил взирать на то, что произошло дальше.

Они перенеслись в иную обстановку, и иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату, не очень большую и не богатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко, по-зимнему, пылали дрова, сидела молодая красивая девушка. Скрудж принял было ее за свою только что скрывшуюся подружку — так они были похожи,— но тотчас же увидал и ту. Теперь это была женщина средних лет, все еще приятная собой. Она тоже сидела у камина напротив дочери. В комнате стоял невообразимый шум, ибо там было столько ребятишек, что Скрудж в своем взволнованном состоянии не смог бы их даже пересчитать. И в отличие от стада в известном стихотворении *, где сорок коровок вели себя как одна, здесь каждый ребенок шумел как добрых сорок, и результаты были столь оглушительны, что превосходили всякое вероятие. Впрочем, это никого, по-видимому, не беспокоило. Напротив, мать и дочка от души радовались и смеялись, глядя на ребятишек, а последняя вскоре и сама приняла участие в их шалостях, и маленькие разбойники стали немилосердно тормошить ее.

Ах, как бы мне хотелось быть одним из них! Но я бы никогда не был так груб, о нет, нет! Ни за какие сокровища не посмел бы я дернуть за эти косы или растрепать их. Даже ради спасения жизни не дерзнул бы я стащить с ее ножки — господи, спаси нас и помилуй! — бесценный крошечный башмачок. И разве отважился бы я, как эти отчаянные маленькие наглецы, обхватить ее за талию! Да если б моя рука рискнула только обвиться вокруг ее стана, она так бы и приросла к нему и никогда бы уж не выпрямилась в наказание за такую дерзость.

Впрочем, признаюсь, я бы безмерно желал коснуться ее губ, обратиться к ней с вопросом, видеть, как она приоткроет уста, отвечая мне! Любоваться ее опущенными ресницами, не вызывая краски на ее щеках! Распустить ее шелковистые волосы, каждая прядка которых — бесценное сокровище! Словом, не скрою, что я желал бы пользоваться всеми правами шаловливого ребенка, но быть вместе с тем достаточно взрослым мужчиной, чтобы знать им цену.

Но вот раздался стук в дверь, и все, кто был в комнате, с такой стремительностью бросились к дверям, что

молодая девушка — с смеющимся лицом и в изрядно помятом платье — оказалась в самом центре буйной ватаги и приветствовала отца, едва тот успел ступить за порог в сопровождении рассыльного, нагруженного игрушками и другими рождественскими подарками. Тотчас под оглушительные крики беззащитный рассыльный был взят приступом. На него карабкались, приставив к нему вместо лестницы стулья, чтобы опустошить его карманы и отобрать у него пакеты в оберточной бумаге; его душили, обхватив за шею; на нем повисали, уцепившись за галстук; его дубасили по спине кулаками и пинали ногами, изъявляя этим самую нежную к нему любовь! А крики изумления и восторга, которыми сопровождалось вскрытие каждого пакета! А неописуемый ужас, овладевший всеми, когда самого маленького застигли на месте преступления — с игрушечной сковородкой, засунутой в рот,— и попутно возникло подозрение, что он уже успел проглотить деревянного индюка, который был приклеен к деревянной тарелке! А всеобщее ликование, когда тревога оказалась ложной! Все это просто не поддается описанию! Скажем только, что один за другим все ребятишки,— а вместе с ними и шумные изъявления их чувств,— были удалены из гостиной наверх и водворены в постели, где мало-помалу и угомонились.

Теперь Скрудж устремил все свое внимание на оставшихся, и слеза затуманила его взор, когда хозяин дома вместе с женой и нежно прильнувшей к его плечу дочерью занял свое место у камина. Скрудж невольно подумал о том, что такое же грациозное, полное жизни создание могло бы и его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет!

— Бэлл,— сказал муж с улыбкой, оборачиваясь к жене,— а я видел сегодня твоего старинного приятеля.

— Кого же это?

— Угадай!

— Как могу я угадать? А впрочем, кажется, догадываюсь! — воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем.— Мистера Скруджа?

— Вот именно. Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свече, не закрыв ставен, так что я при всем желании не мог его не увидеть. Его компаньон, гово-

рят, при смерти, и он, понимаешь, сидит там у себя один-одинешенек. Один, как перст, на всем белом свете.

— Дух! — произнес Скрудж надломленным голосом.— Уведи меня отсюда.

— Я ведь говорил тебе, что все это — тени минувшего,— отвечал Дух.— Так оно было, и не моя в том вина.

— Уведи меня! — взмолился Скрудж.— Я не могу это вынести.

Он повернулся к Духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых тот ему показывал. Вне себя Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться.

— Пусти меня! Отведи домой! За что ты преследуешь меня!

Борясь с Духом,— если это можно назвать борьбой, ибо Дух не оказывал никакого сопротивления и даже словно бы не замечал усилий своего противника,— Скрудж увидел, что сноп света у Духа над головой разгорается все ярче и ярче. Безотчетно чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть, которую имеет над ним это существо, Скрудж схватил колпак-гасилку и решительным движением нахлобучил Духу на голову.

Дух как-то сразу осел под колпаком, и он покрыл его до самых пят. Но как бы крепко ни прижимал Скрудж гасилку к голове Духа, ему не удалось потушить света, струившегося из-под колпака на землю.

Страшная усталость внезапно овладела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну, и в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. В последний раз надавил он что было мочи на колпак-гасилку, затем рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул мертвым сном.

## СТРОФА ТРЕТЬЯ

### *Второй из трех Духов*

Громко всхрапнув, Скрудж проснулся и сел на кровати, стараясь собраться с мыслями. На этот раз ему не надо было напоминать о том, что часы на колокольне

скоро пробьют Час Пополуночи. Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым Духом, который должен был явиться к нему благодаря вмешательству в его дела Джейкоба Марли. Однако, раздумывая над тем, с какой стороны кровати отдернется на этот раз полог, Скрудж ощутил вдруг весьма неприятный холодок и поспешил сам, своими руками, отбросить обе половинки полога, после чего улегся обратно на подушки и окинул зорким взглядом комнату. Он твердо решил, что на этот раз не даст застать себя врасплох и напугать и первый окликнет Духа.

Люди неробкого десятка, кои кичатся тем, что им сам черт не брат и они видали виды, говорят обычно, когда хотят доказать свою удаль и бесшабашность, что способны на все — от игры в орлянку до человекоубийства, а между этими двумя крайностями лежит, как известно, довольно обширное поле деятельности. Не ожидая от Скруджа столь высокой отваги, я должен все же заверить вас, что он готов был встретиться лицом к лицу с самыми страшными феноменами, и появление любых призраков — от грудных младенцев до носорогов — не могло бы его теперь удивить.

Однако будучи готов почти ко всему, он менее всего был готов к полному отсутствию чего бы то ни было, и потому, когда часы на колокольне пробили час и никакого привидения не появилось, Скруджа затрясло как в лихорадке. Прошло еще пять минут, десять, пятнадцать — ничего. Однако все это время Скрудж, лежа на кровати, находился как бы в самом центре багрово-красного сияния, которое, лишь только часы пробили один раз, начало струиться непонятно откуда, и именно потому, что это было всего-навсего сияние и Скрудж не мог установить, откуда оно взялось и что̀ означает, оно казалось ему страшнее целой дюжины привидений. У него даже мелькнула ужасная мысль, что он являет собой редчайший пример непроизвольного самовозгорания, но лишен при этом утешения знать это наверняка. Наконец он подумал все же — как вы или я подумали бы, без сомнения, с самого начала, ибо известно, что только тот, кто не попадал в затруднительное положение, знает совершенно точно, как при этом нужно поступать, и доведись ему,

именно так бы, разумеется, и поступил,— итак, повторяю, Скрудж подумал все же, наконец, что источник призрачного света может находиться в соседней комнате, откуда, если приглядеться внимательнее, этот свет и струился. Когда эта мысль полностью проникла в его сознание, он тихонько сполз с кровати и, шаркая туфлями, направился к двери. Лишь только рука его коснулась дверной щеколды, какой-то незнакомый голос, назвав его по имени, повелел ему войти. Скрудж повиновался.

Это была его собственная комната. Сомнений быть не могло. Но она странно изменилась. Все стены и потолок были убраны живыми растениями, и комната скорее походила на рощу. Яркие блестящие ягоды весело проглядывали в зеленой листве. Свежие твердые листья остролиста, омелы и плюща так и сверкали, словно маленькие зеркальца, развешенные на ветвях, а в камине гудело такое жаркое пламя, какого и не снилось этой древней окаменелости, пока она находилась во владении Скруджа и Марли и одну долгую зиму за другой холодала без огня. На полу огромной грудой, напоминающей трон, были сложены жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плумпудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые пары которого стлались в воздухе, словно туман. И на этом возвышении непринужденно и величаво восседал такой веселый и сияющий Великан, что сердце радовалось при одном на него взгляде. В руке у него был факел, несколько похожий по форме на рог изобилия, и он поднял его высоко над головой, чтобы хорошенько осветить Скруджа, когда тот просунул голову в дверь.

— Войди! — крикнул Скруджу Призрак.— Войди, и будем знакомы, старина!

Скрудж робко шагнул в комнату и стал, понурив голову, перед Призраком. Скрудж был уже не прежний, угрюмый, суровый, старик, и не решался поднять глаза и встретить ясный и добрый взор Призрака.

— Я Дух Нынешних Святок,— сказал Призрак.— Взгляни на меня!

Скрудж почтительно повиновался. Дух был одет в простой темно-зеленый балахон, или мантию, отороченную белым мехом. Одеяние это свободно и небрежно спадало с его плеч, и широкая грудь великана была обнажена, словно он хотел показать, что не нуждается ни в каких искусственных покровах и защите. Ступни, видневшиеся из-под пышных складок мантии, были босы, и на голове у Призрака тоже не было никакого убора, кроме венчика из остролиста, на которых сверкали кое-где льдинки. Длинные темно-каштановые кудри рассыпались по плечам, доброе открытое лицо улыбалось, глаза сияли, голос звучал весело, и все — и жизнерадостный вид, и свободное обхождение, и приветливо протянутая рука,— все в нем было приятно и непринужденно. На поясе у Духа висели старинные ножны, но — пустые, без меча, да и сами ножны были порядком изъедены ржавчиной.

— Ты ведь никогда еще не видал таких, как я! — воскликнул Дух.

— Никогда,— отвечал Скрудж.

— Никогда не общался с молодыми членами нашего семейства, из которых я — самый младший? Я хочу сказать — с теми из моих старших братьев, которые рождались в последние годы? — продолжал допрашивать Призрак.

— Как будто нет,— сказал Скрудж.— Боюсь, что нет. А у тебя много братьев, Дух?

— Свыше тысячи восьмисот,— отвечал Дух.

— Вот так семейка! Изволь-ка ее прокормить! — пробормотал Скрудж.

Святочный Дух встал.

— Дух,— сказал Скрудж смиренно.— Веди меня куда хочешь. Прошлую ночь я шел по принуждению и получил урок, который не пропал даром. Если этой ночью ты тоже должен чему-нибудь научить меня, пусть и это послужит мне на пользу.

— Коснись моей мантии.

Скрудж сделал, как ему было приказано, да уцепился за мантию покрепче.

Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, куры, битая птица, свиные окорока, говяжьи туши,



поросята, сосиски, устрицы, пироги, пудинги, фрукты и чаши с пуншем — все исчезло в мгновение ока. А с ними исчезла и комната, и пылающий камин, и багрово-красное сияние факела, и ночной мрак, и вот уже Дух и Скрудж стояли на городской улице. Было утро, рождественское утро и хороший крепкий мороз, и на улице звучала своеобразная музыка, немного резкая, но приятная,— счищали снег с тротуаров и сгребали его с крыш, к безумному восторгу мальчишек, смотревших, как, рассыпаясь мельчайшей пылью, рушатся на землю снежные лавины.

На фоне ослепительно белого покрова, лежавшего на кровлях, и даже не столь белоснежного — лежавшего на земле, стены домов казались сумрачными, а окна — и того еще сумрачнее и темнее. Тяжелые колеса экипажей и фургонов оставляли в снегу глубокие колеи, а на перекрестках больших улиц эти колеи, скрещиваясь сотни раз, образовали в густом желтом крошеве талого снега сложную сеть каналов, наполненных ледяной водой. Небо было хмуро, и улицы тонули в пепельно-грязной мгле, похожей не то на изморозь, не то на пар и оседавшей на землю темной, как сажа, росой, словно все печные трубы Англии сговорились друг с другом — и ну дымить, кто во что горазд! Словом, ни сам город, ни климат не располагали особенно к веселью, и тем не менее на улицах было весело,— так весело, как не бывает, пожалуй, даже в самый погожий летний день, когда солнце светит так ярко и воздух так свеж и чист.

А причина этого таилась в том, что люди, сгребавшие снег с крыш, полны были бодрости и веселья. Они задорно перекликались друг с другом, а порой и запускали в соседа снежком — куда менее опасным снарядом, чем те, что слетают подчас с языка,— и весело хохотали, если снаряд попадал в цель, и еще веселее — если он летел мимо. В курятных лавках двери были еще наполовину открыты *, а прилавки фруктовых лавок переливались всеми цветами радуги. Здесь стояли огромные круглые корзины с каштанами, похожие на облаченные в жилеты животы веселых старых джентльменов. Они стояли, привалясь к притолоке, а порой и совсем выкатывались за порог, словно боялись задохнуться от полнокровия и пресыщения. Здесь были и румяные, смуглолицые толстопу-

зые испанские луковицы, гладкие и блестящие, словно лоснящиеся от жира щеки испанских монахов. Лукаво и нахально они подмигивали с полок пробегавшим мимо девушкам, которые с напускной застенчивостью поглядывали украдкой на подвешенную к потолку веточку омелы *. Здесь были яблоки и груши, уложенные в высоченные красочные пирамиды. Здесь были гроздья винограда, развешенные тароватым хозяином лавки на самых видных местах, дабы прохожие могли, любуясь ими, совершенно бесплатно глотать слюнки. Здесь были груды орехов — коричневых, чуть подернутых пушком,— чей свежий аромат воскрешал в памяти былые прогулки по лесу, когда так приятно брести, утопая по щиколотку в опавшей листве, и слышать, как она шелестит под ногой. Здесь были печеные яблоки, пухлые, глянцевито-коричневые, выгодно оттенявшие яркую желтизну лимонов и апельсинов и всем своим аппетитным видом настойчиво и пылко убеждавшие вас отнести их домой в бумажном пакете и съесть на десерт. Даже золотые и серебряные рыбки, плававшие в большой чаше, поставленной в центре всего этого великолепия,— даже эти хладнокровные натуры понимали, казалось, что происходит нечто необычное, и, беззвучно разевая рты, все, как одна, в каком-то бесстрастном экстазе описывали круг за кругом внутри своего маленького замкнутого мирка.

А бакалейщики! О, у бакалейщиков всего одна или две ставни, быть может, были сняты с окон, но чего-чего только не увидишь, заглянув туда! * И мало того, что чашки весов так весело позванивали, ударяясь о прилавок, а бечевка так стремительно разматывалась с катушки, а жестяные коробки так проворно прыгали с полки на прилавок, словно это были мячики в руках самого опытного жонглера, а смешанный аромат кофе и чая так приятно щекотал ноздри, а изюму было столько и таких редкостных сортов, а миндаль был так ослепительно бел, а палочки корицы — такие прямые и длинненькие, и все остальные пряности так восхитительно пахли, а цукаты так соблазнительно просвечивали сквозь покрывавшую их сахарную глазурь, что даже у самых равнодушных покупателей начинало сосать под ложечкой! И мало того, что инжир был так мясист и

сочен, а вяленые сливы так стыдливо рдели и улыбались так кисло-сладко из своих пышно разукрашенных коробок и все, решительно все выглядело так вкусно и так нарядно в своем рождественском уборе... Самое главное заключалось все же в том, что, невзирая на страшную спешку и нетерпение, которым все были охвачены, невзирая на то, что покупатели то и дело натыкались друг на друга в дверях — их плетеные корзинки только трещали,— и забывали покупки на прилавке, и опрометью бросались за ними обратно, и совершали еще сотню подобных промахов,— невзирая на это, все в предвкушении радостного дня находились в самом праздничном, самом отличном расположении духа, а хозяин и приказчики имели такой добродушный, приветливый вид, что блестящие металлические пряжки в форме сердца, которыми были пристегнуты тесемки их передников, можно было принять по ошибке за их собственные сердца, выставленные наружу для всеобщего обозрения и на радость рождественским галкам, дабы те могли поклевать их на святках *.

Но вот заблаговестили на колокольне, призывая всех добрых людей в храм божий, и веселая, празднично разодетая толпа повалила по улицам. И тут же изо всех переулков и закоулков потекло множество народу: это бедняки несли своих рождественских гусей и уток в пекарни *. Вид этих бедных людей, собравшихся попировать, должно быть очень заинтересовал Духа, ибо он остановился вместе со Скруджем в дверях пекарни и, приподымая крышки с проносимых мимо кастрюль, стал кропить на пищу маслом из своего светильника. И, видно, это был совсем необычный светильник, так как стоило кому-нибудь столкнуться в дверях и завязать перебранку, как Дух кропил из своего светильника спорщиков и к ним тотчас возвращалось благодушие. Стыдно, говорили они, ссориться в первый день рождества. И верно, еще бы не стыдно!

В положенное время колокольный звон утих, и двери пекарен закрылись, но на тротуарах против подвальных окон пекарен появились проталины на снегу, от которых шел такой пар, словно каменные плиты тротуаров тоже варились или парились, и все это приятно свидетельство-

вало о том, что рождественские обеды уже поставлены в печь.

— Чем это ты на них покропил? — спросил Скрудж Духа.— Может, это придает какой-то особенный аромат кушаньям?

— Да, особенный.

— А ко всякому ли обеду он подойдет?

— К каждому, который подан на стол от чистого сердца, и особенно — к обеду бедняка.

— Почему к обеду бедняка особенно?

— Потому что там он нужней всего.

— Дух,— сказал Скрудж после минутного раздумья,— дивлюсь я тому, что именно ты, из всех существ, являющихся к нам из разных потусторонних сфер, именно ты, Святочный Дух, хочешь во что бы то ни стало помешать этим людям предаваться их невинным удовольствиям.

— Я? — вскричал Дух.

— Ты же хочешь лишить их возможности обедать каждый седьмой день недели * — а у многих это единственный день, когда можно сказать, что они и впрямь обедают. Разве не так?

— Я этого хочу? — повторил Дух.

— Ты же хлопочешь, чтобы по воскресеньям были закрыты все пекарни,— сказал Скрудж.— А это то же самое.

— Я хлопочу? — снова возмутился Дух.

— Ну, прости, если я ошибся, но это делается твоим именем или, во всяком случае, от имени твоей родни,— сказал Скрудж.

— Тут, на вашей грешной земле,— сказал Дух,— есть немало людей, которые кичатся своей близостью к нам и, побуждаемые ненавистью, завистью, гневом, гордыней, ханжеством и себялюбием, творят свои дурные дела, прикрываясь нашим именем. Но эти люди столь же чужды нам, как если бы они никогда и не рождались на свет. Запомни это и вини в их поступках только их самих, а не нас.

Скрудж пообещал, что так он и будет поступать впредь, и они, по-прежнему невидимые, перенеслись на глухую окраину города. Надо сказать, что Дух обладал одним удивительным свойством, на которое Скрудж обра-

тил внимание, когда они еще находились возле пекарни: невзирая на свой исполинский рост, этот Призрак чрезвычайно легко приспосабливался к любому месту и стоял под самой низкой кровлей столь же непринужденно, как если бы это были горделивые своды зала, и нисколько не терял при этом своего неземного величия.

И то ли доброму Духу доставляло удовольствие проявлять эту свою особенность, то ли он сделал это потому, что был по натуре великодушен и добр и жалел бедняков, но только прямо к жилищу клерка — того самого, что работал у Скруджа в конторе,— направился он и повлек Скруджа, крепко уцепившегося за край его мантии, за собой. На пороге дома Боба Крэтчита Дух остановился и с улыбкой окропил его жилище из своего светильника. Подумайте только! Жилище Боба, который и получал-то всего каких-нибудь пятнадцать «бобиков», сиречь шиллингов, в неделю! Боба, который по субботам клал в карман всего-навсего пятнадцать материальных воплощений своего христианского имени! И тем не менее святочный Дух удостоил своего благословения все его четыре каморки.

Тут встала миссис Крэтчит, супруга мистера Крэтчита, в дешевом, дважды перелицованном, но зато щедро отделанном лентами туалете — всего на шесть пенсов ленты, а какой вид! — и расстелила на столе скатерть, в чем ей оказала помощь Белинда Крэтчит, ее вторая дочка, тоже щедро отделанная лентами, а юный Питер Крэтчит погрузил тем временем вилку в кастрюлю с картофелем, и когда концы гигантского воротничка (эта личная собственность Боба Крэтчита перешла по случаю великого праздника во владение его сына и прямого наследника) полезли от резкого движения ему в рот, почувствовал себя таким франтом, что загорелся желанием немедленно щегольнуть своим крахмальным бельем на великосветском гулянье в парке. Тут в комнату с визгом ворвались еще двое Крэтчитов — младший сын и младшая дочка — и, захлебываясь от восторга, оповестили, что возле пекарни пахнет жареным гусем и они сразу по запаху учуяли, что это жарится их гусь. И зачарованные ослепительным видением гуся, нафаршированного луком и шалфеем, они принялись плясать вокруг стола, превознося до небес юного Пита Крэтчита, который тем време-

нем так усердно раздувал огонь в очаге (он ничуть не возомнил о себе лишнего, несмотря на великолепие едва не задушившего его воротничка), что картофелины в лениво булькавшей кастрюле стали вдруг подпрыгивать и стучаться изнутри о крышку, требуя, чтобы их поскорее выпустили на волю и содрали с них шкурку.

— Куда это запропастился ваш бесценный папенька? — вопросила миссис Крэтчит.— И ваш братец Малютка Тим! Да и Марте уже полчаса как надо бы прийти. В прошлое рождество она не запаздывала так.

— Марта здесь, маменька,— произнесла молодая девушка, появляясь в дверях.

— Марта здесь, маменька! — закричали младшие Крэтчиты.— Ура! А какой у нас будет гусь, Марта!

— Господь с тобой, душа моя, где это ты нынче запропала! — приветствовала дочку миссис Крэтчит и, расцеловав ее в обе щеки, хлопотливо помогла ей освободиться от капора и шали.

— Вчера допоздна сидели, маменька, надо было закончить всю работу,— отвечала девушка.— А сегодня все утро прибирались.

— Ладно! Слава богу, что пришла наконец! — сказала миссис Крэтчит.— Садись поближе к огню, душенька моя, обогрейся.

— Нет, нет! Папенька идет! — запищали младшие Крэтчиты, которые умудрялись поспевать решительно всюду.— Спрячься, Марта! Спрячься!

Марта, разумеется, спряталась, а в дверях появился сам отец семейства — щуплый человечек в поношенном костюме, подштопанном и вычищенном сообразно случаю, в теплом шарфе, свисавшем спереди фута на три, не считая бахромы, и с Малюткой Тимом на плече. Бедняжка Тим держал в руке маленький костыль, а ноги у него были в металлических шинах.

— А где же наша Марта? — вскричал Боб Крэтчит, озираясь по сторонам.

— Она не придет,— объявила миссис Крэтчит.

— Не придет? — повторил Боб Крэтчит упавшим голосом. А он-то мчался из церкви, как кровный скакун с Малюткой Тимом в седле, и пришел домой галопом! — Не придет к нам на первый день рождества?



Конечно, это была только шутка, но огорченный вид отца так растрогал Марту, что она, не выдержав характера, выскочила из-за двери кладовой и бросилась отцу на шею, а младшие Крэтчиты завладели Малюткой Тимом и потащили его на кухню — послушать, как бурлит вода в котле, в котором варится завернутый в салфетку пудинг.

— А как вел себя наш Малютка Тим? — осведомилась миссис Крэтчит, вдоволь посмеявшись над доверчивостью мужа, в то время как тот радостно расцеловался с дочкой.

— Это не ребенок, а чистое золото,— отвечал Боб.— Чистое золото. Он, понимаешь ли, так часто остается один и все сидит себе и раздумывает, и до такого иной раз додумается — просто диву даешься. Возвращаемся мы с ним домой, а он вдруг и говорит мне: хорошо, дескать, что его видели в церкви. Ведь он калека, и, верно, людям приятно, глядя на него, вспомнить в первый день рождества, кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими.

Голос Боба заметно дрогнул, когда он заговорил о своем маленьком сыночке, а когда он прибавил, что Тим день ото дня становится все крепче и здоровее, голос у него задрожал еще сильнее.

Боб не успел больше ничего сказать — раздался стук маленького проворного костыля, и Малютка Тим, в сопровождении братца и сестрицы возвратился к своей скамеечке у огня. Боб, подвернув обшлага (бедняга, верно,



думал, что им еще может что-нибудь повредить!), налил воды в кувшин, добавил туда джина и несколько ломтиков лимона и принялся все это старательно разбалтывать, а потом поставил греться на медленном огне. Тем временем юный Питер и двое вездесущих младших Крэтчитов отправились за гусем, с которым вскоре и возвратились в торжественной процессии.

Появление гуся произвело невообразимую суматоху. Можно было подумать, что эта домашняя птица такой феномен, по сравнению с которым черный лебедь самое заурядное явление. А впрочем, в этом бедном жилище гусь и впрямь был диковинкой. Миссис Крэтчит подогрела подливку (приготовленную заранее в маленькой кастрюльке), пока она не зашипела. Юный Питер с нечеловеческой энергией принялся разминать картофель. Мисс Белинда добавила сахару в яблочный соус. Марта обтерла горячие тарелки. Боб усадил Малютку Тима в

уголку, рядом с собой, а Крэтчиты младшие расставили для всех стулья, не забыв при этом и себя, и застыли у стола на сторожевых постах, закупорив себе ложками рты, дабы не попросить кусочек гуся, прежде чем до них дойдет черед.

Но вот стол накрыт. Прочли молитву. Наступает томительная пауза. Все затаили дыхание, а миссис Крэтчит, окинув испытующим взглядом лезвие ножа для жаркого, приготовилась вонзить его в грудь птицы. Когда же нож вонзился, и брызнул сок, и долгожданный фарш открылся взору, единодушный вздох восторга пронесся над столом, и даже Малютка Тим, подстрекаемый младшими Крэтчитами, постучал по столу рукояткой ножа и слабо пискнул:

— Ура!

Нет, не бывало еще на свете такого гуся! Боб решительно заявил, что никогда не поверит, чтобы где-нибудь мог сыскаться другой такой замечательный фаршированный гусь! Все наперебой восторгались его сочностью и ароматом, а также величиной и дешевизной. С дополнением яблочного соуса и картофельного пюре его вполне хватило на ужин для всей семьи. Да, в самом деле, они даже не смогли его прикончить, как восхищенно заметила миссис Крэтчит, обнаружив уцелевшую на блюде микроскопическую косточку. Однако каждый был сыт, а младшие Крэтчиты не только наелись до отвала, но перемазались луковой начинкой по самые брови. Но вот мисс Белинда сменила тарелки, и миссис Крэтчит в полном одиночестве покинула комнату, дабы вынуть пудинг из котла. Она так волновалась, что пожелала сделать это без свидетелей.

А ну как пудинг не дошел! А ну как он развалится, когда его будут выкладывать из формы! А ну как его стащили, пока они тут веселились и уплетали гуся! Какой-нибудь злоумышленник мог ведь перелезть через забор, забраться во двор и похитить пудинг с черного хода! Такие предположения заставили младших Крэтчитов помертветь от страха. Словом, какие только ужасы не полезли тут в голову!

Внимание! В комнату повалил пар! Это пудинг вынули из котла. Запахло, как во время стирки! Это — от

мокрой салфетки. Теперь пахнет как возле трактира, когда рядом кондитерская, а в соседнем доме живет прачка! Ну, конечно,— несут пудинг!

И вот появляется миссис Крэтчит — раскрасневшаяся, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде,— таким необычайно твердым и крепким, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой остролиста, воткнутой в самую его верхушку.

О дивный пудинг! Боб Крэтчит заявил, что за все время их брака миссис Крэтчит еще ни разу ни в чем не удавалось достигнуть такого совершенства, а миссис Крэтчит заявила, что теперь у нее на сердце полегчало, и она может признаться, как грызло ее беспокойство — хватит ли муки. У каждого было что сказать во славу пудинга, но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства. Это было бы просто кощунством. Да каждый из Крэтчитов сгорел бы со стыда, если бы позволил себе подобный намек.

Но вот с обедом покончено, скатерть убрали со стола, в камине подмели, разожгли огонь. Попробовали содержимое кувшина и признали его превосходным. На столе появились яблоки и апельсины, а на угли высыпали полный совок каштанов. Затем все семейство собралось у камелька «в кружок», как выразился Боб Крэтчит, имея в виду, должно быть, полукруг. По правую руку Боба выстроилась в ряд вся коллекция фамильного хрусталя: два стакана и кружка с отбитой ручкой.

Эти сосуды, впрочем, могли вмещать в себя горячую жидкость ничуть не хуже каких-нибудь золотых кубков, и когда Боб наполнял их из кувшина, лицо его сияло, а каштаны на огне шипели и лопались с веселым треском. Затем Боб провозгласил:

— Веселых святок, друзья мои! И да благословит нас всех господь!

И все хором повторили его слова.

— Да осенит нас господь своею милостью! — промолвил и Малютка Тим, когда все умолкли.

Он сидел на своей маленькой скамеечке, тесно прижавшись к отцу. Боб любовно держал в руке его худенькую ручонку, словно боялся, что кто-то может отнять у него сынишку, и хотел все время чувствовать его возле себя.

— Дух,— сказал Скрудж, охваченный сочувствием, которого никогда прежде не испытывал.— Скажи мне, Малютка Тим будет жить?

— Я вижу пустую скамеечку возле этого нищего очага,— отвечал Дух.— И костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью. Если Будущее не внесет в это изменений, ребенок умрет.

— Нет, нет! — вскричал Скрудж.— О нет! Добрый Дух, скажи, что судьба пощадит его!

— Если Будущее не внесет в это изменений,— повторил Дух,— дитя не доживет до следующих святок. Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает, и тем сократит излишек населения!

Услыхав, как Дух повторяет его собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и печалью.

— Человек! — сказал Дух,— Если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые и пошлые слова, пока тебе еще не дано узнать, *ЧТО* есть излишек и *ГДЕ* он есть. Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто — умереть? Быть может, ты сам в глазах небесного судии куда менее достоин жизни, нежели миллионы таких, как ребенок этого бедняка. О боже! Какая-то букашка, пристроившись на былинке, выносит приговор своим голодным собратьям за то, что их так много расплодилось и копошится в пыли!

Скрудж согнулся под тяжестью этих укоров и потупился, трепеща. Но тут же поспешно вскинул глаза, услыхав свое имя.

— За здоровье мистера Скруджа! — сказал Боб.— Я предлагаю тост за мистера Скруджа, без которого не справить бы нам этого праздника.

— Скажешь тоже — не справить! — вскричала миссис Крэтчит, вспыхнув.— Жаль, что его здесь нет. Я бы такой тост предложила за его здоровье, что, пожалуй, ему не поздоровилось бы!

— Моя дорогая! — укорил ее Боб.— При детях! В такой день!

— Да уж воистину только ради этого великого дня можно пить за здоровье такого гадкого, бесчувственного, жадного скареды, как мистер Скрудж,— заявила миссис Крэтчит.— И ты сам это знаешь, Роберт! Никто не знает его лучше, чем ты, бедняга!

— Моя дорогая,— кротко отвечал Боб.— Сегодня рождество.

— Так и быть, выпью за его здоровье ради тебя и ради праздника,— сказала миссис Крэтчит.— Но только не ради него. Пусть себе живет и здравствует. Пожелаем ему веселых святок и счастливого Нового года. То-то он будет весел и счастлив, могу себе представить!

Вслед за матерью выпили и дети, но впервые за весь вечер они пили не от всего сердца. Малютка Тим выпил последним — ему тоже был как-то не по душе этот тост. Мистер Скрудж был злым гением этой семьи. Упоминание о нем черной тенью легло на праздничное сборище, и добрых пять минут ничто не могло прогнать эту мрачную тень.

Но когда она развеялась, им стало еще веселее, чем прежде, от одного сознания, что со Скруджем-Сквалыжником на сей раз покончено. Боб рассказал, какое он присмотрел для Питера местечко,— если дело выгорит, у них прибавится целых пять шиллингов шесть пенсов в неделю. Крэтчиты младшие помирали со смеху при одной мысли, что их Питер станет деловым человеком, а сам юный Питер задумчиво уставился на огонь, устремив взгляд в узкую щель между концами воротничка и словно прикидывая, куда предпочтительнее будет поместить капитал, когда к нему начнут поступать такие несметные доходы. Тут Марта, которая была отдана в обучение шляпной мастерице, принялась рассказывать, какую ей приходится выполнять работу и по скольку часов трудиться без передышки, и как она рада, что завтра можно подольше поваляться в постели и хорошенько выспаться, благо праздник, и ее отпустили на весь день, и как намедни она видела одну графиню и одного лорда, и лорд был «этакий невысокий, ну совсем как наш Питер». При этих словах Питер подтянул свой воротни-

чок так высоко, что, если бы вы при этом присутствовали, вам, пожалуй, не удалось бы установить, есть ли у него вообще голова. А тем временем каштаны и кувшин уже не раз обошли всех вкруговую, и вот Малютка Тим тоненьким жалобным голоском затянул песенку о маленьком мальчике, заблудившемся в буран, и спел ее, поверьте, превосходно.

Конечно, все это было довольно убого и заурядно, никто в этом семействе не отличался красотой, никто не мог похвалиться хорошим костюмом,— насчет одежды у них вообще было небогато,— башмаки у всех просили каши, а юный Питер, судя по некоторым признакам, уже не раз имел случай познакомиться с ссудной кассой. И тем не менее все здесь были счастливы, довольны друг другом, рады празднику и благодарны судьбе, а когда они стали исчезать, растворяясь в воздухе, лица их как-то особенно засветились, ибо Дух окропил их на прощанье маслом из своего факела, и Скрудж не мог оторвать от них глаз, а в особенности — от Малютки Тима.

Тем временем уже стемнело, и повалил довольно густой снег, и когда Скрудж в сопровождении Духа снова очутился на улице, в каждом доме во всех комнатах, от кухонь до гостиных, уже жарко пылали камины и в окнах заманчиво мерцало их веселое пламя. Здесь дрожащие отблески огня на стекле говорили о приготовлениях к уютному семейному обеду: у очага грелись тарелки, и чья-то рука уже поднялась, чтобы задернуть бордовые портьеры и отгородиться от холода и мрака. Там ребятишки гурьбой высыпали из дому прямо на снег навстречу своим теткам и дядям, кузенам и кузинам, замужним сестрам и женатым братьям, чтобы первыми их приветствовать. А вот на спущенных шторах мелькают тени гостей. А вот кучка красивых девушек в теплых капорах и меховых башмачках, щебеча без умолку, перебегает через дорогу к соседям, и горе одинокому холостяку (очаровательным плутовкам это известно не хуже нас), который увидит их разрумянившиеся от мороза щечки!

Право, глядя на всех этих людей, направлявшихся на дружеские сборища, можно было подумать, что решительно все собрались в гости и ни в одном доме не оста-

лось хозяев, чтобы гостей принять. Но это было не так. Гостей поджидали в каждом доме и то и дело подбрасывали угля в камин.

И как же ликовал Дух! Как радостно устремлялся он вперед, обнажив свою широченную грудь, раскинув большие ладони и щедрой рукой разливая вокруг бесхитростное и зажигательное веселье. Даже фонарщик, бежавший по сумрачной улице, оставляя за собой дрожащую цепочку огней, и приодевшийся, чтобы потом отправиться в гости, громко рассмеялся, когда Дух пронесся мимо, хотя едва ли могло прийти бедняге в голову, что кто-нибудь, кроме его собственного праздничного настроения, составляет ему в эту минуту компанию.

И вдруг — а Дух хоть бы словом об этом предупредил — Скрудж увидел, что они стоят среди пустынного и мрачного торфяного болота. Огромные разбросанные в беспорядке каменные глыбы придавали болоту вид кладбища каких-то гигантов. Отовсюду сочилась вода — вернее, могла бы сочиться, если бы ее не сковал кругом, насколько хватал глаз, мороз,— и не росло ничего кроме мха, дрока и колючей сорной травы. На западе, на горизонте, закатившееся солнце оставило багрово-красную полосу, которая, словно чей-то угрюмый глаз, взирала на это запустенье и, становясь все уже и уже, померкла, наконец, слившись с сумраком беспросветной ночи.

— Где мы? — спросил Скрудж.

— Там, где живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли,— отвечал Дух.— Но и они не чуждаются меня. Смотри!

В оконце какой-то хибарки блеснул огонек, и они поспешно приблизились к ней, пройдя сквозь глинобитную ограду. Их глазам предстала веселая компания, собравшаяся у пылающего очага. Там сидели старые-престарые старик и старуха со своими детьми, внуками и даже правнуками. Все они были одеты нарядно — по-праздничному. Старик слабым, дрожащим голосом, то и дело заглушаемым порывами ветра, проносившегося с завываньем над пустынным болотом, пел рождественскую песнь, знакомую ему еще с детства, а все подхватывали хором припев. И всякий раз, когда вокруг старика начинали звучать голоса, он веселел, оживлялся, и голос его

креп, а как только голоса стихали, и его голос слабел и замирал.

Дух не замешкался у этой хижины, но, приказав Скруджу покрепче ухватиться за его мантию, полетел дальше над болотом... Куда? Неужто к морю? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж, к своему ужасу, увидел грозную гряду скал — оставшийся позади берег. Его оглушил грохот волн. Пенясь, дробясь, неистовствуя, они с ревом врывались в черные, ими же выдолбленные пещеры, словно в ярости своей стремились раздробить землю.

В нескольких милях от берега, на угрюмом, затерянном в море утесе, о который день за днем и год за годом разбивался свирепый прибой, стоял одинокий маяк. Огромные груды морских водорослей облепили его подножье, а буревестники (не порождение ли они ветра, как водоросли — порождение морских глубин?) кружили над ним, взлетая и падая, подобно волнам, которые они задевали крылом.

Но даже здесь двое людей, стороживших маяк, разожгли огонь в очаге, и сквозь узкое окно в каменной толще стены пламя бросало яркий луч света на бурное море. Протянув мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели, сторожа обменялись рукопожатием, затем подняли тяжелые кружки с грогом и пожелали друг другу веселого праздника, а старший, чье лицо, подобно деревянной скульптуре на носу старого фрегата, носило следы жестокой борьбы со стихией, затянул бодрую песню, звучавшую как рев морского прибоя.

И вот уже Дух устремился вперед, над черным бушующим морем. Все вперед и вперед, пока — вдали от всех берегов, как сам он поведал Скруджу,— не опустился вместе с ним на палубу корабля. Они переходили от одной темной и сумрачной фигуры к другой, от кормчего у штурвала — к дозорному на носу, от дозорного — к матросам, стоявшим на вахте, и каждый из этих людей либо напевал тихонько рождественскую песнь, либо думал о наступивших святках, либо вполголоса делился с товарищем воспоминаниями о том, как он праздновал святки когда-то, и выражал надежду следующий празд-

ник провести в кругу семьи. И каждый, кто был на корабле,— спящий или бодрствующий, добрый или злой,— нашел в этот день самые теплые слова для тех, кто был возле, и вспомнил тех, кто и вдали был ему дорог, и порадовался, зная, что им тоже отрадно вспоминать о нем. Словом, так или иначе, но каждый отметил в душе этот великий день.

И каково же было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к завыванию ветра и размышляя над суровой судьбой этих людей, которые неслись вперед во мраке, скользя над бездонной пропастью, столь же неизведанной и таинственной, как сама Смерть,— каково же было его удивление, когда, погруженный в эти думы, он услышал вдруг веселый, заразительный смех. Но тут его ждала еще большая неожиданность, ибо он узнал смех своего племянника и обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате, а Дух стоит рядом и с ласковой улыбкой смотрит не на кого другого, как все на того же племянника!

— Ха-ха-ха! — заливался племянник Скруджа.— Ха-ха-ха!

Если вам, читатель, по какой-то невероятной случайности довелось знавать человека, одаренного завидной способностью смеяться еще более заразительно, чем племянник Скруджа, скажу одно: вам неслыханно повезло. Представьте меня ему, и я буду очень дорожить этим знакомством.

Болезнь и скорбь легко передаются от человека к человеку, но все же нет на земле ничего более заразительного, нежели смех и веселое расположение духа, и я усматриваю в этом целесообразное, благородное и справедливое устройство вещей в природе. Итак, племянник Скруджа покатывался со смеху, держась за бока, тряся головой и строя самые уморительные гримасы, а его жена, племянница Скруджа по мужу, глядя на него, смеялась столь же весело. Да и гости не отставали от хозяев — и тоже хохотали во все горло:

— Ха-ха-ха-ха-ха!

— Он сказал, что святки — это вздор, чепуха, чтоб мне пропасть! — кричал племянник Скруджа.— И ведь всерьез сказал, ей-богу!

— Да как ему не совестно, Фред! — с возмущением вскричала племянница. Ох, уж эти женщины! Они никогда ничего не делают наполовину и судят обо всем со всей решительностью.

Племянница Скруджа была очень хороша собой,— на редкость хороша. Прелестное личико, наивно-удивленный взгляд, ямочки на щеках. Маленький пухлый ротик казался созданным для поцелуев, как оно без сомнения и было. Крошечные ямочки на подбородке появлялись и исчезали, когда она смеялась, и ни одно существо на свете не обладало парой таких лучезарных глаз. Словом, надо признаться, что она умела подзадорить, но и приласкать — тоже.

— Он забавный старый чудак,— сказал племянник Скруджа.— Не особенно приветлив, конечно, ну что ж, его пороки несут в себе и наказание, и я ему не судья.

— Он ведь очень богат, Фред,— заметила племянница.— По крайней мере ты всегда мне это говорил.

— Да что с того, моя дорогая,— сказал племянник.— Его богатство ему не впрок. Оно и людям не приносит добра и ему не доставляет радости. Он лишил себя даже приятного сознания, что... ха-ха-ха!.. что он может когда-нибудь осчастливить своими деньгами нас.

— Терпеть я его не могу! — заявила племянница, и сестры племянницы, да и все прочие дамы выразили совершенно такие же чувства.

— Ну, а по мне он ничего,— сказал племянник.— Мне жаль его, и я не могу питать к нему неприязни, даже если б захотел. Кто страдает от его злых причуд? Он сам — всегда и во всем. Вот, к примеру, он вбил себе в голову, что не любит нас, и не пожелал прийти отобедать с нами. К чему это привело? Лишился обеда, хотя и не бог весть какого.

— А я полагаю, что вовсе не плохого,— возразила племянница, и все поддержали ее, а так как они только что отобедали и собрались у камина, возле которого на столике уже горела лампа и был приготовлен десерт, то с мнением их нельзя не считаться.

— Что ж, рад это слышать,— промолвил племянник Скруджа.— А то я не очень-то верю в искусство молодых хозяюшек. А вы что скажете, Топпер?

Топпер, который совершенно явно имел виды на одну из сестер хозяйки, отвечал, что всякий холостой мужчина — это жалкий отщепенец и не имеет права высказывать суждение о таком предмете. При этих словах сестра племянницы — не та, что с розами у корсажа, а пухленькая, с гофрированной кружевной оборочкой у ворота,— залилась краской.

— Ну же, Фред, продолжай,— потребовала племянница Скруджа, хлопая в ладоши.— Вечно он начнет рассказывать и не кончит! Такой нелепый человек!

Племянник Скруджа снова покатился со смеху, и так как смех его был заразителен, все, как один, последовали его примеру, хотя пухленькая сестра племянницы и старалась противостоять заразе, усиленно нюхая флакончик с ароматическим уксусом.

— Я хотел только заметить,— сказал племянник Скруджа,— что его антипатия к нам и нежелание повеселиться с нами вместе лишили его возможности провести несколько часов в приятном обществе, что не причинило бы ему вреда. Это, я думаю, во всяком случае приятнее, чем сидеть наедине со своими мыслями в старой, заплесневелой конторе или в его замшелой квартире. И я намерен приглашать его к нам каждый год, хочет он того или нет, потому что мне его жаль. Он может до конца дней своих хулить святки, но волей-неволей станет лучше судить о них, если из года в год я буду приходить к нему и говорить от чистого сердца: «Как поживаете, дядюшка Скрудж?» Если это расположит его хотя бы к тому, чтобы отписать в завещании своему бедному клерку пятьдесят фунтов — с меня и того довольно. Мне, кстати, сдается, что мои слова тронули его вчера.

Его слова тронули Скруджа! Такая нелепая фантазия дала повод к новому взрыву смеха, но хозяину по причине его на редкость добродушного нрава было совершенно все равно, над кем смеются гости, лишь бы они веселились от души, и, стремясь поддержать их в этом настроении, он с довольным видом пустил вкруговую бутылку вина.

Напившись чая, решили заняться музыкой. В этом семействе музыка была в чести, и когда там принимались распевать песни на два, а то и на три голоса с хором,

можете мне поверить, что исполняли их со знанием дела. Особенно отличался мистер Топпер, который очень усердно гудел басом, и при том без особой даже натуги, так что лицо у него не багровело и на лбу не надувались жилы. Племянница Скруджа недурно играла на арфе и в числе прочих музыкальных пьес исполнила одну простенькую песенку (совсем пустячок, вы бы через две минуты уже могли ее насвистать), которую певала когда-то одна маленькая девочка, та, что приехала однажды вечером, чтобы увезти Скруджа из пансиона. Это воспоминание воскресил в душе Скруджа Дух Прошлых Святок, и теперь, когда Скрудж услыхал знакомую мелодию, картины былого снова ожили в его памяти. Скрудж слушал, и сердце его смягчалось все более и более, и ему уже казалось, что, внимай он чаще этим звукам в давно минувшие годы, и, быть может, он всегда стремился бы только к добру на счастье себе и людям, и не пришлось бы духу Джейкоба Марли вставать из могилы.

Однако не одной только музыке был посвящен этот вечер. Помузицировав, принялись играть в фанты. Ведь так отрадно порой снова стать хоть на время детьми! А особенно хорошо это на святках, когда мы празднуем рождение божественного младенца. Впрочем, постойте! Сначала играли в жмурки. Ну, конечно! И никто меня не убедит, что мистер Топпер действительно ничего не видел. Да я скорее поверю, что у него была еще одна пара глаз — на пятках. По-моему, они были в сговоре — он и племянник Скруджа. А Дух тоже был с ними заодно. Если бы вы видели, как мистер Топпер припустился прямиком за толстушкой с кружевной оборочкой, вы бы сами сказали, что это значит чересчур уж рассчитывать на легковерие человеческой натуры. Опрокидывая стулья, роняя каминные щипцы, налетая на фортепьяно, он неотступно гнался за ней по пятам и чуть не задохся, запутавшись в портьерах! Он всегда безошибочно знал, в каком конце комнаты находится пухленькая сестрица хозяйки, и не желал ловить никого другого. Даже если бы вы нарочно поддались ему (а кое-кто и пытался это проделать), он бы, для отвода глаз, пожалуй, притворился, что хочет вас словить,— да только какой бы дурак ему поверил! — и тотчас устремился бы в другом направлении — за пухлой сестрицей.

— Это нечестно! — восклицала она, и не раз, и оно в самом деле было нечестно. Но как ни увертывалась она от него, как ни проскальзывала, шелестя шелковыми юбками, перед самым его носом, ему все же удалось ее поймать, и вот тут — когда он загнал ее в угол, откуда ей уже не было спасения,— вот тут поведение его стало поистине чудовищным. Сколь гнусно было его притворство, когда он делал вид, что не узнает ее и должен коснуться лент у нее на голове и какого-то колечка на пальчике и какой-то цепочки на шее, чтобы удостовериться, что это действительно она. Без сомнения, она не преминула высказать ему свое мнение о нем, когда они, укрывшись за портьерой, поверяли друг другу какие-то секреты, в то время как с завязанными глазами бегал уже кто-то другой.

Племянница Скруджа не играла в жмурки. Ее удобно устроили в уютном уголке, усадив в глубокое кресло и подставив под ноги скамеечку, причем Дух и Скрудж оказались как раз за ее спиной. Но в фантах и она приняла участие, а когда играли в «Любишь не любишь» — так находчиво придумывала ответы на любую букву алфавита, что привела всех в неописуемый восторг. Столь же блистательно отличилась она и в игре «Как, Когда, Где» и к тайной радости племянника Скруджа совершенно затмила всех своих сестер, хотя они тоже были весьма шустрые девицы, что охотно подтвердил бы вам мистер Топпер. Гостей было человек двадцать, не меньше, и все — и молод и стар — принимали участие в играх, а вместе с ними и Скрудж. В своем увлечении игрой он забывал, что голос его беззвучен для ушей смертных, и не раз громко заявлял о своей догадке, и она почти всегда оказывалась правильной, ибо самые острые иголки, что выпускает уайтчеплская игольная фабрика, не могли бы сравниться по остроте с умом Скруджа, за исключением, конечно, тех случаев, когда он считал почему-либо необходимым прикидываться тупицей.

Такое его поведение пришлось, должно быть, Призраку по вкусу, ибо он бросил на Скруджа довольно благосклонный взгляд. Скрудж принялся, как ребенок, выпрашивать у него разрешения побыть с гостями, пока они не отправятся по домам, но Дух отвечал, что это невозможно.

— Они затеяли новую игру! — молил Скрудж.— Ну хоть полчасика, Дух! Только полчасика!

Игра называлась «Да и Нет». Племянник Скруджа должен был задумать какой-нибудь предмет, а остальные — угадать, что он задумал. По условиям игры он мог отвечать на все вопросы только «да» или «нет». Под перекрестным огнем посыпавшихся на него вопросов удалось мало-помалу установить, что он задумал некое животное,— ныне здравствующее животное, довольно противное животное, свирепое животное, животное, которое порой ворчит, порой рычит, а порой вроде бы разговаривает, и которое живет в Лондоне, и ходит по улицам, и которое не водят на цепи и не показывают за деньги, и живет оно не в зверинце, и мясом его не торгуют на рынке, и это не лошадь, и не осел, и не корова, и не бык, и не тигр, и не собака, и не свинья и не кошка, и не медведь. При каждом новом вопросе племянник Скруджа снова заливался хохотом и в конце концов пришел в такой раж, что вскочил с дивана и начал от восторга топать ногами. Тут пухленькая сестричка племянницы расхохоталась вдруг так же неистово и воскликнула:

— Угадала! Я знаю, что вы задумали, Фред! Знаю!

— Ну что? — закричал Фред.

— Это ваш дядюшка Скру-у-у-дж!

Да, так оно и было. Тут уж восторг стал всеобщим, хотя кое-кто нашел нужным возразить, что на вопрос: «Это медведь?» — следовало ответить не «нет», а «да», так как отрицательный ответ мог сбить с толку тех, кто уже был близок к истине.

— Ну, мы так потешились насчет старика,— сказал племянник,— что было бы черной неблагодарностью не выпить теперь за его здоровье. Прошу каждого взять свой бокал глинтвейна. Предлагаю тост за дядюшку Скруджа!

— За дядюшку Скруджа! — закричали все.

— Пожелаем старику, где бы он сейчас ни находился, веселого рождества и счастливого Нового года! — сказал племянник.— Он не захотел принять от меня этих пожеланий, но пусть они все же сбудутся. Итак, за дядюшку Скруджа!

А дядюшка Скрудж тем временем незаметно для себя так развеселился, и на сердце у него стало так легко, что

он непременно провозгласил бы тост за здоровье всей честной компании, не подозревавшей о его присутствии, и поблагодарил бы ее в своей ответной, хотя и беззвучной речи, если бы Дух дал ему на это время. Но едва последнее слово слетело с уст племянника, как видение исчезло, и Дух со Скруджем снова пустились в странствие.

Далеко-далеко лежал их путь, и немало посетили они жилищ, и немало повидали отдаленных мест, и везде приносили людям радость и счастье. Дух стоял у изголовья больного, и больной ободрялся и веселел; он приближался к скитальцам, тоскующим на чужбине, и им казалось, что отчизна близко; к изнемогающим в житейской борьбе — и они окрылялись новой надеждой; к беднякам — и они обретали в себе богатство. В тюрьмах, больницах и богадельнях, в убогих приютах нищеты — всюду, где суетность и жалкая земная гордыня не закрывают сердца человека перед благодатным духом праздника,— всюду давал он людям свое благословение и учил Скруджа заповедям милосердия.

Долго длилась эта ночь, если то была всего одна лишь ночь, в чем Скрудж имел основания сомневаться, ибо ему казалось, что обе святочные недели пролетели с тех пор, как он пустился с Духом в путь. И еще одну странность заметил Скрудж: в то время как сам он внешне совсем не изменился, Призрак старел у него на глазах. Скрудж давно уже видел происходящую в Духе перемену, однако до поры до времени молчал. Но вот, покинув детский праздник, устроенный в крещенский вечер, и очутившись вместе с Духом на открытой равнине, он взглянул на него и заметил, что волосы его совсем поседели.

— Скажи мне, разве жизнь духов так коротка? — спросил его тут Скрудж.

— Моя жизнь на этой планете быстротечна,— отвечал Дух.— И сегодня ночью ей придет конец.

— Сегодня ночью? — вскричал Скрудж.

— Сегодня в полночь. Чу! Срок близится.

В это мгновение часы на колокольне пробили три четверти двенадцатого.

— Прости меня, если об этом нельзя спрашивать,— сказал Скрудж, пристально глядя на мантию Духа.— Но

мне чудится, что под твоим одеянием скрыто нечто странное. Что это виднеется из-под края твоей одежды — птичья лапа?

— Нет, даже на птичьей лапе больше мяса, чем на этих костях,— последовал печальный ответ Духа.— Взгляни!

Он откинул край мантии, и глазам Скруджа предстали двое детей — несчастные, заморенные, уродливые, жалкие и вместе с тем страшные. Стоя на коленях, они припали к ногам Духа и уцепились за его мантию.

— О Человек, взгляни на них! — воскликнул Дух.— Взгляни же, взгляни на них!

Это были мальчик и девочка. Тощие, мертвенно-бледные, в лохмотьях, они глядели исподлобья, как волчата, в то же время распластываясь у ног Духа в унизительной покорности. Нежная юность должна была бы цвести на этих щеках, играя свежим румянцем, но чья-то дряхлая, морщинистая рука, подобно руке времени, исказила, обезобразила их черты и иссушила кожу, обвисшую как тряпка. То, что могло бы быть престолом ангелов, стало приютом демонов, грозящих всему живому. За все века исполненной тайн истории мироздания никакое унижение или извращение человеческой природы, никакие нарушения ее законов не создавали, казалось, ничего столь чудовищного и отталкивающего, как эти два уродца.

Скрудж отпрянул в ужасе. Когда эти несчастные создания столь внезапно предстали перед ним, он хотел было сказать, что они очень славные дети, но слова застряли у него в горле, как будто язык не пожелал принять участия в такой вопиющей лжи.

— Это твои дети, Дух? — вот и все, что он нашел в себе силы произнести.

— Они — порождение Человека,— отвечал Дух, опуская глаза на детей.— Но видишь, они припали к моим стопам, прося защиты от тех, кто их породил. Имя мальчика — Невежество. Имя девочки — Нищета. Остерегайся обоих и всего, что им сродни, но пуще всего берегись мальчишки, ибо на лбу у него начертано «Гибель» и гибель он несет с собой, если эта надпись не будет стерта. Что ж, отрицай это! — вскричал Дух, повернувшись в сторону города и простирая к нему руку.—

Поноси тех, кто станет тебе это говорить! Используй невежество и нищету в своих нечистых, своекорыстных целях! Увеличь их, умножь! И жди конца!

— Разве нет им помощи, нет пристанища? — воскликнул Скрудж.

— Разве нет у нас тюрем? — спросил Дух, повторяя собственные слова Скруджа.— Разве нет у нас работных домов?

В это мгновение часы пробили полночь.

Скрудж оглянулся, ища Духа, но его уже не было. Когда двенадцатый удар колокола прогудел в тишине, Скрудж вспомнил предсказание Джейкоба Марли и, подняв глаза, увидел величественный Призрак, закутанный с ног до головы в плащ с капюшоном и, подобно облаку или туману, плывший над землей к нему навстречу.

## СТРОФА ЧЕТВЕРТАЯ

### *Последний из Духов*

Дух приближался — безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственностью повеяло от него на Скруджа, что тот упал перед ним на колени.

Черное, похожее на саван одеяние Призрака скрывало его голову, лицо, фигуру — видна была только одна простертая вперед рука. Не будь этой руки, Призрак слился бы с ночью и стал бы неразличим среди окружавшего его мрака.

Благоговейный трепет объял Скруджа, когда эта высокая величавая и таинственная фигура остановилась возле него. Призрак не двигался и не произносил ни слова, а Скрудж испытывал только ужас — больше ничего.

— Дух Будущих Святок, не ты ли почтил меня своим посещением? — спросил, наконец, Скрудж.

Дух ничего не ответил, но рука его указала куда-то вперед.

— Ты намерен открыть мне то, что еще не произошло, но должно произойти в будущем? — продолжал свои вопросы Скрудж.— Не так ли, Дух?

Складки одеяния, ниспадающего с головы Духа, слегка шевельнулись, словно Дух кивнул. Другого ответа Скрудж не получил.

Хотя общество привидений стало уже привычным для Скруджа, однако эта молчаливая фигура внушала ему такой ужас, что колени у него подгибались, и, собравшись следовать за Призраком, он почувствовал, что едва держится на ногах. Должно быть, Призрак заметил его состояние, ибо он приостановился на мгновение, как бы для того, чтобы дать ему возможность прийти в сéбя.

Но Скруджу от этой передышки стало только хуже. Необъяснимый ужас пронизывал все его существо при мысли о том, что под прикрытием этого черного, мрачного савана взор Призрака неотступно следит за ним, в то время как сам он, сколько бы ни напрягал зрение, не может разглядеть ничего, кроме этой мертвенно-бледной руки и огромной черной бесформенной массы.

— Дух Будущих Святок! — воскликнул Скрудж.— Я страшусь тебя. Ни один из являвшихся мне призраков не пугал меня так, как ты. Но я знаю, что ты хочешь мне добра, а я стремлюсь к добру и надеюсь стать отныне другим человеком и потому готов с сердцем, исполненным благодарности следовать за тобой. Разве ты не хочешь сказать мне что-нибудь?

Призрак ничего не ответил. Рука его по-прежнему была простерта вперед.

— Веди меня! — сказал Скрудж.— Веди! Ночь быстро близится к рассвету, и каждая минута для меня драгоценна — я знаю это. Веди же меня, Призрак!

Привидение двинулось вперед так же безмолвно, как и появилось. Скрудж последовал за ним в тени его одеяния, которое как бы поддерживало его над землей и увлекало за собой.

Они вступили в город — вернее, город, казалось, внезапно сам вырос вокруг них и обступил их со всех сторон. И вот они уже очутились в центре города — на Бирже, в толпе коммерсантов, которые сновали туда и сюда и собирались группами, и поглядывали на часы, и позванивали монетами в кармане, и в раздумье пере-

бирали массивные золотые брелоки, словом, все было. как всегда,— знакомая Скруджу картина.

Дух остановился возле небольшой кучки дельцов. Заметив, что рука Призрака указывает на них, Скрудж приблизился и стал прислушиваться к их разговору.

— Нет,— сказал огромный тучный мужчина с чудовищным тройным подбородком.— Об этом мне ничего не известно. Знаю только, что он умер.

— Когда же это случилось? — спросил кто-то.

— Да как будто прошедшей ночью.

— А что с ним было? — спросил третий, беря изрядную понюшку табаку из огромной табакерки.— Мне казалось, он всех переживет.

— А бог его знает,— промолвил первый и зевнул.

— Что же он сделал со своими деньгами? — спросил краснолицый господин, у которого с самого кончика носа свисал нарост, как у индюка.

— Не слыхал, не знаю,— отвечал человек с тройным подбородком и снова зевнул.

— Оставил их своей фирме, должно быть. *Мне* он их не оставил. Это-то уж я знаю доподлинно.

Шутка была встречена общим смехом.

— Похоже, пышных похорон не будет,— продолжал человек с подбородком.— Пропади я пропадом, если кто-нибудь придет его хоронить. Может, нам собраться компанией и показать пример?

— Что ж, если будут поминки, я не прочь,— отозвался джентльмен с наростом на носу.— За такой труд не грех и покормить.

Снова смех.

— Я, видать, бескорыстнее всех вас,— сказал человек с подбородком,— так как никогда не надеваю черных перчаток и никогда не завтракаю второй раз, но тем не менее готов пойти, если кто-нибудь присоединится. Ведь рассудить, так я, пожалуй, был самым близким его приятелем. Как-никак, а при встречах мы всегда останавливались потолковать. Ну, до завтра, господа.

Собеседники разошлись в разные стороны и смешались с другими группами дельцов, а Скрудж, который знал всех этих людей, вопросительно посмотрел на Духа. ожидая от него объяснения.

Призрак двинулся к выходу. Перст его указывал на улицу, где только что повстречались двое людей. Скрудж прислушался к их беседе, полагая, что здесь он найдет, наконец, объяснение всему.

Этих людей он тоже знал как нельзя лучше. Оба были дельцами, весьма богатыми и весьма влиятельными. Скрудж всегда очень дорожил их мнением о себе. С деловой точки зрения, разумеется. Исключительно с деловой точки зрения.

— Добрый день,— сказал один.

— Добрый день,— отвечал другой.

— Слыхали? — сказал первый.— Он попал-таки, наконец, черту в лапы.

— Да, слыхал,— отвечал другой.— Каков мороз!

— Самый рождественский. Вы не любитель покататься на коньках?

— Нет, нет. Мало у меня без того забот! Мое почтение!

Вот и все, ни слова больше. Встретились, потолковали и разошлись.

Поначалу Скрудж был несколько удивлен, что Дух может придавать значение такой пустой на первый взгляд беседе, но потом решил, что в словах этих людей заключен какой-то скрытый смысл, и принялся размышлять, что же это такое. Разговоры эти едва ли могли иметь отношение к смерти Джейкоба, его старого компаньона, так как то было делом Прошлого, а областью Духа было Будущее. Но о ком же они толковали? У него же нет ни близких, ни друзей. Однако, ни секунды не сомневаясь, что в этих речах заложен глубокий нравственный смысл, направленный на его благо, Скрудж решил сберечь в памяти своей, как драгоценнейший клад, все, что приведется ему увидеть или услышать, а прежде всего внимательно наблюдать за своим двойником, когда тот появится. Его собственное поведение в будущем даст, казалось ему, ключ ко всему происходящему и поможет разгадать все загадки.

Скрудж снова заглянул на Биржу, ища здесь своего двойника, но на его обычном месте стоял какой-то незнакомый человек. В этот час Скруджу полагалось уже быть на Бирже, однако он не нашел себя ни там, ни в

толпе, теснившейся у входа. Впрочем, это не очень его удивило. Он увидел в этом лишь доказательство того, что принятое им в душе решение — совершенно изменить свой образ жизни — осуществилось.

Черной безмолвной тенью стоял рядом с ним Призрак с простертой вперед рукой. Очнувшись от своих раздумий, Скрудж заметил, что рука Призрака протянута к нему, а Невидимый Взор,— как ему почудилось,— пронизывает его насквозь. Скрудж содрогнулся и почувствовал, что кровь леденеет у него в жилах.

Покинув это оживленное место, они углубились в глухой район трущоб, куда Скрудж никогда прежде не заглядывал, хотя знал, где расположен этот квартал и какой дурной пользуется он славой. Узкие, грязные улочки; жалкие домишки и лавчонки; едва прикрытый зловонным тряпьем, пьяный, отталкивающий в своем убожестве люд. Глухие переулки, подворотни, словно стоки нечистот, извергали в лабиринт кривых улиц свою вонь, свою грязь, свой блуд, и весь квартал смердел пороком, преступлениями, нищетой.

В самой гуще этих притонов и трущоб стояла лавка старьевщика — низкая и словно придавленная к земле односкатной крышей. Здесь за гроши скупали тряпки, старые жестянки, бутылки, кости и прочую ветошь и хлам. На полу лавчонки были свалены в кучу ржавые гвозди, ключи, куски дверных цепочек, задвижки, чашки от весов, сломанные пилы, гири и разный другой железный лом. Кучи подозрительного тряпья, комья тухлого сала, груды костей скрывали, казалось, темные тайны, в которые мало кому пришла бы охота проникнуть. И среди всех этих отбросов, служивших предметом купли-продажи, возле сложенной из старого кирпича печурки, где догорали угли, сидел седой мошенник, довольно преклонного возраста. Отгородившись от внешнего мира с его зимней стужей при помощи занавески из полуистлевших лохмотьев, развешенных на веревке, он удовлетворенно посасывал трубку и наслаждался покоем в тиши своего уединения.

Когда Скрудж, ведомый Призраком, приблизился к этому человеку, какая-то женщина с объемистым узлом в руках крадучись шмыгнула в лавку. Но едва она пере-

ступила порог, как в дверях показалась другая женщина тоже с какой-то поклажей, а следом за ней в лавку вошел мужчина в порыжелой черной паре, и все трое были в равной мере поражены, узнав друг друга. С минуту длилось общее безмолвное изумление, которое разделил и старьевщик, посасывавший свою трубку. Затем трое пришедших разразились смехом.

— Уж будьте покойны, поденщица всегда поспеет первой! — воскликнула та, что опередила остальных.— Ну а прачка уж будет второй, а посыльный гробовщика — третьим. Смотри-ка, старина Джо, какой случай! Ведь не сговариваясь сошлись, видал?

— Что ж, лучшего места для встречи вам бы и не сыскать,— отвечал старик Джо, вынимая трубку изо рта.— Проходите в гостиную. Ты-то, голубушка, уж давно свой человек здесь, да и эти двое тоже не чужие. Погодите, я сейчас притворю дверь. Ишь ты! Как скрипит! Во всей лавке, верно, не сыщется куска такого старого ржавого железа, как эти петли, и таких старых костей, как мои. Ха-ха-ха! Здесь все одно другого стоит, всем нам пора на свалку. Проходите в гостиную! Проходите в гостиную!

Гостиной называлась часть комнаты, за тряпичной занавеской. Старик сгреб угли в кучу старым металлическим прутом от лестничного ковра, мундштуком трубки снял нагар с чадившей лампы (время было уже позднее) и снова сунул трубку в рот.

Тем временем женщина, которая пришла первой, швырнула свой узел на пол, с нахальным видом плюхнулась на табуретку, уперлась кулаками в колени и вызывающе поглядела на тех, кто пришел после нее.

— Ну, в чем дело? Чего это вы уставились на меня, миссис Дилбер? — сказала она.— Каждый вправе позаботиться о себе. Он-то это умел.

— Что верно, то верно,— сказала прачка.— И никто не умел так, как он.

— А коли так, чего же ты стоишь и таращишь глаза, словно кого-то боишься? Никто же не узнает. Ворон ворону глаз не выклюет.

— Да уж, верно, нет! — сказали в один голос миссис Дилбер и мужчина.— Уж это так.

— Вот и ладно! — вскричала поденщица.— И хватит об этом. Подумаешь, велика беда, если они там недосчитаются двух-трех вещичек вроде этих вот. Покойника от этого не убудет, думается мне.

— И в самом деле,— смеясь, поддакнула миссис Дилбер.

— Ежели этот старый скряга хотел, чтобы все у него осталось в целости-сохранности, когда он отдаст богу душу,— продолжала поденщица,— почему он не жил как все люди? Живи он по-людски, уж, верно, кто-нибудь приглядел бы за ним в его смертный час, и не подох бы он так — один-одинешенек.

— Истинная правда! — сказала миссис Дилбер.— Это ему наказание за грехи.

— Эх, жалко, наказали-то мы его мало,— отвечала та.— Да, кабы можно было побольше его наказать, уж я бы охулки на руку не положила, верьте слову. Ну, ладно, развяжите-ка этот узел, дядюшка Джо, и назовите вашу цену. Говорите начистоту. Я ничего не боюсь — первая покажу свое добро. И этих не боюсь — пусть смотрят. Будто мы и раньше не знали, что каждый из нас прибирает к рукам, что может. Только я в этом греха не вижу. Развязывайте узел, Джо.

Но благородные ее друзья не пожелали уступить ей в отваге, и мужчина в порыжелом черном сюртуке храбро ринулся в бой и первым предъявил свою добычу. Она была невелика. Два-три брелока, вставочка для карандаша, пара запонок да дешевенькая булавка для галстука — вот, в сущности, и все. Старикашка Джо обследовал все эти предметы один за другим, оценил, проставил стоимость каждого мелом на стене и видя, что больше ждать нечего, подвел итог.

— Вот сколько вы получите,— сказал старьевщик,— и ни пенса больше, пусть меня сожгут живьем. Кто следующий?

Следующей оказалась миссис Дилбер. Она предъявила простыни и полотенца, кое-что из одежды, две старомодные серебряные ложечки, щипчики для сахара и несколько пар старых сапог. Все это также получило свою оценку мелом на стене.

— Дамам я всегда переплачиваю,— сказал стари-

кашка.— Это моя слабость. Таким-то манером я и разоряюсь. Вот сколько вам следует. Если попросите накинуть еще хоть пенни и станете торговаться, я пожалею, что был так щедр, и сбавлю полкроны.

— А теперь развяжите *мой* узел, Джо,— сказала поденщица.

Старикашка опустился на колени, чтобы удобнее было орудовать, и, распутав множество узелков, извлек довольно большой и тяжелый сверток какой-то темной материи.

— Что это такое? — спросил старьевщик.— Никак полог?

— Ну да,— со смехом отвечала женщина, покачиваясь на табурете.— Полог от кровати.

— Да неужто ты сняла всю эту штуку — всю, как есть, вместе с кольцами,— когда он еще лежал там?

— Само собой, сняла,— отвечала женщина.— А что такого?

— Ну, голубушка, тебе на роду написано нажить капитал,— заметил старьевщик.— И ты его наживешь.

— Скажите на милость, уж не ради ли этого скряги стану я отказываться от добра, которое плохо лежит,— невозмутимо отвечала женщина.— Не беспокойтесь, не на такую напали. Гляди, старик, не закапай одеяло жиром.

— Это его одеяло? — спросил старьевщик.

— А чье же еще? — отвечала женщина.— Теперь небось и без одеяла не простудится!

— А отчего он умер? Уж не от заразы ли какой? — спросил старик и, бросив разбирать вещи, поднял глаза на женщину.

— Не бойся,— отвечала та.— Не так уж приятно было возиться с ним, а когда б он был еще и заразный, разве бы я стала из-за такого хлама. Э, смотри, глаза не проглядн. Да можешь пялить их на эту сорочку, пока они не лопнут, тут не только что дырочки — ни одной обтрепанной петли не сыщется. Самая лучшая его сорочка. Из тонкого полотна. А кабы не я, так бы зря и пропала.

— Как это пропала? — спросил старьевщик.

— Да ведь напялили на него и чуть было в ней не похоронили,— со смехом отвечала женщина.— Не знаю,

какой дурак это сделал, ну а я взяла да и сняла. Уж если простой коленкор и для погребения не годится, так на какую же его делают потребу? Нет, для него это в самый раз. Гаже все равно не станет, во что ни обряди.

Скрудж в ужасе прислушивался к ее словам. Он смотрел на этих людей, собравшихся вокруг награбленного добра при скудном свете лампы, и испытывал такое негодование и омерзение, словно присутствовал при том, как свора непотребных демонов торгуется из-за трупа.

— Ха-ха-ха! — рассмеялась поденщица, когда старикашка Джо достал фланелевый мешочек, отсчитал несколько монет и разложил их кучками на полу — каждому его долю.— Вот как все вышло! Видали? Пока был жив, он всех от себя отваживал, будто нарочно, чтоб мы могли поживиться на нем, когда он упокоится. Ха-ха-ха!

— Дух! — промолвил Скрудж, дрожа с головы до пят.— Я понял, понял! Участь этого несчастного могла быть и моей участью. Все шло к тому... Боже милостивый, это еще что?

Он отпрянул в неизъяснимом страхе, ибо все изменилось вокруг и теперь он стоял у изголовья чьей-то кровати, едва не касаясь ее рукой. Стоял возле неприбранной кровати без полога, на которой под рваной простыней лежал кто-то, хотя и безгласный, но возвещавший о своей судьбе леденящим душу языком.

В комнате было темно, слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть, хотя Скрудж, повинуясь какому-то внутреннему побуждению, и озирался по сторонам, стараясь понять, где он находится. Только слабый луч света, проникавший откуда-то извне, падал прямо на кровать, где ограбленный, обездоленный, необмытый, неоплаканный, покинутый всеми — покоился мертвец.

Скрудж взглянул на Духа. Его неподвижная рука указывала на голову покойника. Простыня была так небрежно наброшена на труп, что Скруджу стоило чуть приподнять край — только пальцем пошевелить,— и он увидел бы лицо. Скрудж понимал это, жаждал это сделать, знал, как это легко, но был бессилен откинуть простыню — так же бессилен, как и освободиться от Призрака, стоящего за его спиной.

О Смерть, Смерть, холодная, жестокая, неумолимая Смерть! Воздвигни здесь свой престол и окружи его всеми ужасами, коими ты повелеваешь, ибо здесь твои владения! Но если этот человек был любим и почитаем при жизни, тогда над ним не властна твоя злая сила, и в глазах тех, кто любил его, тебе не удастся исказить ни единой черты его лица! Пусть рука его теперь тяжела и падает бессильно, пусть умолкло сердце и кровь остыла в жилах,— но эта рука была щедра, честна и надежна, это сердце было отважно, нежно и горячо, и в этих жилах текла кровь человека, а не зверя. Рази, Тень, рази! И ты увидишь, как добрые его деяния — семена жизни вечной — восстанут из отверстой раны и переживут того, кто их творил!

Кто произнес эти слова? Никто. Однако они явственно прозвучали в ушах Скруджа, когда он стоял перед покойником. И Скрудж подумал: если бы этот человек мог встать сейчас со своего ложа, что первое ожило бы в его душе? Алчность, жажда наживы, испепеляющие сердце заботы? Да, поистине славную кончину они ему уготовили!

Вот он лежит в темном пустом доме, и нет на всем свете человека — ни мужчины, ни женщины, ни ребенка — никого, кто мог бы сказать: «Этот человек был добр ко мне, и в память того, что как-то раз он сказал мне доброе слово, я теперь позабочусь о нем». Только кошка скребется за дверью, заслышав, как пищат под шестком крысы, пытаясь прогрызть себе лазейку. Что влечет этих тварей в убежище смерти, почему подняли они такую возню? Скрудж боялся об этом даже подумать.

— Дух! — сказал он.— Мне страшно. Верь мне — даже покинув это место, я все равно навсегда сохраню в памяти урок, который я здесь получил. Уйдем отсюда!

Но неподвижная рука по-прежнему указывала на изголовье кровати.

— Я понимаю тебя,— сказал Скрудж.— И я бы сделал это, если б мог. Но я не в силах, Дух. Не в силах!

И снова ему почудилось, что Призрак вперил в него взгляд.

— Если есть в этом городе хоть одна душа, которую эта смерть не оставит равнодушной,— вне себя от муки вскричал Скрудж,— покажи мне ее, Дух, молю тебя!

Черный плащ Призрака распростерся перед ним наподобие крыла, а когда он опустился, глазам Скруджа открылась освещенная солнцем комната, в которой находилась мать с детьми.

Мать, видимо, кого-то ждала — с тревогой, с нетерпением. Она ходила из угла в угол, вздрагивая при каждом стуке, поглядывала то на часы, то в окно, бралась за шитье и тотчас его бросала, и видно было, как донимают ее возгласы ребятишек, увлеченных игрой. Наконец раздался долгожданный стук, и она бросилась отворить дверь. Вошел муж. Он был еще молод, но истомленное заботой лицо его говорило о перенесенных невзгодах. Впрочем, сейчас оно хранило какое-то необычное выражение: казалось, он чему-то рад и вместе с тем смущен и тщетно пытается умерить эту радость.

Он сел за стол — обед уже давно ждал его у камина,— и когда жена после довольно длительного молчания нерешительно спросила его, какие новости, этот вопрос окончательно привел его в замешательство.

— Скажи только — хорошие или дурные? — спросила она снова, стараясь прийти ему на помощь.

— Дурные,— последовал ответ.

— Мы разорены?

— Нет, Кэрелайн, есть еще надежда.

— Да ведь это, если он смягчится! — недоумевающе ответила она.— Конечно, если такое чудо возможно, тогда еще не все потеряно.

— Смягчиться уже не в его власти,— отвечал муж.— Он умер.

Если внешность его жены не была обманчива,— то это было кроткое, терпеливое создание. Однако, услыхав слова мужа, она возблагодарила в душе судьбу и, всплеснув руками, открыто выразила свою радость. В следующую секунду она уже устыдилась своего порыва и пожалела о нем, но все же таково было первое движение ее сердца.

— Выходит, эта полупьяная особа сообщила мне истинную правду вчера, когда я пытался проникнуть к

нему и получить отсрочку на неделю,— помнишь, я рассказывал тебе. Я-то думал, что это просто отговорка, чтобы отделаться от меня. Но оказывается, он и в самом деле был тяжко болен. Более того — он умирал!

— Кому же должны мы теперь выплачивать долг?

— Не знаю. Во всяком случае, теперь мы успеем как-нибудь обернуться. А если и не успеем, то не может быть, чтобы наследник оказался столь же безжалостным кредитором, как покойный. Это была бы неслыханная неудача. Нет, мы можем сегодня заснуть спокойно, Кэрелайн!

Да, как бы ни пытались они умерить свою радость, у них отлегло от сердца. И у детей, которые, сбившись в кучку возле родителей, молча прислушивались к малопонятным для них речам, личики тоже невольно просветлели. Смерть человека принесла счастье в этот дом — вот что показал Дух Скруджу.

— Покажи мне другие, более добрые чувства, Дух, которые пробудила в людях эта смерть,— взмолился Скрудж,— или эта темная комната будет всегда неотступно стоять перед моими глазами.

И Дух повел Скруджа по улицам, где каждый булыжник был ему знаком, и по пути Скрудж все озирался по сторонам в надежде увидеть своего двойника, но так и не увидел его. И вот они вступили в убогое жилище Боба Крэтчита, которое Скруджу уже удалось посетить однажды, и увидали мать и детей, сидевших у очага.

Тишина. Глубокая тишина. Шумные маленькие Крэтчиты, сидят в углу безмолвные и неподвижные, как изваяния. Взгляд их прикован к Питеру, который держит в руках раскрытую книгу. Мать и дочь заняты шитьем. Но как они все молчаливы!

— И взяв дитя, поставил его посреди них! *

Где Скрудж еще раньше слыхал эти слова не в грезах, а наяву? А сейчас их, верно, прочел вслух Питер — в ту минуту, когда Скрудж и Дух переступали порог. Почему же он замолчал?

Мать положила шитье на стол и прикрыла глаза рукой.

— От черного глаза ломит,— сказала она.

От черного? Ах, бедный, бедный, Малютка Тим!

— Вот уже и полегчало,— сказала миссис Крэтчит.— Глаза слезятся от работы при свечах. Не хватало еще, чтобы ваш отец застал меня с красными глазами. Кажется, ему пора бы уже быть дома.

— Давно пора,— сказал Питер, захлопывая книгу.— Но знаешь, мама, последние дни он стал ходить как-то потише, чем всегда.

Все снова примолкли. Наконец мать сказала спокойным, ровным голосом, который всего лишь раз чуть-чуть дрогнул.

— А помнится, как быстро он ходил с Малюткой Тимом на плече.

— Да, и я помню! — вскричал Питер.— Я часто видел.

— И я видел! — воскликнул один из маленьких Крэтчитов, и дочери тоже это подтвердили.

— Да ведь он был как перышко! — продолжала мать, низко склонившись над шитьем.— А отец так его любил, что для него это совсем не составляло труда. А вот и он сам!

Она поспешила к мужу навстречу, и маленький Боб в своем неизменном шарфе — без него он бы продрог до костей, бедняга! — вошел в комнату. Чайник с чаем уже дожидался хозяина на очаге, и все наперебой стали наливать ему чай и ухаживать за ним. Затем двое маленьких Крэтчитов взобрались к отцу на колени, и каждый прижался щечкой к его щеке, как бы говоря: «Не печалься, папа! Не надо!»

Боб весело болтал с ребятишками и обменивался ласковыми словами со всеми членами своего семейства. Заметив лежавшее на столе шитье, он похвалил миссис Крэтчит и дочерей за прилежание и сноровку. Они закончат все куда раньше воскресенья, заметил он.

— Воскресенья? — А ты был там сегодня, Роберт? — спросила жена.

— Да, моя дорогая,— отвечал Боб.— И жалею, что ты не могла пойти. Тебе было бы отрадно поглядеть, как там все зелено. Но ты же будешь часто его навещать. А я обещал ему ходить туда каждое воскресенье. Сыночек мой, сыночек! — внезапно вскричал Боб.— Маленький мой! Крошка моя!

Слезы хлынули у него из глаз. Он не мог их сдержать. Слишком уж он любил сынишку, чтобы совладать с собой.

Он поднялся наверх — в ярко и весело освещенную комнату, разубранную зелеными ветвями остролиста. Возле постели ребенка стоял стул, и по всему видно было, что кто-то, быть может всего минуту назад, был здесь, сидел у этой кроватки... Бедняга Боб тоже присел на стул, посидел немного, погруженный в думу, и когда ему удалось справиться со своей скорбью, поцеловал маленькое личико. Он спустился вниз умиротворенный, покорившийся неизбежности.

Опять все собрались у огня, и потекла беседа. Мать и дочери снова взялись за шитье. Боб принялся рассказывать им о необыкновенной доброте племянника Скруджа, который и видел-то его всего-навсего один-единственный раз, но тем не менее сегодня, встретившись с ним на улице и заметив, что он немного расстроен,— ну просто самую малость приуныл, пояснил Боб,— стал участливо расспрашивать, что его так огорчило.

— Более приятного, обходительного господина я еще в жизни не встречал,— сказал Боб.— Ну, я тут же все ему и рассказал. «От всего сердца соболезную вам, мистер Крэтчит,— сказал он.— И вам и вашей доброй супруге». Кстати, откуда он *это-то* мог узнать, не понимаю.

— Что «это», мой дорогой?

— Да вот — что ты добрая супруга,— отвечал Боб.

— Кто ж этого не знает! — вскричал Питер.

— Правильно, сынок,— сказал Боб.— Все знают, думается мне. «От всего сердца соболезную вашей доброй супруге,— сказал он.— Если я могу хоть чем-нибудь быть вам полезен, прошу вас, приходите ко мне, вот мой адрес»,— сказал он и дал мне свою визитную карточку!

— И дело даже не в том, что он может чем-то нам помочь,— продолжал Боб.— Дело в том, что он был так добр,— вот что замечательно! Ну, прямо, будто он знал нашего Малютку Тима и горюет вместе с нами.

— По всему видно, что это добрая душа,— заметила миссис Крэтчит.

— А если б ты его видела, моя дорогая, да поговорила с ним, что бы ты тогда сказала! — отвечал Боб.—

Я ничуть не удивлюсь, если он пристроит Питера на какое-нибудь хорошее местечко, помяни мое слово.

— Ты слышишь, Питер! — сказала миссис Крэтчит.

— А тогда,— воскликнула одна из девочек,— Питер найдет себе невесту и обзаведется своим домом.

— Отвяжись,— ухмыльнулся Питер.

— Конечно, со временем это может случиться, моя дорогая,— сказал Боб.— Однако спешить, мне кажется, некуда. Но когда бы и как бы мы ни разлучились друг с другом, я уверен, что никто из нас не забудет нашего бедного Малютку Тима... не так ли? Не забудет этой первой разлуки в нашей семье.

— Никогда, отец! — воскликнули все в один голос.

— И я знаю,— продолжал Боб,— знаю, мои дорогие, что мы всегда будем помнить, как кроток и терпелив был всегда наш дорогой Малютка, и никогда не станем ссориться — ведь это значило бы действительно забыть его!

— Никогда, никогда, отец! —снова последовал дружный ответ.

— Я счастлив, когда слышу это,— сказал Боб.— Я очень счастлив.

Тут миссис Крэтчит поцеловала мужа, а за ней — и обе старшие дочки, а за ними — и оба малыша, а Питер потряс отцу руку. Малютка Тим! В твоей младенческой душе тлела святая господня искра!

— Дух,— сказал Скрудж.— Что-то говорит мне, что час нашего расставанья близок. Я знаю это, хотя мне и неведомо — откуда. Скажи, кто был этот усопший человек, которого мы видели?

Дух Будущих Святок снова повлек его дальше и, как показалось Скруджу, перенес в какое-то иное время (впрочем, последние видения сменяли друг друга без всякой видимой связи и порядка — их объединяло лишь то, что все они принадлежали будущему) и привел в район деловых контор, но и тут Скрудж не увидел себя. А Дух все продолжал увлекать его дальше, как бы к некоей твердо намеченной цели, пока Скрудж не взмолился, прося его помедлить немного.

— В этом дворе, через который мы так поспешно проходим,— сказал Скрудж,— находится моя контора.

Я работаю тут уже много лет. Вон она.— Покажи же мне, что ждет меня впереди!

Дух приостановился, но рука его была простерта в другом направлении.

— Этот дом здесь! — воскликнул Скрудж.— Почему же ты указываешь в другую сторону, Дух?

Неумолимый перст не дрогнул.

Скрудж торопливо шагнул к окну своей конторы и заглянул внутрь. Да, это по-прежнему была контора — только не его. Обстановка стала другой, и в кресле сидел не он. А рука Призрака все также указывала куда-то вдаль.

Скрудж снова присоединился к Призраку и, недоумевая — куда же он сам-то мог подеваться? — последовал за ним. Наконец они достигли какой-то чугунной ограды. Прежде чем ступить за эту ограду, Скрудж огляделся по сторонам.

Кладбище. Так вот где, должно быть, покоятся останки несчастного, чье имя предстоит ему, наконец, узнать. Нечего сказать, подходящее для него место упокоения! Тесное — могила к могиле,— сжатое со всех сторон домами, заросшее сорной травой — жирной, впитавшей в себя не жизненные соки, а трупную гниль. Славное местечко!

Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. Скрудж, трепеща, шагнул к ней. Ничто не изменилось в обличье Призрака, но Скрудж с ужасом почувствовал, что какой-то новый смысл открывается ему в этой величавой фигуре.

— Прежде чем я ступлю последний шаг к этой могильной плите, на которую ты указуешь,— сказал Скрудж,— ответь мне на один вопрос, Дух. Предстали ли мне призраки того, что будет, или призраки того, что может быть?

Но Дух все также безмолвствовал, а рука его указывала на могилу, у которой он остановился.

— Жизненный путь человека, если неуклонно ему следовать, ведет к предопределенному концу,— произнес Скрудж.— Но если человек сойдет с этого пути, то и конец будет другим. Скажи, ведь так же может измениться и то, что ты показываешь мне сейчас?



Но Призрак по-прежнему был безмолвен и неподвижен.

Дрожь пробрала Скруджа с головы до пят. На коленях он подполз к могиле и, следуя взглядом за указующим перстом Призрака, прочел на заросшей травой каменной плите свое собственное имя: *ЭБИНИЗЕР СКРУДЖ*.

— Так это был я — тот, кого видели мы на смертном одре? — возопил он, стоя на коленях.

Рука Призрака указала на него и снова на могилу.

— Нет, нет, Дух! О нет!

Рука оставалась неподвижной.

— Дух! — вскричал Скрудж, цепляясь за его подол.— Выслушай меня! Я уже не тот человек, каким был. И я уже не буду таким, каким стал бы, не доведись мне встретиться с тобой. Зачем показываешь ты мне все это, если нет для меня спасения!

В первый раз за все время рука Призрака чуть приметно дрогнула.

— Добрый Дух,— продолжал молить его Скрудж, распростершись перед ним на земле.— Ты жалеешь меня, самая твоя природа побуждает тебя к милосердию. Скажи же, что, изменив свою жизнь, я могу еще спастись от участи, которая мне уготована.

Благостная рука затрепетала.

— Я буду чтить рождество в сердце своем и хранить память о нем весь год. Я искуплю свое Прошлое Настоящим и Будущим, и воспоминание о трех Духах всегда будет живо во мне. Я не забуду их памятных уроков, не затворю своего сердца для них. О, скажи, что я могу стереть надпись с этой могильной плиты!

И Скрудж в беспредельной муке схватил руку Призрака. Призрак сделал попытку освободиться, но отчаяние придало Скруджу силы, и он крепко вцепился в руку. Все же Призрак оказался сильнее и оттолкнул Скруджа от себя.

Воздев руки в последней мольбе, Скрудж снова воззвал к Духу, чтобы он изменил его участь, и вдруг заметил, что в обличье Духа произошла перемена. Его капюшон и мантия сморщились, обвисли, весь он съежился и превратился в резную колонку кровати.

## СТРОФА ПЯТАЯ

### *Заключение*

Да! И это была колонка его собственной кровати, и комната была тоже его собственная. А лучше всего и замечательнее всего было то, что и Будущее принадлежало ему и он мог еще изменить свою судьбу.

— Я искуплю свое Прошлое Настоящим и Будущим! — повторил Скрудж, проворно вылезая из постели.— И память о трех Духах будет вечно жить во мне! О Джейкоб Марли! Возблагодарим же Небо и светлый праздник рождества! На коленях возношу я им хвалу, старина Джейкоб! На коленях!

Он так горел желанием осуществить свои добрые намерения и так был взволнован, что голос не повиновался ему, а лицо все еще было мокро от слез, ибо он рыдал навзрыд, когда старался умилостивить Духа.

— Он здесь! — кричал Скрудж, хватаясь за полог и прижимая его к груди.— Он здесь, и кольца здесь, и никто его не срывал! Все здесь... и я здесь... и да сгинут призраки того, что могло быть! И они сгинут, я знаю! Они сгинут!

Говоря так, он возился со своей одеждой, выворачивал ее наизнанку, надевал задом наперед, совал руку не в тот рукав, и ногу не в ту штанину,— словом, проделывал в волнении кучу всяких несообразностей.

— Сам не знаю, что со мной творится! — вскричал он, плача и смеясь и с помощью обвившихся вокруг него чулок превращаясь в некое подобие Лаокоона.— Мне так легко, словно я пушинка, так радостно, словно я ангел, так весело, словно я школьник! А голова идет кругом, как у пьяного! Поздравляю с рождеством, с веселыми святками всех, всех! Желаю счастья в Новом году всем, всем на свете! Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ура! Ой-ля-ля!

Он резво ринулся в гостиную и остановился, запыхавшись.

— Вот и кастрюлька, в которой была овсянка! — воскликнул он и снова забегал по комнате.— А вот через эту

дверь проникла сюда Тень Джейкоба Марли! А в этом углу сидел Дух Нынешних Святок! А за этим окном я видел летающие души. Все так, все на месте, и все это было, было! Ха-ха-ха!

Ничего не скажешь это был превосходный смех, смех, что надо,— особенно для человека, который давно уже разучился смеяться. И ведь это было только начало, только предвестие еще многих минут такого же радостного, веселого, задушевного смеха.

— Какой же сегодня день, какое число? — вопросил Скрудж.— Не знаю, как долго пробыл я среди Духов. Не знаю. Я ничего не знаю. Я как новорожденное дитя. Пусть! Не беда. Оно и лучше — быть младенцем. Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ой-ля-ля!

Его ликующие возгласы прервал церковный благовест. О, как весело звонили колокола! Динь-динь-бом! Динь-динь-бом! Дили-дили-дили! Дили-дили-дили! Бом-бом-бом! О, как чудесно! Как дивно, дивно!

Подбежав к окну, Скрудж поднял раму и высунулся наружу. Ни мглы, ни тумана! Ясный, погожий день. Колкий, бодрящий мороз. Он свистит в свою ледяную дудочку и заставляет кровь, приплясывая, бежать по жилам. Золотое солнце! Лазурное небо! Прозрачный свежий воздух! Веселый перезвон колоколов! О, как чудесно! Как дивно, дивно!

— Какой нынче день? — свесившись вниз, крикнул Скрудж какому-то мальчишке, который, вырядившись, как на праздник, торчал у него под окнами и глазел по сторонам.

— *ЧЕГО?* — в неописуемом изумлении спросил мальчишка.

— Какой у нас нынче день, милый мальчуган? — повторил Скрудж.

— Нынче? — снова изумился мальчишка.— Да ведь нынче *РОЖДЕСТВО!*

«Рождество! — подумал Скрудж.— Так я не пропустил праздника! Духи свершили все это в одну ночь. Они все могут, стоит им захотеть. Разумеется, могут. Разумеется».

— Послушай, милый мальчик!

— Эге? — отозвался мальчишка.

— Ты знаешь курятную лавку, через квартал отсюда, на углу? — спросил Скрудж.

— Ну как не знать! — отвечал тот.

— Какой умный ребенок! — восхитился Скрудж.— Изумительный ребенок! А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висела у них в окне? Не маленькую индюшку, а большую, премированную?

— Самую большую, с меня ростом?

— Какой поразительный ребенок! — воскликнул Скрудж.— Поговорить с таким одно удовольствие. Да, да, самую большую, постреленок ты этакий!

— Она и сейчас там висит,— сообщил мальчишка.

— Висит? — сказал Скрудж.— Так сбегай купи ее.

— Пошел ты! — буркнул мальчишка.

— Нет, нет, я не шучу,— заверил его Скрудж.— Поди купи ее и вели принести сюда, а я скажу им, куда ее доставить. Приведи сюда приказчика и получишь от меня шиллинг. А если обернешься в пять минут, получишь полкроны!

Мальчишка полетел стрелой, и, верно, искусна была рука, спустившая эту стрелу с тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды.

— Я пошлю индюшку Бобу Крэтчиту! — пробормотал Скрудж и от восторга так и покатился со смеху.— То-то он будет голову ломать — кто это ему прислал. Индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки Тима. Даже Джо Миллеру * никогда бы не придумать такой штуки,— послать индюшку Бобу!

Перо плохо слушалось его, но он все же нацарапал кое-как адрес и спустился вниз,— отпереть входную дверь. Он стоял, поджидая приказчика, и тут взгляд его упал на дверной молоток.

— Я буду любить его до конца дней моих! — вскричал Скрудж, поглаживая молоток рукой.— А ведь я и не смотрел на него прежде. Какое у него честное, открытое лицо! Чудесный молоток! А вот и индюшка! Ура! Гоп-ля-ля! Мое почтение! С праздником!

Ну и индюшка же это была — всем индюшкам индюшка! Сомнительно, чтобы эта птица могла когда-нибудь держаться на ногах — они бы подломились под ее тяжестью, как две соломинки.

— Ну нет, вам ее не дотащить до Кемден-Тауна,— сказал Скрудж.— Придется нанять кэб.

Он говорил это, довольно посмеиваясь, и, довольно посмеиваясь, уплатил за индюшку, и, довольно посмеиваясь, заплатил за кэб, и, довольно посмеиваясь, расплатился с мальчишкой и, довольно посмеиваясь, опустился, запыхавшись, в кресло и продолжал смеяться, пока слезы не потекли у него по щекам.

Побриться оказалось нелегкой задачей, так как руки у него все еще сильно тряслись, а бритье требует сугубой осторожности, даже если вы не позволяете себе пританцовывать во время этого занятия. Впрочем, отхвати Скрудж себе кончик носа, он преспокойно залепил бы рану пластырем и остался бы и тут вполне всем доволен.

Наконец, приодевшись по-праздничному, он вышел из дому. По улицам уже валом валил народ — совсем как в то рождественское утро, которое Скрудж провел с Духом Нынешних Святок, и, заложив руки за спину, Скрудж шагал по улице, сияющей улыбкой приветствуя каждого встречного. И такой был у него счастливый, располагающий к себе вид, что двое-трое прохожих, дружелюбно улыбнувшись в ответ, сказали ему:

— Доброе утро, сэр! С праздником вас!

И Скрудж не раз говаривал потом, что слова эти прозвучали в его ушах райской музыкой.

Не успел он отдалиться от дому, как увидел, что навстречу ему идет дородный господин — тот самый, что, зайдя к нему в контору в сочельник вечером, спросил:

— Скрудж и Марли, если не ошибаюсь?

У него упало сердце при мысли о том, каким взглядом подарит его этот почтенный старец, когда они сойдутся, но он знал, что не должен уклоняться от предначертанного ему пути.

— Приветствую вас, дорогой сэр,— сказал Скрудж, убыстряя шаг и протягивая обе руки старому джентльмену.— Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие? Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр!

— Мистер Скрудж?

— Совершенно верно,— отвечал Скрудж.— Это мое имя, но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно. Позвольте попросить у вас прощения. И вы меня очень обяжете, если... — Тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо.

— Господи помилуй! — вскричал джентльмен, разинув рот от удивления.— Мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите?

— Ни в коей мере,— сказал Скрудж.— И прошу вас, ни фартингом меньше. Поверьте, я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Можете вы оказать мне это одолжение?

— Дорогой сэр! — сказал тот, пожимая ему руку.— Я просто не знаю, как и благодарить вас, такая щедр...

— Прошу вас, ни слова больше,— прервал его Скрудж.— Доставьте мне удовольствие — зайдите меня проведать. Очень вас прошу.

— С радостью! — вскричал старый джентльмен, и не могло быть сомнения, что это говорилось от души.

— Благодарю вас,— сказал Скрудж.— Тысячу раз благодарю! Премного вам обязан. Дай вам бог здоровья!

Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартир и в подвальные окна кухонь, и все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когда-нибудь, что самая обычная прогулка — да и вообще что бы то ни было — может сделать его таким счастливым!

А когда стало смеркаться, он направил свои стопы к дому племянника.

Не раз и не два прошелся он мимо дома туда и обратно, не решаясь постучать в дверь. Наконец, собравшись с духом, поднялся на крыльцо.

— Дома хозяин? — спросил он девушку, открывшую ему дверь. Какая милая девушка! Прекрасная девушка!

— Дома, сэр.

— А где он, моя прелесть? — спросил Скрудж.

— В столовой, сэр, и хозяйка тоже. Позвольте, я вас провожу.

— Благодарю. Ваш хозяин меня знает,— сказал

Скрудж, уже взявшись за ручку двери в столовую.— Я пройду сам, моя дорогая.

Он тихонько повернул ручку и просунул голову в дверь. Хозяева в эту минуту обозревали парадно накрытый обеденный стол. Молодые хозяева постоянно бывают исполнены беспокойства по поводу сервировки стола и готовы десятки раз проверять, все ли на месте.

— Фред! — позвал Скрудж.

Силы небесные, как вздрогнула племянница! Она сидела в углу, поставив ноги на скамеечку, и Скрудж совсем позабыл про нее в эту минуту, иначе он никогда и ни под каким видом не стал бы так ее пугать.

— С нами крестная сила! — вскричал Фред.— Кто это?

— Это я, твой дядюшка Скрудж. Я пришел к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред?

Примет ли он дядюшку! Да он на радостях едва не оторвал ему напрочь руку. Через пять минут Скрудж уже чувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал.

Племянница выглядела совершенно так же, как в том видении, которое явилось ему накануне. То же самое можно было сказать и про Топпера, который вскоре пришел, и про пухленькую сестричку, которая появилась следом за ним, да и про всех, когда все были в сборе.

Ах, какой это был чудесный вечер! И какие чудесные игры! И какое чудесное единодушие во всем! Какое счастье!

А наутро, чуть свет, Скрудж уже сидел у себя в конторе. О да, он пришел спозаранок. Он горел желанием попасть туда раньше Боба Крэтчита и уличить клерка в том, что он опоздал на работу. Скрудж просто мечтал об этом.

И это ему удалось! Да, удалось! Часы пробили девять. Боба нет. Четверть десятого. Боба нет. Он опоздал ровно на восемнадцать с половиной минут. Скрудж сидел за своей конторкой, настежь распахнув дверь, чтобы видеть, как Боб проскользнет в свой чуланчик.

Еще за дверью Боб стащил с головы шляпу и размотал свой теплый шарф. И вот он уже сидел на табурете и с такой быстротой скрипел по бумаге пером, словно

хотел догнать и оставить позади ускользнувшие от него девять часов.

— А вот и вы! — проворчал Скрудж, подражая своему собственному вечному брюзжанию.— Как прикажете понять ваше появление на работе в этот час дня?

— Прошу прощения, сэр,— сказал Боб.— Я в самом деле немного опоздал!

— Ах, вот как! Вы опоздали? — подхватил Скрудж.— О да, мне тоже сдается, что вы опоздали. Будьте любезны, потрудитесь подойти сюда, сэр.

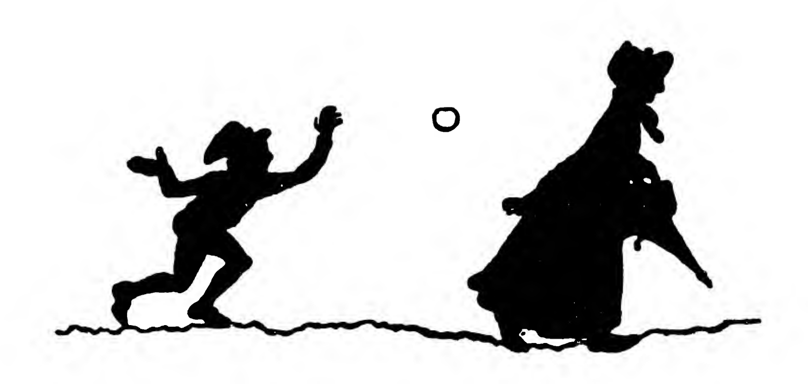
— Ведь это один-единственный раз за весь год, сэр,— жалобно проговорил Боб, выползая из своего чуланчика.— Больше этого не будет, сэр. Я позволил себе вчера немного повеселиться.

— Ну вот, что я вам скажу, приятель,— промолвил Скрудж.— Больше я этого не потерплю, а посему...— Тут он соскочил со стула и дал Бобу такого тумака под ложечку, что тот задом влетел обратно в свой чулан.— А посему,— продолжал Скрудж,— я намерен прибавить вам жалования!

Боб задрожал и украдкой потянулся к линейке. У него мелькнула было мысль оглушить Скруджа ударом по голове, скрутить ему руки за спиной, крикнуть караул и ждать, пока принесут смирительную рубашку.

— Поздравляю вас с праздником, Боб,— сказал Скрудж, хлопнув Боба по плечу, и на этот раз видно было, что он в полном разуме.— И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих святках, а то прежде вы по моей милости не очень-то веселились. Я прибавлю вам жалования и постараюсь что-нибудь сделать и для вашего семейства. Сегодня вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского глинтвейна, а сейчас, Боб Крэтчит, прежде чем вы нацарапаете еще хоть одну запятую, я приказываю вам сбегать купить ведерко угля да разжечь пожарче огонь.

И Скрудж сдержал свое слово. Он сделал все, что обещал Бобу, и даже больше, куда больше. А Малютке Тиму, который, к слову сказать, вскоре совсем поправился, он был всегда вторым отцом. И таким он стал добрым другом, таким тароватым хозяином, и таким щедрым человеком, что наш славный старый город может им только



гордиться. Да и не только наш — любой добрый старый город, или городишко, или селение в любом уголке нашей доброй старой земли. Кое-кто посмеивался над этим превращением, но Скрудж не обращал на них внимания — смейтесь на здоровье! Он был достаточно умен и знал, что так уж устроен мир,— всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию доброе дело. Он понимал, что те, кто смеется,— слепы, и думал: пусть себе смеются, лишь бы не плакали! На сердце у него было весело и легко, и для него этого было вполне довольно.

Больше он уже никогда не водил компании с духами,— в этом смысле он придерживался принципов полного воздержания,— и про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое! Про всех нас! А теперь нам остается только повторить за Малюткой Тимом: да осенит нас всех господь бог своею милостью!

# КОЛОКОЛА

*Рассказ о Духах церковных часов*

*Перевод* М. ЛОРИЕ

## ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Немного найдется людей,— а поскольку желательно с самого начала устранить возможные недомолвки между рассказчиком и читателем, я прошу отметить, что свое утверждение отношу не только к людям молодым или к малым детям, но ко всем решительно людям, детям и взрослым, старым и молодым, тем, что еще тянутся кверху, и тем, что уже растут книзу,— немного, повторяю, найдется людей, которые согласились бы спать в церкви. Я не говорю — в жаркий летний день, во время проповеди (такое иногда случалось), нет, я имею в виду ночью и в полном одиночестве. Я знаю, что при ярком свете дня такое мнение многим покажется до крайности удивительным. Но оно касается ночи. И обсуждать его следует ночью. И я ручаюсь, что сумею отстоять его в любую ветреную зимнюю ночь, выбранную для этого случая, в споре с любым из множества противников, который захочет встретиться со мною наедине на старом кладбище, у дверей старой церкви, предварительно разрешив мне — если требуется ему лишний довод — запереть его в этой церкви до утра.

Ибо есть у ночного ветра удручающая привычка рыскать вокруг такой церкви, испуская жалобные стоны, и невидимой рукой дергать двери и окна, и выискивать, в какую бы щель пробраться. Проникнув же внутрь и словно не найдя того, что искал, а чего он искал — неве-

домо, он воет, и причитает, и просится обратно на волю; мало того, что он мечется по приделам, кружит и кружит между колонн, задевает басы органа: нет, он еще взмывает под самую крышу и норовит разнять стропила; потом, отчаявшись, бросается вниз, на каменные плиты пола, и ворча заползает в склепы. И тут же тихонько вылезает оттуда и крадется вдоль стен, точно читая шепотом надписи в память усопших. Прочитав одни, он разражается пронзительным хохотом, над другими горестно стонет и плачет. А послушать его, когда он заберется в алтарь! Так и кажется, что он выводит там заунывную песнь о злодеяниях и убийствах, о ложных богах, которым поклоняются вопреки скрижалям Завета — с виду таким красивым и гладким, а на самом деле поруганным и разбитым. Ох, помилуй нас, господи, мы тут так уютно уселись в кружок у огня. Поистине страшный голос у полночного ветра, поющего в церкви!

А вверху-то, на колокольне! Вот где разбойник ветер ревет и свищет! Вверху, на колокольне, где он волен шнырять туда-сюда в пролеты арок и в амбразуры, завиваться винтом вокруг узкой отвесной лестницы, крутить скрипучую флюгарку и сотрясать всю башню так, что ее дрожь пробирает! Вверху, на колокольне, там, где вышка для звонарей и железные поручни изъедены ржавчиной, а свинцовые листы кровли, покоробившиеся от частой смены жары и холода, гремят и прогибаются, если ступит на них невзначай нога человека; где птицы прилепили свои растрепанные гнезда в углах между старых дубовых брусьев и балок; и пыль состарилась и поседела; и пятнистые пауки, разжиревшие и обленившиеся на покое, мерно покачиваются в воздухе, колеблемом колокольным звоном, и никогда не покидают своих домотканых воздушных замков, не лезут в тревоге вверх, как матросы по вантам, не падают наземь и потом не перебирают проворно десятком ног, спасая одну-единственную жизнь! Вверху на колокольне старой церкви, много выше огней и глухих шумов города и много ниже летящих облаков, бросающих на него свою тень,— вот где уныло и жутко в зимнюю ночь; и там вверху, на колокольне одной старой церкви, жили колокола, о которых я поведу рассказ.



То были очень старые колокола, уж вы мне поверьте. Когда-то давно их крестили епископы * — так давно, что свидетельство об их крещении потерялось еще в незапамятные времена и никто не знал, как их нарекли. Были у них крестные отцы и крестные матери (сам я, к слову сказать, скорее отважился бы пойти в крестные отцы к колоколу, нежели к младенцу мужского пола), и, наверно, каждый из них, как полагается, получил в подарок серебряный стаканчик. Но время скосило их восприемников, а Генрих Восьмой переплавил их стаканчики; * и теперь они висели на колокольне безыменные и бесстаканные.

Но только не бессловесные. Отнюдь нет. У них были громкие, чистые, заливистые, звонкие голоса, далеко разносившиеся по ветру. Да и не такие робкие это были кококола, чтобы подчиняться прихотям ветра: когда находила на него блажь дуть не в ту сторону, они храбро с ним боролись и все равно по-царски щедро дарили своим радостным звоном каждого, кому хотелось его услышать; известны случаи, когда в бурную ночь они решали во что бы то ни стало достигнуть слуха несчастной матери, склонившейся над больным ребенком, или жены ушедшего в плавание моряка, и тогда им удавалось наголову разбить даже северо-западного буяна, прямотаки расколошматить его, как выражался Тоби Вэк; ибо, хотя обычно его называли Трухти Вэк, настоящее его имя было Тоби, и никто не мог переименовать его (кроме как в Тобиаса) без особого на то постановления парламента: ведь в свое время над ним, так же как над колоколами, совершили по всем правилам обряд крещения, пусть и не столь торжественно и не при столь громких кликах народного ликования.

Должен признаться, что я лично разделяю суждение Тоби Вэка — уж кто-кто, а он-то имел полную возможность составить себе правильное суждение на этот счет. Что утверждал Тоби Вэк, то утверждаю и я. И я всегда готов постоять за него, хотя стоять-то ему приходилось, да еще целыми днями (и очень тоскливое это было занятие) как раз перед дверью церкви. Дело в том, что Тоби Вэк был рассыльным, и именно здесь он дожидался поручений.

А каково дожидаться в таком месте в зимнее время, когда тебя просвистывает насквозь, и весь покрываешься гусиной кожей, и нос синеет, а глаза краснеют, и стынут ноги, и зуб на зуб не попадает,— это Тоби Вэк знал как нельзя лучше. Ветер — особенно восточный — налетал из-за угла с такой яростью, словно затем только и принесся с того конца света, чтобы поизмываться над Тоби. И нередко казалось, что он сгоряча проскакивал дальше, чем следует, потому что, выметнувшись из-за угла и миновав Тоби, он круто поворачивал обратно, словно восклицая: «Ах, вот он где!» — и тот же час куцый белый фартук Тоби вскидывало ему на голову (так задирают курточку напроказившему мальчишке), жиденькая тросточка начинала беспомощно трепыхаться в его руке, ноги выписывали самые невероятные кренделя, а всего Тоби, накренившегося к земле, крутило то вправо то влево, и так швыряло и било, и трепало и дергало, и мотало и поднимало в воздух, что еще немножко — и показалось бы настоящим чудом, почему он не взлетает под облака — как то бывает иногда со скопищами лягушек, улиток и прочих легковесных тварей — и не проливается дождем, к великому удивлению местных жителей, на какой-нибудь отдаленный уголок земли, где в глаза не видали рассыльных.

Но ветреные дни, хотя Тоби в эти дни и доставалось так немилосердно, все же были для него почти праздниками. Честное слово. Ему казалось, что в такие дни время идет быстрее и не так долго приходится ждать шестипенсовика; когда он бывал голоден и удручен, необходимость бороться с озорной стихией развлекала его и подбадривала. Мороз или, скажем, снег — это тоже было для него развлечение; он даже считал, что они ему на пользу, хотя в каком именно смысле на пользу, это он вряд ли сумел бы объяснить. Но так или иначе, ветер, мороз и снег, да еще, пожалуй, хороший крупный град приятно разнообразили жизнь Тоби Вэка.

Мокреть — вот что было хуже всего,— холодная, липкая мокреть, которая окутывала его, точно отсыревшая шинель,— другой шинели у него и не было, а без этой он предпочел бы обойтись! Мокрые дни, когда с неба неспешно и упорно сеял частый дождь, когда улица, так

же как Тоби, давилась и захлебывалась туманом; когда от бесчисленных зонтов валил пар и, сталкиваясь на тесном тротуаре, они кружились, точно волчки, прыская во все стороны ледяными струйками; когда вода бурлила в сточных канавах и шумела в переполненных желобах; когда с карнизов и выступов церкви кап-кап-капало на Тоби и тонкая подстилка из соломы, на которой он стоял, мгновенно превращалась в грязное месиво,— вот это были поистине тяжелые дни. Тогда-то, и только тогда, можно было увидеть, как мрачнело и вытягивалось лицо у Тоби, тревожно выглядывавшего из своего укрытия в уголке церковной стены — укрытия до того жалкого, что тень, которую оно летом отбрасывало на залитую солнцем панель, была не шире тросточки. Но стоило Тоби, отойдя от стены, раз десять протрусить взад-вперед по тротуару, чтобы немножко согреться, как он, даже в такие дни, снова веселел и повеселевший возвращался в свое убежище.

Трухти его прозвали за его любимый аллюр, усвоенный им для большей скорости, хотя и не дававший ее. Шагом он, возможно, передвигался бы быстрее; даже наверно так; но если бы отнять у Тоби его трусцу, он тут же слег бы и умер. Из-за нее он в мокрую погоду бывал весь забрызган грязью; она причиняла ему уйму хлопот; ходить шагом было бы ему несравненно легче; но отчасти поэтому он и трусил рысцой с таким упорством. Щуплый, слабосильный старик, по своим намерениям Тоби был настоящим Геркулесом. Он не любил получать деньги даром. Мысль, что он честно зарабатывает свой хлеб, доставляла ему огромное удовольствие, а отказываться от удовольствий при его бедности было ему не по средствам. Когда в руки ему попадало письмо или пакет, за доставку которого он получал шиллинг, а то и полтора, его мужество, и без того не малое, еще возрастало. Он пускался трусить по улице, покрикивая быстроногим почтальонам, шагавшим впереди, чтобы они посторонились, ибо он свято верил, что непременно, рано или поздно, нагонит их, а потом и обгонит; и столь же твердо было его убеждение — не часто, впрочем, подвергавшееся проверке,— что он может донести любую тяжесть, какую вообще способен поднять человек.

Итак, даже выбираясь из своего уголка, чтобы погреться в дождливый день, Тоби трусил. Своими дырявыми башмаками прокладывая на слякоти ломаную линию мокрых следов; согнув ноги в коленях, засунув тросточку под мышку, дуя на озябшие руки и крепко их потирая, потому что очень уж плохо защищали их от холода поношенные серые шерстяные рукавицы, в которых отдельная комнатка отведена была только большому пальцу, а остальные помещались в общей зале,— Тоби трусил и трусил. И сходя с панели на мостовую, чтобы посмотреть вверх на звонницу, когда заводили свою музыку колокола, Тоби тоже передвигался трусцой.

Последнее из упомянутых передвижений Тоби совершал по нескольку раз на дню: ведь колокола были его друзьями, и когда он слышал их голоса, ему всегда хотелось взглянуть на их жилище и подумать о том, как их там раскачивают и какие по ним бьют языки. Может, они еще потому его так интересовали, что было между ними и им самим много общего. Они висели на своем месте в любую погоду, под дождем и ветром; окружающие церковь дома они видели только снаружи; никогда не приближались к жаркому огню каминов, бросавшему отблески на оконные стекла и клубами дыма вырывавшемуся из труб; и могли только издали поглядывать на разные вкусные вещи, которые хозяева и мальчики из магазинов знай вручали толстым кухаркам то с парадного хода, то во дворике у кухонной двери. В окнах появлялись и снова исчезали лица — иногда красивые лица, молодые, приветливые, иногда наоборот,— но откуда они появляются и куда исчезают, и бывает ли хоть раз в году, чтобы обладатели этих лиц, когда шевелят губами, сказали про него доброе слово,— обо всем этом Тоби (хотя он часто раздумывал о таких пустяках, стоя без дела на улице) знал не больше, чем колокола на своей колокольне.

Тоби не был казуистом — во всяком случае, не знал за собой такого греха,— и я не хочу сказать, что когда он только заинтересовался колоколами и из редких нитей своего первоначального знакомства с ними стал сплетать более прочную и плотную ткань, то перебрал одно за другим все эти соображения или мысленно устроил им тор-

жественный смотр. А хочу я сказать — и сейчас скажу,— что подобно тому как различные части тела Тоби, например, его пищеварительные органы, достигали известной цели самостоятельно, посредством множества действий, о которых он понятия не имел и которые, доведись ему узнать о них, чрезвычайно бы его удивили,— так и мозг Тоби, без его ведома и соучастия, привел в движение все эти пружины и колесики, да еще тысячи других в придачу, и таким образом породил его симпатию к колоколам.

Я мог бы даже сказать — любовь, и это не было бы оговоркой, хотя далеко не точно определяло бы очень сложное чувство Тоби. Ибо он, будучи сам человеком простым, наделял колокола загадочным и суровым нравом. Они были такие таинственные — слышно их часто, а видеть не видно; так высоко было до них, и так далеко, и такие они таили в себе звучные и мощные напевы, что он чувствовал к ним какой-то благоговейный страх; и порой, глядя вверх на темные стрельчатые окна башни, он бывал готов к тому, что его вот-вот поманит оттуда нечто — не колокол, нет, но то, что ему так часто слышалось в колокольном звоне. И, однако же, Тоби с негодованием отвергал вздорный слух, будто на колокольне водятся привидения,— ведь это значило бы, что колокола сродни всякой нечисти. Словом, они очень часто звучали у него в ушах, и очень часто присутствовали в его мыслях, но всегда были у него на хорошем счету; и очень часто, заглядевшись с разинутым ртом на верхушку колокольни, где они висели, он так сворачивал себе шею, что ему приходилось лишний раз протрусить взад-вперед, чтобы вернуть ее в прежнее положение.

Этим-то он и занимался однажды, холодным зимним днем, когда отзвук последнего из ударов, только что возвестивших полдень, сонно гудел под сводами башни как огромный музыкальный шмель.

— Время обедать,— сказал Тоби, труся взад-вперед мимо дверей церкви.

Нос у Тоби был ярко-красный, и веки ярко-красные, а плечи его находились в очень близком соседстве с ушами, а ноги совсем не желали гнуться, и вообще он, видимо, уже давно забыл, когда ему было тепло.

— Время обедать, а? — повторил Тоби, пользуясь своей правой рукавицей в качестве, так сказать, боксерской перчатки и колотя собственную грудь за то, что она озябла. — Нда-а.

После этого он минуты две трусил молча.

— Нет ничего на свете...— заговорил он снова, но тут же остановился как вкопанный и, выразив на лице неподдельный интерес и некоторую тревогу, стал тщательно, снизу доверху, ощупывать свой нос. Нос был пустячный, и, чтобы ощупать его, не потребовалось много времени.

— А я уж думал, он куда девался,— сказал Тоби, вновь пускаясь трусить по панели.— Нет, весь тут, сердешный. Да и вздумай он сбежать, я бы, ей-ей, не стал винить его. Служба у него в холодную погоду трудная, и надеяться особенно не на что — я ведь табак не нюхаю. Ему, бедняге, и во всякую-то погоду приходится несладко: если в кои веки и учует вкусный запах, то скорей всего запах чужого обеда, который несут из пекарни.

Мысль эта напомнила ему про другую, оставшуюся незаконченной.

— Нет ничего на свете,— сказал Тоби,— столь постоянного, как время обеда, и нет ничего на свете столь непостоянного, как обед. В этом и состоит большое различие между тем и другим. Не сразу я до этого додумался. Интересно знать, может быть какой-нибудь джентльмен решил бы, что такое открытие стоит купить для газетной статьи? Или для парламентской речи?

Тоби, конечно, шутил,— он тут же устыдился и с укором покачал головой.

— О, господи,— сказал Тоби,— газеты и без того полным-полны открытий, и парламент тоже. Взять хоть газету от прошлой недели,— он извлек из кармана замызганный листок и поглядел на него, держа в вытянутой руке,— полным-полно открытий! Сплошные открытия! Я, как и всякий человек, люблю узнавать новости,— медленно проговорил Тоби, еще раз перегибая листок пополам и засовывая его обратно в карман,— но последнее время газеты читать — одно расстройство. Даже страх берет. Просто не знаю, до чего мы, бедняки, дойдем. Дай бог, чтобы дошли до чего-нибудь хорошего в новом году, благо он наступает!

— Отец! Да отец же! — произнес ласковый голос у него над ухом.

Тоби ничего не слышал, он продолжал трусить взад-вперед, погруженный в свои мысли и разговаривая сам с собою.

— Выходит, будто мы всегда не правы, и оправдать нас нечем, и исправить нас невозможно,— сказал Тоби.— Сам-то я неученый, где уж мне разобраться, имеем мы право жить на земле или нет. Иной раз думается, что какое-никакое, а все-таки имеем, а иной раз думается, что мы здесь лишние. Бывает, до того запутаешься, что даже не можешь понять, есть в нас хоть что-нибудь хорошее, или мы так и родимся дурными. Выходит, будто мы ведем себя ужасно, будто мы всем доставляем кучу хлопот; вечно на нас жалуются, кого-то от нас предостерегают. Так ли, этак ли, а в газетах только о нас и пишут. Опять же новый год,— сказал Тоби сокрушенно.— Вообще-то я могу перенести любую беду не хуже другого, даже лучше, потому что я сильный как лев, а это не про всякого скажешь,— но что если мы и в самом деле не имеем права на новый год... что если мы и в самом деле лишние...

— Отец! Да отец же! — повторил ласковый голос.

На этот раз Тоби услышал; вздрогнул; остановился; изменил направление своего взгляда, который перед тем был устремлен куда-то вдаль, словно искал ответа в самом сердце наступающего года,— и тогда оказалось, что он стоит лицом к лицу со своей родной дочерью и смотрит ей прямо в глаза.

И какие же ясные это были глаза — просто чудо! Глаза, в которые сколько ни гляди, не измерить их глубины. Темные глаза, которые в ответ на любопытный взгляд не сверкали своенравным огнем, но струили тихое, честное, спокойное, терпеливое сияние — сродни тому свету, которому повелел быть творец. Глаза прекрасные, и правдивые, и полные надежды — надежды столь молодой и невинной, столь бодрой, светлой и крепкой (хотя они двадцать лет видели перед собой только труд и бедность), что для Тоби Вэка они превратились в голос и сказали: «По-моему, какое-никакое, а все-таки право жить на земле мы имеем!»



Тоби поцеловал губы, которые возникли перед ним одновременно с этими глазами, и сжал цветущее личико между ладоней.

— Голубка моя,— сказал Тоби.— Что случилось? Я не думал, что ты сегодня придешь, Мэг.

— Я и сама не думала, что приду, отец,— воскликнула девушка, кивая головкой и улыбаясь.— А вот пришла. Да еще и принесла кое-что.

— Это как же,— начал Тоби, с интересом поглядывая на корзинку с крышкой, которую она держала в руке,— ты хочешь сказать, что ты...

— Понюхай, милый,— сказала Мэг.— Ты только понюхай!

Тоби на радостях уже готов был приподнять крышку, но Мэг проворно отвела его руку.

— Нет, нет, нет,— сказала она, веселясь, как ребенок.— Надо растянуть удовольствие. Я приподниму только краешек, са-амый краешек,— и она так и сделала, очень осторожно, и понизила голос, точно опасаясь, что ее услышат из корзинки.— Вот так. Теперь нюхай. Что это?

Тоби всего разок шмыгнул носом над корзинкой и воскликнул в упоении:

— Да оно горячее!

— Еще какое горячее! — подхватила Мэг.— Ха-ха-ха! С пылу с жару!

— Ха-ха-ха! — покатился Тоби и даже подрыгал ногой.— С пылу с жару!

— Ну, а что это, отец? — спросила Мэг.— Ведь ты еще не угадал, что это. А ты должен угадать. Пока не угадаешь, не дам, и не надейся. Ты не спеши! Погоди минутку! Приоткроем еще немножечко. Ну, угадывай.

Мэг ужасно боялась, как бы он не отгадал слишком быстро; она даже отступила на шаг, протягивая к нему корзинку; и передернула круглыми плечиками; и заткнула пальцами ухо, точно этим могла помешать верному слову сорваться с языка Тоби; и все время тихонько смеялась.

А Тоби между тем, упершись руками в колени, пригнулся носом к корзинке и глубокомысленно потянул в себя воздух; и тут по морщинистому его лицу расплылась улыбка, словно он вдохнул веселящего газа.

— Пахнет очень вкусно,— сказал Тоби.— Это не... это, часом, не кровяная колбаса?

— Нет, нет, нет! — в восторге закричала Мэг.— Ничего похожего!

— Нет,— сказал Тоби, снова принюхиваясь.— Пахнет словно бы нежнее, чем кровяная колбаса. Очень хорошо пахнет. С каждой минутой все лучше. Но для бараньих ножек запах слишком крепкий. Верно?

Мэг ликовала: ничто не могло быть дальше от истины, чем бараньи ножки,— кроме разве кровяной колбасы.

— Легкое? — сказал Тоби, совещаясь сам с собой.— Нет. Тут чувствуется что-то этакое масляное, что с легким не вяжется. Свиные ножки? Нет, у тех запах слабее. А петушиные головы опять же пахнут пронзительнее. Не сосиски, нет. Я тебе скажу, что это. Это потроха!

— А вот и нет! — крикнула Мэг, торжествуя.— А вот и нет!

— Э, да что же это я! — сказал Тоби, внезапно выпрямляясь, насколько это было для него возможно.— Я, наверно, скоро собственное имя забуду. Это рубцы!

Он угадал; и Мэг, сияя от радости, заверила его, что таких замечательных тушеных рубцов еще не бывало на свете,— сейчас он и сам в этом убедится.

— Расстелем-ка мы скатерть,— сказала Мэг, усердно хлопоча над корзинкой.— Ведь рубцы у меня в миске, а миску я завязала в платок; и если я решила раз в жизни загордиться, и расстелить его вместо скатерти, и назвать его скатертью, никакой закон мне этого не запретит, верно, отец?

— Словно бы и так, голубка,— отвечал Тоби.— Но они, знаешь ли, то и дело откапывают новые законы.

— Да, и как сказал тот судья — помнишь, я тебе читала недавно из газеты? — нам, беднякам, все эти законы надлежит знать. Ха-ха-ха! Нужно же такое выдумать! Ой, господи, какими умными они нас считают!

— Верно, дочка! — воскликнул Тоби.— И если б кто из нас вправду знал все законы, как бы они его жаловали! Такой человек просто разжирел бы, столько у него было бы работы, и все важные господа в округе водили бы с ним знакомство. Право слово!

— И он бы с аппетитом пообедал, если б от его обеда так вкусно пахло,— весело закончила Мэг.— Ты не мешкай, потому что тут есть еще горячая картошка и полпинты пива в бутылке, только что из бочки. Тебе где накрывать, отец? На тумбе или на ступеньках? Фу-ты ну-ты, какие мы важные! Даже выбирать можем.

— Сегодня на ступеньках, родная,— сказал Тоби.— В сухую погоду — на ступеньках. В мокрую — на тумбе. На ступеньках-то оно удобнее, потому как там можно обедать сидя; но в сырость от них ревматизм разыгрывается.

— Ну, милости прошу,— хлопая в ладоши, сказала Мэг.— Все готово. Красота, да и только. Иди, отец, иди.

С тех пор как содержимое корзинки перестало быть тайной, Тоби стоял и смотрел на дочь, да и говорил тоже, с каким-то рассеянным видом, ясно показывающим, что, хоть она и занимала безраздельно его мысли, вытеснив из них даже рубцы, он видел ее не такой, какою она была в это время, но смутно рисовал себе трагическую картину ее будущего. Он уже готов был горестно тряхнуть головой, но вместо этого сам встряхнулся, словно разбуженный ее бодрым окликом, и послушно затрусил к ней. Только он собрался сесть, как зазвонили колокола.

— Аминь! — сказал Тоби, снимая шляпу и глядя вверх, откуда раздавался звон.

— Аминь колоколам, отец? — воскликнула Мэг.

— Это вышло, как молитва перед едой,— сказал Тоби, усаживаясь.— Они, если бы могли, наверняка прочитали бы хорошую молитву. Недаром они со мной так славно разговаривают.

— Это колокола-то! — рассмеялась Мэг, ставя перед ним миску с ножом и вилкой.— Ну и ну!

— Так мне кажется, родная,— сказал Трухти, с великим усердием принимаясь за еду.— А разве это не все едино? Раз я их слышу, так ведь неважно, говорят они или нет. Да что там, милая,— продолжал Тоби, указывая вилкой на колокольню и заметно оживляясь под воздействием обеда,— я сколько раз слышал, как они говорят: «Тоби Вэк, Тоби Вэк, не печалься, Тоби! Тоби Вэк, Тоби Вэк, не печалься, Тоби!» Миллион раз? Нет, больше.

— В жизни такого не слыхивала! — вскричала Мэг.

Неправда, слыхивала, и очень часто,— ведь у Тоби это была излюбленная тема.

— Когда дела идут плохо,— сказал Тоби,— то есть совсем плохо, так что хуже некуда, тогда они говорят: «Тоби Вэк, Тоби Вэк, жди, работа будет! Тоби Вэк, Тоби Вэк, жди, работа будет!» Вот так.

— И в конце концов работа для тебя находится,— сказала Мэг, и в ласковом ее голосе прозвучала грусть.

— Обязательно,— простодушно подтвердил Тоби.— Не было случая, чтобы не нашлась.

Пока происходил этот разговор, Тоби прилежно расправлялся с сочным блюдом, стоявшим перед ним,— он резал и ел, резал и пил, резал и жевал, и кидался от рубцов к горячей картошке и от горячей картошки к рубцам с неслабеющим, почти набожным рвением. Но вот он окинул взглядом улицу — на тот случай, если бы кому-нибудь вздумалось позвать из окна или двери рассыльного,— и на обратном пути взгляд его упал на Мэг, которая сидела напротив него, скрестив руки и наблюдая за ним со счастливой улыбкой.

— Господи, прости меня! — сказал Тоби, роняя нож и вилку.— Голубка моя! Мэг! Что же ты мне не скажешь, какой я негодяй?

— О чем ты, отец?

— Сижу,— стал покаянно объяснять Тоби,— ем, нажираюсь, уплетаю за обе щеки, а ты, моя бедная, и кусочка не проглотила и глядишь, точно тебе и не хочется, а ведь...

— Да я проглотила, отец, и не один кусочек,— смеясь, перебила его дочь.— Я уже пообедала.

— Вздор,— отрезал Тоби.— Пообедала и еще мне принесла? Два обеда в один день — этого быть не может. Ты бы еще сказала, что наступят сразу два новых года или что я всю жизнь храню золотой и даже не разменял его.

— А все-таки, отец, я пообедала,— сказала Мэг, подходя к нему поближе.— И если ты будешь есть, я тебе расскажу, как пообедала, и где; и откуда взялся обед для тебя; и... и еще кое-что в придачу.

Тоби, казалось, все еще сомневался; но она поглядела на него своими ясными глазами и, положив руку ему на

плечо, сделала знак поторопиться, пока мясо не остыло. Тогда он снова взял нож и вилку и принялся за еду. Но ел он теперь гораздо медленнее и покачивал головой, словно был очень собой недоволен.

— А я, отец,— начала Мэг после минутного колебания,— я обедала... с Ричардом. Его сегодня рано отпустили пообедать, и он, когда зашел навестить меня, принес свой обед с собой, ну мы... мы и пообедали вместе.

Тоби отпил пива и причмокнул губами. Потом, видя, что она ждет, сказал: «Вот как?»

— И Ричард говорит, отец...— снова начала Мэг и умолкла.

— Что же он говорит? — спросил Тоби.

— Ричард говорит, отец...— Снова молчание.

— Долгонько Ричард собирается с мыслями,— сказал Тоби.

— Он говорит, отец,— продолжала Мэг, подняв, наконец, голову и вся дрожа, но уже больше не сбиваясь,— что вот и еще один год прошел, и есть ли смысл ждать год за годом, раз так мало вероятия, что мы когда-нибудь станем богаче? Он говорит, отец, что сейчас мы бедны, и тогда будем бедны, но сейчас мы молоды, а не успеем оглянуться — и станем старые. Он говорит, что если мы — в нашем-то положении — будем ждать до тех пор, пока ясно не увидим свою дорогу, то это окажется очень узкая дорога... общая для всех... дорога к могиле, отец.

Чтобы отрицать это, потребовалось бы куда больше смелости, чем ее было у Трухти Вэка. Трухти промолчал.

— А как тяжело, отец, состариться и умереть, и думать перед смертью, что мы могли бы быть друг другу радостью и поддержкой! Как тяжело всю жизнь любить друг друга и порознь горевать, глядя, как другой работает, и меняется год от году, и старится, и седеет. Даже если б я когда-нибудь успокоилась и забыла его (а этого никогда не будет), все равно, отец, как тяжело дожить до того, что любовь, которой сейчас полно мое сердце, уйдет из него, капля за каплей, и не о чем будет даже вспомнить — ни одной счастливой минуты, какие выпадают женщине на долю, чтобы ей в старости утешаться, вспоминая их, и не озлобиться!

Трухти сидел тихо-тихо. Мэг вытерла глаза и заговорила веселее, то есть когда смеясь, когда плача, а когда смеясь и плача одновременно:

— Вот Ричард и говорит, отец, что раз он со вчерашнего дня на некоторое время обеспечен работой, и раз я его люблю уже целых три года — на самом-то деле больше, только он этого не знает,— так не пожениться ли нам в день Нового года; он говорит, что это из всего года самый лучший, самый счастливый день, такой день наверняка должен принести нам удачу. Конечно, времени осталось очень мало, но ведь я не знатная леди, отец, мне о приданом не заботиться, подвенечного платья не шить, верно? Это все Ричард сказал, да так серьезно и убедительно, и притом так ласково и хорошо, что я решила — пойду поговорю с тобой, отец. А раз мне сегодня утром заплатили за работу (совершенно неожиданно!), а ты всю неделю недоедал, а мне так хотелось, чтобы этот день, такой счастливый и знаменательный для меня, отец, и для тебя тоже стал бы вроде праздника, я и подумала — приготовлю чего-нибудь повкуснее и принесу тебе, сюрпризом.

— А ему и горя мало, что сюрприз-то остыл! — произнес новый голос.

Чей голос? Да того самого Ричарда: ни отец, ни дочь не заметили, как он подошел, и теперь он стоял перед ними и поглядывал на них, а лицо у него все светилось, как то железо, по которому он каждый день бил своим тяжелым молотом. Красивый он был парень, ладный и крепкий, глаза сверкающие, как докрасна раскаленные брызги, что летят из горна; черные волосы, кольцами вьющиеся у смуглых висков; а улыбка... увидев эту улыбку, всякий понял бы, почему Мэг так расхваливала его красноречие.

— Ему и горя мало, что сюрприз остыл! — сказал Ричард.— Мэг, видно, не угадала, чем его порадовать. Где уж ей!

Трухти немедля протянул Ричарду руку и только хотел обратиться к нему с самым горячим выражением радости, как вдруг дверь у него за спиной распахнулась и высоченный лакей чуть не наступил на рубцы.

— А ну, дайте дорогу! Непременно вам нужно рас-

сесться на нашем крыльце! Хоть бы разок для смеху пошли к соседям! Уберетесь вы с дороги или нет?

Последнего вопроса он, в сущности, мог бы и не задавать,— они уже убрались с дороги.

— Что такое? Что такое? — И джентльмен, ради которого старался лакей, вышел из дому той легко-тяжелой поступью, являющей как бы компромисс между иноходью и шагом, какой и подобает выходить из собственного дома почтенному джентльмену в летах, носящему сапоги со скрипом, часы на цепочке и чистое белье: нисколько не роняя своего достоинства и всем своим видом показывая, что его ждут важные денежные дела.— Что такое? Что такое?

— Ведь просишь вас по-хорошему, на коленях умоляешь, не суйтесь вы на наше крыльцо,— выговаривал лакей Тоби Вэку.— Так чего же вы сюда суетесь? Неужели нельзя не соваться?

— Ну, довольно,— сказал джентльмен.— Эй, рассыльный! — И он поманил к себе Тоби Вэка.— Подойдите сюда. Это что? Ваш обед?

— Да, сэр,— сказал Тоби, успевший между тем поставить миску в уголок у стены.

— Не прячьте его! — воскликнул джентльмен.— Сюда несите, сюда. Так. Значит, это ваш обед?

— Да, сэр,— повторил Тоби, облизываясь и сверля глазами кусок рубца, который он оставил себе на закуску как самый аппетитный: джентльмен подцепил его на вилку и поворачивал теперь из стороны в сторону.

Следом за ним из дому вышли еще два джентльмена. Один был средних лет и хлипкого сложения, с безутешно-унылым лицом, весь какой-то нечищеный и немытый; он все время держал руки в карманах своих кургузых, серых в белую крапинку панталон,— очень больших карманах и порядком обтрепавшихся от этой его привычки. Второй джентльмен был крупный, гладкий, цветущий, в синем сюртуке со светлыми пуговицами и белом галстуке. У этого джентльмена лицо было очень красное, как будто чрезмерная доля крови сосредоточилась у него в голове; и, возможно, по этой же причине, от того места, где у него находилось сердце, веяло холодом.

Тот, что держал на вилке кусок рубца, окликнул первого джентльмена по фамилии — Файлер,— и оба подошли поближе. Мистер Файлер, будучи подслеповат, так близко пригнулся к остаткам обеда Тоби, чтобы разглядеть их, что Тоби порядком струхнул. Однако мистер Файлер не съел их.

— Этот вид животной пищи, олдермен,— сказал Файлер, тыкая в мясо карандашом,— известен среди рабочего населения нашей страны под названием рубцов.

Олдермен рассмеялся и подмигнул: он был весельчак, этот олдермен Кьют. И к тому же хитрец! Тонкая штучка! Себе на уме. Такого не проведешь. Видел людей насквозь. Знал их как свои пять пальцев. Уж вы мне поверьте!

— Но кто ест рубцы? — вопросил Файлер, оглядываясь по сторонам.— Рубцы — это безусловно наименее экономичный и наиболее разорительный предмет потребления из всех, какие можно встретить на рынках нашей страны. Установлено, что при варке потеря с одного фунта рубцов на семь восьмых одной пятой больше, чем с фунта любого иного животного продукта. Так что, собственно говоря, рубцы стоят дороже, нежели тепличные ананасы. Если взять число домашних животных, которых ежегодно забивают на мясо только в Лондоне и его окрестностях, и очень скромную цифру количества рубцов, какое дают туши этих животных, должным образом разделанные, находим, что той частью этих рубцов, которая непроизводительно расходуется при варке, можно было бы прокормить гарнизон из пятисот солдат в течение пяти месяцев по тридцати одному дню в каждом, да еще один февраль. Какой непроизводительный расход!

У Трухти от ужаса даже поджилки задрожали. Выходит, что он собственноручно уморил с голоду гарнизон из пятисот солдат!

— Кто ест рубцы? — повторил мистер Файлер, повышая голос.— Кто ест рубцы?

Трухти конфузливо поклонился.

— Это вы едите рубцы? — спросил мистер Файлер.— Ну, так слушайте, что я вам скажу. Вы, мой друг, отнимаете эти рубцы у вдов и сирот.

— Боже упаси, сэр,— робко возразил Трухти.— Я бы лучше сам с голоду умер.

— Если разделить вышеупомянутое количество рубцов на точно подсчитанное число вдов и сирот,— сказал мистер Файлер, повернувшись к олдермену,— то на каждого придется ровно столько рубцов, сколько можно купить за пенни. Для этого человека не останется ни одного грана. Следовательно, он — грабитель.

Трухти был так ошеломлен, что даже не огорчился, увидев, что олдермен сам доел его рубцы. Теперь ему и смотреть на них было тошно.

— А вы что скажете? — ухмыляясь, обратился олдермен Кьют к краснолицему джентльмену в синем сюртуке.— Вы слышали мнение нашего друга Файлера. Ну, а вы что скажете?

— Что мне сказать? — отвечал джентльмен.— Что тут можно сказать? Кому в наше развращенное время вообще интересны такие субъекты,— он говорил о Тоби.— Вы только посмотрите на него! Что за чучело! Эх, старое время, доброе старое время, славное старое время! То было время крепкого крестьянства и прочего в этом роде. Да что там, то было время чего угодно в любом роде. Теперь ничего не осталось. Э-эх! — вздохнул краснолицый джентльмен.— Доброе старое время!

Он не уточнил, какое именно время имел в виду; осталось также неясным, не был ли его приговор нашему времени подсказан нелицеприятным сознанием, что оно отнюдь не совершило подвига, произведя на свет его самого.

— Доброе старое время, доброе старое время,— твердил джентльмен.— Ах, что это было за время! Единственное время, когда стоило жить. Что уж толковать о других временах или о том, каковы стали люди в наше время. Да можно ли вообще назвать его временем? По-моему — нет. Загляните в «Костюмы» Стратта *, и вы увидите, как выглядел рассыльный при любом из добрых старых английских королей.

— Даже в самые счастливые дни у него не бывало ни рубахи, ни чулок,— сказал мистер Файлер,— а так как в Англии даже овощей почти не было, то и питаться ему было нечем. Я могу это доказать, с цифрами в руках.

Но краснолицый джентльмен продолжал восхвалять старое время, доброе старое время, славное старое время. Что бы ни говорили другие, он все кружился на месте, снова и снова повторяя все те же слова; так несчастная белка кружится в колесе, устройство которого она, вероятно, представляет себе не более отчетливо, чем сей краснолицый джентльмен — свой канувший в прошлое золотой век.

Возможно, что вера бедного Тоби в это туманное старое время не окончательно рухнула, так как в голове у него вообще стоял туман. Одно, впрочем, было ему ясно, несмотря на его смятение; а именно, что как бы ни расходились взгляды этих джентльменов в мелочах, все же для тревоги, терзавшей его в то утро, да и не только в то утро, имелись веские основания. «Да, да. Мы всегда не правы, и оправдать нас нечем,— в отчаянии думал Трухти.— Ничего хорошего в нас нет. Мы так и родимся дурными!»

Но в груди у Трухти билось отцовское сердце, неведомо как попавшее туда вопреки высказанному им выше убеждению; и он очень боялся, как бы эти умные джентльмены не вздумали предсказывать будущее Мэг сейчас, в короткую пору ее девичьего счастья. «Храни ее бог,— думал бедный Трухти,— она и так узнает все скорее, чем нужно».

Поэтому он стал знаками показывать молодому кузнецу, что ее нужно поскорее увести. Но тот беседовал с нею вполголоса, стоя поодаль, и так увлекся, что заметил эти знаки лишь одновременно с олдерменом Кьютом. А ведь олдермен еще не сказал своего слова, и так как он тоже был философ — только практический, о, весьма практический! — то, не желая лишиться слушателей, он крикнул: «Погодите!»

— Вам, разумеется, известно,— начал олдермен, обращаясь к обоим своим приятелям со свойственной ему самодовольной усмешкой,— что я человек прямой, человек практический; и ко всякому делу я подхожу прямо и практически. Так уж у меня заведено. В обхождении с этими людьми нет никакой трудности, и никакого секрета, если только понимаешь их и умеешь говорить с ними на их языке. Эй, вы, рассыльный! Не пробуйте,

мой друг, уверять меня, или еще кого-нибудь, что вы не всегда едите досыта, и притом отменно вкусно; я-то лучше знаю. Я отведал ваших рубцов, и меня вам не «околпачить». Вы понимаете, что значит «околпачить», а? Правильное я употребил слово? Ха-ха-ха!

— Ей-же-ей,— добавил джентльмен, снова обращаясь к своим приятелям,— надлежащее обхождение с этими людьми — самое легкое дело, если только их понимаешь.

Здорово он наловчился говорить с простолюдинами, этот олдермен Кьют! И никогда-то он не терял терпения! Не гордый, веселый, обходительный джентльмен, и очень себе на уме!

— Видите ли, мой друг,— продолжал олдермен,— сейчас болтают много вздора о бедности — «нужда заела», так ведь говорится? Ха-ха-ха! — и я намерен все это упразднить. Сейчас в моде всякие жалкие слова насчет недоедания, и я твердо решил это упразднить. Вот и все. Ей-же-ей,— добавил джентльмен, снова обращаясь к своим приятелям,— можно упразднить что угодно среди этих людей, нужно только взяться умеючи.

Тоби, действуя как бы бессознательно, взял руку Мэг и продел ее себе под локоть.

— Дочка ваша, а? — спросил олдермен и фамильярно потрепал ее по щеке.

Уж он-то всегда был обходителен с рабочими людьми, этот олдермен Кьют! Он знал, чем им угодить. И высокомерия — ни капли!

— Где ее мать? — спросил сей достойный муж.

— Умерла,— сказал Тоби.— Ее мать брала белье в стирку, а как дочка родилась, господь призвал ее к себе в рай.

— Но не для того, чтобы брать там белье в стирку? — заметил олдермен с приятной улыбкой.

Трудно сказать, мог ли Тоби представить себе свою жену в раю без ее привычных занятий. Но вот что интересно: если бы в рай отправилась супруга олдермена Кьюта, стал бы он отпускать шутки насчет того, какое положение она там занимает?

— А вы за ней ухаживаете, так? — повернулся Кьют к молодому кузнецу.

— Да,— быстро ответил Ричард, задетый за живое этим вопросом.— И на Новый год мы поженимся.

— Что? — вскричал Файлер.— Вы хотите пожениться?

— Да, уважаемый, есть у нас такое намерение,— сказал Ричард.— Мы даже, понимаете ли, спешим, а то боимся, как бы и это не упразднили.

— О! — простонал Файлер.— Если вы *это* упраздните, олдермен, вы поистине сделаете доброе дело. Жениться! Жениться!! Боже мой, эти люди проявляют такое незнание первооснов политической экономии, такое легкомыслие, такую испорченность, что, честное слово... Нет, вы только посмотрите на эту пару!

Ну что же! Посмотреть на них стоило. И казалось, ничего более разумного, чем пожениться, они не могли и придумать.

— Вы можете прожить Мафусаилов век,— сказал мистер Файлер,— и всю жизнь не покладая рук трудиться для таких вот людей; копить факты и цифры, факты и цифры, накопить горы фактов и цифр; и все равно у вас будет не больше шансов убедить их в том, что они не имеют права жениться, чем в том, что они не имели права родиться на свет. А уж что такого права они не имели, нам доподлинно известно. Мы давно доказали это с математической точностью.

Олдермен совсем развеселился. Он прижал указательный палец правой руки к носу, точно говоря обоим своим приятелям: «Глядите на меня! Слушайте, что скажет человек практический!» — и поманил к себе Мэг.

— Подойдите-ка сюда, милая,— сказал олдермен Кьют.

Молодая кровь ее жениха уже давно кипела от гнева, и ему очень не хотелось пускать ее. Он, правда, сдержал себя, но когда Мэг приблизилась, он тоже шагнул вперед и стал рядом с ней, взяв ее за руку. Тоби по-прежнему держал другую ее руку и обводил всех по очереди растерянным взглядом, точно видел сон наяву.

— Ну вот, моя милая, теперь я преподам вам несколько полезных советов,— сказал олдермен, как всегда просто и приветливо.— Давать советы — это, знаете ли,

входит в мои обязанности, потому что я — судья. Вам ведь известно, что я судья?

Мэг несмело ответила «да». Впрочем, то, что олдермен Кьют — судья, было известно всем. И притом какой деятельный судья! Был ли когда в глазу общества сучок зеленее и краше Кьюта!

— Вы говорите, что собираетесь вступить в брак,— продолжал олдермен.— Весьма нескромный и предосудительный шаг для молодой девицы. Но оставим это в стороне. Сразу после свадьбы вы начнете ссориться с мужем, и в конце концов он вас бросит. Вы думаете, что этого не будет; но это будет, я-то знаю. Так вот, предупреждаю вас, что я решил упразднить брошенных жен. Поэтому не пробуйте подавать мне жалобу. У вас будут дети, мальчишки. Эти мальчишки будут расти на улице, босые, без всякого надзора и, конечно, вырастут преступниками. Так имейте в виду, мой юный друг, я их засужу всех до единого, потому что я поставил себе цель упразднить босоногих мальчишек. Возможно (даже весьма вероятно), что ваш муж умрет молодым и оставит вас с младенцем на руках. В таком случае вас сгонят с квартиры и вы будете бродить по улицам. Только не бродите, милая, возле моего дома, потому что я твердо намерен упразднить бродячих матерей; вернее — всех молодых матерей, без разбора. Не вздумайте приводить в свое оправдание болезнь; или приводить в свое оправдание младенцев; потому что всех страждущих и малых сих (надеюсь, вы помните церковную службу, хотя боюсь, что нет) я намерен упразднить. А если вы попытаетесь — если вы безрассудно и неблагодарно, нечестиво и коварно попытаетесь утопиться, или повеситься, не ждите от меня жалости, потому что я твердо решил упразднить всяческие самоубийства! Если можно сказать,— произнес олдермен со своей самодовольной улыбкой,— что какое-нибудь решение я принял особенно твердо, так это решение упразднить самоубийства. Так что смотрите мне, без фокусов. Так ведь у вас говорится? Ха-ха! Теперь мы понимаем друг друга.

Тоби не знал, ужасаться ему или радоваться, видя, что Мэг побелела как платок и выпустила руку своего жениха.

— А вы, тупица несчастный,— совсем уже весело и игриво обратился олдермен к молодому кузнецу,— что это вам взбрело в голову жениться? Зачем вам жениться, глупый вы человек! Будь я таким видным, ладным да молодым, я бы постыдился цепляться за женскую юбку, как сопляк какой-нибудь. Да она станет старухой, когда вы еще будете мужчина в полном соку. Вот тогда я на вас посмотрю — как за вами будет всюду таскаться чумичка-жена и орава скулящих детишек!

Да, он умел шутить с простонародьем, этот олдермен Кьют!

— Ну, отправляйтесь восвояси,— сказал олдермен,— и кайтесь в своих грехах. Да не смешите вы людей, не женитесь на Новый год. Задолго до следующего Нового года вы об этом пожалеете — такой-то бравый молодец, на которого все девушки заглядываются! Ну, отправляйтесь восвояси.

Они отправились восвояси. Не под руку, не держась за руки, не обмениваясь нежными взглядами; она — в слезах, он — угрюмо глядя в землю. Куда девалась радость, от которой еще так недавно взыграло сердце приунывшего было старого Тоби? Олдермен (благослови его бог!) упразднил и ее.

— Раз уж вы здесь,— сказал олдермен Тоби Вэку,— я поручу вам отнести письмо. Только быстро. Вы это можете? Ведь вы старик.

Тоби, отупело глядевший вслед дочери, очнулся и кое-как пробормотал, что он очень быстрый и очень сильный.

— Сколько вам лет? — спросил олдермен.

— Седьмой десяток пошел, сэр,— отвечал Тоби.

— О! Это намного выше средней цифры! — неожиданно вскричал мистер Файлер, как бы желая сказать, что он, конечно, человек терпеливый, но, право же, всему есть предел.

— Я и сам чувствую, что я лишний, сэр,— сказал Тоби.— Я... я еще нынче утром это подозревал. Ах ты горе какое!

Олдермен оборвал его речь, дав ему письмо, которое достал из кармана; Тоби получил бы кроме того и шиллинг; но поскольку мистер Файлер всем своим видом

показывал, что в этом случае он ограбил бы какое-то число людей на девять с половиной пенсов каждого, он получил всего шесть пенсов и еще подумал, что ему здорово повезло.

Затем олдермен взял обоих своих приятелей под руки и отбыл в наилучшем расположении духа; но тут же, словно вспомнив что-то, он поспешно вернулся, уже один.

— Рассыльный! — сказал олдермен.

— Сэр? — откликнулся Тоби.

— Хорошенько смотрите за дочкой. Слишком она у вас красивая.

«Даже красота ее, наверно, у кого-нибудь украдена,— подумал Тоби, глядя на монету, лежавшую у него в ладони, и вспоминая рубцы.— Очень даже просто: взяла и ограбила пятьсот знатных леди, каждую понемножку. Вот ужас-то!»

— Слишком она у вас красивая, любезный,— повторил олдермен.— Такая добром не кончит, это ясно как день. Послушайте моего совета. Смотрите за ней хорошенько! — С этими словами он поспешил прочь.

— Виноваты. Кругом виноваты! — сказал Тоби, разводя руками.— Дурными родились. Не имеем права жить на свете.

И тут на него обрушился звон колоколов. Полный, громкий, звучный, но не было в нем утешения. Ни капли.

— Песня-то изменилась! — воскликнул старик, прислушавшись.— Ни слова не осталось прежнего. Да и немудрено. Нет у меня права ни на новый год, ни на старый. Лучше умереть!

А колокола все заливались, даже воздух дрожал от их звона. «Упразднить, упразднить! Доброе время, старое время! Факты-цифры, факты-цифры! Упразднить, упразднить!» Вот что они твердили, и притом так упорно и долго, что у Тоби круги пошли перед глазами.

Он сжал руками свою бедную голову, как будто боялся, что она разлетится вдребезги. Движение это оказалось весьма своевременным, ибо, обнаружив у себя в руке письмо и, следовательно, вспомнив о поручении, он машинально двинулся с места обычной своей трусцою и затрусил прочь.

## ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Письмо, которое вверил Тоби олдермен Кьют, было адресовано некоей блистательной особе, проживавшей в некоем блистательном квартале Лондона. В самом блистательном его квартале. Это без сомнения был самый блистательный квартал, потому что те, кто в нем жил, именовали его «светом».

Тоби положительно казалось, что никогда еще он не держал в руке такого тяжелого письма. Не оттого, что олдермен запечатал его огромной печатью с гербом и не пожалел сургуча,— нет, очень уж большой вес имело самое имя, написанное на конверте, и груды золота и серебра, с которыми оно связывалось.

«Как непохоже на нас! — подумал Тоби в простоте души, озабоченно перечитывая адрес.— Разделите всех морских черепах в Лондоне и его окрестностях на число важных господ, которым они по карману. Чью долю они забирают себе, кроме своей собственной? А чтобы отнимать у кого-нибудь рубцы — да они нипочем до этого не унизятся!»

И Тоби, бессознательно отдавая дань уважения такому благородству, бережно прихватил письмо уголком фартука.

— Их дети,— сказал Тоби, и глаза его застлало туманом,— их дочери... им-то не заказано любить знатных джентльменов и выходить за них замуж; им можно становиться счастливыми женами и матерями; можно быть такими же красавицами, как моя Мэ...

Выговорить ее имя ему не удалось. Последняя буква застряла в горле, точно стала величиною с весь алфавит.

«Ну ничего,— подумал Тоби.— Я-то знаю, что я хотел сказать. А большего мне и не требуется»,— и с этой утешительной мыслью он затрусил дальше.

В тот день крепко морозило. Воздух был чистый, бодрящий, ядреный. Зимнее солнце, хоть и не могло дать тепла, весело глядело сверху на лед, который оно было бессильно растопить, и зажигало на нем яркие блестки. В другое время Тоби, возможно, усмотрел бы в зимнем

солнце поучение для бедняков; но сейчас ему было не до этого.

В тот день старый год доживал свои последние часы. Он покорно претерпел упреки и наветы клеветников и честно выполнил свою работу. Весна, лето, осень, зима. Он совершил положенный круг и теперь склонил усталую голову на вечный покой. Сам он не знал ни надежд, ни высоких порывов, ни прочного счастья, но, провозвестник многих радостей для тех, кто придет ему на смену, он взывал перед смертью о том, чтобы труд и терпение его не были забыты и чтобы ему умереть спокойно. Тоби, возможно, прочел бы в умирании года притчу для бедняков; но сейчас ему было не до этого.

И только ли ему? Или уже семьдесят сменявших друг друга лет обращалось с тем же призывом к английским труженикам и все напрасно!

На улицах царила суета, лавки были весело разукрашены. Новому году, как младенцу, имеющему унаследовать весь мир, готовили радостную встречу с приветствиями и подарками. Для нового года были припасены игрушки и книги, сверкающие безделушки, нарядные платья, хитрые планы обогащения; и новые изобретения, чтобы ему не соскучиться. Его жизнь была размечена в календарях и альманахах; фазы луны и движение звезд, приливы и отливы, все было заранее известно до одной минуты; продолжительность каждого его дня и каждой ночи была вычислена с такой же точностью, с какой мистер Файлер решал свои задачки про мужчин и женщин.

Новый год, новый год. Повсюду новый год! На старый год уже смотрели как на покойника; имущество его распродавалось по дешевке, как пожитки утонувшего матроса на корабле. Он еще дышал, а моды его уже стали прошлогодними и шли за бесценок. Сокровища его стали трухой по сравнению с богатствами его нерожденного преемника.

Тоби Вэку, по его мнению, нечего было ждать ни от старого года, ни от нового.

«Упразднить, упразднить! Факты-цифры, факты-цифры! Доброе время, старое время! Упразднить, упразднить»,— он трусил и трусил под этот напев, и никакого другого его ноги не желали слушаться.



Но и этот напев, как ни был он печален, привел его в надлежащее время к цели. К особняку сэра Джозефа Баули, члена парламента.

Дверь отворил швейцар. И какой швейцар! Толстый, надутый, в ливрее! Бляха на груди у Тоби сразу потускнела рядом с его позументами.

Швейцар этот долго отдувался, раньше чем заговорить,— он задохнулся, так как опрометчиво встал со стула, не успев собраться с мыслями. Когда он обрел голос — а случилось это не скоро, потому что голос был глубоко упрятан под слоями жира и мяса,— то произнес сиплым шепотом:

— От кого?

Тоби ответил.

— Передайте сами вот туда,— сказал швейцар, указывая на дверь в конце длинного коридора.— Сегодня все доставляется прямо туда. Еще немножко — и вы бы опоздали: карета подана, а они и приезжали-то в город всего на несколько часов, нарочно для этого дела.

Тоби старательно вытер ноги (и без того уже сухие) и двинулся в указанном ему направлении, примечая по дороге, что дом этот страх какой богатый, но весь затянутый чехлами и молчаливый — видно, хозяева и впрямь живут в деревне. Постучав в дверь, он услышал «войдите», а войдя, очутился в просторном кабинете, где за столом, заваленном бумагами и папками, сидели важная леди в капоре и не ахти какой важный джентльмен в черном, писавший под ее диктовку; в то время как другой джентльмен, постарше и гораздо поважнее, чья трость и шляпа лежали на столе, шагал из угла в угол, заложив руку за борт сюртука и поглядывая на висевший над камином портрет, который изображал его самого во весь рост, а роста он был немалого.

— В чем дело? — спросил этот джентльмен.— Мистер Фиш, будьте добры, займитесь.

Мистер Фиш извинился перед леди и, взяв у Тоби письмо, почтительно вручил его по назначению.

— От олдермена Кьюта, сэр Джозеф.

— Это все? Больше у вас ничего нет, рассыльный? — осведомился сэр Джозеф.

Тоби ответил отрицательно.

— Ни от кого никаких векселей, никаких претензий ко мне? Мое имя Баули, сэр Джозеф Баули. Если таковые имеются, предъявите их. Возле мистера Фиша лежит чековая книжка. Я ничего не откладываю на будущий год. В этом доме по всем решительно счетам расплачиваются в конце старого года. Так, чтобы, если безвременная... э-э...

— Смерть,— подсказал мистер Фиш.

— Кончина, сэр,— надменно поправил его сэр Джозеф,— пресечет нить моей жизни, я мог надеяться, что дела мои окажутся в полном порядке.

— Дорогой мой сэр Джозеф! — воскликнула леди, бывшая много моложе своего супруга.— Как можно упоминать о таких ужасах!

— Миледи Баули! — заговорил сэр Джозеф, время от времени начиная беспомощно барахтаться, когда мысли его достигали особенно большой глубины,— в эту пору года нам следует подумать о... э-э... о себе. Нам следует заглянуть в свою... э-э... свою счетную книгу. Всякий раз, с наступлением этого дня, столь знаменательного в делах человеческих, нам следует помнить, что в этот день происходит серьезный разговор между человеком и его... э-э... его банкиром.

Сэр Джозеф произнес эту речь так, словно хорошо сознавал заключенную в ней нравственную ценность и хотел даже Тоби Вэку предоставить возможность извлечь из нее пользу. Кто знает, не этим ли намерением объяснялось и то обстоятельство, что он все еще не распечатывал письма и велел Тоби подождать минутку.

— Вы просили мистера Фиша написать, миледи...— начал сэр Джозеф.

— Мистер Фиш, по-моему, уже написал это,— перебила его супруга, бросив взгляд на упомянутого джентльмена.— Но в самом деле, сэр Джозеф, я, кажется, не отошлю это письмо. Очень уж выходит дорого.

— Что именно дорого? — осведомился сэр Джозеф.

— Да это благотворительное общество. Они дают нам только два голоса при подписке на пять фунтов *. Просто чудовищно!

— Миледи Баули,— возразил сэр Джозеф,— вы меня удивляете. Разве наши чувства должны быть соразмерны

числу голосов? Не вернее ли сказать, что, для человека разумного, они должны быть соразмерны числу подписчиков и тому здоровому состоянию духа, в какое их приводит столь полезная деятельность? Разве не чистейшая радость — иметь в своем распоряжении два голоса на пятьдесят человек?

— Для меня, признаюсь, нет,— отвечала леди.— Мне это досадно. К тому же, нельзя оказать любезность знакомым. Но вы ведь друг бедняков, сэр Джозеф. Вы смотрите на это иначе.

— Да, я друг бедняков,— подтвердил сэр Джозеф, взглянув на бедняка, при сем присутствующего.— Как такового меня можно язвить. Как такового меня не однажды язвили. Но мне не нужно иного звания.

«Какой достойный джентльмен, храни его бог!» — подумал Тоби.

— Я, например, не согласен с Кьютом,— продолжал сэр Джозеф, помахивая письмом.— Я не согласен с партией Файлера. Я не согласен ни с какой вообще партией. Моему другу бедняку нет дела до всех этих господ, и всем этим господам нет дела до моего друга бедняка. Мой друг бедняк, в моем округе,— это мое дело. Никто, ни в одиночку, ни совместно, не вправе становиться между моим другом и мной. Вот как я на это смотрю. По отношению к бедняку я беру на себя... э-э... отеческую заботу. Я ему говорю: «Милейший, я буду обходиться с тобой по-отечески».

Тоби слушал очень внимательно, и понемногу на душе у него становилось легче.

— Тебе, милейший,— продолжал сэр Джозеф, задержавшись рассеянным взглядом на Тоби,— тебе нужно иметь дело только со мной. Не трудись думать о чем бы то ни было. Я сам буду за тебя думать. Я знаю, что для тебя хорошо; я твой родитель до гроба. Такова воля всемогущего провидения. Твое же назначение в жизни — не в том, чтобы пьянствовать, обжираться и все свои радости по-скотски сводить к еде,— Тоби со стыдом вспомнил рубцы,— а в том, чтобы чувствовать, как благороден труд. Бодро выходи с утра на свежий воздух и... э-э... и оставайся там. Проявляй усердие и умеренность, будь почтителен, умей во всем себе отказывать, расти детей на мед-

ные гроши, плати за квартиру в срок и ни минутой позже, будь точен в денежных делах (бери пример с меня; перед мистером Фишем, моим доверенным секретарем, всегда стоит шкатулка с деньгами) — и можешь рассчитывать на то, что я буду тебе Другом и Отцом.

— Хороши же у вас детки, сэр Джозеф! — сказала леди и вся передернулась.— Сплошь ревматизм, лихорадка, кривые ноги, кашель, вообще всякие гадости!

— И тем не менее, миледи,— торжественно отвечал сэр Джозеф,— я для бедного человека Друг и Отец. Тем не менее я всегда готов его подбодрить. В конце каждого квартала он будет иметь доступ к мистеру Фишу. В день Нового года я и мои друзья всегда будем пить за его здоровье. Раз в год я и мои друзья будем обращаться к нему с прочувствованной речью. Один раз в своей жизни он, возможно, даже получит — публично, в присутствии господ — небольшое вспомоществование. А когда все эти средства, а также мысль о благородстве труда перестанут ему помогать и он навеки успокоится в могиле, тогда, миледи,— тут сэр Джозеф громко высморкался,— тогда я буду... на тех же условиях... Другом и Отцом... для его детей.

Тоби был глубоко растроган.

— Благодарная у вас семейка, сэр Джозеф, нечего сказать! — воскликнула его супруга.

— Миледи,— произнес сэр Джозеф прямо-таки величественно,— всем известно, что неблагодарность — порок, присущий этому классу. Ничего другого я и не жду.

«Вот-вот. Родимся дурными! — подумал Тоби.— Ничем нас не проймешь».

— Я делаю все, что в человеческих силах,— продолжал сэр Джозеф.— Я выполняю свой долг как Друг и Отец бедняков; и я пытаюсь образовать их ум, по всякому случаю внушая им единственное правило нравственности, какое нужно этому классу, а именно — чтобы они целиком полагались на меня. Не их дело заниматься... э-э... самими собой. Пусть даже они, по наущению злых и коварных людей, выказывают нетерпение и недовольство и повинны в непокорном поведении и черной неблагодарности,— а так оно несомненно и есть,— все равно я их Друг и Отец. Это определено свыше. Это в природе вещей.

Высказав столь похвальные чувства, он распечатал письмо олдермена и стал его читать.

— Как учтиво и как внимательно! — воскликнул сэр Джозеф.— Миледи, олдермен настолько любезен, что напоминает мне о выпавшей ему «великой чести» — он, право же, слишком добр! — познакомиться со мною у нашего общего друга, банкира Дидлса; а также осведомляется, угодно ли мне, чтобы он упразднил Уилла Ферна.

— Ах, очень угодно! — сказала леди Баули.— Он хуже их всех! Надеюсь, он кого-нибудь ограбил?

— Н-нет,— отвечал сэр Джозеф, справляясь с письмом.— Не совсем. Почти. Но не совсем. Он, сколько я понимаю, явился в Лондон искать работы (искал где лучше, как он изволил выразиться) и, будучи найден спящим ночью в сарае, был взят под стражу, а наутро приведен к олдермену. Олдермен говорит (и очень правильно), что намерен упразднить такие вещи; и что, если мне угодно, он будет счастлив начать с Уилла Ферна.

— Да, конечно, пусть это будет назиданием для других,— сказала леди.— Прошлой зимой, когда я ввела у нас в деревне вышивание по трафареткам, считая это превосходным занятием для мужчин и мальчиков в вечернее время, и велела положить на музыку, по новой системе *, стихи

Будем довольны своим положением,
Будем на сквайра взирать с уважением,
Будем трудиться с любовью и рвением
И не предаваться греху объедения,

чтобы они могли петь, пока работают,— этот Ферн,— как сейчас его вижу — притронулся к своей, с позволения сказать, шляпе и заявил: «Не взыщите, миледи, но разве можно меня равнять с девицей?» Я этого, конечно, ожидала; чего, кроме дерзости и неблагодарности, можно ожидать от этих людей? Но не в том дело. Сэр Джозеф! Накажите его в назидание другим!

— Кха! — кашлянул сэр Джозеф.— Мистер Фиш, будьте добры, займитесь...

Мистер Фиш тотчас схватил перо и стал писать под диктовку сэра Джозефа.

— «Секретно. Дорогой сэр! Премного обязан вам за любезный запрос касательно Уильяма Ферна, о котором

я, к сожалению, не могу дать благоприятного отзыва. Я неизменно считал себя его Отцом и Другом, однако в ответ встречал с его стороны (случай, должен с прискорбием признать, довольно обычный) только неблагодарность и упорное противодействие моим планам. Уильям Ферн — человек непокорного и буйного нрава. Благонадежнсcть его более чем сомнительна. Никакие уговоры быть счастливым, при полной к тому возможности, на него не действуют. Ввиду этих обстоятельств мне, признаюсь, кажется, что, когда он, дав вам время навести о нем справки, опять предстанет перед вами завтра (как он, по вашим словам, обещал, а я думаю, что в такой степени на него можно положиться), осуждение его на небольшой срок за бродяжничество пойдет на пользу обществу и послужит назиданием в стране, в которой — ради тех, кто, наперекор всему, остается Другом и Отцом бедняков, а также ради самих этих, в большинстве своем введенных в заблуждение людей,— назидания совершенно необходимы. Остаюсь...» и так далее.

— Право же,— заметил сэр Джозеф, подписав письмо и передавая его мистеру Фишу, чтобы тот его запечатал,— это предопределение свыше. В конце года я свожу счеты даже с Уильямом Ферном!

Тоби, который уже давно перестал умиляться и снова загрустил, с удрученным видом шагнул вперед, чтобы взять письмо.

— Передайте, что кланяюсь и благодарю,— сказал сэр Джозеф.— Стойте!

— Стойте! — как эхо повторил мистер Фиш.

— Вы, вероятно, слышали,— произнес сэр Джозеф необычайно веско,— кое-какие замечания, которые я был вынужден сделать касательно наступающего торжественного дня, а также нашей обязанности привести свои дела в порядок и быть готовыми. Вы могли заметить, что я не ищу отговориться своим высоким положением в обществе, но что мистер Фиш — вот этот джентльмен — сидит здесь с чековой книжкой и, скажу больше, для того и находится здесь, чтобы я мог оплатить все мои счета и с завтрашнего дня начать новую жизнь. Ну, а вы, мой друг, можете ли вы положа руку на сердце сказать, что вы тоже подготовились к новому году?

— Боюсь, сэр,— пролепетал Трухти, кротко на него поглядывая,— что я... я немножко задержался с уплатой.

— Задержался с уплатой! — повторил сэр Джозеф Баули раздельно и угрожающе.

— Боюсь, сэр,— продолжал Трухти, запинаясь,— что я задолжал шиллингов десять или двенадцать миссис Чикенстокер.

— Миссис Чикенстокер! — повторил сэр Джозеф точно таким же тоном.

— Она держит лавку, сэр,— пояснил Тоби,— мелочную лавку. И еще — немножко за квартиру. Самую малость, сэр. Я знаю, долги — это непорядок, но очень уж нам туго пришлось.

Сэр Джозеф дважды обвел взглядом свою супругу, мистера Фиша и Тоби. Потом безнадежно развел руками, показывая этим жестом, что на дальнейшую борьбу не способен.

— Как может человек, даже из этого расточительного и упрямого сословия... старый человек, с седой головой... как может он смотреть в лицо новому году, когда дела его в таком состоянии, как может он вечером лечь в постель, а утром снова подняться и... Ну, довольно,— сказал он, поворачиваясь к Тоби спиной.— Отнесите письмо. Отнесите письмо.

— Я и сам не рад, сэр,— сказал Тоби, стремясь хоть как-нибудь оправдаться.— Очень уж нам тяжело досталось.

Но поскольку сэр Джозеф все твердил «Отнесите письмо, отнесите письмо!», а мистер Фиш не только вторил ему, но для вящей убедительности еще указывал на дверь, бедному Тоби ничего не оставалось, как поклониться и выйти вон. И очутившись на улице, он нахлобучил свою обтрепанную шляпу низко на глаза, чтобы скрыть тоску, которую вселяла в него мысль, что нигде-то ему не перепадает ни крошки от нового года.

На обратном пути, дойдя до старой церкви, он даже не стал снимать шляпу, чтобы, задрав голову, посмотреть на колокольню. Он только приостановился там, по привычке, и смутно подумал, что уже темнеет. Где-то над ним терялась в сумерках церковная башня, и он знал, что

вот-вот зазвонят колокола, а в такую пору голоса их всегда доносились к нему точно с облаков. Но сейчас он не чаял поскорее доставить олдермену письмо и убраться подальше, пока они молчат,— он смертельно боялся, как бы они, вдобавок к тому припеву, что он слышал от них в прошлый раз, не стали вызванивать «Друг и Отец, Друг и Отец».

Поэтому Тоби поскорее разделался со своим поручением и затрусил к дому. Но был ли тому виной его аллюр, не очень удобный для передвижения по улице, или его шляпа, надвинутая на самые глаза, а только он, не протрусив и минуты, столкнулся с каким-то встречным и отлетел на мостовую.

— Ох, простите великодушно! — сказал Трухти, в смущении сдвигая шляпу на затылок, от чего стала видна рваная подкладка и голова его уподобилась улью.— Я вас, сохрани бог, не ушиб?

Не такой уж Трухти был Самсон, чтобы ушибить когонибудь, гораздо легче было ушибить его самого; он и на мостовую-то отлетел наподобие волана. Однако он держался столь высокого мнения о собственной силе, что не на шутку встревожился и еще раз спросил:

— Я вас, сохрани бог, не ушиб?

Человек, на которого он налетел,— загорелый, жилистый мужчина деревенского вида, с проседью и небритый,— пристально поглядел на него, словно заподозрив шутку. Но убедившись, что Трухти и не думает шутить, ответил:

— Нет, друг, не ушибли.

— И малютка ничего? — спросил Трухти.

— И малютка ничего. Большое спасибо.

С этими словами он посмотрел на девочку, спящую у него на руках, и, заслонив ей лицо концом ветхого шарфа, которым была обмотана его шея, медленно пошел дальше.

Голос, каким он сказал «большое спасибо», проник Трухти в самое сердце. Этот прохожий, весь в пыли и в грязи после долгой дороги, был так утомлен и измучен, он оглядывался по сторонам так растерянно и уныло,— видно, ему приятно было поблагодарить хоть кого-нибудь, за какой угодно пустяк. Тоби в задумчивости смотрел,

как он плетется прочь, унося девочку, обвившую рукой его шею.

На мужчину в стоптанных башмаках — от них осталась только тень, только призрак башмаков,— в грубых кожаных гетрах, крестьянской блузе и шляпе с обвислыми полями смотрел в задумчивости Трухти, забыв обо всем на свете. И на руку девочки, обвившую его шею.

Человек уже почти слился с окружающим мраком, но вдруг он оглянулся и, увидев, что Тоби еще не ушел, остановился, точно сомневаясь, вернуться ему или идти дальше. Он сделал сперва первое, потом второе, потом решительно повернул обратно, и Тоби двинулся ему навстречу.

— Не можете ли вы мне сказать,— проговорил путник с легкой улыбкой,— а вы, если можете, то конечно скажете, так я лучше спрошу вас, чем кого другого,— где живет олдермен Кьют?

— Здесь рядом,— ответил Тоби.— Я с удовольствием покажу вам его дом.

— Я должен был явиться к нему завтра, и не сюда, а в другое место,— сказал человек, следуя за Тоби,— но я на подозрении и хотел бы оправдаться, чтобы потом спокойно искать заработка... не знаю где. Так он авось не посетует, если я нынче вечером приду к нему на дом.

— Не может быть! — вскричал пораженный Тоби.— Неужто ваша фамилия Ферн?

— А? — воскликнул его спутник, в изумлении к нему обернувшись.

— Ферн! Уилл Ферн! — сказал Тоби.

— Да, это мое имя,— подтвердил тот.

— Ну, если так,— закричал Тоби, хватая его за руку и опасливо озираясь,— ради всего святого, не ходите к нему! Не ходите к нему! Он вас упразднит, уж это как пить дать. Вот, зайдем-ка сюда, в переулок, и я вам все объясню. Только не ходите к нему.

Новый его знакомец скорее всего счел его за помешанного, однако спорить не стал. Когда они укрылись от взглядов прохожих, Тоби выложил все, что знал,— какую скверную рекомендацию дал ему сэр Джозеф и прочее.

Герой его повести выслушал ее с непонятным спокойствием. Он ни разу не перебил и не поправил Тоби.

Время от времени он кивал головой, точно поддакивая старому, надоевшему рассказу, а вовсе не с тем, чтобы его опровергнуть, да раза два сдвинул на макушку шляпу и провел веснушчатой рукой по лбу, на котором каждая пропаханная им борозда словно оставила свой след в миниатюре. Вот и все.

— В общем, уважаемый, все это правда,— сказал он.— Кое-где я бы мог отделить плевелы от пшеницы, да ладно уж. Не все ли равно? Я порчу ему всю картину. На свое горе. Иначе я не могу; я бы завтра опять поступил точно так же. А что до рекомендации, так господа, прежде чем сказать о нас одно доброе слово, уж ищут-ищут, нюхают-нюхают, все смотрят, к чему бы придраться! Ну что ж! Надо надеяться, что им не так легко потерять доброе имя, как нам, а то пришлось бы им жить с такой оглядкой, что и вовсе жить не захочется. О себе скажу, уважаемый, что ни разу вот эта рука,— он вытянул вперед руку,— не взяла чужого; и никогда не отлынивала от работы, хоть какой тяжелой и за любую плату. Даю на отсечение эту самую руку, что не вру! Но когда я, сколько ни работай, не могу жить по-человечески; когда я с утра до ночи голоден; когда я вижу, что вся жизнь рабочего человека этак вот начинается, и проходит, и кончается, без всякой надежды на лучшее,— тогда я говорю господам: «Не трогайте меня! Оставьте в покое мой дом. Чтобы вашей ноги в нем не было, мне и без вас тошно. Не ждите, что я прибегу в парк, когда у вас там празднуют день рождения, или произносят душеспасительные речи. Играйте в свои игрушки без меня, на здоровье, желаю удовольствия. Нам не о чем говорить друг с другом. Лучше меня не трогать».

Заметив, что девочка открыла глаза и удивленно осматривается, он осекся, что-то ласково зашептал ей на ухо и поставил ее на землю рядом с собой. Она прижалась к его пропыленной ноге, а он, медленно накручивая одну из ее длинных косичек на свой загрубелый указательный палец, снова обратился к Тоби:

— По природе я, мне кажется, человек покладистый, и уж конечно довольствуюсь малым. Ни на кого из них я не в обиде. Я только хочу жить по-человечески. А этого я не могу, и от тех, что могут, меня отделяет пропасть.

Таких, как я, много. Их надо считать не единицами, а сотнями и тысячами.

Тоби знал, что сейчас он наверняка говорит правду, и покивал головой в знак согласия.

— Вот они меня и ославили,— сказал Ферн,— и уж наверно на всю жизнь. Выражать недовольство — незаконно, а я как раз и выражаю недовольство, хотя, видит бог, я бы куда охотнее был бодр и весел. Мне-то что, мне в тюрьме будет не хуже, чем сейчас; но ведь этот олдермен, чего доброго, и впрямь меня засадит, раз за меня некому слова замолвить; а вы понимаете...— и он указал пальцем вниз, на ребенка.

— Красивое у нее личико,— сказал Тоби.

— Да,— отозвался Ферн вполголоса и бережно, обеими руками, повернув лицо девочки к себе, внимательно в него вгляделся.— Я сам об этом думал, и не раз. Я думал об этом, когда в очаге у меня не было ни единого уголька, а в доме — ни куска хлеба. Думал и в тот вечер, когда нас схватили, точно воров. Но они... они не должны подвергать эту малютку слишком большим испытаниям, верно, Лилиен? Это несправедливо.

Он говорил так глухо и смотрел на девочку так пристально и странно, что Тоби, пытаясь отвлечь его от мрачных мыслей, спросил, жива ли его жена.

— Я никогда и не был женат,— ответил тот, покачав головой.— Она дочка моего брата, круглая сирота. Ей девять лет. На вид меньше, верно? — но это оттого, что она сейчас устала и озябла. О ней там хотели позаботиться — запереть в четырех стенах в работном доме, двадцать восемь миль от наших мест (так они позаботились о моем старике отце, когда он больше не мог работать, только он их недолго утруждал); но я взял ее к себе, и с тех пор она живет со мной. У ее матери была здесь, в Лондоне, одна знакомая женщина. Мы хотим ее разыскать, и хотим найти работу, но Лондон — большой город. Ну да ничего, зато есть где погулять, правда, Лилли?

Он улыбнулся девочке и пожал руку Тоби, которому его улыбка показалась печальнее слез.

— Я даже имени вашего не знаю,— сказал он,— но я открыл вам душу, потому что я вам благодарен,— вы

мне оказали большую услугу. Я послушаюсь вашего совета и не пойду к этому...

— Судье,— подсказал Тоби.

— Да, раз уж его так называют. К этому судье. А завтра попытаем счастья где-нибудь в пригородах, может там нам больше повезет. Прощайте. Счастливого нового года!

— Стойте! — крикнул Тоби, не выпуская его руки.— Стойте! Не будет новый год для меня счастливым, если мы так простимся. Не будет новый год для меня счастливым, если я отпущу вас с ребенком бродить неведомо где, без крыши над головой. Пойдемте ко мне! Я бедный человек, и дом у меня бедный; но на одну-то ночь я могу вас приютить без всякого для себя ущерба. Пойдемте со мной. А ее я понесу! — говорил Трухти, беря девочку на руки.— Красоточка моя! Да я двадцать таких снесу и не почувствую. Вы скажите, если я иду слишком быстро. Ведь я скороход, всегда этим отличался! — Так говорил Трухти, хотя на один шаг своего усталого спутника он делал пять-шесть семенящих шажков и худые его ноги подгибались под тяжестью девочки.

— Да она легонькая,— тараторил Трухти, работая языком так же торопливо, как ногами: он не терпел, когда его благодарили, и боялся умолкнуть хотя бы на минуту,— легонькая, как перышко. Легче павлиньего перышка, куда легче. Раз-два-три, вот и мы! Первый поворот направо, дядя Уилл, мимо колодца, и налево в проулок прямо напротив трактира. Раз-два-три, вот и мы! Теперь на ту сторону, дядя Уилл, и запоминайте — на углу стоит паштетник. Раз-два-три, вот и мы! Сюда, за конюшни, дядя Уилл, и вон к той черной двери, где на дощечке написано «Т. Вэк, рассыльный»; и раз-два-три, и вот и мы, и вот мы и пришли, Мэг, голубка моя, и как же мы тебя удивили!

С этими словами Трухти, совсем запыхавшись, опустил девочку на пол посреди комнаты. Маленькая гостья взглянула в лицо Мэг и, сразу поверив всему, что увидела в этом лице, бросилась ей на шею.

— Раз-два-три, вот и мы! — прокричал Трухти, бегая по комнате и громко отдуваясь.— Дядя Уилл, у огня-то теплее, что же вы не идете к огню? И раз-два-три, и вот

и мы! Мэг, ненаглядная моя, а где чайник? Раз-два-три, вот и нашли, и сейчас он у нас вскипит!

Исполняя свой дикий танец, Трухти и вправду подхватил где-то чайник и поставил его на огонь; а Мэг, усадив девочку в теплый уголок, опустилась перед ней на колени и, сняв с нее башмаки, растирала ее промокшие ноги. Да, и смеялась, глядя на Трухти,— смеялась так ласково, так весело, что Трухти мысленно призывал на нее благословение божие: ибо он заметил, что, когда они вошли, Мэг сидела у огня и плакала.

— Полно, отец! — сказала Мэг.— Ты сегодня, кажется, с ума сошел. Просто не знаю, что бы сказали на это колокола. Бедные ножки! Совсем заледенели.

— Они уже теплые! — воскликнула девочка.— Уже согрелись!

— Нет, нет, нет,— сказала Мэг.— Мы еще их как следует не растерли. Уж мы так стараемся, так стараемся! А когда согреем ножки — причешемся, вон как волосы-то отсырели; а когда причешемся — умоемся, чтобы бедные щечки разрумянились; а когда умоемся, нам станет так весело, и тепло, и хорошо...

Девочка, всхлипнув, обхватила ее руками за шею, потом погладила по щеке и сказала:

— Мэг! Милая Мэг!

Это было лучше, чем благословение, которое призывал на нее Тоби. Лучше этого не могло быть ничего.

— Да отец же! — вдруг воскликнула Мэг.

— Раз-два-три, вот и мы, голубка! — отозвался Тоби.

— Господи помилуй! — вскричала Мэг.— Он в самом деле сошел с ума! Капором нашей малютки накрыл чайник, а крышку повесил за дверью!

— Это я нечаянно, милая,— сказал Тоби, поспешно исправляя свою ошибку.— Мэг, послушай-ка!

Мэг подняла голову и увидела, что он, предусмотрительно заняв позицию за стулом гостя, держит в руке заработанный шестипенсовик и делает ей таинственные знаки.

— Когда я входил в дом, милая,— сказал Тоби,— я приметил где-то на лестнице пакетик чаю; и сдается мне, там еще был кусочек грудинки. Не помню точно,

где именно он лежал, но я сейчас выйду и попробую его разыскать.

Показав себя столь хитроумным политиком, Тоби отправился купить упомянутые им яства за наличный расчет в лавочке у миссис Чикенстокер; и вскоре вернулся, притворяясь, будто не сразу нашел их в темноте.

— Но теперь все тут,— сказал Тоби, ставя на стол чашки.— Все правильно. Мне так и показалось, что это чай и грудинка. Значит, я не ошибся. Мэг, душенька, если ты заваришь чай, пока твой недостойный отец поджаривает сало, все у нас будет готово в одну минуту. Странное это обстоятельство,— продолжал Тоби, вооружившись вилкой и приступая к стряпне,— странное, хотя и известное всем моим знакомым: я лично не жалую грудинку, да и чай тоже. Я люблю смотреть, как другие ими балуются, а сам просто не нахожу в них вкуса.

Между тем Тоби принюхивался к шипящему салу так, будто этот запах ему очень даже нравился; а заваривая чай в маленьком чайнике, он любовно заглянул в глубь этого уютного сосуда и не поморщился от ароматного пара, который ударил ему в нос и густым облаком окутал его лицо и голову. И однако же он не стал ни пить, ни есть, только попробовал кусочек для порядка и как будто бы даже облизнулся, тут же, впрочем, заявив, что ничего хорошего в грудинке не видит.

Нет. Дело Тоби было смотреть, как едят и пьют Уилл Ферн и Лилиен; и Мэг была занята тем же. И никогда еще зрители на банкете у лорд-мэра или на придворном обеде не испытывали такого наслаждения, глядя, как пируют другие, будь то хоть монарх или папа римский. Мэг улыбалась отцу, Тоби ухмылялся дочери. Мэг покачивала головой и складывала ладони, делая вид, что аплодирует Тоби; Тоби мимикой и знаками совершенно непонятно рассказывал Мэг, как, где и когда он повстречал их гостей; и оба они были счастливы. Очень счастливы.

«Хоть я и вижу,— с огорчением думал Тоби, поглядывая на лицо дочери,— что свадьба-то расстроилась».

— А теперь вот что,— сказал Тоби после чая.— Малютка, ясное дело, будет спать с Мэг.

— С доброй Мэг! — воскликнула Лилиен, ластясь к девушке.— С Мэг.

— Правильно,— сказал Трухти.— И скорей всего она поцелует отца Мэг, верно? Отец Мэг — это я.

И как же доволен был Тоби, когда девочка робко подошла к нему и, поцеловав его, опять отступила под защиту Мэг.

— Какая умница, ну прямо царь Соломон,— сказал Тоби.— Раз-два-три, прочь пошли... да нет, не то. Я... Мэг, голубка, что это я хотел сказать?

Мэг взглядом указала на Ферна, который сидел рядом с ней и, отвернувшись от нее, ласкал детскую головку, уткнувшуюся ей в колени.

— Ну конечно,— сказал Тоби.— Конечно. Сам не знаю, с чего это я сегодня заговариваюсь. Не иначе как у меня ум за разум зашел, право. Уилл Ферн, идемте со мной. Вы устали до смерти, совсем разбиты, вам надо отдохнуть. Идемте со мной.

Ферн по-прежнему играл кудрями девочки, по-прежнему сидел рядом с Мэг, отвернувшись от нее. Он молчал, но движения его огрубелых пальцев, то сжимавших, то отпускавших светлые пряди, были красноречивее всяких слов.

— Да, да,— сказал Тоби, бессознательно отвечая на мысль, которую он прочел в лице дочери.— Бери ее к себе, Мэг. Уложи ее. Вот так! А теперь, Уилл, идемте, я вам покажу, где вы будете спать. Хоромы не бог весть какие — просто чердак; но я всегда говорю, что чердак — это одно из великих удобств для тех, кто живет при каретнике с конюшнями; и квартира здесь дешевая, благо хозяин пока не сдал ее повыгоднее. На чердаке сколько угодно душистого сена, соседского, а уж чисто так, как только у Мэг бывает. Ну, веселей! Не вешайте голову. Дай бог вам нового мужества в новом году.

Дрожащая рука, перед тем ласкавшая ребенка, покорно легла на ладонь Тоби. И Тоби, ни на минуту не умолкая, отвел своего гостя спать так нежно, словно тот и сам был малым ребенком.

Воротившись в комнату раньше дочери, Тоби подошел к двери ее каморки и прислушался. Девочка читала молитву на сон грядущий; она помянула «милую Мэг», а потом спросила, как зовут его, отца Мэг.

Не сразу этот старый чудак успокоился настолько, что собрался помешать угли и пододвинуть стул к огню. Проделав все это и сняв нагар со свечи, он достал из кармана газету и стал читать. Сперва только бегло проглядывая столбец за столбцом, потом — с большим вниманием и хмуро сдвинув брови.

Ибо злосчастная эта газета вновь направила его мысли в то русло, по которому они шли весь день, и в особенности после всего, чему он за этот день был свидетелем. Заботы о двух бездомных отвлекли его на время и дали более приятную пищу для ума; но теперь, когда он остался один и читал о преступлениях и бесчинствах, совершенных бедняками, мрачные мысли опять его одолели.

И тут ему (уже не впервые) попалось на глаза сообщение о том, как какая-то женщина в отчаянии наложила руки не только на себя, но и на своего младенца. Это преступление так возмутило его душу, переполненную любовью к Мэг, что он выронил газету и, потрясенный, откинулся на спинку стула.

— Как жестоко и противоестественно! — вскричал Тоби.— На такое способны только в корне дурные люди, люди, которые так и родились дурными, которым не должно быть места на земле. Все, что я слышал сегодня,— чистая правда; все это верно, и доказательств хоть отбавляй. Дурные мы люди!

Колокола подхватили его слова так неожиданно, зазвонили так явственно и громко, что казалось, они ворвались прямо в дом.

И что же они говорили?

«Тоби Вэк, Тоби Вэк, ждем тебя, Тоби! Тоби Вэк, Тоби Вэк, ждем тебя, Тоби! Навести нас, навести нас! Поднимись к нам, поднимись к нам! Мы тебя разыщем, мы тебя разыщем! Полно спать, полно спать! Тоби Вэк, Тоби Вэк, дверь отворена, Тоби! Тоби Вэк, Тоби Вэк, дверь отворена, Тоби!..»

И опять сначала, еще яростней, так что гудел уже кирпич и штукатурка стен.

Тоби слушал. Наверно, ему померещилось. Просто это говорит его раскаяние, что он убежал от них нынче перед вечером. Да нет, это в самом деле их голоса! Снова

и снова, и еще десять раз то же самое: «Мы тебя разыщем, мы тебя разыщем! Поднимись к нам, поднимись к нам!» — оглушительно громко, на весь город.

— Мэг,— тихо сказал Тоби, постучав в ее дверь.— Ты что-нибудь слышишь?

— Слышу колокола, отец. Они сегодня вовсю раззвонились.

— Спит? — спросил Тоби, придумав себе повод, чтобы заглянуть в комнату.

— Сладким сном. Только я еще не могу отойти от нее. Видишь, как она крепко держит мою руку?

— Мэг,— прошептал Тоби.— Ты послушай как следует.

Она прислушалась. Тоби было видно ее лицо, ничего на нем не отразилось. Она их не понимала.

Тоби вернулся к огню, сел и опять стал слушать в одиночестве. Так прошло некоторое время.

Но выдержать это не хватало сил. Неистовство колоколов было страшно.

«Если дверь на колокольню и вправду отворена,— сказал себе Тоби, поспешно снимая фартук, но забыв прихватить шляпу,— почему бы мне не слазить туда, чтобы самому убедиться? Если она заперта, никаких других доказательств мне не нужно. Хватит и этого».

Он крадучись вышел на улицу, почти уверенный в том, что дверь на колокольню окажется закрытой и запертой,— ведь он хорошо ее знал, а отворенной видел за все время раза три, не больше. Это была низкая дверь в темном углу за выступом, и висела она на таких больших железных петлях, а запиралась таким огромным замком, что замка и петель было больше, чем самой двери.

Велико же было удивление Тоби, когда он, подойдя с непокрытой головой к церкви, протянул руку в этот темный угол, шибко побаиваясь, что ее вот-вот кто-то схватит, и борясь с желанием тут же ее отдернуть,— и вдруг оказалось, что дверь, отворявшаяся наружу, не только не заперта, но даже приотворена!

Растерявшись от неожиданности, он сперва думал было вернуться, или сходить за фонарем, или позвать кого-нибудь с собой; но тотчас в нем заговорило природное мужество, и он решил идти один.

— Чего мне бояться? — сказал Трухти.— Ведь это же церковь! Может, просто звонари, входя, забыли затворить дверь.

И он пошел, нащупывая дорогу, как слепой, потому что было очень темно. И было очень тихо, потому что колокола молчали.

За порог намело с улицы кучи пыли, нога ступала по ней как по мягкому бархату, и от одного этого замирало сердце. Узкая лестница начиналась от самой двери, так что Тоби с первого же шагу споткнулся и при этом нечаянно толкнул дверь ногой; ударившись снаружи о стену, дверь с размаху захлопнулась, да так крепко, что он уже не мог отворить ее.

Однако это было лишним основанием для того, чтобы идти вперед. Тоби нащупал витую лестницу и пошел. Вверх, вверх, вверх, кругом и кругом; все выше, выше, выше!

Нельзя сказать, чтобы подниматься ощупью по этой лестнице было приятно: она была такая узкая и крутая, что рука его все время на что-то натыкалась; и то и дело ему мерещился впереди человек или, может быть, призрак, бесшумно уступающий ему дорогу, так что он даже проводил рукой по гладкой стене вверх, ожидая нащупать лицо, и вниз, ожидая нащупать ноги, и мороз подирал его по коже. Несколько раз стена прерывалась нишей или дверью; пустоты эти чудились ему шириной во всю церковь, и он, пока снова не находил стену, ясно ощущал, будто стоит на краю пропасти и сейчас камнем свалится вниз.

Вверх, вверх, вверх; кругом и кругом; все выше, выше, выше.

Наконец в спертом, тяжелом воздухе пахнуло свежестью, потом потянул ветерок, потом задуло так сильно, что Тоби трудно стало держаться на ногах. Но он добрался до стрельчатого окна и, крепко ухватясь за что-то, глянул вниз; он увидел крыши домов, дым из труб, тусклые кляксы огней (там Мэг удивляется, куда он пропал, и, может быть, зовет его) — мутное месиво из тьмы и тумана.

То была вышка, куда поднимались звонари. А держался Тоби за одну из растрепанных веревок, свисавших

сквозь отверстия в дубовом потолке. Сперва он вздрогнул, приняв ее за пук волос; потом затрепетал от одной мысли, что мог разбудить большой колокол. Самые колокола помещались выше. И Тоби, точно завороженный или послушный какой-то таинственной силе, полез выше, теперь уже по приставным лестницам, и с трудом, потому что лестницы были очень крутые и перекладины не слишком надежные.

Вверх, вверх, вверх; карабкаясь, цепляясь; все выше, выше, выше!

И вот, просунув голову между балками, он очутился среди колоколов. Огромные их очертания были едва различимы во мраке; но это были они. Призрачные, темные, немые.

Тоска и ужас стеснили его душу, едва он проник в это заоблачное гнездо из металла и камня. Голова у него кружилась. Он прислушался, а потом истошным голосом крикнул:

— Эй-эй-эй!

— Эй-эй-эй! — угрюмо откликнулось эхо.

В смятении, задыхаясь от слабости и страха, Тоби огляделся невидящим взглядом и упал без чувств.

## ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ

Темны тяжелые тучи и мутны глубокие воды, когда море сознания, пробуждаясь после долгого штиля, отдает мертвых, бывших в нем *. Чудища, вида странного и дикого, всплывают из глубин, воскресшие до времени, незавершенные; куски и обрывки несходных вещей перемешаны и спутаны; и когда, и как, и каким неисповедимым порядком одно отделяется от другого и всякое чувство, всякий предмет вновь обретает жизнь и привычный облик,— того не знает никто, хотя каждый из нас каждодневно являет собою вместилище этой великой тайны.

Вот почему нет никакой возможности рассказать, когда и как кромешная тьма колокольни сменилась сияющим светом; когда и как пустую башню населили несчетные

создания; когда и как докучный шепот «мы тебя разыщем», шелестевший у Тоби над ухом во время его сна или обморока, перешел в громкий и явственный возглас «полно спать!», когда и как рассеялось владевшее им смутное ощущение, что такого не бывает, хотя, с другой стороны, вот же все-таки оно есть. Но сейчас он не спал и, стоя на тех самых досках, на которые давеча свалился замертво, видел перед собой колдовское зрелище.

Он видел, что башня, куда его занесли завороженные ноги, кишмя кишит крошечными призраками, эльфами, химерами колоколов. Он видел, как они непрерывно сыплются из колоколов — вылетают из них, выскакивают, падают. Видел их вокруг себя на полу, и в воздухе над собою; они удирали от него вниз по веревкам, смотрели на него сверху, с толстых балок, опоясанных железными скобами; заглядывали к нему через амбразуры и щели; расходились от него кругами, как вода от брошенного камня. Он видел их во всевозможных обличьях. Были среди них уродцы и пригожие собой, скрюченные и стройненькие. Были молодые и старые, добрые и жестокие, веселые и сердитые: он видел, как они пляшут, и слышал, как они поют; видел, как они рвут на себе волосы, и слышал, как они воют. Они роем вились в воздухе. Беспрестанно появлялись и исчезали. Скатывались вниз, взлетали кверху, уплывали вдаль, лезли под нос, проворные и неутомимые. Тоби Вэку, так же, как им, все было видно сквозь камень и кирпич, грифель и черепицу. Он видел их в домах, хлопочущими около спящих. Видел, как одних они успокаивают во сне, а других стегают плетками; одним орут что-то в уши, другим услаждают слух тихой музыкой; одних веселят птичьим щебетом и ароматом цветов; на других, чей сон и без того тревожен, выпускают страшные рожи из волшебных зеркал, которые держат в руках.

Он видел этих призраков не только среди спящих, но и среди бодрствующих, видел их за делами несовместными и в обличьях самых противоречивых. Он видел, как один из них пристегнул множество крыльев, чтобы летать быстрее, а другой навесил на себя цепи и гири, чтобы лететь медленнее. Видел, как одни передвигали часовые стрелки вперед, другие назад, третьи же пытались вовсе остановить часы. Видел, как они разыгрывали тут свадьбу, а там

похороны, в этой зале — выборы, а в той — бал; он видел их повсюду, в сплошном, неустанном движении.

Совсем ошалев от этого сонма юрких, удивительных тварей и от гама колоколов, все время оглушительно трезвонивших, Тоби прислонился к деревянной подпорке, чтобы не упасть, и бледный, в немом изумлении, озирался по сторонам.

Вдруг колокола смолкли. Мгновенная перемена! Весь рой обессилел; крошечные создания съежились, проворства их как не бывало; они пробовали взлететь, но тут же никли, умирали и растворялись в воздухе, а новых не возникало. Один, правда, еще довольно бойко спрыгнул с большого колокола и упал на ноги, но не успел он двинуться с места, как уже умер и пропал из глаз. Несколько штук из тех, что совсем недавно резвились на колокольне, оказались чуть долговечнее,— они еще вертелись и вертелись, но с каждым поворотом слабели, бледнели, редели и вскоре последовали за остальными. Дольше всех храбрился малюсенький горбун, который забрался в угол, где еще жило эхо; там он долго крутился и подскакивал совсем один и проявил такое упорство, что перед тем, как ему окончательно раствориться, от него еще оставалась ножка, потом носок башмачка; но в конце концов исчез и он, и колокольня затихла.

Тогда и только тогда старый Тоби заметил в каждом колоколе бородатую фигуру такой же, как колокол, формы и такую же высокую. Непостижимым образом то были и фигуры и колокола; и огромные, важные, они не сводили взгляда с застывшего от ужаса Тоби.

Таинственные, грозные фигуры! Они ни на чем не стояли, но повисли в ночном воздухе, и головы их, скрытые капюшонами, тонули во мраке под крышей. Они были недвижимые, смутные; смутные и темные, хотя он видел их при странном свете, исходившем от них же — другого света не было,— и все прижимали скрытый в черных складках покрывала палец к незримым губам.

Он не мог ринуться прочь от них через отверстие в полу, ибо способность двигаться совершенно его оставила. Иначе он непременно бы это сделал — да что там, он бросился бы с колокольни вниз головой, лишь бы скрыться от взгляда, который они на него устремили,

который не отпустил бы егс, даже если б вырвать у них глаза.

Снова и снова неизъяснимый ужас, притаившийся на этой уединенной вышке, где властвовала дикая, жуткая ночь, касался его, как ледяная рука мертвеца. Что всякая помощь далеко; что от земли, где живут люди, его отделяет бесконечная темная лестница, на каждом повороте которой сторожит нечистая сила; что он один, высоко-высоко, там, где днем летают птицы и голова кружится на них смотреть; что он отторгнут от всех добрых людей,— в такой час они давно разошлись по домам, заперли двери и спят; — все это он ощутил сразу, и его словно пронизало холодом. А тем временем и страхи его, и мысли, и глаза были прикованы к загадочным фигурам. Глубокий мрак, обволакивающий их, да и самая их форма и сверхъестественная их способность держаться в воздухе делали их не похожими ни на какие другие образы нашего мира; однако видны они были столь же ясно, как крепкие дубовые рамы, подпоры, балки и брусья, на которых висели колокола. Их окружал целый лес обтесанных деревьев; и из глубины его, из этой путаницы и переплетения, как из чащи мертвого бора, сгубленного ради их таинственных целей, они грозно и не мигая смотрели на Тоби.

Порыв ветра — о, какой холодный и резкий! — со стоном налетел на башню. И когда он замер, большой колокол, или дух большого колокола, заговорил.

— Кто к нам явился? — Голос был низкий, гулкий, и Тоби показалось, что он исходит из всех колоколов сразу.

— Мне послышалось, что колокола зовут меня,— сказал Тоби, умоляюще воздев руки.— Сам не знаю, зачем я здесь и как сюда попал. Уже сколько лет я слушаю, что говорят колокола. Они часто утешали меня.

— А ты благодарил их? — спросил колокол.

— Тысячу раз! — воскликнул Тоби.

— Как?

— Я бедный человек,— застыдился Тоби,— я мог благодарить их только словами.

— И ты всегда это делал? — вопросил дух колокола.— Никогда не грешил на нас?

— Никогда! — горячо вскричал Тоби.

— Никогда не грешил на нас скверными, лживыми, злыми словами?

Тоби уже готов был ответить: «Никогда!», но осекся и смешался.

— Голос Времени,— сказал дух,— взывает к человеку: «Иди вперед!» Время хочет, чтобы он шел вперед и совершенствовался; хочет для него больше человеческого достоинства, больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы он продвигался к цели, которую оно знает и видит, которая была поставлена, когда только началось Время и начался человек. Долгие века зла, темноты и насилия сменяли друг друга, несчетные множества людей мучились, жили и умирали, чтобы указать человеку путь. Кто тщится преградить ему дорогу или повернуть его вспять, тот пытается остановить мощную машину, которая убьет дерзкого насмерть, а сама, после минутной задержки, заработает еще более неукротимо и яростно.

— У меня и в мыслях такого не было, сэр,— сказал Трухти.— Если я сделал это, так как-нибудь невзначай. Нарочно нипочем не стал бы.

— Кто вкладывает в уста Времени или слуг его,— продолжал дух,— сетования о днях, тоже знавших невзгоды и падения и оставивших по себе глубокий и печальный след, видимый даже слепому,— сетования, которые служат настоящему только тем, что показывают людям, как нужна их помощь, раз кто-то способен сожалеть даже о таком прошлом,— кто это делает, тот грешит. И в этом ты согрешил против нас, колоколов.

Страх Тоби начал утихать. Но он, как вы знаете, всегда питал к колоколам любовь и признательность; и когда он услышал обвинение в том, что так жестоко их обидел, сердце его исполнилось раскаянья и горя.

— Если б вы знали,— сказал Тоби, смиренно сжав руки,— а может, вы и знаете... если вы знаете, сколько раз вы коротали со мной время; сколько раз вы подбадривали меня, когда я готов был пасть духом; как служили забавой моей маленькой дочке Мэг (других-то забав у нее почти и не было), когда умерла ее мать и мы с ней остались одни,— вы не попомните зла за безрассудное слово.

— Кто услышит в нашем звоне пренебрежение к на-

деждам и радостям, горестям и печалям многострадальной толпы; кому послышится, что мы соглашаемся с мудрецами, меряющими человеческие страсти и привязанности той же меркой, что и жалкую пищу, на которой человечество хиреет и чахнет,— тот грешит. И в этом ты согрешил против нас! — сказал колокол.

— Каюсь! — сказал Трухти.— Простите меня!

— Кому слышится, будто мы вторим слепым червям земли, упразднителям тех, кто придавлен и сломлен, но кому предназначено быть вознесенными на такую высоту, куда этим мокрицам времени не заползти даже в мыслях,— продолжал дух колокола,— тот грешит против нас. И в этом грехе ты повинен.

— Невольный грех,— сказал Тоби.— По невежеству. Невольно.

— И еще одно, а это важнее всего,— продолжал колокол.— Кто отвращается от падших и изувеченных своих собратьев; отрекается от них, как от скверны, и не хочет проследить сострадательным взором открытую пропасть, в которую они скатились из мира добра, цепляясь в своем падении за травинки и кочки утраченной этой земли, и не выпускали их даже тогда, когда умирали, израненные, глубоко на дне,— тот грешит против бога и человека, против времени и вечности. И в этом грехе ты повинен.

— Сжальтесь надо мной! — вскричал Тоби, падая на колени.— Смилуйтесь!

— Слушай! — сказала тень.

— Слушай! — подхватили остальные тени.

— Слушай! — произнес ясный детский голос, показавшийся Тоби знакомым.

Внизу, в церкви, слабо зазвучал орга̀н. Постепенно нарастая, мелодия его достигла крыши, заполнила хоры и неф. Она все ширилась, поднималась выше и выше, вверх, вверх, вверх, будя растревоженные сердца дубовых балок, гулких колоколов, окованных железом дверей, прочных каменных лестниц; и, наконец, когда стены башни уже не могли вместить ее, взмыла к небу.

Не удивительно, что и грудь старика не могла вместить такого могучего, огромного звука. Он вырвался из этой хрупкой тюрьмы потоком слез; и Трухти закрыл лицо руками.

— Слушай! — сказала тень.

— Слушай! — сказали остальные тени.

— Слушай! — сказал детский голос.

На колокольню донеслось торжественное пение хора.

Пели очень тихо и скорбно — за упокой,— и Тоби, вслушавшись, различил в этом хоре голос дочери.

— Она умерла! — воскликнул старик.— Мэг умерла! Ее дух зовет меня! Я слышу!

— Дух твоей дочери,— сказал колокол,— оплакивает мертвых и общается с мертвыми — мертвыми надеждами, мертвыми мечтами, мертвыми грезами юности; но она жива. Узнай по ее жизни живую правду. Узнай от той, кто тебе всех дороже, дурными ли родятся дурные. Узнай, как даже с прекраснейшего стебля срывают один за другим бутоны и листья и как он сохнет и вянет. Следуй за ней! До роковой черты!

Темные фигуры все как одна подняли правую руку и указали вниз.

— Призрак дней прошедших и грядущих будет тебе спутником,— сказал голос.— Иди. Он стоит за тобой.

Тоби оглянулся и увидел... девочку? Девочку, которую нес на руках Уилл Ферн! Девочку, чей сон — вот только что — охраняла Мэг!

— Я сам сегодня нес ее на руках,— сказал Трухти.

— Покажи ему, что такое он сам,— сказали в один голос темные фигуры.

Башня разверзлась у его ног. Он глянул вниз, и там, далеко на улице, увидел себя, разбившегося и недвижимого.

— Я уже не живой! — вскричал Трухти.— Я умер!

— Умер! — сказали тени.

— Боже милостивый! А новый год...

— Прошел,— сказали тени.

— Как! — крикнул он, содрогаясь.— Я забрел не туда, оступился в темноте и упал с колокольни... год назад?

— Девять лет назад,— ответили тени.

Отвечая, они опустили простертые руки; там, где только что были темные фигуры, теперь висели колокола.

И звонили: им опять пришло время звонить. И опять сонмы эльфов возникли неизвестно откуда, опять они были заняты диковинными своими делами, а едва смолкли

колокола, опять стали бледнеть, пропадать из глаз, и растворились в воздухе.

— Кто они? — спросил Тоби.— Я наверно сошел с ума, но если нет, кто они такие?

— Голоса колоколов. Колокольный звон,— отвечала девочка.— Их дела и обличья — это надежды и мысли смертных, и еще — воспоминания, которые у них накопились.

— А ты? — спросил ошеломленно Трухти.— Кто ты?

— Тише,— сказала девочка.— Смотри!

В бедной, убогой комнате, склонившись над таким же вышиванием, какое он часто, часто видел у нее в руках, сидела Мэг, его родная, нежно любимая дочь. Он не пытался поцеловать ее; не пробовал прижать ее к сердцу; он знал, что это отнято у него навсегда. Но он, весь дрожа, затаил дыхание и смахнул набежавшие слезы, чтобы разглядеть ее получше. Чтобы только видеть ее.

Да, она изменилась. Как изменилась! Ясные глаза потускнели. Свежие щеки увяли. Красива по-прежнему, но надежда, где та молодая надежда, что когда-то отдавалась в его сердце, как голос!

Мэг оторвалась от пялец и взглянула на кого-то. Проследив за ее взглядом, старик отшатнулся.

Он сразу узнал ее в этой взрослой женщине. Так же завивались кудрями длинные шелковистые волосы; те же были полураскрытые детские губы. Даже в глазах, обращенных с вопросом к Мэг, светился тот же взгляд, каким она всматривалась в эти черты, когда он привел ее к себе в дом!

Тогда кто же это здесь, рядом с ним?

С трепетом заглянув в призрачное лицо, он увидел в нем что-то... что-то торжественное, далекое, смутно напоминавшее о той девочке, как напоминала ее и женщина, глядевшая на Мэг; а между тем это была она, да, она; и в том же платье.

Но тише! Они разговаривают!

— Мэг,— нерешительно сказала Лилиен,— как часто ты поднимаешь голову от работы, чтобы взглянуть на меня!

— Разве мой взгляд так изменился, что пугает тебя? — спросила Мэг.

— Нет, родная. Ты ведь и спрашиваешь это только в шутку. Но почему ты не улыбаешься, когда смотришь на меня?

— Да я улыбаюсь. Разве нет? — отвечала Мэг с улыбкой.

— Сейчас — да,— отвечала Лилиен.— Но когда ты думаешь, что я работаю и не вижу тебя, лицо у тебя такое грустное, озабоченное, что я и смотреть на тебя боюсь. Жизнь наша тяжелая, трудная, и улыбаться нам мало причин, но раньше ты была такая веселая!

— А сейчас разве нет? — воскликнула Мэг с непонятной тревогой и, поднявшись, обняла девушку.— Неужели из-за меня наша тоскливая жизнь кажется тебе еще тоскливее?

— Если бы не ты, у меня бы никакой жизни не было! — сказала Лилиен, пылко ее целуя.— Если бы не ты, я бы, кажется, и не захотела больше так жить. Работа, работа, работа! Столько часов, столько дней, столько долгих-долгих ночей безнадежной, безотрадной, нескончаемой работы — и для чего? Не ради богатства, не ради веселой, роскошной жизни, не ради достатка, пусть самого скромного; нет, ради хлеба, ради жалких грошей, которых только и хватает на то, чтобы снова работать, и во всем нуждаться, и думать о нашей горькой доле! Ах, Мэг! — Она заговорила громче и стиснула руки на груди, словно от сильной боли.— Как может жестокий мир существовать и равнодушно смотреть на такую жизнь!

— Лилли! — сказала Мэг, успокаивая ее и откидывая ей волосы с лица, залитого слезами.— Лилли! И это говоришь ты, такая молодая, красивая!

— В том-то и ужас, Мэг! — перебила девушка, отпрянув и умоляюще глядя ей в лицо.— Преврати меня в старуху, Мэг! Сделай меня сморщенной, дряхлой, избавь от страшных мыслей, которые смущают меня, молодую!

Трухти повернулся к своей спутнице. Но призрак девочки обратился в бегство. Исчез.

И сам он уже находился совсем в другом месте. Ибо сэр Джозеф Баули, Друг и Отец бедняков, устроил пышное празднество в Баули-Холле по случаю дня рождения своей супруги. А поскольку леди Баули родилась в первый день года (в чем местные газеты усматривали перст про-

видения, повелевшего леди Баули всегда и во всем быть первой), то и празднество это происходило на Новый год.

Баули-Холл был полон гостей. Явился краснолицый джентльмен, явился мистер Файлер, явился достославный олдермен Кьют,— этот последний питал склонность к великим мира сего и благодаря своему любезному письму весьма сблизился с сэром Джозефом Баули, стал прямотаки другом этой семьи,— явилось и еще множество гостей. Явился и бедный невидимый Трухти и бродил по всему дому унылым привидением, разыскивая свою спутницу.

В великолепной зале шли приготовления к великолепному пиру, во время которого сэр Джозеф Баули, общепризнанный Друг и Отец бедняков, должен был произнести великолепную речь. До этого его Друзьям и Детям предстояло съесть известное количество пудингов в другом помещении; затем по данному знаку Друзья и Дети, влившись в толпу Друзей и Отцов, должны были образовать семейное сборище, в коем ни один мужественный глаз не останется не увлажненным слезой умиления.

Но это не все. Даже это еще не все. Сэр Джозеф Баули, баронет и член парламента, должен был сыграть в кегли — так-таки сразиться в кегли — со своими арендаторами!

— Невольно вспоминаются дни старого короля Гарри,— сказал по этому поводу олдермен Кьют.— Славный был король, добрый король. Да. Вот это был молодец.

— Безусловно,— сухо подтвердил мистер Файлер.— По части того, чтобы жениться и убивать своих жен. Кстати сказать, число жен у него было значительно выше среднего *.

— Вы-то будете брать в жены прекрасных леди, но не станете убивать их, верно? — обратился олдермен Кьют к наследнику Баули, имевшему от роду двенадцать лет.— Милый мальчик! Мы и оглянуться не успеем,— продолжал олдермен, положив руки ему на плечи и приняв самый глубокомысленный вид,— как этот маленький джентльмен пройдет в парламент. Мы услышим о его победе на выборах; о его речах в палате лордов; о лестных предложениях ему со стороны правительства, о всевозможных блестящих

его успехах. Да, не успеем мы оглянуться, как будем по мере своих скромных сил возносить ему хвалу на заседаниях городского управления. Помяните мое слово!

«Ох, какая же большая разница между обутыми и босыми!» — подумал Тоби. Но сердце его потянулось даже к этому ребенку: он вспомнил о босоногих мальчишках, которым предначертано было (олдерменом) вырасти преступниками и которые могли бы быть детьми бедной Мэг.

— Ричард,— стонал Тоби, блуждая среди гостей.— Где он? Я не могу найти Ричарда! Где Ричард?

Казалось бы, что здесь делать Ричарду, даже если он еще жив? Но от тоски и одиночества Тоби совсем потерял голову; и все блуждал среди нарядных гостей, ища свою спутницу и повторяя:

— Где Ричард? Покажи мне Ричарда!

Во время этих блужданий навстречу ему попался доверенный секретарь мистер Фиш, страшно взволнованный.

— Что же это такое! — воскликнул мистер Фиш.— Где олдермен Кьют? Видел кто-нибудь олдермена?

Видел ли кто олдермена? Да полно, разве кто-нибудь мог не увидеть олдермена? Он был так обходителен, так любезен, так твердо помнил о естественном для каждого человека желании видеть его, что, пожалуй, единственный его недостаток в том и состоял, что он все время был на виду. И где бы ни находились великие мира сего, там же, в силу сродства избранных душ, находился и Кьют.

Несколько голосов крикнуло, что он — в том кружке, что собрался возле сэра Джозефа. Мистер Фиш направился туда, нашел его и потихоньку отвел к ближайшему окну. Трухти последовал за ними. Не умышленно. Ноги сами понесли его в ту сторону.

— Дорогой олдермен Кьют! — сказал мистер Фиш.— Отойдем еще подальше. Произошло нечто ужасное. Мне только сию минуту дали знать. Думаю, что сэру Джозефу лучше не сообщать об этом до конца праздника. Вы хорошо знаете сэра Джозефа и посоветуете мне, как быть. Поистине страшное и прискорбное событие!

— Фиш! — сказал олдермен.— Фиш, дорогой мой, что случилось? Надеюсь, ничего революционного? Никто не... не покушался на полномочия мировых судей?

— Дидлс, банкир...— пролепетал Фиш.— Братья Дидлс... его сегодня здесь ждали... занимал такой высокий пост в Пробирной палатке...

— Неужели прекратил платежи? — вскричал олдермен.— Быть не может!

— Застрелился.

— Боже мой!

— У себя в конторе,— сказал мистер Фиш.— Сунул в рот двуствольный пистолет и спустил курок. Причин — никаких. Был всем обеспечен.

— Обеспечен! — воскликнул олдермен.— Да он был богатейший человек. Почтеннейший человек. Самоубийство! От собственной руки!

— Сегодня утром,— подтвердил Фиш.

— О бедный мозг! — воскликнул олдермен, набожно воздев руки.— О нервы, нервы! Тайны машины, называемой человеком! О, как мало нужно, чтобы нарушить ее ход,— несчастные мы создания! Возможно, неудачный обед, мистер Фиш. Возможно, поведение его сына,— я слышал, что этот молодой человек вел беспутный образ жизни и взял в привычку выдавать векселя на отца, не имея на то никакого права! Такой почтенный человек! Один из самых почтенных, каких я только знал! Это потрясающий случай, мистер Фиш. Это общественное бедствие! Я не премину надеть глубокий траур. Такой почтенный человек! Однако на все воля божия. Мы должны покоряться, мистер Фиш. Должны покоряться!

Как, олдермен! Ни слова о том, чтобы упразднить? Вспомни, праведный судия, как ты гордился и хвастал своей высокой нравственностью. Ну же, олдермен! Уравновесь чашки весов. Брось-ка на эту, пустую, меня, да голод, да какую-нибудь бедную женщину, у которой нужда и лишения иссушили жизненные соки, сделали ее глухой к слезам ее отпрысков, хотя они-то имели право на ее участие, право, дарованное святой матерью Евой. Взвесь то и другое, ты, Даниил *, когда придет твой час предстать перед Страшным судом! Взвесь то и другое на глазах у тысяч страдальцев, для которых ты разыгрываешь свой жестокий фарс, и не думай, будто их так легко обмануть. А что, если у тебя самого помрачится разум — долго ли? — и ты перережешь себе горло в назидание своим сытым

собратьям (если есть у тебя собратья), чтобы они поосторожнее читали мораль удрученным и отчаявшимся. Что тогда?

Слова эти возникли в сердце у Тоби, точно произнесенные не его, а чьим-то чужим голосом. Олдермен Кьют заверил мистера Фиша, что поможет ему сообщить о печальном происшествии сэру Джозефу, когда кончится праздник. На прощанье, в сокрушении душевном стиснув руку мистера Фиша, он еще раз сказал: «Такой почтенный человек!» И добавил, что ему (даже ему!) непонятно, как допускаются на земле подобные несчастья.

— Впору предположить, хоть это, конечно, и не так,— сказал олдермен Кьют,— что временами в природе совершаются какие-то страшные сдвиги, влияющие на всю систему общественного устройства. Братья Диддс!

Игра в кегли прошла с огромным успехом. Сэр Джозеф сбивал кегли весьма искусно; его наследник тоже бросил шар, с более близкого расстояния; и все признали, что раз уж баронет и сын баронета играют в кегли, значит дела в стране поправляются, и притом очень быстро.

В надлежащее время был подан обед. Трухти, сам не зная зачем, тоже направился в залу,— его повлекло туда нечто, бывшее сильнее собственной его воли. Зала представляла собой прелестную картину; дамы были одна другой красивее; все гости — довольны, веселы и благодушны. Когда же в дальнем конце залы отворились двери и в них хлынули жители деревни в своих крестьянских костюмах, зрелище стало совершенно уже восхитительным. Но Тоби ни на что не смотрел, а только продолжал шептать: «Где Ричард? Он бы должен помочь ей, утешить ее! Я не вижу Ричарда!»

Уже было предложено несколько тостов; уж выпили за здоровье леди Баули; уже сэр Джозеф Баули поблагодарил гостей и произнес свою великолепную речь, в которой привел разнообразные доказательства тому, что он прирожденный Друг и Отец и прочее; и сам предложил тост: за своих Друзей и Детей и за благородство труда,— как вдруг внимание Тоби привлекло легкое замешательство в конце залы. После недолгой суеты, шума и пререканий какой-то человек протиснулся сквозь толпу и выступил вперед.

Не Ричард. Нет. Но и об этом человеке Тоби много раз думал, пытался его разыскать. При менее ярком свете Тоби, возможно, не сообразил бы, кто этот изможденный мужчина, такой старый, седой, ссутулившийся; но сейчас, когда десятки ламп озаряли его большую шишковатую голову, он тотчас признал Уилла Ферна.

— Что такое! — вскричал сэр Джозеф, вставая с места.— Кто впустил сюда этого человека? Это преступник, только что из тюрьмы! Мистер Фиш, будьте так добры, займитесь...

— Одну минуту! — сказал Уилл Ферн.— Одну минуту! Миледи, нынче день рожденья — ваш и нового года. Разрешите мне сказать слово.

Она вступилась за него. Сэр Джозеф с присущим ему достоинством снова опустился на стул.

Гость-оборванец — одежда на нем была вся в лохмотьях — оглядел собравшихся и смиренно им поклонился.

— Добрые господа! — сказал он.— Вы пили за здоровье рабочего человека. Посмотрите на меня!

— Прямехонько из тюрьмы,— сказал мистер Фиш.

— Прямехонько из тюрьмы,— подтвердил Ферн.— И не в первый раз, не во второй, не в третий, даже не в четвертый.

Тут мистер Файлер брюзгливо заметил, что четыре раза это уже выше среднего и как, мол, не стыдно.

— Добрые господа! — повторил Уилл Ферн.— Посмотрите на меня! Вы видите, на что я стал похож — хуже некуда, мне теперь ни повредить больше нельзя, ни помочь; то время, когда ваши милостивые слова и благодеяния могли принести пользу *мне,*— он ударил себя в грудь и тряхнул головой,— то время ушло, развеялось, как запах прошлогоднего клевера. Я хочу замолвить слово за них,— он указал на работников, столпившихся в углу залы,— сейчас вы тут все в сборе, так выслушайте раз в жизни настоящую правду.

— Здесь не найдется никого,— сказал хозяин дома,— кто уполномочил бы этого человека говорить от его имени.

— Очень может быть, сэр Джозеф. Я тоже так думаю. Но это не значит, что в моих словах нет правды. Может,

как раз это-то их и подтверждает. Добрые господа, я прожил в этих местах много лет. Вон от той канавы виден мой домишко. Сколько раз нарядные леди срисовывали его в свои альбомы. Говорят, на картинках он получается очень красиво; но на картинках нет погоды, вот и выходит, что куда лучше его срисовывать, чем в нем жить. Ну ладно, я в нем жил. Как трудно и тяжко мне там жилось, про это я не стану рассказывать. Можете убедиться сами, в любой день, когда угодно.

Он говорил так же, как в тот вечер, когда Тоби встретил его на улице. Голос его стал более глухим и хриплым и временами дрожал; но ни разу он не поднялся до страстного крика, а звучал сурово и обыденно, под стать тем обыденным фактам, которые он излагал.

— Вырасти в таком доме порядочным, мало-мальски порядочным человеком труднее, чем вы думаете, добрые господа. Что я вырос человеком, а не зверем,— и то хорошо; это, как-никак, похвала мне... такому, каким я был. А какой я стал — такого меня и хвалить не за что, и сделать для меня уже ничего нельзя. Кончено.

— Я рад, что этот человек пришел сюда,— заметил сэр Джозеф, обводя своих гостей безмятежным взглядом.— Не прерывайте его. Видимо, такова воля всевышнего. Перед нами пример, живой пример. Я надеюсь, я верю и жду, что мои друзья усмотрят в нем назидание.

— Я выжил,— вновь заговорил Ферн после минутного молчания.— Как — и сам не знаю, и никто не знает; но до того мне было трудно, что я не мог делать вид, будто я всем доволен, или прикидываться не тем, что я есть. Ну, а вы, джентльмены, что заседаете в судах, когда вы видите, что у человека на лице написано недовольство, вы говорите друг другу: «Это подозрительный субъект. Этот Уилл Ферн мне что-то не нравится. Надо за ним последить!» Удивляться тут нечему, джентльмены, я просто говорю, что это так; и уж с этого часа все, что Уилл Ферн делает и чего не делает,— все оборачивается против него.

Олдермен Кьют засунул большие пальцы в карманы жилета и, откинувшись на стуле, с улыбкой подмигнул ближайшему канделябру, словно говоря: «Ну конечно! Я же вам говорил. Старая песня. Все это нам давно знакомо — и мне и человеческой природе».



— А теперь, джентльмены,— сказал Уилл Ферн, протянув к ним руки, и бледное лицо его на мгновение залилось краской,— вспомните ваши законы, ведь они как нарочно придуманы для того, чтобы травить нас и расставлять нам ловушки, когда мы дойдем до такого положения. Я пробую перебраться в другое место. И оказываюсь бродягой. В тюрьму его! Я возвращаюсь сюда. Иду в ваш лес за орехами и ломаю несколько веток — с кем не случается! В тюрьму его! Один из ваших сторожей видит меня среди бела дня с ружьем, около моего же огорода. В тюрьму его! Вышел из тюрьмы и, само собой, обругал этого сторожа как следует. В тюрьму его! Я срезал палку. В тюрьму его! Подобрал и съел гнилое яблоко или репу. В тюрьму его! Обратно идти двадцать миль; по дороге попросил милостыню. В тюрьму его! А потом уж где бы я ни был, что бы ни делал, непременно попадаюсь на глаза то констеблю, то сторожу, то еще кому-нибудь. В тюрьму его, он бродяга, сколько раз сидел за решеткой, у него и дома-то нет, кроме тюрьмы.

Олдермен глубокомысленно кивнул, как бы говоря: «Что ж, дом самый подходящий!»

— Ради кого я это говорю, неужели ради себя? — воскликнул Ферн.— Кто вернет мне мою свободу, мое доброе имя, невинность моей племянницы! Тут бессильны все лорды и леди, сколько их ни есть в Англии. Но прошу вас, добрые господа, когда имеете дело с другими, подобными мне, начинайте не с конца, а с начала. Дайте, прошу вас, сносные дома тем, кто еще лежит в колыбели; дайте сносную пищу тем, кто трудится в поте лица; дайте более человечные законы, чтобы не губить нас за первую же провинность, и не гоните нас за каждый пустяк в тюрьму, в тюрьму, в тюрьму! Тогда мы будем с благодарностью принимать всякое снисхождение, какое вы пожелаете оказать рабочему человеку,— ведь сердце у него незлое, терпеливое и отзывчивое. Но сперва вы должны спасти в нем живую душу. Ибо сейчас — пусть это пропащий, как я, или один из тех, что здесь собрались,— все равно, душой он не с вами. Верните себе его душу, господа, верните! Не дожидайтесь того дня, когда даже в библии его помутившемуся разуму почудится не то, что было в ней раньше, и знакомые слова предстанут его глазам такими,

как они представали иногда моим глазам... в тюрьме: «Куда ты пойдешь, туда я не пойду; где ты будешь жить, там я не буду жить; народ твой — не мой народ, и твой бог — не мой бог!» *

Внезапно в зале началось какое-то волнение и суета. Тоби подумал было, что это гости повскакали со своих мест, чтобы выгнать Ферна. Но в следующую минуту и зала и гости исчезли, и перед ним снова сидела его дочь, склонившись над работой. Только теперь каморка ее была другая, совсем уже нищенская; и Лилиен рядом с ней не было.

Пяльцы, за которыми Лилиен когда-то работала, были убраны на полку и прикрыты. Стул, на котором она сидела,— повернут к стене. В этих мелочах и в осунувшемся от горя лице Мэг была целая повесть. Каждый прочел бы ее с первого взгляда!

Мэг прилежно трудилась, пока не стемнело, а когда перестала различать нити, зажгла грошовую свечу и опять принялась за работу. Старый ее отец, невидимый, все стоял возле нее, смотрел на нее, любил ее — так любил! — и ласковым голосом говорил ей что-то про прежние дни и про колокола. Хотя он и знал — бедный Трухти! — что она его не слышит.

Уже совсем поздно вечером в дверь постучали. Мэг отворила. На пороге стоял мужчина. Угрюмый, пьяный, неопрятный, истасканный, со свалявшимися волосами и нестриженой бородой; но по каким-то признакам еще можно было угадать, что в молодости он был ладный и красивый.

Он стоял, ожидая разрешения войти, а она, отступив на шаг от двери, смотрела на него молча и печально. Желание Тоби исполнилось: он увидел Ричарда.

— Можно к тебе, Маргарет?

— Да. Войди. Войди!

Хорошо, что Тоби узнал его раньше, чем он заговорил; не то, услышав этот грубый, сиплый голос, он бы ни за что не поверил, что перед ним Ричард.

В комнате было только два стула. Мэг уступила ему свой, а сама, отойдя немного в сторону, стояла и ждала, что он скажет. Но он сидел, тупо уставясь в пол, с застывшей, бессмысленной улыбкой. Он являл собой картину такого глубокого падения, такой предельной безнадежности,

такого жалкого позора, что она закрыла лицо руками и отвернулась, чтобы скрыть свою боль.

Очнувшись от шороха ее платья или другого какого-то звука, он поднял голову и заговорил, словно только сейчас переступил порог.

— Все за работой, Маргарет? Поздно ты кончаешь.

— Как всегда.

— А начинаешь рано?

— Начинаю рано.

— Вот и она так говорит. Говорит, что ты никогда не уставала; или не признавалась, что устала. Это когда вы жили вместе. Даже если падала в обморок от усталости и голода. Но это я тебе уже рассказывал в прошлый раз.

— Да,— отвечала она.— А я просила тебя больше ничего мне не рассказывать; и ты мне поклялся, Ричард, что не будешь.

— Поклялся,— повторил он с пьяным смехом, глядя на нее пустыми глазами.— Поклялся. Вот-вот. Поклялся! — Потом, точно снова очнувшись, сказал с неожиданной горячностью: — А как же мне быть, Маргарет? Как же мне быть? Она опять ко мне приходила!

— Опять! — воскликнула Мэг, всплеснув руками.— Значит, она так часто обо мне вспоминает! Опять приходила?

— Сколько раз. Маргарет, она не дает мне покою. Нагоняет меня на улице и сует мне в руку. Когда я работаю (ха-ха, это не часто бывает), она подходит ко мне тихонько по золе и шепчет мне в ухо: «Ричард, не оглядывайся. Ради всего святого, передай ей это». Приносит мне на квартиру, посылает в письмах; иногда стукнет в окно и положит на подоконник. Что я могу поделать? Вот, гляди!

Он протянул ей маленький кошелек и подкинул его на ладони, так что в нем забренчали монеты.

— Спрячь его,— сказала Мэг,— спрячь! Когда она опять придет, скажи ей, что я люблю ее всем сердцем. Что я каждый вечер молюсь за нее. Что, когда сижу одна за работой, все время о ней думаю. Что она со мной, днем и ночью. Что, если бы мне завтра умирать, я помнила бы о ней до последнего вздоха. Но что на деньги эти я и смотреть не хочу.

Он медленно убрал руку и, сжав деньги в кулаке, произнес не то задумчиво, не то сонно:

— Я ей так и сказал. Яснее ясного. Я после того раз десять относил ей этот подарок. Но когда она пришла и стала прямо передо мной, что мне было делать?

— Так ты ее видел! — вскричала Мэг.— Ты ее видел? Лилиен, золотая моя девочка! Лилиен!

— Я ее видел,— сказал он, не в ответ ей, но словно все так же медленно думая вслух.— Стоит передо мной и вся дрожит. «Как она выглядит, Ричард? Похудела? А меня вспоминает? Мое всегдашнее место у стола — что там теперь? А пяльцы, в которых она учила меня вышивать, она их сожгла, Ричард?» Так и говорила. Я сам слышал.

Сдерживая рыдания, с мокрым от слез лицом, Мэг склонилась над ним, чтобы не упустить ни слова.

А он, уронив руки на колени и весь подавшись вперед, точно с трудом разбирая стершуюся надпись на полу, продолжал говорить:

— «Ричард, я пала очень низко, и ты поймешь, каково мне было получить обратно эти деньги, раз я теперь решилась сама принести их тебе. Но ты любил ее когда-то, еще на моей памяти. Люди вас разлучили; страх, ревность, сомнения, самолюбие сделали свое дело: ты отдалился от нее. Но ты ее любил, еще на моей памяти». Да, наверно любил,— сказал он вдруг, сам себя прерывая: — Наверно любил. Но не в этом суть. «Ричард, если ты ее любил, если помнишь то, что прошло и не вернется, сходи к ней еще раз. В последний раз. Расскажи ей, как я тебя упрашивала. Расскажи, как я положила тебе руку на плечо — на это плечо она могла бы сама склоняться,— и как смиренно я с тобой разговаривала. Расскажи ей, как ты поглядел мне в лицо и увидел, что красота, которой она когда-то любовалась, исчезла без следа, что она бы расплакалась, увидев, какая я стала худая и бледная. Расскажи ей все, и тогда она не откажется их взять, не будет так жестока!»

Он посидел еще немного, задумчиво повторяя последние слова, потом опять очнулся и встал.

— Не возьмешь, Маргарет?

Она только качала головой и без слов молила его уйти.

— Покойной ночи, Маргарет.

— Покойной ночи.

Он оглянулся на нее, пораженный ее горем, а может и жалостью к нему, дрожавшей в ее голосе. То было быстрое, живое движение, мгновенная вспышка прежнего огня. В следующую минуту он ушел. И навряд ли эта вспышка помогла ему яснее увидеть, до какого бесчестия он докатился.

Как бы ни печалилась Мэг, какую бы ни терпела муку, душевную или телесную, а работать все равно было нужно. Она взялась за иглу. Наступила полночь, она все работала.

Ночь была холодная, огонь в очаге чуть тлел, и она встала, чтобы подбросить немножко угля. Тут прозвонили колокола — половина первого; а когда они смолкли, кто-то тихо постучал в дверь. И только она подумала, кто бы это мог быть в такое неурочное время, как дверь отворилась.

О красота и молодость, вы, по праву счастливые, смотрите! О красота и молодость, благословенные и все вокруг себя благословляющие, вы, через кого совершается воля всеблагого творца вашего, смотрите!

Мэг увидела входящую; вскрикнула; назвала ее по имени: «Лилиен!»

Мгновение — и та упала перед ней на колени, ухватилась за ее платье.

— Встань, родная, встань! Лилиен, дорогая моя!

— Нет, нет, Мэг, поздно! Только так, рядом с тобой, касаться тебя, чувствовать на лице твое дыхание!

— Малютка Лилиен! Дитя моего сердца — родная мать не могла бы любить сильнее,— дай мне обнять тебя!

— Нет, Мэг, поздно! Когда я впервые тебя увидела, ты стояла передо мной на коленях. Дай мне умереть на коленях перед тобой. Не поднимай меня!

— Ты возвратилась. Сокровище мое! Мы будем вместе, будем вместе жить, работать, надеяться, вместе умрем!

— Поцелуй меня, Мэг, обними меня, прижми к груди; посмотри на меня, как бывало. Но не поднимай меня. Дай наглядеться на тебя напоследок вот так, на коленях!



О красота и молодость, вы, по праву счастливые, смотрите! О красота и молодость, вы, через кого совершается воля всеблагого творца вашего, смотрите!

— Прости меня, Мэг! Дорогая моя! Прости! Я знаю, вижу, что ты простила, но ты скажи это, Мэг!

И она сказала это, касаясь губами щеки Лилиен, обвив руками ту, чье сердце — теперь она это знала — вот-вот перестанет биться.

— Храни тебя спаситель, родная. Поцелуй меня еще раз! Он позволил ей сидеть у его ног и отирать их волосами головы своей *. Ах, Мэг, какое милосердие!

Едва она умерла, как возле старого Тоби опять возник призрак маленькой девочки, невинной и радостной, и, легко до него дотронувшись, поманил его за собой.

## ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Снова забрезжили в памяти грозные фигуры — духи колоколов; донесся до слуха слабый колокольный звон; закружился в глазах и в мозгу рой эльфов, и множился, множился, пока самое воспоминание о нем не затерялось в его несметности; снова мелькнула мысль, неведомо кем внушенная, что прошло еще сколько-то лет, и теперь Тоби, стоя рядом с призраком девочки, видел перед собой простых смертных.

Смертные были упитанные, румяные, довольные. Их было всего двое, но раскраснелись они за десятерых. Они сидели у весело пылающего огня, по обе стороны низкого столика; и аромат горячего чая и пышек,— если только он не застаивался здесь дольше, чем во всякой другой комнате,— свидетельствовал о том, что столиком этим совсем недавно пользовались. Но поскольку посуда была вымыта и расставлена по местам в буфете, а длинная вилка для поджаривания хлеба висела в отведенном ей уголке, растопырив свои четыре пальца и словно требуя, чтобы с нее сняли мерку для перчатки,— видимых следов только что закончившейся трапезы не осталось, если не считать довольного мурлыканья разомлевшей, умывающейся лап-



кой кошки да ублаготворенных, чтобы не сказать лоснящихся физиономий ее хозяев.

Эти двое (явно супружеская пара) уютно расположились у огня так, чтобы ни ему, ни ей не было обидно, и глядя на искры, падающие в решетку, то задремывали, то снова просыпались, когда горячая головешка покрупнее со стуком скатывалась вниз, словно увлекая за собой остальные.

Впрочем, огню не грозила опасность потухнуть: он поблескивал не только в комнатке, и на стеклах двери, и на занавеске, до половины скрывавшей их, но и в лавочке за этой дверью. А лавочка была битком набита товаром — обжора, а не лавочка, с пастью жадной и вместительной, что у акулы. Сыр, масло, дрова, мыло, соленья, спички, сало, пиво, волчки, сласти, бумажные змеи, конопляное семя, ветчина, веники, плиты для очага, соль, уксус, вакса, копченые селедки, бумага и перья, шпиг, грибной соус, шнурки для корсетов, хлеб, воланы, яйца и грифели — все годилось в пищу этой прожорливой лавчонке и все она заглатывала без разбора. Сколько еще было в ней всякого другого добра — сказать невозможно; но с потолка, подобно гроздьям диковинных фруктов, свисали мотки бечевки, связки лука, пачки свечей, сита и щетки; а жестяные ящички, издававшие разнообразные приятные запахи, подтверждали слова вывески над входной дверью, оповещавшей публику, что владелец этой лавочки имеет разрешение на торговлю чаем, кофе, перцем и табаком, как курительным так и нюхательным.

Бросив взгляд на те из перечисленных выше предметов, которые были видны при ярком пламени очага и не столь веселом свете двух закопченных ламп, тускло горевших в самой лавке, словно задыхаясь от ее изобилия; а затем взглянув на одно из лиц, обращенных к огню, Трухти тотчас узнал в раздобревшей пожилой особе миссис Чикенстокер: она всегда была склонна к полноте, даже в те дни, когда он знавал ее лично и за ним числился в ее лавке небольшой должок.

Второе лицо далось ему труднее. Тяжелый подбородок с такими глубокими складками, что в них можно засунуть целый палец; удивленные глаза, точно пытающиеся убедить сами себя, что нельзя же так беспардонно заплывать

жиром; нос, подверженный малоприятному расстройству, в просторечии именуемом сопеньем; короткая, толстая шея; грудь, вздымаемая одышкой, и другие подобные прелести хоть и были рассчитаны на то, чтобы запечатлеться в памяти, но сначала не вызвали у Трухти воспоминания ни о ком из его прежних знакомых. А между тем ему помнилось, что где-то он их уже видел. В конце концов в компаньоне миссис Чикенстокер по торговой линии, а также по кривой и капризной линии жизни, Трухти узнал бывшего швейцара сэра Джозефа Баули, который много лет назад прочно связался в его сознании с миссис Чикенстокер, ибо именно он, сей апоплексический младенец, впустил его в богатый особняк, где он покаялся в своих обязательствах перед этой леди и тем навлек па свою горемычную голову столь тяжкий укор.

После тех перемен, на какие насмотрелся Тоби, эта перемена не особенно его поразила; но сила ассоциации порою бывает очень велика, и он невольно заглянул в лавку, на косяк двери, где когда-то записывали мелом долги покупателей. Своей фамилии он не увидел. Те фамилии, что значились там, были ему незнакомы, да и число их заметно сократилось против прежнего, из чего он заключил, что бывший швейцар предпочитает торговать за наличные и, войдя в дело, подтянул поводья чикенстокеровским неплательщикам.

Так грустно было Тоби, так он горевал о загубленной молодости своей несчастной дочери, что и тут не на шутку опечалился — даже в списке должников миссис Чикенстокер ему не нашлось места!

— Какая на дворе погода, Энн? — спросил бывший швейцар сэра Джозефа Баули и, протянув ноги к огню, потер их, насколько позволяли его короткие руки, словно говоря: «Если плохая — хорошо, что я дома, если хорошая — все равно никуда не пойду».

— Ветер и слякоть,— отвечала жена.— Того и гляди снег пойдет. Темно. И холодно очень.

— Вот и правильно, что мы поели пышек,— сказал бывший швейцар тоном человека, успокоившего свою совесть.— Вечер нынче как раз подходящий для пышек. А также для сладких лепешек. И для сдобных булочек.

Бывший швейцар назвал эти лакомства одно за другим, словно не спеша подсчитывая свои добрые дела. Затем он опять потер толстые свои ноги и, согнув их в коленях, чтобы подставить огню еще не поджарившиеся места, рассмеялся как от щекотки.

— Вы сегодня веселы, дорогой Тагби,— заметила супруга.

Фирма именовалась «Тагби, бывш. Чикенстокер».

— Нет,— сказал Тагби.— Нет. Разве что чуточку навеселе. Очень уж кстати пришлись пышки.

Тут он поперхнулся смехом, да так, что весь почерпел, а чтобы изменить свою окраску, стал выделывать ногами в воздухе замысловатые фигуры, причем жирные эти ноги согласились вести себя сколько-нибудь прилично лишь после того, как миссис Тагби изо всей мочи постукала его по спине и встряхнула, точно большущую бутыль.

— О господи, спаси и помилуй! — в испуге воскликнула миссис Тагби.— Что же это делается с человеком!

Мистер Тагби вытер слезы и слабым голосом повторил, что он чуточку навеселе.

— Ну и довольно, богом вас прошу,— сказала миссис Тагби.— Я просто умру со страху, если вы будете так лягаться и биться.

Мистер Тагби пообещал, что больше не будет; но вся его жизнь была сплошною битвой, в которой он, если судить по усиливающейся с годами одышке и густеющей багровости лица, терпел поражение за поражением.

— Так вы говорите, моя дорогая, что на дворе ветер и слякоть, вот-вот пойдет снег, темно и очень холодно? — сказал мистер Тагби, глядя в огонь и возвращаясь к первопричине своей веселости.

— Погода хуже некуда,— подтвердила его жена, качая головой.

— Да, да,— проговорил мистер Тагби.— Годы в этом смысле все равно что люди. Одни умирают легко, другие трудно. Нынешнему году осталось совсем мало жизни, вот он за нее и борется. Что ж, молодец! Это мне по нраву. Дорогая моя, покупатель!

Миссис Тагби, услышав, как стукнула дверь, и сама уже встала с места.

— Ну, что угодно? — спросила она, выходя в лавку.— Ох, прошу прощенья, сэр, никак не ожидала, что это вы.

Джентльмен в черном, к которому она обратилась с этим извинением, кивнул в ответ, засучил рукава, небрежно сдвинул шляпу набекрень и уселся верхом на бочку с пивом, сунув руки в карманы.

— Там у вас наверху дело плохо,— сказал джентльмен.— Он не выживет.

— Неужто чердак? — вскричал Тагби, выходя в лавку и вступая в беседу.

— Чердак, мистер Тагби,— сказал джентльмен,— быстро катится вниз и скоро окажется ниже подвала.

Поглядывая то на мужа, то на жену, он согнутыми пальцами постучал по бочке, чтобы выяснить, сколько в ней пива, после чего стал выстукивать на пустой ее части какой-то мотивчик.

— Чердак, мистер Тагби,— сказал джентльмен, снова обращаясь к онемевшему от неожиданности Тагби,— скоро отправится на тот свет.

— В таком случае,— сказал Тагби жене,— надо отправить его отсюда, пока он еще туда не отправился.

— Трогать его с места нельзя,— сказал джентльмен, покачивая головой.— Я по крайней мере не могу взять на себя такую ответственность. Лучше оставьте его в покое. Он долго не протянет.

— Только из-за этого,— сказал Тагби и так ударил кулаком по чашке весов, что она грохнула о прилавок,— только из-за этого у нас с ней и бывали нелады, и вот, извольте видеть, что получилось! Все-таки он умирает здесь. Умирает под этой крышей. Умирает в нашем доме!

— А где же ему было умирать, Тагби? — вскричала его жена.

— В работном доме. Для чего же и существуют работные дома!

— Не для того,— заговорила миссис Тагби горячо и убежденно.— Не для того! И не для того я вышла за вас, Тагби. Я этого не позволю, и не надейтесь, я этого не допущу. Скорее я готова разойтись с вами и больше вас не видеть. Еще когда над этой дверью стояла моя вдовья фамилия — а так было много лет, и лавка миссис Чикенстокер была известна всем в округе как честное, порядоч-

ное заведение,— еще когда над этой дверью, Тагби, стояла моя вдовья фамилия, я знала его, видного парня, непьющего, смелого, самостоятельного; знала и ее, красавицу и умницу, каких поискать; знала и ее отца (он, бедняга, залез как-то во сне на колокольню, упал и разбился насмерть), такой работящий был старик, а сердце простое и доброе, как у малого ребенка; и уж если я *их* выгоню из своего дома, пусть ангелы выгонят меня из рая. А они и выгонят. И поделом мне будет!

При этих словах будто проглянуло ее прежнее лицо,— а оно до всех описанных перемен каждого привлекало своими симпатичными ямочками; и когда она утерла глаза и тряхнула головой и платком, глядя на Тагби с выражением непреклонной твердости, Трухти сказал: «Благослови ее бог!» Потом с замирающим сердцем стал слушать дальше, понимая пока одно — что речь идет о Мэг.

Если в гостиной Тагби вел себя веселее, чем нужно, то теперь он с лихвой расплатился по этому счету, ибо в лавке был мрачнее мрачного; он тупо уставился на жену и даже не пытался ей возражать, однако же, не спуская с нее глаз, втихомолку — то ли по рассеянности, то ли из предосторожности — перекладывал всю выручку из кассы к себе в карман.

Джентльмен, сидевший на бочке,— видимо, он был уполномочен городскими властями оказывать врачебную помощь беднякам,— казалось, привык к мелким стычкам между супругами, почему и в этом случае не счел нужным вмешаться. Он сидел, тихо посвистывая и по капле выпуская пиво из крана, пока не водворилась полная тишина, а тогда поднял голову и сказал, обращаясь к миссис Тагби, бывшей Чикенстокер:

— Женщина и сейчас еще недурна. Как случилось, что она вышла за него замуж?

— А это, пожалуй, и есть самое тяжелое в ее жизни, сэр,— отвечала миссис Тагби, подсаживаясь к нему.— Дело-то было так: они с Ричардом полюбили друг друга еще давным-давно, когда оба были молоды и хороши собой. Вот они обо всем договорились и должны были пожениться в день Нового года. Но Ричард послушал тех джентльменов и забрал в голову, что, мол, нечего себя губить, что скоро он об этом пожалеет, что она ему не

пара, что такому молодцу, как он, вообще незачем жениться. А ее те джентльмены застращали, она стала такая смутная, все боялась, что он ее бросит, и что дети ее угодят на виселицу, и что выходить замуж грешно и бог его знает чего еще. Ну, короче говоря, они все тянули и тянули, перестали верить друг другу и, наконец, расстались. Но вина была его. Она-то пошла бы за него, сэр, с радостью. Я сама сколько раз видела, как она аж в лице менялась, когда он, бывало, гордо пройдет мимо и не взглянет на нее; и ни одна женщина так не сокрушалась о мужчине, как она сокрушалась о Ричарде, когда он стал сбиваться с пути.

— Ах, так он, значит, сбился с пути? — спросил джентльмен и, вытащив втулку, заглянул в бочку с пивом.

— Да понимаете, сэр, по-моему, он сам не знал, что делает. По-моему, когда они расстались, у него даже разум помрачился. Не будь ему совестно перед теми джентльменами, а может и страшновато — как, мол, она его примет,— он бы на любые муки пошел, лишь бы опять получить согласие Мэг и жениться на ней. Это я так думаю. Сам-то он никогда этого не говорил, и очень жаль. Он стал пить, бездельничать, водиться со всяким сбродом,— ведь ему сказали, что это лучше, чем свой дом и семья, которую он мог бы иметь. Он потерял красоту, здоровье, силу, доброе имя, друзей, работу — все потерял!

— Не все, миссис Тагби,— возразил джентльмен,— раз он обрел жену; мне интересно, как он обрел ее.

— Сейчас, сэр, я к этому и веду. Так шло много лет — он опускался все ниже, она, бедняжка, терпела такие невзгоды, что не знаю, как еще она жива осталась. Наконец он докатился до того, что никто уж не хотел и смотреть на него, не то что держать на работе. Куда ни придет, отовсюду его гонят. Вот он ходил с места на место, обивал-обивал пороги, и в сотый, наверно, раз пришел к одному джентльмену, который раньше часто давал ему работу (работал-то он хорошо до самого конца); а этот джентльмен знал его историю, он разобиделся, рассердился, да и скажи ему: «Думаю, что ты неисправим; только один человек на свете мог бы тебя образумить. Пусть она попробует, а до того не будет к тебе больше моего доверия». Словом, что-то в этом роде.

— Вот как? — сказал джентльмен.— Ну и что же?

— Ну, он и пошел к ней, бухнулся ей в ноги, сказал, что только на нее и надеется, просил-умолял спасти его.

— А она?.. Да вы не расстраивайтесь так, миссис Тагби.

— Она в тот вечер пришла ко мне насчет комнаты. «Чем он был для меня раньше, говорит, это лежит в могиле, как и то, чем я была для него. Но я подумала, и я попробую. В надежде спасти его. В память той беззаботной девушки (вы ее знали), что должна была выйти замуж на Новый год; и в память ее Ричарда». И еще она сказала, что он пришел к ней от Лилиен, что Лилиен доверяла ему, и она этого никогда не забудет. Вот они и поженились; и когда они сюда пришли и я их увидела, у меня была одна мысль: не дай бог, чтобы сбывались такие пророчества, как те, что разлучили их в молодости, и не хотела бы я быть на месте этих пророков!

Джентльмен слез с бочки и потянулся.

— Наверно, он с самого начала стал дурно с ней обращаться?

— Да нет, этого, по-моему, никогда не было,— сказала миссис Тагби, утирая слезы.— Некоторое время он держался, но отделаться от старых привычек не мог; скоро он опять поскользнулся и очень быстро докатился бы до прежнего, да тут его свалила болезнь. А ее он, по-моему, всегда жалел. Даже наверно так. Я видела его во время припадков: плачет, трясется и все старается поцеловать ей руку; я слышала, как он называл ее «Мэг» и говорил, что ей, мол, сегодня исполнилось девятнадцать лет. А теперь он уже сколько месяцев не встает с постели. Ей и за ним ходить и за ребенком — работать-то она и не поспевала. А раз не поспевала, то ей и давать работу не стали. Уж как они жили — не знаю.

— Зато я знаю,— буркнул Тагби; он с хитрым видом поглядел на кассу, на полки с товарами, на жену и закончил: — Как кошка с собакой!

Его прервал громкий крик — горестный вопль,— донесшийся с верхнего этажа. Джентльмен поспешно направился к двери.

— Друг мой,— сказал он, оглядываясь на ходу,—

можете не спорить о том, отправлять его куда-нибудь или нет. Кажется, он избавил вас от этой заботы!

И джентльмен побежал наверх; миссис Тагби бросилась за ним, а мистер Тагби стал медленно подниматься следом, ворча что-то себе под нос и больше обычного пыхтя и отдуваясь под тяжестью выручки, в которой, как на грех, оказалось множество медяков.

Трухти, послушный призраку девочки, вознесся по лестнице, как дуновение ветерка.

— Следуй за ней! Следуй за ней! — звучали у него в ушах неземные голоса колоколов.— Узнай правду от той, кто тебе всех дороже!

Все было кончено. Все кончено — и вот она, гордость и радость отцовского сердца! Измученная, изможденная женщина плачет возле убогой кровати, нежно прижимая к груди младенца. Такого худенького, слабенького, чахлого младенца, такого для нее драгоценного!

— Слава богу! — воскликнул Тоби, молитвенно сложив руки.— Благодарение богу! Она любит свое дитя!

Джентльмен, по природе отнюдь не жестокосердый и не равнодушный (просто он видел такие сцены изо дня в день и знал, что в задачках мистера Файлера это самые ничтожные цифры, крошечные черточки в его вычислениях), положил руку на сердце, переставшее биться, послушал, есть ли дыхание, и сказал: «Страдания его кончились. Так оно и лучше». Миссис Тагби пыталась утешить вдову ласковыми словами, мистер Тагби — философскими рассуждениями.

— Ну, ну,— сказал он, держа руки в карманах,— нельзя малодушничать. Это не дело. Надо крепиться. Хорош бы я был, если бы смалодушничал, когда в бытность мою швейцаром у нашего крыльца как-то вечером сцепились колесами целых шесть карет. Но я остался тверд, я так и не отпер двери!

Снова Тоби услышал голоса, говорившие: «Следуй за ней!» Он повернулся к своей призрачной спутнице, но она стала подниматься в воздух, сказала: «Следуй за ней!» — и исчезла.

Он остался возле дочери; сидел у ее ног; заглядывал ей в лицо, ища хотя бы бледных следов прежней красоты; вслушивался в ее голос — не прозвучит ли в нем прежняя

ласка. Он склонялся над ребенком. Хилый ребенок, старообразный, страшный своей серьезностью, надрывающий сердце тихим, жалобным плачем. Тоби готов был молиться на него. Он видел в нем единственное спасение дочери, последнее уцелевшее звено ее долготерпенья. Все свои надежды он, отец, возложил на этого хрупкого младенца; он ловил каждый взгляд, который бросала на него мать, и снова и снова восклицал: «Она его любит! Благодарение богу, она его любит!»

Он видел, как добрая женщина ухаживала за ней; как опять пришла к ней среди ночи, когда рассерженный супруг уснул и все затихло; как подбодряла ее, плакала с ней вместе, принесла ей поесть. Он видел, как наступил день и снова ночь, и еще день, и еще ночь. Время шло; мертвого унесли из обители смерти, и Мэг осталась в комнате одна с ребенком. Ребенок стонал и плакал, изводил ее, не давал ей покоя, и едва она, в полном изнеможении, забывалась дремотой, возвращал ее к жизни и маленькими своими ручонками опять тащил на дыбу. Но она оставалась неизменно терпеливой и ласковой. Любила его всей душой, всем своим существом была связана с ним так же крепко, как тогда, когда носила его под сердцем.

Все это время она терпела нужду — жестокую, безысходную нужду. С ребенком на руках бродила по улицам в поисках работы; держа его на коленях, поглядывая на обращенное к ней прозрачное личико, делала любую работу, за любую плату — за сутки труда столько фартингов, сколько цифр на циферблате. Может, она сердилась на него? Не заботилась о нем? Может, иногда глядела на него с ненавистью? Или хоть раз сгоряча ударила? Нет. Только этим и утешался Тоби — любовь ее ни на минуту не угасала.

Она скрывала свою крайнюю бедность ото всех и днем старалась уходить из дому, чтобы избежать расспросов единственного своего друга: всякая помощь, какую оказывала ей эта добрая женщина, вызывала новые ссоры между супругами; и ей было тяжко сознавать, что она вносит раздор в жизнь людей, которым так много обязана.

Она любила своего ребенка. Любила все сильней и сильней. Но однажды вечером в самой ее любви что-то изменилось.

Она носила младенца по комнате, баюкая его тихим пением, как вдруг дверь неслышно отворилась и вошел мужчина.

— В последний раз,— сказал он.

— Уильям Ферн!

— В последний раз.

Он прислушивался, точно опасаясь погони, и говорил шепотом.

— Маргарет, мне скоро конец. Но я не мог не проститься с тобой, не поблагодарить тебя.

— Что вы сделали? — спросила она, глядя на него со страхом.

Он не отвел глаз, но промолчал.

Потом махнул рукой, будто отмахивался от ее вопроса, отметал его в сторону,— и сказал:

— Много прошло времени, Маргарет, но тот вечер я помню как сейчас. Не думали мы тогда,— прибавил он, окинув взглядом комнату,— что встретимся вот так. Твой ребенок, Маргарет? Дай его мне. Дай мне подержать твоего ребенка.

Он положил шляпу на пол и взял младенца. А сам весь дрожал.

— Девочка?

— Да.

Он заслонил крошечное личико рукой.

— Видишь, как я сдал, Маргарет,— я даже боюсь смотреть на нее. Нет. Подожди ее брать, я ей ничего не сделаю. Много прошло времени, а все же... Как ее зовут?

— Маргарет,— ответила она живо.

— Это хорошо,— сказал он.— Это хорошо!

Казалось, он вздохнул свободнее; и после минутного колебания он отнял руку и заглянул малютке в лицо. Но тут же снова прикрыл его.

— Маргарет! — сказал он, отдав ей ребенка.— Это лицо Лилиен.

— Лилиен!

— То же лицо, что у девочки, которую я держал на руках, когда мать Лилиен умерла и оставила ее сиротой.

— Когда мать Лилиен умерла и оставила ее сиротой! — воскликнула она исступленно.

— Почему ты кричишь? Почему так на меня смотришь? Маргарет!

Она опустилась на стул и, прижав ребенка к груди, залилась слезами. То она отстранялась и с тревогой глядела ему в лицо, то снова прижимала его к себе. И тут-то к ее любви стало примешиваться что-то неистовое и страшное. И тут-то у ее старика отца заныло сердце.

«Следуй за ней! — прозвучало повсюду вокруг.— Узнай правду от той, кто тебе всех дороже!»

— Маргарет! — сказал Ферн и, наклонившись, поцеловал ее в лоб.— В последний раз благодарю тебя. Прощай! Дай мне руку и скажи, что отныне ты меня не знаешь. Постарайся думать обо мне как о мертвом.

— Что вы сделали? — спросила она снова.

— Нынче ночью будет пожар,— сказал он, отодвигаясь от нее.— Всю зиму будут пожары *, то там, то тут, чтобы по ночам было виднее. Как увидишь вдали зарево, так и знай — началось. Как увидишь вдали зарево, забудь обо мне; а если не сможешь, то вспомни, какой адский огонь запалили у меня в груди, и считай, что это его отсвет играет на тучах. Прощай!

Она окликнула его, но он уже исчез. Она сидела оцепенев, пока не проснулся ребенок, а тогда опять почувствовала и холод, и голод, и окружающую тьму. Всю ночь она ходила с ним из угла в угол, баюкая его, успокаивая. Временами повторяла вслух: «Как Лилиен, когда мать умерла и оставила ее сиротой!» Почему всякий раз при этих словах ее шаг убыстрялся, глаза загорались, а любовь становилась такой неистовой и страшной?

— Но это любовь,— сказал Трухти.— Это любовь. Она никогда не разлюбит свое дитя. Бедная моя Мэг!

Утром она особенно постаралась приодеть ребенка — тщетные старания, когда под рукой только жалкие тряпки! — и еще раз пошла искать себе пропитания. Был последний день старого года. Она искала до вечера, не пивши, не евши. Искала напрасно.

Она вмешалась в толпу отверженных, которые ждали, стоя в снегу, чтобы некий чиновник, уполномоченный творить милостыню от имени общества (не втайне, как велит нагорная проповедь, но явно и законно), соизволил вызвать их и допросить, а потом одному бы сказал: «Сту-

пай туда-то», другому: «Зайди на той неделе», а третьего подкинул как мяч и пустил гулять из рук в руки, от порога к порогу, покуда он не испустит дух от усталости, либо, отчаявшись, пойдет на кражу и тогда станет преступником высшего сорта, чье дело уже не терпит отлагательства. Здесь она тоже ничего не добилась. Она любила свое дитя, ниночем не согласилась бы с ним расстаться. А таким не помогают.

Уже ночь была на дворе — темная, ненастная ночь,— когда она, согревая ребенка на груди, подошла к единственному дому, который могла назвать своим. Измученная, без сил, она уже хотела войти и только тут заметила, что в дверях кто-то стоит. То был хозяин дома, расположившийся таким образом, чтобы загородить собой весь вход,— при его комплекции это было нетрудно.

— А-а,— сказал он вполголоса,— так вы вернулись?

Она взглянула на ребенка, потом обратила умоляющий взор к хозяину и кивнула головой.

— А вам не кажется, что вы и так уже прожили здесь достаточно долго, не платя за квартиру? — сказал мистер Тагби.— Вам не кажется, что вы и так уже забрали в этой лавке достаточно товаров в кредит?

Снова она обратила на него молящий взгляд.

— Может, вам бы сменить поставщиков? — сказал он.— И может, поискать бы себе другое жилище, а? Вам не кажется, что имеет смысл попробовать?

Она едва слышно проговорила, что время уже очень позднее. Завтра.

— Я понимаю, чего вам нужно,— сказал Тагби,— и к чему вы клоните. Вы знаете, что в этом доме существуют два мнения относительно вас, и вам, видно, очень нравится стравливать людей. А я не желаю ссор; я нарочно говорю тихо, чтобы избежать ссоры; но если вы станете упрямиться, я заговорю погромче, и тогда можете радоваться, ссоры не миновать, да еще какой. Но войти вы не войдете, это я решил твердо.

Она откинула волосы со лба и как-то странно посмотрела на небо, а потом устремила взгляд во тьму, окутавшую улицу.

— Сегодня кончается старый год, и я не намерен, в угоду вам или кому бы то ни было, переносить в новый

год всякие нелады и раздоры,— сказал Тагби. (Он тоже был Друг и Отец, только весом поменьше.) — И не совестно вам переносить такие повадки в новый год? Если вам нечего делать в жизни, как только малодушничать да ссорить мужа с женой, лучше бы вам вовсе не жить. Уходите отсюда!

«Следуй за ней! До роковой черты!»

Опять старый Тоби услышал голоса духов. Подняв голову, он увидел их в воздухе, они указывали на Мэг, уходящую вдаль по темной улице.

— Она любит свое дитя! — взмолился он в нестерпимой муке.— Милые колокола! Она его любит!

— Следуй за ней! — И темные фигуры, как тучи, понеслись ей вдогонку.

Тоби не отставал от них; вот он нагнал дочь, заглянул ей в лицо. Он увидел то неистовое и страшное, что нримешалось к ее любви, горело в ее глазах. Он услышал слова: «Как Лилиен! Стать такой, как Лилиен!», и она еще ускорила шаг.

Ах, если б что-нибудь ее разбудило! Если бы проник в воспаленный мозг какой-нибудь образ, или звук, или запах, способный вызвать нежные воспоминания! Если б встала перед нею хоть одна светлая картина прошедшего!

— Я был ее отцом! Отцом! — крикнул старик, простирая руки к черным теням, летящим в вышине.— Смилуйтесь над ней и надо мною! Куда она идет? Верните ее! Я был ее отцом!

Но они только указали на нее и повторили: «Следуй за ней! Узнай правду от той, кто тебе всех дороже!»

Стоголосое эхо подхватило эти слова. Воздух был полон ими. Тоби словно вбирал их в себя при каждом вдохе. Они были везде, никуда от них не скрыться. А Мэг уже не шла, а бежала, и все тот же огонь пылал в ее взоре, все те же слова срывались с губ: «Как Лилиен! Стать такой, как Лилиен!»

Вдруг она остановилась.

— Хоть теперь верни ее! — воскликнул старик, схватившись за седую свою голову.— Моя дочка! Мэг! Верни ее! Отче милосердный, верни ее!

Она укутала младенца в свою рваную шаль. Горячечными руками ощупала его тельце, погладила по лицу,

оправила на нем убогий наряд. Прижала его к исхудалой груди, словно давала клятву никогда с ним не разлучаться. И прильнула к нему сухими губами в последнем, мучительном порыве любви.

А потом она спрятала крошечную ручонку у себя за пазухой, возле наболевшего сердца, повернула сонное личико к себе и, опять сжав малютку в объятиях, побежала дальше, к реке.

К быстрой реке, клубящейся и мутной, где зимняя ночь была мрачна, как последние мысли многих других несчастных, искавших здесь избавления. Где редкие красные огни на берегу горели угрюмо и тускло, точно факелы, освещающие путь в небытие. Где ни одно обиталище живых людей не бросало тени на глубокую, непроглядную, печальную тьму.

К реке! К этим воротам в вечность стремила она свой бег, так же неудержимо, как воды реки стремились к морю. Тоби хотел коснуться ее, когда она сбегала к темной воде, но дикое, безумное лицо — неистовая, страшная любовь — отчаяние, презревшее все земные запреты,— пронеслось мимо него, как вихрь.

Он догнал ее. На мгновение она задержалась перед смертельным прыжком. Он упал на колени и в голос крикнул духам колоколов, парившим над ним:

— Я узнал правду! Узнал от той, кто мне всех дороже! О, спасите ее, спасите!

Он вцепился в ее платье, и платье не выскользнуло у него из рук. Произнося последние слова, он почувствовал, что к нему вернулось осязание, что он может ее удержать.

Духи колоколов не сводили с него пристального взгляда.

— Я узнал все! — вскричал старик.— Смилуйтесь надо мной в этот час, даже если я, из любви к ней, такой молодой и невинной, клеветал на Природу, на сердце матери, доведенной до отчаяния. Простите мою дерзость, злобу и невежество, спасите ее!

Он почувствовал, что пальцы его слабеют. Колокола молчали.

— Смилуйтесь над ней! — вскричал он.— Ведь на страшный этот грех ее толкнула любовь — пусть больная

любовь, но самая сильная, самая глубокая, какую только дано знать нам, падшим созданиям! Подумайте, сколько она выстрадала, если такие семена принесли такие плоды! Она была рождена для безгрешной жизни. Всякая любящая мать могла бы сделать то же после стольких испытаний. О, сжальтесь над моей дочерью, ведь она и сейчас жалеет свое дитя и только затем губит свою бессмертную душу, чтобы спасти его!

Он крепко обхватил ее. Теперь-то он ее удержит! Сила его была безмерна.

— Я вижу среди вас призрак дней прошедших и грядущих! — воскликнул старик, приметив девочку и словно черпая вдохновение в устремленных на него сверху взглядах.— Я знаю, что Время хранит для нас наше наследие. Я знаю, что придет день и волна времени, поднявшись, сметет, как листья, тех, кто чернит нас и угнетает. Я вижу, она уже поднимается! Я знаю, что мы должны верить, и надеяться, и не сомневаться ни в себе, ни друг в друге. Я узнал это от той, кто мне всех дороже. Я снова обнимаю ее. О духи, милостивые и добрые, я запомню ваш урок. О духи, милостивые и добрые, спасибо!

Он мог бы говорить еще, но тут колокола,— старые знакомые колокола, его милые, преданные, верные друзья — зазвонили в честь нового года, да так радостно, так весело и задорно, что он вскочил на ноги и разрушил тяготевшие над ним чары.

— И очень прошу тебя, отец,— сказала Мэг,— воздержись ты от рубцов, пока не справишься у какого-нибудь доктора, не вредно ли тебе их есть; ведь что ты тут вытворял — ой-ой-ой!

Она шила за столиком у огня — отделывала свое простенькое платье лентами, к свадьбе. И столько в ней было спокойного счастья, столько цветущей юности и светлой надежды, что Тоби громко ахнул, словно увидев ангела, а потом кинулся к ней с распростертыми объятиями.

Но он запутался ногами в упавшей на пол газете, и кто-то успел проскочить между ним и дочерью.

— Нет! — крикнул этот кто-то бодрым, ликующим голосом.— Даже вам не уступлю, даже вам. Первый поце-

луй Мэг в новом году достанется мне. Мне! Я целый час дожидался на улице, пока зазвонят колокола. Мэг, сокровище мое, с новым годом! Многих, многих тебе счастливых лет, дорогая моя женушка!

И Ричард осыпал ее поцелуями.

В жизни своей вы не видели ничего подобного тому, что тут сделалось с Трухти. Где бы вы ни жили, что бы ни видели на своем веку, все равно: ничего даже отдаленно похожего на это вам и не снилось! Он садился на стул, бил себя по коленкам и плакал; садился на стул, бил себя по коленкам и смеялся; садился на стул, бил себя по коленкам и смеялся и плакал одновременно; он вскакивал со стула и бросался обнимать Мэг; вскакивал со стула и бросался обнимать Ричарда; вскакивал со стула и бросался обнимать их обоих вместе; он то подбегал к Мэг и, сжав руками ее свежее личико, крепко ее целовал, то отбегал от нее задом, чтобы ни на минуту не терять ее из виду, и снова подбегал к ней, как фигурка в волшебном фонаре; а в промежутках плюхался на стул, но тут же снова вскакивал, точно подброшенный пружиной. Он в полном смысле слова был сам не свой от радости.

— А завтра твоя свадьба, голубка! — вскричал Трухти.— Настоящая, счастливая свадьба!

— Не завтра, а сегодня! — воскликнул Ричард, пожимая ему руку.— Сегодня. Колокола уже возвестили новый год. Вы только послушайте.

Ох, как они звонили! Как же они звонили, дай им бог здоровья! Конечно, это были замечательные колокола — большие, голосистые, звучные, отлитые из лучшего металла, сработанные лучшими мастерами; однако никогда, никогда еще они так не звонили!

— Но ведь сегодня, родная,— сказал Трухти,— сегодня вы с Ричардом малость повздорили.

— Потому что он очень нехороший человек, отец,— отвечала Мэг.— Разве неправда, Ричард? Такой упрямец, такой горячка! Ему бы ничего не стоило отчитать этого важного олдермена, прямо-таки упразднить его,— он думает, это так же просто, как...

— Поцеловать Мэг,— перебил ее Ричард. И поцеловал.

— Да, да, так же просто. Но я ему не позволила, отец. Какой в том был бы прок?

— Ричард, дружище! — сказал Трухти.— Ты всегда у нас был молодчина, и всегда будешь молодчина, до гробовой доски! Но ты, моя голубка, ты плакала у огня, когда я пришел. О чем ты плакала у огня?

— Я вспоминала, сколько мы с тобой прожили вместе, отец. И думала, что теперь тебе будет скучно одному. Вот и все.

Трухти снова попятился к своему спасительному стулу, но тут, разбуженная шумом, к ним вбежала полуодетая девочка.

— Э, да вот она! — вскричал Трухти, подхватывая ее на руки.— Вот наша маленькая Лилиен! Ха-ха-ха! Раз-два-три, вот и мы! И раз-два-три, и вот и мы! А вот и дядя Уилл! — И Трухти, прервав свои прыжки, сердечно его приветствовал.— Ах, дядя Уилл, какое мне было видение за то, что я привел вас к себе! Ах, дядя Уилл, друг дорогой, какую службу вы мне сослужили своим приходом!

Уилл Ферн не успел ответить, потому что в комнату ворвался целый оркестр, а за ним и толпа соседей, выкрикивающих «С новым годом, Мэг!», «Счастливого брака!», «Долгой жизни!» и прочие пожелания в том же духе. Барабан (закадычный друг Тоби) выступил вперед и сказал:

— Трухти Вэк, старина! Прошел слух, что твоя дочка завтра выходит замуж. Не найдется человека, который, зная тебя, не желал бы тебе счастья или, зная ее, не желал бы счастья ей. Или, зная вас обоих, не желал бы вам обоим всяческого благополучия, какое только может принести новый год. Вот мы и пришли встретить его музыкой и танцами.

Дружный крик одобрения был ответом на эту речь. Барабан, к слову сказать, был сильно под хмельком; ну, да бог с ним.

— Какое же счастье,— сказал Тоби,— внушать людям этакие чувства! Какие вы добрые друзья и соседи! А все она, моя милая дочка. Она это заслужила.

Минуты не прошло, как они приготовились к танцам (Мэг и Ричард в первой паре); и барабан уже совсем

было собрался забарабанить во всю мочь, как вдруг за дверью послышался страшный шум и в комнату вбежала женщина лет пятидесяти, вида приятного и добродушного, а за ней мужчина с глиняным кувшином необъятных размеров, а за ним трещотка и колокольцы — маленькие, на деревянной раме, совсем непохожие на те, большие колокола.

Тоби сказал «миссис Чикенстокер!» и опять плюхнулся на стул и стал бить себя по коленкам.

— Собралась замуж, Мэг, а от меня утаила! — воскликнула добрая женщина.— А я бы не уснула в последнюю ночь старого года, если бы не зашла пожелать тебе счастья. Будь я прикована к постели, я бы и то пришла. А раз сегодня канун нового года и к тому же канун твоей свадьбы, моя милочка, я велела сварить кувшинчик пивного пунша и захватила с собой.

«Кувшинчик» поистине делал честь миссис Чикенстокер. Из него валил дым и пар, как из кратера вулкана, а мужчина, принесший его, совсем ослабел.

— Миссис Тагби! — сказал Трухти, в упоении описывая около нее круг за кругом,— то есть, вернее, миссис Чикенстокер. Сердечно вас благодарим! Счастливого вам нового года и долгой жизни!.. Миссис Тагби! — продолжал Трухти, расцеловавшись с нею,— то есть, вернее, миссис Чикенстокер. Познакомьтесь — это Уильям Ферн и Лилиен.

К его удивлению, сия достойная особа сильно побледнела, а затем густо покраснела.

— Неужели та Лилиен Ферн,— сказала она,— у которой мать умерла в Дорсетшире?

Уильям Ферн ответил «да», и они, быстро отойдя в сторонку, обменялись несколькими словами, после чего миссис Чикенстокер пожала ему обе руки, еще раз, уже по собственному почину, расцеловалась с Тоби и привлекла девочку к своей объемистой груди.

— Уилл Ферн! — сказал Тоби, надевая на правую руку свою серую рукавицу.— Не та ли это знакомая, которую вы надеялись разыскать?

— Та самая,— отвечал Ферн, кладя руки на плечи Тоби.— И она, видно, окажется почти таким же добрым другом, как тот, которого я уже нашел.

— Ах, вот оно что! — сказал Тоби.— Музыка, прошу. Окажите такую любезность.

Под звуки оркестра, колокольцев и трещоток и под не смолкнувший еще трезвон колоколов Трухти, отодвинув Мэг и Ричарда на второе место, открыл бал с миссис Чикенстокер и сплясал танец, не виданный ни до того, ни после,— танец, в основу коего была положена знаменитая его трусца.

Может, все это приснилось Тоби? Или его радости и горести, и те, кто делил их с ним,— только сон; и сам он только сон; и рассказчику эта повесть приснилась и лишь теперь он пробуждается? Если так, о ты, кто слушал его и всегда оставался ему дорог, не забывай о суровой действительности, из которой возникли эти видения; и в своих пределах — а для этого никакие пределы не будут слишком широки или слишком тесны — старайся исправить ее, улучшить и смягчить. Так пусть же новый год принесет тебе счастье, тебе и многим другим, чье счастье ты можешь составить. Пусть каждый новый год будет счастливее старого, и все наши братья и сестры, даже самые смиренные, получат по праву свою долю тех благ, которые определил им создатель.

# СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ

*Сказка о семейном счастье*

*Перевод* М. КЛЯГИНОЙ-КОНДРАТЬЕВОЙ

## ПЕСЕНКА ПЕРВАЯ

Начал чайник! И не говорите мне о том, что сказала миссис Пирибингл. Мне лучше знать. Пусть миссис Пирибингл твердит хоть до скончания века, что она не может сказать, кто начал первый, а я скажу, что — чайник. Мне ли не знать! Начал чайник на целых пять минут — по маленьким голландским часам с глянцевитым циферблатом, что стояли в углу,— на целых пять минут раньше, чем застрекотал сверчок.

Да, да, часы уже кончили бить, и маленький косец с косой в руках, судорожно дергающийся вправо и влево на их верхушке перед мавританским дворцом, успел скосить добрый акр воображаемой травы, прежде чем сверчок начал вторить чайнику!

Я вовсе не упрям. Это всем известно. И не будь я убежден в своей правоте, я ни в коем случае не стал бы спорить с миссис Пирибингл. Ни за что не стал бы. Но надо знать, как было дело. А дело было так: чайник начал не меньше чем за пять минут, до того, как сверчок подал признаки жизни. И, пожалуйста, не спорьте, а то я скажу — за десять!

Позвольте, я объясню, как все произошло. Это давно бы надо сделать, с первых же слов,— но ведь когда о чем-то рассказываешь, полагается начинать с самого начала; а как начать с начала, не начав с чайника?

Дело, видите ли, в том, что чайник и сверчок вздумали устроить своего рода соревнование — посостя-

заться в искусстве пения. И вот что их к этому побудило и как все произошло.

Под вечер — а вечер был ненастный — миссис Пирибингл вышла из дому и, стуча по мокрым камням деревянными сандалиями, оставлявшими по всему двору бесчисленные следы, похожие на неясный чертеж первой теоремы Эвклида, направилась к кадке и налила из нее воды в чайник. Затем она вернулась в дом, уже без деревянных сандалий (при этом она намного уменьшилась в росте, потому что сандалии были высокие, а миссис Пирибингл маленькая), и поставила чайник на огонь. Тут она потеряла душевное равновесие или, может быть, только засунула его куда-то на минутку, потому что вода была ужас какая холодная и находилась в том скользком, слизистом, слякотном состоянии, когда она как будто приобретает способность просачиваться решительно всюду, и даже за металлические кольца деревянных сандалий; так вот, значит, вода замочила ножки миссис Пирибингл и даже забрызгала ей икры. А если мы гордимся, и не без оснований, нашими ножками и любим, чтобы чулочки у нас всегда были чистенькие и опрятные, то перенести такое огорчение нам очень трудно.

А тут еще чайник упрямился и кобенился. Он не давал повесить себя на верхнюю перекладину; он и слышать не хотел о том, чтобы послушно усесться на груде угольков; он все время клевал носом, как пьяный, и заливал очаг, ну прямо болван, а не чайник! Он брюзжал, и шипел, и сердито плевал в огонь. В довершение всего и крышка, увильнув от пальчиков миссис Пирибингл, сначала перевернулась, а потом с удивительным упорством, достойным лучшего применения, боком нырнула в воду и ушла на самое дно чайника. Даже корпус корабля «Ройал Джордж» * и тот сопротивлялся не так отчаянно, когда его тащили из воды, как упиралась крышка этого чайника, когда миссис Пирибингл вытаскивала ее наверх.

А чайник по-прежнему злился и упрямился; он вызывающе подбоченился ручкой и с дерзкой насмешкой задрал носик на миссис Пирибингл, как бы говоря: «А я не закиплю! Ни за что не закиплю!»

Но миссис Пирибингл к тому времени уже снова повеселела, смахнула золу со своих пухленьких ручек, по-

хлопав их одной о другую, и, рассмеявшись, уселась против чайника. Между тем веселое пламя так вскидывалось и опадало, вспыхивая и заливая светом маленького косца на верхушке голландских часов, что чудилось, будто он стоит как вкопанный перед мавританским дворцом, да и все вокруг недвижно, кроме пламени.

Тем не менее косец двигался,— его сводило судорогой дважды в секунду, точно и неуклонно. Когда же часы собрались бить, тут на страдания его стало прямо-таки страшно смотреть, а когда кукушка выглянула из-за дверцы, ведущей во дворец, и прокуковала шесть раз, он так содрогался при каждом «ку-ку!», словно слышал некий загробный голос или словно что-то острое кололо ему икры.

Перепуганный косец пришел в себя только тогда, когда часы перестали трястись под ним, а скрежет и лязг их цепей и гирь окончательно прекратился. Немудрено, что он так разволновался: ведь эти дребезжащие, костлявые часы — не часы, а сущий скелет! — способны на кого угодно нагнать страху, когда начнут щелкать костями, и я не понимаю, как это людям, а в особенности голландцам, пришла охота изобрести такие часы. Говорят, что голландцы любят облекать свои нижние конечности в просторные «футляры», для которых не жалеют ткани, значит им безусловно не следовало бы оставлять свои часы столь неприкрытыми и незащищенными.

Тогда-то, заметьте себе, чайник и решил приятно провести вечерок. Тогда-то и выяснилось, что чайник немножко навеселе и ему захотелось блеснуть своими музыкальными талантами; что-то неудержимо заклокотало у него в горле, и он уже начал издавать отрывистое звонкое фырканье, которое тотчас обрывал, словно еще не решив окончательно, стоит ли ему сейчас показать себя компанейским малым. Тогда-то, после двух-трех тщетных попыток заглушить в себе стремление к общительности, он отбросил всю свою угрюмость, всю свою сдержанность и залился такой уютной, такой веселой песенкой, что никакой плакса-соловей не мог бы за ним угнаться.

И такой простой песенкой! Да вы поняли бы ее не хуже, чем любую книжку — быть может, даже лучше, чем кое-какие известные нам с вами книги. Теплое его

дыхание вырывалось легким облачком, весело и грациозно поднималось на несколько футов вверх и плавало там, под сводом очага, словно по своим родным, домашним небесам, и чайник пел свою песенку так весело и бодро, что все его железное тельце гудело и подпрыгивало над огнем; и даже сама крышка, эта недавняя бунтовщица-крышка — вот как влияют хорошие примеры! — стала выплясывать что-то вроде жиги и стучать по чайнику, словно юная и неопытная тарелочка, не уразумевшая еще, для чего существует в оркестре ее собственный близнец.

То, что песня чайника была песней призыва и привета, обращенной к кому-то, кто ушел из дому и кто сейчас возвращался в свой уютный маленький домик к потрескивающему огоньку, в этом нет никакого сомнения. Миссис Пирибингл знала это, отлично знала, когда сидела в задумчивости у очага.

Нынче ночь темна, пел чайник, на дороге груды прелого листа, и внизу — только грязь и глина, а вверху — туман и темнота; во влажной и унылой мгле одно лишь светлое пятно, но это отблески зари — обманчиво оно; небеса алеют в гневе; это солнце с ветром вместе там клеймо на тучках выжгли, на виновницах ненастья; длинной черной пеленою убегают вдаль поля, вехи инеем покрылись, но оттаяла земля; лед не лед, с водой он смешан, и вода и лед — одно; все вокруг преобразилось, все не то, чем быть должно; но едет, едет, едет он!

Вот тут-то, если хотите, сверчок и вправду начал вторить чайнику! Он так громко подхватил припев на свой собственный стрекочущий лад — стрек, стрек, стрек! — голос его был столь поразительно несоразмерен с его ростом по сравнению с чайником (какой там рост! вы даже не могли бы разглядеть этого сверчка!), что если бы он тут же разорвался, как ружье, в которое заложен чересчур большой заряд, если бы он погиб на этом самом месте, дострекотавшись до того, что тельце его разлетелось бы на сотню кусочков, это показалось бы вам естественным и неизбежным концом, к которому он сам изо всех сил стремился.

Чайнику больше уже не пришлось петь соло. Он продолжал исполнять свою партию с неослабным рвением,

но сверчок захватил роль первой скрипки и удержал ее. Боже ты мой, как он стрекотал! Тонкий, резкий, пронзительный голосок его звенел по всему дому и, наверное, даже мерцал, как звезда во мраке, за стенами. Иногда на самых громких звуках он пускал вдруг такую неописуемую трель, что невольно казалось — сам он высоко подпрыгивает в порыве вдохновения, а затем снова падает на ножки. Тем не менее они пели в полном согласии, и сверчок и чайник. Тема песенки оставалась все та же, и, соревнуясь, они распевали все громче, и громче, и громче.

Прелестная маленькая слушательница (она действительно была прелестная и молоденькая, хоть и похожая на пышку, но это, на мой вкус, не беда), прелестная маленькая слушательница зажгла свечку, бросила взгляд на косца, успевшего скосить целую копну минут на верхушке часов, и стала смотреть в окно, но ничего не увидела в темноте, кроме своего личика, отраженного в стекле. Впрочем, по-моему (да и по-вашему, будь вы на моем месте), сколько бы она ни смотрела, она не увидела бы ничего более приятного. Когда она вернулась и села на прежнее место, сверчок и чайник все еще продолжали петь, неистово состязаясь друг с другом. У чайника, по-видимому, была одна слабость: он ни за что не желал признать себя побежденным.

Оба они были взволнованы, как на гонках. Стрек, стрек, стрек! — Сверчок вырвался на целую милю вперед. Гу, гу, гу-у-у-у! — Отставший чайник гудит вдали, как большой волчок. Стрек, стрек, стрек! — Сверчок завернул за угол. Гу, гу, гу-у-у! — Чайник гонится за ним по пятам, он и не думает сдаваться. Стрек, стрек, стрек! — Сверчок бодр, как никогда. Гу, гу, гу-у-у! — Чайник медлителен, но упорен. Стрек! стрек, стрек! — Сверчок вот-вот обгонит его. Гу, гу, гу-у-у! — Чайника не обгонишь.

Наконец они совсем запутались в суматохе и суете состязания, и понадобилась бы голова более ясная, чем моя или ваша, чтобы разобрать, чайник ли это стрекотал, а сверчок гудел, или стрекотал сверчок, а гудел чайник, или они оба вместе стрекотали и гудели. Но в одном усомниться нельзя: и чайник и сверчок как бы слили

воедино каким-то лишь им известным способом свои уютные домашние песенки и оба вместе послали их вдаль на луче свечи, проникавшем через окно на дорогу. И свет этот упал на человека, который в то время направлялся к нему в темноте, и буквально во мгновение ока объяснил ему все, воскликнув: «Добро пожаловать домой, старина! Добро пожаловать домой, дружок!»

Добившись этого, чайник изнемог и сложил оружие — он вскипел, проливая воду через край, и его сняли с огня. Миссис Пирибингл побежала к дверям, и тут поднялась немыслимая суматоха: застучали колеса повозки, раздался топот копыт, послышался мужской голос, взволнованный пес заметался взад и вперед, и откуда-то таинственным образом появился младенец.

Откуда он взялся, когда успела миссис Пирибингл его подхватить, я не знаю. Но — так или иначе, а на руках у миссис Пирибингл был младенец, и она смотрела на него с немалой гордостью, когда ее нежно вел к очагу крепкий человек гораздо старше ее и гораздо выше ростом — настолько выше, что ему пришлось нагнуться, чтобы ее поцеловать. Но она стоила такого труда. Любой верзила, будь он даже шести футов и шести дюймов ростом и вдобавок страдай прострелом, охотно бы нагнулся.

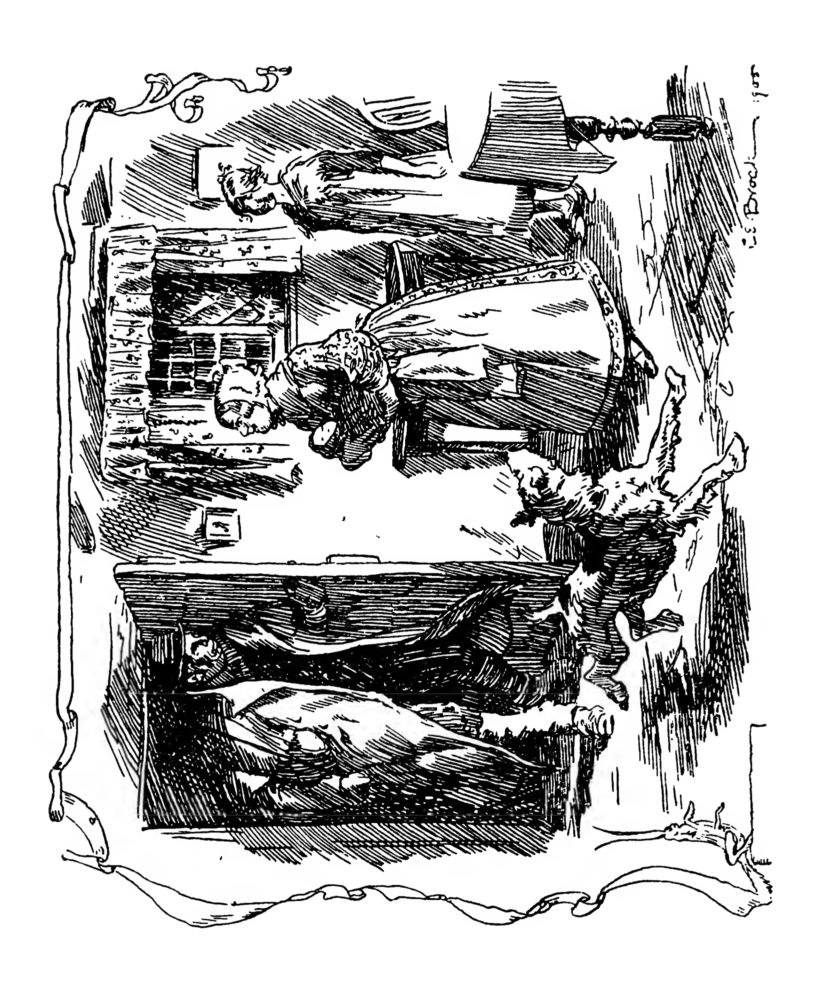
— Боже мой! — воскликнула миссис Пирибингл.— Джон! В каком ты виде! Ну и погодка!

Нельзя отрицать — погода худо обошлась с Джоном. Густой иней опушил его ресницы, превратив их в ледяные сосульки, и огонь, отражаясь в каплях влаги, зажег маленькие радуги в его бакенбардах.

— Видишь ли, Крошка,— не сразу отозвался Джон, разматывая свой шарф и грея руки перед огнем,— погода стоит не... не совсем летняя. Значит, удивляться нечему.

— Пожалуйста, Джон, не называй меня Крошкой. Мне это не нравится,— сказала миссис Пирибингл, надувая губки; однако по всему было видно, что это прозвище ей нравится, и даже очень.

— А кто же ты, как не Крошка? — возразил Джон, с улыбкой глядя на нее сверху вниз и легонько, насколько это было возможно для его могучей руки, обнимая жену за талию.— Ты крошка и,— тут он взглянул



на младенца,— ты крошка и держишь... нет, не скажу, все равно ничего не выйдет...— но я чуть было не сострил. Прямо-таки совсем собрался сострить!

По его словам, он частенько собирался сказать что-нибудь очень умное, этот неповоротливый, медлительный честный Джон, этот Джон, такой тяжеловесный, но одаренный таким легким характером; такой грубый с виду и такой мягкий в душе; такой, казалось бы, непонятливый, а на самом деле такой чуткий; такой флегматичный, но зато такой добрый! О Мать Природа! Когда ты одариваешь своих детей той истинной поэзией сердца, какая таилась в груди этого бедного возчика,— кстати сказать, Джон был простым возчиком,— мы миримся с тем, что они говорят на прозаические темы и ведут прозаическую жизнь, и благословляем тебя за общение с ними!

Приятно было видеть Крошку, такую маленькую, с ребенком, словно с куклой, на руках, когда она в кокетливой задумчивости смотрела на огонь, склонив хорошенькую головку набок ровно настолько, чтобы эта головка естественно и вместе с тем чуть-чуть жеманно, но уютно и мило прислонилась к широкому плечу возчика. Приятно было видеть Джона, когда он с неуклюжей нежностью старался поддерживать свою легкую как перышко жену так, чтобы ей было поудобней, и его крепкая зрелость была надежной опорой ее цветущей молодости. Приятно было наблюдать за Тилли Слоубой, когда она, стоя поодаль, дожидалась, пока ей передадут ребенка, и, с глубочайшим вниманием, хотя ей было всего лет двенадцать — тринадцать, созерцала семейную группу, широко раскрыв рот и глаза, вытянув шею и словно вдыхая, как воздух, все, что видела. Не менее приятно было видеть, как возчик Джон после одного замечания, сделанного Крошкой насчет упомянутого младенца, хотел было его потрогать, но тотчас отдернул руку, как бы опасаясь раздавить его, и, нагнувшись, стал любоваться сыном с безопасного расстояния, преисполненный той недоуменной гордости, с какой добродушный огромный дог, вероятно, разглядывал бы маленькую канарейку, если бы вдруг узнал, что он ее отец.

— До чего он хорошенький, Джон, правда? До чего миленький, когда спит!

— Очень миленький,— сказал Джон,— очень! Он ведь постоянно спит, да?

— Что ты, Джон! Конечно, нет!

— Вот как! — проговорил Джон в раздумье.— А мне казалось, что глазки у него всегда закрыты... Эй! Смотри!

— Да ну тебя, Джон! Разве можно так пугать!

— Видишь, как он закатывает глазки, а? — удивленно проговорил возчик.— Что это с ним? Он не болен? Смотри, как моргает обоими зараз! А на ротик-то погляди! Разевает ротик, словно золотая или серебряная рыбка!

— Недостоин ты быть отцом, недостоин! — с важностью сказала Крошка тоном опытной мамаши.— Ну, как тебе знать, чем хворают дети, Джон! Ты даже не знаешь, как называются их болезни, глупый! — И, перевернув ребенка, лежавшего у него на левой руке, она похлопала его по спинке, чтобы подбодрить, рассмеялась и ущипнула мужа за ухо.

— Правильно! — согласился Джон, стаскивая с себя пальто.— Твоя правда, Крошка. Насчет этого я почти ничего не знаю. Знаю только, что нынче мне здорово досталось от ветра. Всю дорогу до дому он дул с северо-востока, прямо мне в повозку.

— Бедняжка ты мой, ветер и правда сильный! — вскричала миссис Пирибингл и тотчас засуетилась.— Эй, Тилли, возьми нашего дорогого малыша, а я пока займусь делом. Миленький! Так бы и зацеловала его. Право! Уйди, песик! Уйди, Боксер, не приставай... Дай мне только сначала приготовить чай, Джон, а потом я помогу тебе с посылками не хуже хлопотливой пчелки. «Как маленькая пчелка...» и так далее, помнишь, Джон, эту песенку? А ты выучил на память «Маленькую пчелку», когда ходил в школу, Джон?

— Не совсем,— ответил Джон.— Как-то раз я ее чуть было не выучил. Но у меня, конечно, все равно ничего бы не вышло.

— Ха-ха-ха! — засмеялась Крошка. Смех у нее был очень веселый; вы такого никогда и не слыхивали.— Какой ты у меня миленький, славный дурачок!

Ничуть не оспаривая этого утверждения, Джон вышел из дому последить за тем, чтобы мальчик, метавшийся с

фонарем в руках, как блуждающий огонек, перед окном и дверью, получше позаботился о лошади, которая была так толста, что вы не поверите, если я покажу вам ее мерку, и так стара, что день ее рождения затерялся во тьме веков. Боксер, чувствуя, что он должен оказать внимание всей семье в целом и беспристрастно распределить его между всеми ее членами, то врывался в дом, то выбегал на двор с удивительным непостоянством. Отрывисто лая, он то носился вокруг лошади, которую чистили у входа в конюшню; то как дикий бросался на свою хозяйку, но вдруг останавливался, показывая, что это только шутка, то неожиданно тыкался влажным носом в лицо Тилли Слоубой, сидевшей в низком кресле-качалке у огня, так что девочка даже взвизгивала от испуга; то назойливо интересовался младенцем; то, покружив перед очагом, укладывался с таким видом, точно решил устроиться тут на всю ночь; то снова вскакивал и, задрав крохотный обрубок хвоста, вылетал наружу, словно вдруг вспомнив, что у него назначено свидание и надо бежать во весь дух, чтобы попасть вовремя!

— Ну вот! Вот и чайник готов! — сказала Крошка, суетясь, как девочка, играющая в домашнюю хозяйку.— Вот холодная ветчина, вот масло; вот хлеб с поджаристой корочкой и все прочее! Если ты привез маленькие посылки, Джон, вот тебе для них бельевая корзина... Где ты, Джон? Тилли, осторожно! Ты уронишь нашего дорогого малютку в огонь!

Следует заметить, что хотя мисс Слоубой с жаром отвергла это предположение, она отличалась редкой и удивительной способностью навлекать на малыша разные беды и со свойственным ей невозмутимым спокойствием не раз подвергала опасности его молодую жизнь. Она была такая тощая и прямая, эта молодая девица, что платье висело на ее плечах как на вешалке и постоянно грозило с них соскользнуть. Костюм ее был замечателен тем, что из-под него неизменно торчало некое фланелевое одеяние странного покроя, а в прореху на спине виднелся корсет или какая-то шнуровка тускло-зеленого цвета. Мисс Слоубой вечно ходила с разинутым ртом, восхищаясь всем на свете, и, кроме того, была постоянно поглощена восторженным созерцанием совершенств своей




хозяйки и ее малыша, так что, если она и ошибалась порой в своих суждениях, то эти промахи делали честь в равной мере и сердцу ее и голове; и хотя это не приносило пользы головке ребенка, которая то и дело стукалась о двери, комоды, лестничные перила, столбики кроватей и другие чуждые ей предметы, все же промахи Тилли Слоубой были только закономерным последствием ее непрестанного изумления при мысли о том, что с нею так хорошо обращаются и что она живет в таком уютном доме. Надо сказать, что о мамаше и папаше Слоубой не имелось никаких сведений, и Тилли воспитывалась на средства общественной благотворительности как подкидыш, а это слово сильно отличается от слова «любимчик» и по своим звукам и по значению.

Если бы вы только видели маленькую миссис Пирибингл, когда она возвращалась в дом вместе с мужем,

держась за ручку бельевой корзины и всеми силами показывая, что помогает ее тащить (хотя корзину нес муж), это позабавило бы вас почти так же, как забавляло его. Пожалуй, это понравилось даже сверчку,— так мне по крайней мере кажется; во всяком случае, он снова начал стрекотать с большим рвением.

— Ну и ну! — проговорил Джон, по обыкновению растягивая слова.— Нынче вечером он развеселился, как никогда.

— И он обязательно принесет нам счастье, Джон! Так всегда бывало. Когда за очагом заведется сверчок, это самая хорошая примета!

Джон взглянул на нее с таким видом, словно чуть было не подумал, что она сама для него сверчок, который приносит ему счастье, и потому он вполне с нею согласен. Но, очевидно, у него, по обыкновению, ничего не получилось, ибо он так ничего и не сказал.

— В первый раз я услышала его веселую песенку в тот вечер, когда ты, Джон, привел меня сюда в мой новый дом, как хозяйку. Почти год назад. Помнишь. Джон?

О да! Джон помнит. Еще бы не помнить!

— Он стрекотал, словно приветствуя меня своей песенкой! Мне казалось, что он обещает мне так много хорошего, и мне стало так легко на душе. Он словно говорил, что ты будешь добрым и ласковым со мной и не станешь требовать (я тогда очень боялась этого, Джон), чтобы на плечах твоей глупенькой маленькой женушки сидела голова мудрой старухи.

Джон задумчиво потрепал ее по плечу, потом погладил по головке, как бы желая сказать: «Нет, нет! Этого я не требую, и плечи и головка очень нравятся мне такими, какие они есть». И немудрено! Они были очень милы.

— И сверчок говорил правду, Джон, потому что ты самый лучший, самый внимательный, самый любящий из всех мужей на свете. Наш дом — счастливый дом, Джон, и потому я так люблю сверчка!

— Да и я тоже,— сказал возчик.— И я тоже, Крошка.

— Я люблю его за то, что слушала его столько раз, и за все те мысли, что посещали меня под его безобидную песенку. Иной раз, в сумерки, когда я сидела тут одна, мне становилось так грустно, Джон,— это было еще

до рождения малыша, ведь малыш, тот всегда развлекает меня и веселит весь дом,— но когда я думала о том, как ты будешь грустить, если я умру, и как грустно мне будет знать, что ты потерял меня, дорогой, сверчок все стрекотал, стрекотал и стрекотал за очагом, и мне казалось, будто я уже слышу другой голосок, такой нежный, такой милый, и в ожидании его печаль моя проходила как сон. А когда меня охватывал страх — вначале это бывало, я ведь была еще так молода, Джон,— когда я начинала бояться, что брак наш окажется неудачным, оттого что мы не подойдем друг другу — ведь я была совсем ребенком, а ты годился мне скорей в опекуны, чем в мужья,— и что ты, сколько ни старайся, пожалуй, не сможешь полюбить меня так, как надеялся и желал, стрекотанье его опять подбодряло меня, и я снова начинала верить и радоваться. Я думала обо всем этом сегодня вечером, милый, когда сидела здесь и ждала тебя, и я люблю нашего сверчка за эти мысли!

— И я тоже,— сказал Джон.— Но что это значит, Крошка? Ты сказала, будто я надеюсь и хочу полюбить тебя? И что ты только болтаешь! Я полюбил тебя, Крошка, задолго до того, как привел сюда, чтобы ты стала хозяюшкой сверчка!

Она на миг взяла его за руку и, волнуясь, взглянула на него снизу вверх, словно хотела что-то сказать ему. Но спустя мгновение очутилась на коленях перед корзиной и, оживленно лепеча, занялась посылками.

— Сегодня их не очень много, Джон, но я только что видела в повозке разные товары; правда, с ними больше хлопот, но возить их так же выгодно, как и мелочь; значит, нам не на что роптать, ведь так? Кроме того, ты по пути, наверное, раздавал посылки?

— Еще бы! — сказал Джон.— Целую кучу роздал.

— А что там такое в круглой коробке? Ай-ай-ай, Джон, да ведь это свадебный пирог!

— Догадалась! Ну, да на то ты и женщина,— сказал Джон в восхищении.— Мужчине это и в голову не пришло бы.— Попробуй запрятать свадебный пирог хоть в шкатулку для чая, или в складную кровать, или в бочонок из-под маринованной лососины, или вообще в самое неподходящее место, и бьюсь об заклад, что женщина

непременно найдет его сию же минуту! Да, это пирог; я за ним заезжал в кондитерскую.

— А тяжелый-то какой... фунтов сто весит! — воскликнула Крошка, притворяясь, что у нее не хватает сил поднять коробку.— От кого это, Джон? Кому его посылают?

— Прочитай надпись на той стороне,— ответил Джон.

— Ох, Джон! Как же это, Джон?

— Да! Кто бы мог подумать! — откликнулся Джон.

— Так, значит,— продолжала Крошка, сидя на полу и качая головой,— это Грубб и Теклтон, фабрикант игрушек!

Джон кивнул.

Миссис Пирибингл тоже кивнула — раз сто, не меньше,— но не одобрительно, а с видом безмолвного и жалостливого удивления; при этом она изо всех своих силенок поджала губки (а они не для того были созданы, в этом я уверен) и рассеянно словно в пространство смотрела на доброго возчика. Между тем мисс Слоубой, одаренная способностью машинально воспроизводить для забавы малыша обрывки любого услышанного ею разговора, лишая их при этом всякого смысла и употребляя все имена существительные во множественном числе, громко вопрошала своего юного питомца, действительно ли это Груббы и Теклтоны, фабриканты игрушек, и не заедут ли малыши в кондитерские за свадебными пирогами и догадываются ли мамы о том, что находится в коробках, когда папы привозят их домой, и так далее.

— Значит, это все-таки будет! — промолвила Крошка —...Да ведь мы с нею еще девчонками вместе в школу ходили, Джон!

Быть может, он в эту минуту вспоминал ее или собирался вспомнить такой, какой она была в свои школьные годы. Он смотрел на нее задумчиво и радостно, но не отвечал ни слова.

— И он такой старый! Так не подходит к ней!.. Слушай, на сколько лет он старше тебя, Джон, этот Грубб и Теклтон?

— Скажи лучше, на сколько чашек чаю больше я выпью сегодня за один присест, чем Грубб и Теклтон одолеет за четыре! — добродушно отозвался Джон, придви-

нув стул к круглому столу и принимаясь за ветчину.— Что касается еды, то ем я мало, Крошка, но хоть и мало, зато с удовольствием.

Но даже эти слова, которые он неизменно повторял за едою, невольно обманывая сам себя (ибо аппетит у него был на славу и начисто опровергал их), даже эти слова не вызвали улыбки на лице его маленькой жены,— Крошка недвижно стояла среди посылок, тихонько отпихивая от себя ногой коробку со свадебным пирогом, и хотя глаза ее были опущены, ни разу даже не взглянула на свой изящный башмачок, который обычно так привлекал ее внимание. Погруженная в свои мысли, она стояла, позабыв и о чае и о Джоне (хотя он позвал ее и даже постучал ножом по столу, чтобы привлечь ее внимание), так что ему, наконец, пришлось встать и положить руку ей на плечо,— только тогда она бросила на него быстрый взгляд и поспешила занять свое место за чайным столом, смеясь над своей рассеянностью. Но не так, как смеялась всегда. И звук и тон ее смеха — все было теперь совсем иным!

Сверчок тоже замолчал. В комнате стало что-то не так весело, как было. Совсем не так.

— Значит, все посылки тут, правда, Джон? — спросила Крошка, прерывая долгое молчание, во время которого честный возчик наглядно доказывал правильность по крайней мере второй части своего любимого изречения, ибо ел он с большим удовольствием, хотя отнюдь не мало.— Значит, все посылки тут, правда, Джон?

— Все тут,— сказал Джон.— Только... нет... я...— Он положил на стол нож и вилку и глубоко вздохнул.— Я хочу сказать... я совсем позабыл про старого джентльмена!

— Про какого джентльмена?

— В повозке,— ответил Джон.— В последний раз, что я его видел, он спал там на соломе. Я чуть не вспомнил о нем два раза, с тех пор как вошел сюда; но он снова выскочил у меня из головы. Эй, вы! Вставайте! Ах ты грех какой!

Последние слова Джон выкрикнул уже во дворе, куда поспешил со свечой в руках.

Мисс Слоубой, заслышав какие-то таинственные упо-

минания о «старом джентльмене» и связав с ними в своем озадаченном воображении некоторые представления суеверного характера *, пришла в полное замешательство и, поспешно вскочив с низкого кресла у очага, бросилась искать убежища за юбками своей хозяйки, но, столкнувшись у двери с каким-то престарелым незнакомцем, инстинктивно обратила против него единственное наступательное оружие, которое было у нее под рукой. Таковым оружием оказался младенец, вследствие чего немедленно поднялся великий шум и крик, а проницательность Боксера только усилила общий переполох, ибо этот усердный пес, более заботливый, чем его хозяин, как выяснилось, все время сторожил спящего старика,— боясь, как бы тот не удрал, захватив с собой два-три тополевых саженца, привязанных к задку повозки,— и теперь счел долгом уделить ему особое внимание, хватая его за гетры и стараясь оторвать от них пуговицы.

— Вы, сэр, как видно, мастер спать,— сказал Джон, когда спокойствие восстановилось, обращаясь к старику, который недвижно стоял с непокрытой головой посреди комнаты,— так что я даже чуть было не спросил вас: «А где остальные шестеро?» * — но это значило бы сострить и уж конечно у меня бы все равно ничего путного не вышло. Но я уже совсем было собрался спросить вас об этом,— пробормотал возчик, посмеиваясь,— чуть было не спросил!

Незнакомец, у которого волосы были длинные и белые, черты лица красивые и какие-то слишком четкие для старика, а глаза темные, блестящие и проницательные, с улыбкой оглянулся кругом и, степенно поклонившись, поздоровался с женой возчика.

Одет он был очень своеобразно и странно — слишком уж старомодно. Все на старике было коричневое. В руке он держал толстую коричневую палку или дубинку, и, когда ударил ею об пол, она раскрылась и оказалась складным стулом. Незнакомец невозмутимо сел на него.

— Вот, пожалуйста! — сказал возчик, обращаясь к жене.— Так вот он и сидел на обочине, когда я его увидел! Прямой как придорожный столб. И почти такой же глухой.

— Так и сидел, под открытым небом, Джон?



— Под открытым небом,— подтвердил возчик,— а уже стемнело. «Плачу за проезд», сказал он и протянул мне восемнадцать пенсов. Потом влез в повозку. И вот он здесь.

— Он, кажется, хочет уходить, Джон!

Вовсе нет. Старик только хотел сказать что-то.

— Если позволите, я побуду здесь, пока за мной не придут,— мягко проговорил незнакомец.— Не обращайте на меня внимания.

Сказав это, он из одного своего широкого кармана извлек очки, из другого книгу и спокойно принялся за чтение. На Боксера он обращал не больше внимания, чем на ручного ягненка!

Возчик с женой удивленно переглянулись. Незнакомец поднял голову и, переведя глаза с хозяина на хозяйку, проговорил:

— Ваша дочь, любезный?

— Жена,— ответил Джон.

— Племянница? — переспросил незнакомец.

— Жена! — проревел Джон.

— В самом деле? — заметил незнакомец.— Неужели правда? Очень уж она молоденькая!

Он спокойно отвернулся и снова начал читать. Но не прочел и двух строчек, как опять оторвался от книги и спросил:

— Ребенок ваш?

Джон кивнул столь внушительно, что внушительней и быть не могло, даже крикни он утвердительный ответ в переговорную трубу.

— Девочка?

— Ма-а-альчик! — проревел Джон.

— Тоже очень молоденький, а?

Миссис Пирибингл тотчас же вмешалась в разговор:

— Два месяца и три дня-а! Прививали оспу шесть недель тому наза-ад! Принялась очень хорошо-о! Доктор считает замечательно красивым ребе-онком! Не уступит любому пятиме-есячному! Все понимает, прямо на удивленье! Не поверите, уже хватает себя за но-ожки!

Маленькая мамаша так громко выкрикивала эти короткие фразы ему на ухо, что хорошенькое личико ее раскраснелось, и, совсем запыхавшись, она поднесла ребенка к гостю в качестве неопровержимого и торжественного доказательства, в то время как Тилли Слоубой, издавая какие-то непонятные звуки, вроде чиханья, прыгала, как телка, вокруг этого невинного, ни о чем не ведающего существа.

— Слушайте! Наверное, это пришли за ним,— сказал Джон.— Кто-то идет к нам. Открой, Тилли!

Однако, прежде чем Тилли добралась до двери, кто-то уже открыл ее снаружи, так как это была самая простая дверь со щеколдой, которую каждый мог поднять, если хотел, а хотели этого очень многие, потому что все соседи были охотники перемолвиться добрым словом с

возчиком, хоть сам он и был неразговорчив. Когда дверь открылась, в комнату вошел маленький, тощий человек с землистым лицом; он был в пальто, сшитом, очевидно, из холщовой покрышки какого-то старого ящика: когда он обернулся и закрыл дверь, чтобы холод не проник в комнату, оказалось, что на спине у него черной краской начерчены огромные заглавные буквы «Г» и «Т», а кроме того написано крупным почерком слово: *СТЕКЛО*.

— Добрый вечер, Джон! — сказал маленький человек.— Добрый вечер, сударыня! Добрый вечер, Тилли! Добрый вечер, господин, не знаю, как вас звать! Как поживает малыш, сударыня? Надеюсь, Боксер здоров?

— Все в добром здоровье, Калеб,— ответила Крошка.— Да стоит вам только взглянуть хотя бы на малыша, и вы сами это увидите.

— А по-моему, стоит только взглянуть на вас,— сказал Калеб.

Однако он не взглянул на нее; что бы он ни говорил, его блуждающий озабоченный взгляд, казалось, вечно устремлялся куда-то в другое пространство и время, и то же самое можно было сказать о его голосе.

— Или взглянуть хотя бы на Джона,— сказал Калеб.— Либо на Тилли, коли на то пошло. И уж конечно на Боксера.

— Много работаете теперь, Калеб? — спросил возчик.

— Порядочно, Джон,— ответил тот с рассеянным видом, как человек, который ищет что-то весьма важное, по меньшей мере — философский камень.— И даже очень порядочно. Теперь пошла мода на ноевы ковчеги. Мне очень хотелось бы усовершенствовать детей Ноя, но не знаю, как это сделать за ту же цену. Приятно было бы смастерить их так, чтобы можно было отличить, кто из них Сим, кто Хам, а кто их жены. Вот и мухи, надо сознаться, выходят совсем не того размера, какой нужен по сравнению со слонами. Ну, ладно! Нет ли у вас для меня посылки, Джон?

Возчик пошарил рукой в кармане пальто, которое снял, придя домой, и вынул крошечный горшок с цветком, тщательно обернутый мхом и бумагой.

— Вот! — сказал он, очень осторожно расправляя цветок.— Ни один листочек не попорчен. Весь в бутонах!

Тусклые глаза Калеба заблестели. Он взял цветок и поблагодарил возчика.

— Дорого обошелся, Калеб,— сказал возчик.— В это время года цветы очень уж дороги.

— Ничего. Для меня он дешев, сколько бы ни стоил,— отозвался маленький человек.— А еще что-нибудь есть, Джон?

— Небольшой ящик,— ответил возчик.— Вот он.

— «Для Калеба Пламмера»,— проговорил маленький человек, читая адрес по складам.— «Денежное». Денежное, Джон? Это, наверное, не мне.

— «Бережно»,— поправил возчик, заглядывая ему через плечо.— «Обращаться бережно». Откуда вы взяли, что «денежное»?

— Ну да! Конечно! — сказал Калеб.— Все правильно. «Бережно». Да, да, это мне. А ведь я мог бы получить и денежную посылку, если бы мой дорогой мальчик не погиб в золотой Южной Америке! Вы любили его, как сына, правда? Да вам это и говорить незачем. Я и так знаю. «Калебу Пламмеру. Обращаться бережно». Да, да, все правильно. Это ящик с глазами для кукол — для тех, которые мастерит моя дочь. Хотел бы я, Джон, чтобы в этом ящике были зрячие глаза для нее самой!

— И я бы хотел, будь это возможно! — воскликнул возчик.

— Благодарю вас,— отозвался маленький человек.— Ваши слова идут от сердца. Подумать только, что она даже не видит своих кукол... а они-то таращат на нее глаза весь день напролет! Вот что обидно! Сколько за доставку, Джон?

— Вот я вас самого доставлю куда-нибудь подальше, если будете спрашивать! — сказал Джон.— Крошка! Чуть было не сострил, а?

— Ну, это на вас похоже,— заметил маленький человек.— Добрая вы душа! Постойте, нет ли еще чего... Нет, кажется, все.

— А мне кажется, что не все,— сказал возчик.— Подумайте хорошенько.

— Что-нибудь для нашего хозяина, а? — спросил Калеб, немного подумав.— Ну, конечно! За этим-то я и пришел; но голова у меня забита этими ковчегами и вообще

всякой всячиной! Я и позабыл. А он сюда не заходил, нет?

— Ну, нет! — ответил возчик.— Он занят — за невестой ухаживает.

— Однако он хотел сюда заехать,— сказал Калеб,— он велел мне идти по этой стороне дороги, когда я буду возвращаться домой, и сказал, что почти наверное меня нагонит. Ну, пора мне уходить... Будьте добры, сударыня, разрешите мне ущипнуть Боксера за хвост?

— Калеб! Что за странная просьба!

— Впрочем, лучше не надо, сударыня,— сказал маленький человек.— Может, это ему не понравится. Но мы только что получили небольшой заказ на лающих собак, и мне хотелось бы сделать их как можно больше похожими на живых — насколько это удастся за шесть пенсов. Вот и все. Не беспокойтесь, сударыня.

К счастью, вышло так, что Боксер и без этого стимула начал лаять с великим усердием. Но лай его возвещал о появлении нового посетителя, и потому Калеб, отложив изучение живых собак до более удобного времени, взвалил на плечо круглую коробку и поспешно распрощался со всеми. Он мог бы избавить себя от этого труда, так как на пороге столкнулся с хозяином.

— О! Так вы здесь, вот как? Подождите немного. Я подвезу вас домой. Джон Пирибингл, мое почтение! И нижайшее почтение вашей прелестной жене! День ото дня хорошеет! Все лучше становится, если только можно быть лучше! И все моложе,— задумчиво добавил посетитель, понизив голос,— как это ни странно!

— Что это вы вздумали говорить комплименты, мистер Теклтон? — сказала Крошка далеко не любезно.— Впрочем, не удивляюсь — ведь я слыхала о вашей помолвке.

— Так, значит, вы о ней знаете?

— Едва поверила,— ответила Крошка.

— Нелегко вам было поверить, да?

— Очень.

Фабрикант игрушек Теклтон,— его зачастую называли «Грубб и Теклтон», ибо так называлась его фирма, хотя Грубб давно продал свой пай в предприятии и оставил в нем только свою фамилию, а по мнению некоторых, и ту

черту своего характера, которая ей соответствует,— фабрикант игрушек Теклтон имел призвание, которого не разгадали ни его родители, ни опекуны. Сделайся он при их помощи ростовщиком или въедливым юристом, или судебным исполнителем, или оценщиком описанного за долги имущества, он перебесился бы еще в юности и, вполне удовлетворив свою склонность творить людям неприятности, возможно, превратился бы к концу жизни в любезного человека,— хотя бы ради некоторого разнообразия и новизны. Но, угнетенный и раздраженный своим мирным занятием — изготовлением игрушек, он сделался чем-то вроде людоеда и, хотя дети были источником его благополучия, стал их непримиримым врагом. Он презирал игрушки; он ни за что на свете сам не купил бы ни одной; он злобно наслаждался, придавая выражение жестокости физиономиям картонных фермеров, ведущих свиней на рынок, глашатаев, объявляющих о пропаже совести у юристов, заводных старушек, штопающих чулки или разрезающих паштеты, и вообще лицам всех своих изделий. Он приходил в восторг от страшных масок, от противных лохматых красноглазых чертей, выскакивающих из коробочек, от бумажных змеев с рожами вампиров, от демонических акробатов, не желающих лежать спокойно и вечно проделывающих огромные прыжки, до смерти пугая детей. Только эти игрушки приносили ему некоторое облегчение и служили для него отдушиной. На такие штуки он был великий мастер. Все, что напоминало кошмар, доставляло ему наслаждение. Дошло до того, что он однажды просадил уйму денег (хотя очень дорожил этими «игрушками»), фабрикуя, себе в убыток, жуткие диапозитивы для волшебного фонаря, на которых нечистая сила была изображена в виде сверхъестественных крабов с человеческими лицами. Немало денег потратил он, стараясь придать особую выразительность фигурам игрушечных великанов, и хоть сам не был живописцем, сумел все-таки при помощи куска мела показать своим художникам, как изобразить на мордах этих чудовищ зловещую усмешку, способную нарушить душевное спокойствие любого юного джентльмена в возрасте от шести до одиннадцати лет на весь период рождественских или летних каникул.

Каким он был в своем деле — торговле игрушками,— таким (подобно большинству людей) был и во всем прочем. Поэтому вы легко можете догадаться, что под широким зеленым плащом, доходившим ему до икр, скрывался застегнутый на все пуговицы исключительно приятный субъект и что ни один человек, носивший такие же сапоги с тупыми носками и темно-красными отворотами, не обладал столь изысканным умом и не был столь обаятельным собеседником.

Тем не менее фабрикант игрушек Теклтон собирался жениться. Несмотря на все это, он собирался жениться. И даже — на молодой девушке, на красивой молодой девушке.

Не очень-то он был похож на жениха, когда, весь скрючившись, стоял в кухне возчика с гримасой на сухом лице, надвинув шляпу на нос и глубоко засунув руки в карманы, до самого их дна, а его язвительная, злобная душа выглядывала из крошечного уголка его крошечного глаза, вещая всем недоброе, словно целая сотня воронов, слитая воедино. Но женихом он решил стать.

— Через три дня. В четверг. В последний день первого месяца в году. В этот день будет моя свадьба,— проговорил Теклтон.

Не помню, сказал ли я, что один глаз у него был всегда широко открыт, а другой почти закрыт и что этот полузакрытый глаз как раз и выражал его подлинную сущность? Как будто не сказал.

— В этот день будет моя свадьба! — повторил Теклтон, побрякивая деньгами.

— Да ведь в этот день годовщина нашей свадьбы! — воскликнул возчик.

— Ха-ха! — расхохотался Теклтон.— Странно! Вы точь-в-точь такая же пара, как мы. Точь-в-точь!

Невозможно описать, как возмутилась Крошка, услышав эти самоуверенные слова! Что же он еще скажет? Пожалуй, он способен вообразить, что у него родится точь-в-точь такой же малыш. Да он с ума сошел!

— Слушайте! На одно слово! — пробормотал Теклтон, слегка толкнув локтем возчика и отводя его в сторону.— Вы придете на свадьбу? Ведь мы с вами, знаете ли, в одинаковом положении.

— То есть как это — в одинаковом положении? — осведомился возчик.

— Оба мы годимся в отцы своим женам,— объяснил Теклтон, снова толкнув его локтем.— Приходите провести с нами вечерок перед свадьбой.

— Зачем? — спросил Джон, удивленный столь настойчивым радушием.

— Зачем? — повторил тот.— Странно вы относитесь к приглашениям. Да просто так, ради удовольствия — посидеть в приятной компании, знаете ли, и все такое.

— Я думал, вы не охотник до приятной компании,— сказал Джон со свойственной ему прямотой.

— Тьфу! Я вижу, с вами ничего не поделаешь, придется говорить начистоту,— заметил Теклтон.— Так вот, сказать правду, у вас с женой, когда вы вместе, такой... как выражаются кумушки за чаепитием, такой уютный вид. Мы-то с вами знаем, что под этим кроется, но...

— Нет, я не знаю, что под этим кроется,— перебил его Джон.— О чем вы толкуете?

— Ладно! Пускай мы не знаем, что под этим кроется,— ответил Теклтон.— Допустим, что не знаем,— какое это имеет значение? Я хотел сказать, что если у вас такой уютный вид, значит общество ваше произведет благоприятное впечатление на будущую миссис Теклтон. И хоть я и не думаю, что ваша супруга очень сочувствует моему браку, все же она невольно мне посодействует, потому что от нее веет семейным счастьем и уютом, а это всегда влияет даже на самых равнодушных. Так, значит, придете?

— Сказать по правде, мы уговорились провести годовщину нашей свадьбы дома,— сказал Джон.— Мы обещали это друг другу еще полгода назад. Мы думаем, что у себя дома...

— Э-э! Что такое дом? — вскричал Теклтон.— Четыре стены и потолок! (Отчего вы не прихлопнете своего сверчка? Я бы его убил. Я их всегда убиваю. Терпеть не могу их треска!) В моем доме тоже четыре стены и потолок. Приходите!

— Неужто вы убиваете своих сверчков? — спросил Джон.

— Я давлю их, сэр,— ответил тот, с силой топнув

каблуком.— Так, значит, придете? Это, знаете ли, столько же в ваших интересах, сколько в моих,— женщины убедят друг друга, что они спокойны и довольны и ничего лучшего им не надо. Знаю я их! Что бы ни сказала одна женщина, другая обязательно начнет ей вторить. Они так любят соперничать, сэр, что, если ваша жена скажет моей жене: «Я самая счастливая женщина на свете, а муж мой самый лучший муж на свете, и я его обожаю», моя жена скажет то же самое вашей да еще подбавит от себя и наполовину поверит в это.

— Неужто вы хотите сказать, что она не...— спросил возчик.

— Что? — вскричал Теклтон с отрывистым резким смехом.— Что «не»?

Возчик хотел было сказать: «Не обожает вас». Но, взглянув на полузакрытый глаз, подмигивающий ему над поднятым воротником плаща (еще немного, и уголок воротника выколол бы этот глаз), понял, что Теклтон — совершенно неподходящий предмет для обожания, и потому, заменив эту фразу другой, проговорил:

— Что она не верит в это?

— Ах вы проказник! Вы шутите! — сказал Теклтон.

Но возчик, хоть он с трудом понимал истинный смысл всех речей Теклтона, с таким серьезным видом уставился на собеседника, что тому пришлось объясниться несколько подробнее.

— Мне пришла блажь,— начал Теклтон и, раскрыв левую руку, постучал правой по указательному пальцу, как бы давая этим понять, что «вот это, мол, я, Теклтон, имейте в виду»,— мне пришла блажь, сэр, жениться на молодой девушке, на хорошенькой девушке,— тут он стукнул по мизинцу, подразумевая под ним невесту; не легонько, но резко стукнул, как бы утверждая свою власть.— Я имею возможность потворствовать этой блажи, и я ей потворствую. Такая уж у меня причуда. Но... взгляните сюда!

Он показал пальцем на Крошку, которая в раздумье сидела у очага, подперев рукой украшенный ямочкой подбородок и глядя на яркое пламя. Возчик взглянул на нее, потом на Теклтона, потом на нее, потом снова на Теклтона.

— Конечно, она почитает мужа и повинуется ему,— сказал Теклтон,— и поскольку я не сентиментальный человек, этого для меня вполне довольно. Но неужели вы думаете, что в ее отношении к мужу есть нечто большее?

— Я думаю,— заметил возчик,— что выброшу из окна любого, кто вздумает отрицать это.

— Совершенно верно,— с необыкновенной поспешностью согласился Теклтон.— Безусловно! Вы несомненно так и сделаете. Конечно. Я в этом уверен. Спокойной ночи. Приятных сновидений!

Возчик, совсем сбитый с толку, невольно почувствовал себя как-то неспокойно, неуверенно. И не смог это скрыть.

— Спокойной ночи, любезный друг! — сочувственно проговорил Теклтон.— Я ухожу. Я вижу, что мы с вами в сущности совершенно одинаковы. Вы не зайдете к нам завтра вечером? Ну что ж! Мне известно, что послезавтра вы будете в гостях. Там я встречусь с вами и приведу туда свою будущую жену. Это ей пойдет на пользу. Вы согласны? Благодарю вас... Что такое?

Жена возчика вскрикнула, и от этого громкого, резкого, внезапного крика вся комната словно зазвенела, как стеклянная. Миссис Пирибингл вскочила с места и стояла, оцепенев от ужаса и удивления. Незнакомец, подошедший поближе к огню погреться, стоял рядом с ее креслом. Но он был совершенно спокоен.

— Крошка! — вскричал возчик.— Мэри! Милая! Что с тобой?

Все тотчас окружили ее. Калеб, дремавший на коробке со свадебным пирогом, очнулся и спросонья схватил мисс Слоубой за волосы, но немедленно извинился.

— Мэри! — воскликнул возчик, поддерживая жену.— Ты больна? Что с тобой? Скажи мне, дорогая!

Она не ответила, только всплеснула руками и залилась безудержным смехом. Потом, выскользнув из мужниных объятий, опустилась на пол и, закрыв лицо передником, горько заплакала. Потом снова расхохоталась, потом снова расплакалась, а потом сказала, что ей очень холодно, позволила мужу подвести ее к очагу и села на свое место. Старик по-прежнему стоял совершенно спокойно.

— Мне лучше, Джон,— сказала она,— мне сейчас совсем хорошо... я... Джон!

Но Джон стоял с другого бока. Почему же она повернулась к старику, словно говорила это ему? Или все перепуталось у нее в голове?

— Пустяки, милый Джон... я чего-то испугалась... что-то вдруг встало у меня перед глазами... не знаю, что это было. Но теперь все прошло, совсем прошло.

— Я рад, что прошло,— пробормотал Теклтон, обводя комнату выразительным взглядом.— Интересно только, куда оно прошло и что это было. Хм! Калеб, подойдите поближе. Кто этот седой человек?

— Не знаю, сэр,— шепотом ответил Калеб.— Я никогда в жизни его не видел. Превосходная фигура для щелкунчика, совершенно новая модель. Приделать ему челюсть, спадающую до самого жилета, и прямо чудно получится.

— Недостаточно уродлив,— сказал Теклтон.

— И для спичечницы годится,— заметил Калеб, погруженный в созерцание.— Какая модель! Отвинтить ему голову, положить туда спички, а чиркать можно о подошвы, перевернув его вверх ногами, отличная будет спичечница! Хоть сейчас ставь ее на каминную полку в комнате любого джентльмена,— вот как он теперь стоит!

— Все-таки он недостаточно уродлив,— сказал Теклтон.— Ничего в нем нет интересного! Пойдемте! Возьмите коробку!.. Ну, а у вас теперь все в порядке, надеюсь?

— Да, совсем прошло! Совсем прошло! — ответила маленькая женщина, торопливо махнув рукой, чтобы он поскорей уходил.— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи,— сказал Теклтон.— Спокойной ночи, Джон Пирибингл! Осторожней несите коробку, Калеб. Посмейте только ее уронить — я вас убью! Ни зги не видно, а погода еще хуже прежнего, а? Спокойной ночи!

Еще раз окинув комнату острыми глазами, он вышел за дверь, а за ним последовал Калеб, неся свадебный пирог на голове.

Возчик был так поражен поведением своей маленькой жены и так занят старанием ее успокоить и уходом за нею, что вряд ли замечал присутствие незнакомца до этой самой минуты; но тут он вдруг спохватился, что старик остался их единственным гостем.

— Он, видишь ли, не из их компании,— объяснил Джон.— Надо намекнуть ему, чтобы уходил.

— Прошу прощенья, любезный,— проговорил старик, подойдя к нему,— прошу в особенности потому, что ваша жена, к сожалению, почувствовала себя нехорошо; но провожатый, без которого я почти не могу обойтись из-за своего убожества,— он тронул себя за уши и покачал головой,— провожатый мой не явился, и я боюсь, что вышло какое-то недоразумение. Погода плохая — потому-то ваша удобная повозка (от души себе желаю никогда не ездить на худшей!) и показалась мне таким желанным убежищем,— погода все еще очень плохая, так разрешите мне переночевать у вас, а за койку я заплачу.

— Да, да,— вскричала Крошка.— Да, конечно, останьтесь!

— Вот как,— произнес возчик, изумленный тем, что она так быстро согласилась.— Ну что ж; ничего не имею против; но все-таки я не совсем уверен, что...

— Тише! — перебила его жена.— Милый Джон!

— Да ведь он глухой, как камень,— заметил Джон.

— Я знаю, что он глухой, но... Да, сэр, конечно. Да! Конечно! Я сию минуту постелю ему постель, Джон.

Торопясь приготовить постель незнакомцу, она убежала, а возчик стоял как вкопанный, глядя ей вслед в полном замешательстве — ее волнение и беспокойная суетливость показались ему очень странными.

— Так, значит, мамы стелют постели! — залепетала мисс Слоубой, обращаясь к малышу,— и, значит, волосики у них сделались темными и кудрявыми, когда с них сняли шапочки, и, значит, они напугали бесценных милочек, когда те сидели у огоньков!

Когда человек в сомнении и замешательстве, мысль его зачастую ни с того ни с сего цепляется за пустяки, и возчик, медленно прохаживаясь взад и вперед, поймал себя на том, что мысленно повторяет дурацкие слова Тилли. Он столько раз повторял их, что выучил наизусть, и продолжал твердить все вновь и вновь, как урок, когда Тилли (по обыкновению всех нянек) уже растерла рукой безволосую головенку малыша,— насколько она это считала полезным,— и снова напялила на него чепчик.

«И напугали бесценных милочек, когда те сидели у огоньков! Удивляюсь, чего испугалась Крошка!» — раздумывал возчик, прохаживаясь взад и вперед.

Он всей душой хотел забыть клеветнические намеки фабриканта игрушек, но они тем не менее вызывали в нем какое-то смутное неопределенное беспокойство. Ведь Теклтон был сметлив и хитер, а Джон с горечью сознавал, что соображает туго, и любой даже случайно оброненный намек всегда волновал его. Ему, конечно, и в голову не приходило связывать слова Теклтона с необычным поведением жены, но обе эти темы его размышлений сливались в его уме, и он не мог их разделить.

Вскоре постель была приготовлена, посетитель выпил чашку чаю, отказавшись от всякого другого угощения, и удалился. Тогда Крошка — она совсем оправилась, по ее словам, совсем оправилась — передвинула большое мужнино кресло к очагу, набила и подала Джону трубку, а сама, по обыкновению, села на свою скамеечку рядом с ним.

Она всегда сидела на этой скамеечке. И ей, вероятно, казалось, что скамеечка у нее очень ласковая и милая.

Тут я должен сказать, что ни один человек на свете не умел так превосходно набивать трубку, как она. Видеть, как она совала свой пухлый пальчик в головку трубки, потом продувала ее, чтобы прочистить, а покончив с этим, делала вид, будто в трубке остался нагар, и еще раз десять продувала ее и прикладывала к глазу, как подзорную трубу, причем хорошенькое личико ее задорно морщилось,— видеть все это было несказанно приятно! Да, она была настоящая мастерица набивать трубку табаком, а когда зажигала ее бумажным жгутиком, в то время как возчик держал трубку в зубах, и подносила огонь к самому носу мужа, не обжигая его,— это было искусство, высокое искусство!

Признавали это и сверчок с чайником, снова распевавшие свою песенку! Признавал это и яркий огонь, разгоревшийся вновь! Признавал это и маленький косец на часах, продолжавший свою незаметную работу! Признавал это и возчик, у которого морщины на лбу разгладились, а лицо прояснилось; он признавал это даже с большей готовностью, чем все прочие.

И пока он степенно и задумчиво попыхивал своей старой трубкой, а голландские часы тикали, а красный огонь пламенел, а сверчок стрекотал, гений его домашнего очага (ибо сверчок и был этим гением) возник, словно сказочный призрак, в комнате и вызвал в уме Джона множество образов его семейного счастья. Крошки всех возрастов и всех видов толпились в доме. Крошки — веселые девочки — бежали по полю впереди него и собирали цветы; застенчивые Крошки колебались, не зная, отвергнуть им мольбы его неуклюжего двойника или уступить им; новобрачные Крошки выходили из повозки у дверей и в смущении принимали ключи от хозяйства; маленькие Крошки-матери несли малышей крестить в сопровождении призрачных нянек Слоубой; зрелые, но все еще моложавые и цветущие Крошки следили глазами за Крошками-дочерьми, пляшущими на деревенских вечеринках; пополневшие Крошки сидели, окруженные и осаждаемые кучками румяных внучат; дряхлые Крошки тихо плелись, пошатываясь и опираясь на палочку. Появились и старые возчики со слепыми старыми Боксерами, лежащими у их ног, и новые повозки с молодыми возницами и надписью «Братья Пирибингл», на верхе, и больные старые возчики, обласканные нежнейшими руками, и могилы усопших старых возчиков, зеленеющие на кладбище. И когда сверчок показал ему все эти образы,— а Джон видел их ясно, хотя глаза его не отрывались от огня,— на сердце у возчика стало легко и радостно, и он от всей души возблагодарил своих домашних богов и совсем позабыл о Груббе и Теклтоне.

Но что это за призрак молодого человека, вызванный тем же самым волшебным сверчком — молодого человека, что стоит совсем один у самой Крошкиной скамеечки? Почему он медлит уходить и стоит почти рядом с Крошкой, опираясь на полку очага и непрестанно повторяя: «Вышла замуж! И не за меня!»

О Крошка! О неверная Крошка! Этому всему нет места ни в одном из видений твоего мужа. Так зачем же такая тень упала на его домашний очаг?

## ПЕСЕНКА ВТОРАЯ

Жили-были Калеб Пламмер и его слепая дочь, одни-одинешеньки, как говорится в сказках,— а я благословляю сказки, надеюсь, вы тоже, за то, что они хоть как-то скрашивают наш будничный мир! — жили-были Калеб Пламмер и его слепая дочь одни-одинешеньки в маленьком деревянном домишке,— не домишке, а потрескавшейся скорлупке какой-то, которая, по правде говоря, казалась всего лишь прыщиком на огромном краснокирпичном носу фабрики «Грубб и Теклтон». Обиталище Грубба и Теклтона было самым роскошным на этой улице, зато жилище Калеба Пламмера можно было свалить одним-двумя ударами молотка и увезти обломки на телеге.

Если бы после такого разгрома кто-нибудь оказал честь лачуге Калеба Пламмера и заметил ее отсутствие, он несомненно одобрил бы, что ее снесли, ибо это послужило к вящему украшению улицы. Лачуга прилепилась к владениям Грубба и Теклтона, как ракушка к килю корабля, как улитка к двери, как пучок поганок к стволу дерева. Но именно она была семенем, из которого выросло мощное древо Грубба и Теклтона, и под ее покосившейся кровлей Грубб еще не так давно скромно изготовлял игрушки для целого поколения мальчиков и девочек, которые играли в эти игрушки, рассматривали, что у них внутри, ломали их, а со временем, состарившись, засыпали вечным сном.

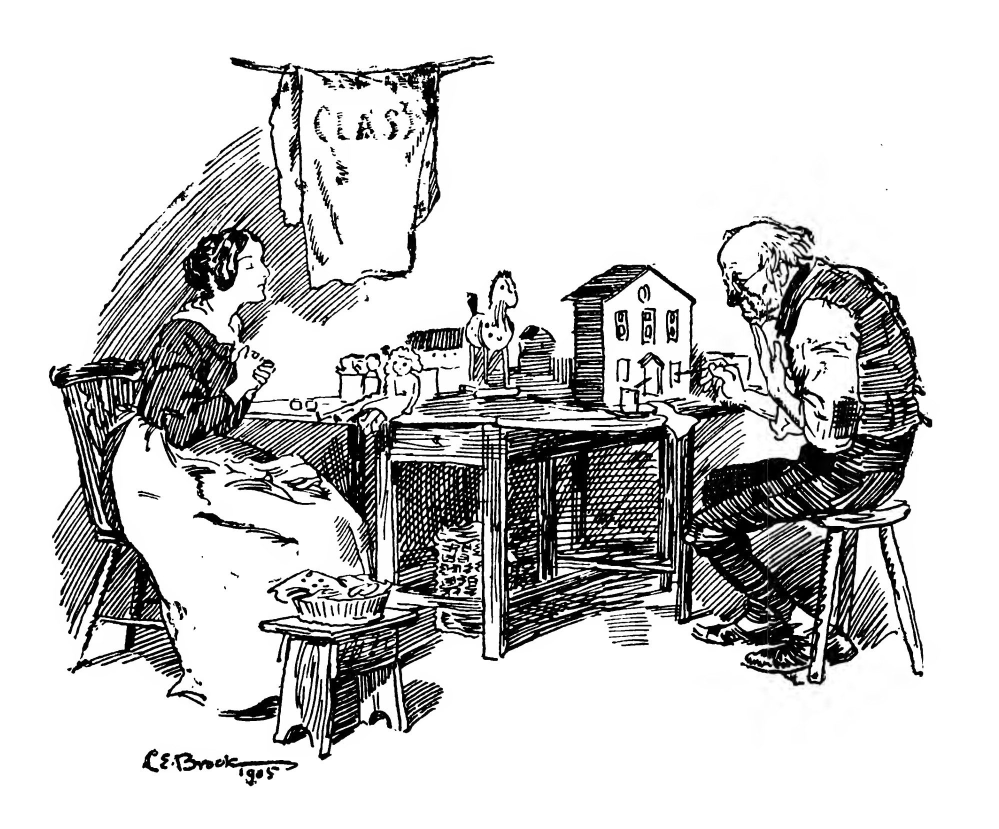
Я сказал, что здесь жили Калеб и его бедная слепая дочь. Но мне следовало бы сказать, что только сам Калеб здесь жил, а его бедная слепая дочь жила совсем в другом месте — в украшенном Калебом волшебном доме, не знавшем ни нужды, ни старости, в доме, куда горе не имело доступа. Калеб не был колдуном, но тому единственному колдовскому искусству, которым мы еще владеем — колдовству преданной, неумирающей любви, его учила Природа, и плодами ее уроков были все эти чудеса.

Слепая девушка не знала, что потолки в доме закопчены, а стены покрыты грязными пятнами; что там и сям

с них обвалилась штукатурка и трещины без помехи ширятся день ото дня; что потолочные балки крошатся и прогибаются. Слепая девушка не знала, что железо здесь ржавеет, дерево гниет, обои отстают от стен; не знала истинного размера, вида и формы этой ветшающей лачуги. Слепая девушка не знала, что на обеденном столе стоит безобразная фаянсовая и глиняная посуда, а в доме поселились горе и уныние; не знала, что редкие волосы Калеба все больше и больше седеют у нее на незрячих глазах. Слепая девушка не знала, что хозяин у них холодный, придирчивый, равнодушный к ним человек,— короче говоря, не знала, что Теклтон — это Теклтон,— но была убеждена, что он чудаковатый остряк, охотник пошутить с ними и хотя для них он истинный ангел-хранитель, он не хочет слышать от них ни слова благодарности.

И все это было делом рук Калеба, делом рук ее простодушного отца! Но у него за очагом тоже обитал сверчок; Калеб с грустью слушал его песенки в те дни, когда его слепая дочка, совсем еще маленькой, потеряла мать, и этот сверчок-волшебник тогда внушил ему мысль, что и тяжкое убожество может послужить ко благу и что девочку можно сделать счастливой при помощи столь несложных уловок. Ибо все сверчки — могущественные волшебники, хотя люди обычно не знают этого (они очень часто этого не знают), и нет в невидимом мире голосов, более нежных и правдивых, голосов, более достойных беспредельного доверия и способных давать более добрые советы, чем голоса этих Духов Огня и Домашнего очага, когда они обращаются к людям.

Калеб с дочерью вместе трудились в своей рабочей каморке, служившей им также гостиной и столовой. Странная это была комната. В ней стояли дома, оконченные и неоконченные, для кукол любого общественного положения. Были тут пригородные домики для кукол среднего достатка; квартирки в одну комнату с кухней для кукол из простонародья; великолепные столичные апартаменты для высокопоставленных кукол. Некоторые из этих помещений были уже омеблированы на средства, которыми располагали куклы не очень богатые; другие можно было по первому требованию обставить на самую


C.E.Brock 1905

широкую ногу, сняв для них мебель с полок, заваленных креслами, столами, диванами, кроватями и драпировками. Знатные аристократы, дворяне и прочие куклы, для которых предназначались эти дома, лежали тут же в корзинах, тараща глаза на потолок; но, определяя их положение в обществе и помещая каждую особу в отведенные ей общественные границы (что, как показывает опыт в действительной жизни, к прискорбию, очень трудно), создатели этих кукол намного перегнали природу,— которая частенько бывает своенравной и коварной — и, не полагаясь на такие второстепенные отличительные признаки, как платья из атласа, ситца или тряпичных лоскутков, они вдобавок сделали свои произведения столь разительно не похожими друг на друга, что ошибиться было невозможно. Так, кукла — благородная леди обладала идеально сложенным восковым телом, но — только она и равные ей. Куклы, стоящие на более низкой ступени общественной лестницы, были сделаны из лайки, а на следующей — из грубого холста. Что касается простолюдинов, то для изготовления их рук и ног брались лучинки из ящика с трутом, по одной на каждую конечность, и куклы эти тотчас же входили в отведенные для них границы, навсегда лишаясь возможности выбраться оттуда.

Кроме кукол, в комнате Калеба Пламмера можно было увидеть и другие образцы его ремесла. Тут были ноевы ковчеги, в которые звери и птицы еле-еле влезали; впрочем, их можно было пропихнуть через крышу, а потом хорошенько встряхнуть ковчег так, чтобы они утряслись получше. Образец поэтической вольности: к дверям почти всех этих ноевых ковчегов были подвешены дверные молотки — неуместная, быть может, принадлежность, напоминающая об утренних визитерах и почтальоне, но все же премилое украшение для фасада этих сооружений. Тут были десятки унылых тележек, колеса которых, вращаясь, исполняли очень жалобную музыку, множество маленьких скрипок, барабанов и других таких орудий пытки; бесконечное количество пушек, щитов, мечей, копий и ружей. Тут были маленькие акробаты в красных шароварах, непрестанно перепрыгивающие через высокие барьеры из красной тесьмы и свергающиеся вниз головой

с другой стороны; были тут и бесчисленные пожилые джентльмены вполне приличной, чтобы не сказать почтенной наружности, которые очертя голову скакали через палки, горизонтально вставленные для этой цели во входные двери их собственных домов. Тут были разные животные; в частности, лошади любой породы, начиная от пегого бочонка на четырех колышках с меховым лоскутком вместо гривы и кончая чистокровным конем-качалкой, рьяно встающим на дыбы. Сосчитать эти смешные фигурки, вечно готовые совершать всевозможные нелепости,— как только повернешь заводной ключик,— было бы так же трудно, как назвать человеческую глупость, порок или слабость, которые не нашли своего игрушечного воплощения в комнате Калеба Пламмера. И ничто тут не было преувеличено: ведь и в жизни случается, что крошечные ключики заставляют людей проделывать такие штуки, на какие не способна ни одна игрушка.

Окруженные всеми этими предметами, Калеб с дочерью сидели за работой. Слепая девушка шила платье для куклы, Калеб красил восьмиоконный фасад красивого особняка и вставлял стекла в его окна.

Забота, наложившая свой отпечаток на морщинистое лицо Калеба, его сосредоточенный и отсутствующий вид были бы под стать какому-нибудь алхимику или ученому, углубившемуся в дебри науки, и, на первый взгляд, представляли странный контраст с его занятием и окружающими его безделушками. Но безделушки, когда их изобретают и выделывают ради хлеба насущного, имеют очень важное значение. К тому же, я не берусь утверждать, что, будь Калеб министром двора, или членом парламента, или юристом, или даже крупным спекулянтом, он имел бы дело с менее нелепыми игрушками; но те игрушки вряд ли были бы такими же безобидными, как эти.

— Так, значит, отец, ты вчера вечером ходил по дождю в своем красивом новом пальто? — сказала дочь Калеба.

— Да, в моем красивом новом пальто,— ответил Калеб, бросив взгляд на протянутую веревку; описанное выше холщовое одеяние было аккуратно развешено на ней для просушки.

— Как я рада, что ты заказал его, отец!

— И такому хорошему портному! — сказал Калеб.— Это самый модный портной. Для меня пальто даже слишком хорошо.

Слепая девушка оторвалась от работы и радостно засмеялась.

— Слишком хорошо, отец! Что может быть слишком хорошо для тебя?

— Мне почти стыдно носить это пальто,— продолжал Калеб, следя за тем, какое впечатление производят на нее эти слова и как светлеет от них ее лицо.— Ведь когда я слышу, как мальчишки и вообще разные люди говорят у меня за спиной: «Глядите! Вот так щеголь!», я прямо не знаю куда деваться. А вчера вечером от меня не отставал какой-то нищий. Я ему говорю, что я сам бедный человек, а он говорит: «Нет, ваша честь, не извольте так говорить, ваша честь!» Я чуть со стыда не сгорел. Почувствовал, что не имею права носить такое пальто.

Счастливая слепая девушка! Как ей было весело, в какой восторг она пришла!

— Я тебя вижу, отец,— сказала она, сжимая руки,— вижу так же ясно, как если бы у меня были зрячие глаза; но когда ты со мной, они мне не нужны. Синее пальто...

— Ярко-синее,— сказал Калеб.

— Да, да! Ярко-синее! — воскликнула девушка, поднимая сияющее личико.— Оно, кажется, того же цвета, что и небо! Ты уже говорил мне, что небо — оно синее! Ярко-синее пальто...

— Широкое, сидит свободно,— ввернул Калеб.

— Да! Широкое, сидит свободно! — вскричала слепая девушка, смеясь от всего сердца.— А у тебя, милый отец, веселые глаза, улыбающееся лицо, легкая походка, темные волосы, и в этом пальто ты выглядишь таким молодым и красивым!

— Ну, полно, полно,— сказал Калеб,— еще немного, и я возгоржусь.

— По-моему, ты уже возгордился! — воскликнула слепая девушка, в полном восторге показывая на него пальцем.— Знаю я тебя, отец! Ха-ха-ха! Я тебя уже раскусила!

Как резко отличался образ, живший в ее душе, от того Калеба, который сейчас смотрел на нее! Она назвала его походку легкой. В этом она была права. Много лет он ни разу не переступал этого порога свойственным ему медлительным шагом, но старался изменить походку ради нее; и ни разу, даже когда на сердце у него было очень тяжко, не забыл он, что нужно ступать легко, чтобы вселить в нее бодрость и мужество!

Кто знает, так это было или нет, но мне кажется, что растерянный, отсутствующий вид Калеба отчасти объяснялся тем, что старик, движимый любовью к своей слепой дочери, мало-помалу совсем отучился видеть все — в том числе и себя — таким, каким оно выглядело на самом деле. Да и как было этому маленькому человеку не запутаться, если он уже столько лет старался предать забвению собственный свой облик, а с ним — истинный облик окружающих предметов?

— Ну, готово! — сказал Калеб, отступив шага на два, чтобы лучше оценить свое произведение.— Так же похож на настоящий дом, как дюжина полупенсов на один шестипенсовик. Какая жалость, что весь фасад откидывается сразу! Вот если бы в доме была лестница и настоящие двери из комнаты в комнату! Но то-то и худо в моем любимом деле — я постоянно заблуждаюсь и надуваю сам себя.

— Ты говоришь очень тихо. Ты не устал, отец?

— Устал? — подхватил Калеб, внезапно оживляясь.— С чего мне уставать, Берта? Я в жизни не знал усталости. Что это за штука?

Желая еще сильнее подчеркнуть свои слова, он удержался от невольного подражания двум поясным статуэткам, которые потягивались и зевали на каминной полке и чье тело, от пояса и выше, казалось, вечно пребывает в состоянии полного изнеможения, и стал напевать песенку. Это была застольная песня — что-то насчет «пенного кубка». Старик пел ее с напускной лихостью, и от этого лицо его казалось еще более изнуренным и озабоченным.

— Как! Да вы, оказывается, поете? — проговорил Теклтон, просовывая голову в дверь.— Валяйте дальше! А вот я петь не умею.

Никто и не заподозрил бы этого. Лицо у него было, что называется, отнюдь не лицом певца.

— Я не могу позволить себе петь,—сказал Теклтон,— но очень рад, что *вы* можете. Надеюсь, вы можете также позволить себе работать. Но вряд ли хватит времени на то и на другое, сдается мне.

— Если бы ты только видела, Берта, как он мне подмигивает! — прошептал Калеб.— Ну и шутник! Кто его не знает, подумает, что он это всерьез... ведь правда?

Слепая девушка улыбнулась и кивнула.

— Говорят, если птица может петь, но не хочет, ее надо заставить петь,— проворчал Теклтон.— А что прикажете делать с совой, которая не умеет петь — да и незачем ей петь,— а все-таки поет? Может, заставить ее делать что-нибудь другое?

— С каким видом он мне сейчас подмигивает!— шепнул Калеб дочери.— Сил нет!

— Он всегда весел и оживлен, когда он с нами! — воскликнула Берта, улыбаясь.

— Ах, и вы здесь, вот как? — отозвался Теклтон.— Несчастная идиотка!

Он в самом деле считал ее идиоткой, основываясь на том — не знаю только, сознательно или бессознательно,— что она его любила.

— Так! Ну, раз уж вы здесь, как поживаете? — буркнул Теклтон.

— Ах, отлично; очень хорошо! Я так счастлива, что даже вы не могли бы пожелать мне большего счастья. Я ведь знаю — вы бы весь мир сделали счастливым, будь это в вашей власти.

— Несчастная идиотка,— пробормотал Теклтон.— Ни проблеска разума! Ни малейшего!

Слепая девушка взяла его руку и поцеловала; задержала ее на мгновение в своих руках и, прежде чем выпустить, нежно прикоснулась к ней щекой. В этом движении было столько невыразимой любви, столько горячей благодарности, что даже Теклтон был слегка тронут и проворчал чуть мягче, чем обычно:

— Что еще такое?

— Вчера я поставила его у своего изголовья, когда

ложилась спать, и я видела его во сне. А когда рассвело и великолепное красное солнце... Оно *красное,* отец?

— Оно красное по утрам и по вечерам, Берта,— промолвил бедный Калеб, бросив скорбный взгляд на хозяина.

— Когда солнце взошло и яркий свет — я почти боюсь наткнуться на него, когда хожу,— проник в мою комнату, я повернула горшочек с цветком в сторону, откуда шел свет, и возблагодарила небо за то, что оно создает такие чудесные цветы, и благословила вас за то, что вы посылаете их мне, чтобы подбодрить меня!

— Сумасшедшие прямехонько из Бедлама! — пробурчал себе под нос Теклтон.— Скоро придется надевать на них смирительную рубашку и завязывать им рот полотенцем. Чем дальше, тем хуже!

Слушая слова дочери, Калеб с отсутствующим видом смотрел перед собой, как будто сомневался (мне кажется, он действительно сомневался) в том, что Теклтон заслужил подобную благодарность. Если бы в эту минуту от него потребовали под страхом смерти либо пнуть ногой фабриканта игрушек, либо пасть ему в ноги — соответственно его заслугам,— и предоставили бы ему свободу выбора,— неизвестно, на что решился бы Калеб, и мне кажется, шансы разделились бы поровну. А ведь Калеб сам, своими руками и так осторожно, принес вчера домой кустик роз для дочери и своими устами произнес слова невинного обмана, чтобы она не могла даже заподозрить, как самоотверженно, с каким самоотречением он изо дня в день во всем отказывал себе ради того, чтобы ее порадовать.

— Берта,— сказал Теклтон, стараясь на этот раз говорить несколько более сердечным тоном,— подойдите поближе. Вот сюда.

— Ах! Я могу сама подойти к вам. Вам не нужно указывать мне путь! — откликнулась она.

— Открыть вам один секрет, Берта?

— Пожалуйста! — с любопытством воскликнула она. Как просветлело ее незрячее лицо! Как внутренний свет озарял ее, когда она вслушивалась в его слова!

— Сегодня тот день, когда эта маленькая... как ее там зовут... эта балованная девчонка, жена Пирибингла,

обычно приходит к вам в гости — устраивает здесь какую-то нелепую пирушку. Сегодня, так или нет? — спросил фабрикант игрушек тоном, выражавшим глубокое отвращение к подобным затеям.

— Да,— ответила Берта,— сегодня.

— Так я и думал,— сказал Теклтон.— Я сам не прочь зайти к вам.

— Ты слышишь, отец? — воскликнула слепая девушка в полном восторге.

— Да, да, слышу,— пробормотал про себя Калеб, устремив в пространство недвижный взгляд лунатика,— но не верю. Конечно, это обман, вроде тех, что я всегда сочиняю.

— Видите ли, я... я хочу несколько ближе познакомить Пирибинглов с Мэй Филдинг,— объяснил Теклтон.— Я собираюсь жениться на Мэй.

— Жениться! — вскричала слепая девушка, отшатываясь от него.

— Фор-мен-ная идиотка! — пробормотал Теклтон.— Она, чего доброго, не поймет меня. Да, Берта! Жениться! Церковь, священник, причетник, карета с зеркальными стеклами, колокольный звон, завтрак, свадебный пирог, бантики, бутоньерки, трещотки, колокольцы и прочая чепуховина. Свадьба, понимаете? Свадьба. Неужели вы не знаете, что такое свадьба?

— Знаю,— кротко ответила слепая девушка.— Понимаю!

— В самом деле? — буркнул Теклтон.— Это превосходит мои ожидания. Прекрасно! По этому случаю я хочу прийти к вам в гости и привести Мэй с ее матерью. Я вам кое-чего пришлю. Холодную баранью ногу или там еще что-нибудь, посытнее. Вы будете ждать меня?

— Да,— отозвалась она.

Она опустила голову, отвернулась и стояла так, сложив руки и задумавшись.

— Вряд ли будете,— пробормотал Теклтон, взглянув на нее,— вы, должно быть, уже успели все перезабыть. Калеб!

«Вероятно, мне нужно сказать, что я здесь»,— подумал Калеб.

— Да, сэр?

— Смотрите, чтобы она не забыла того, что я говорил ей.

— *Она* ничего не забывает,— ответил Калеб.— Это, пожалуй, единственное, чего она не умеет.

— Всяк своих гусей принимает за лебедей,— заметил фабрикант игрушек, пожав плечами.— Жалкий старик!

Высказав это замечание чрезвычайно презрительным тоном, старый Грубб и Теклтон удалился.

Берта так задумалась, что не тронулась с места, когда он ушел. Радость покинула ее поникшее лицо, и оно сделалось очень печальным. Раза три-четыре она качнула головой, как бы оплакивая какое-то воспоминание или утрату, но скорбные мысли ее не находили выхода в словах.

Калеб начал потихоньку запрягать пару лошадей в фургон самым несложным способом, то есть попросту приколачивая сбрую к различным частям их тела; только тогда девушка подошла к его рабочей скамейке и, присев рядом с ним, промолвила:

— Отец, мне так грустно во мраке. Мне нужны мои глаза, мои терпеливые, послушные глаза.

— Они тут,— сказал Калеб.— Всегда готовы служить. Они больше твои, чем мои, Берта, и готовы служить тебе в любой час суток, хотя часов этих целых двадцать четыре! Что им сделать для тебя, милая?

— Осмотри комнату, отец.

— Хорошо,— промолвил Калеб.— Сказано — сделано, Берта.

— Расскажи мне о ней.

— Она такая же, как и всегда,— начал Калеб.— Простенькая, но очень уютная. Стены окрашены в светлую краску, на тарелках и блюдах яркие цветы; дерево на балках и стенной обшивке блестит; комната веселая и чистенькая, как и весь дом; это ее очень украшает.

Веселой и чистенькой она была лишь там, куда Берта могла приложить свои руки. Но во всех прочих углах старой покосившейся конуры, которую Калеб так преображал своей фантазией, не было ни веселых красок, ни чистоты.

— Ты в своем рабочем платье и не такой нарядный, как в красивом пальто? — спросила Берта, дотрагиваясь до него.

— Не такой нарядный,— ответил Калеб,— но все-таки недурен.

— Отец,— сказала слепая девушка, придвигаясь к нему и обвивая рукой его шею,— расскажи мне о Мэй. Она очень красивая?

— Очень,— ответил Калеб.

Мэй и правда была очень красива. Редкий случай в жизни Калеба — ему не пришлось ничего выдумывать.

— Волосы у нее темные,— задумчиво проговорила Берта,— темнее моих. Голос нежный и звонкий, это я знаю. Я часто с наслаждением слушала ее. Ее фигура...

— Ни одна кукла в этой комнате не сравнится с нею,— сказал Калеб.— А глаза у нее!..

Он умолк, потому что рука Берты крепче обняла его за шею, и он со скорбью понял, что значит это предостерегающее движение.

Он кашлянул, постучал молотком, потом снова принялся напевать песню о пенном кубке — верное средство, к которому он неизменно прибегал в подобных затруднениях.

— Теперь о нашем друге, отец, о нашем благодетеле... Ты знаешь, мне никогда не надоедает слушать твои рассказы о нем... Ведь правда? — торопливо проговорила она.

— Ну, конечно,— ответил Калеб.— И это понятно.

— Ах! Да еще как понятно-то! — воскликнула слепая девушка с таким жаром, что Калеб, как ни чисты были его намерения, не решился поглядеть ей в лицо и смущенно опустил глаза, как будто она могла догадаться по ним о его невинном обмане.

— Так расскажи мне о нем еще раз, милый отец,— сказала Берта.— Много, много раз! Лицо у него ласковое, доброе и нежное. Оно честное и правдивое, в этом я уверена! Он так добр, что пытается скрыть свои благодеяния, притворяясь грубым и недоброжелательным, но доброта сквозит в каждом его движении, в каждом взгляде.

— И придает им благородство! — добавил Калеб в тихом отчаянии.

— И придает им благородство! — воскликнула слепая девушка.— Он старше Мэй, отец?

— Д-да,— нехотя протянул Калеб.— Он немного старше Мэй. Но это неважно.

— Ах, отец, конечно! Быть его терпеливой спутницей в немощи и старости; быть его кроткой сиделкой в болезни и верной подругой в страдании и горе; не знать усталости, работая для него; сторожить его сон, ухаживать за ним, сидеть у его постели, говорить с ним, когда ему не спится, молиться за него, когда он уснет,— какое это счастье! Сколько у нее будет поводов доказать ему свою верность и преданность! Она будет делать все это, отец?

— Конечно,— ответил Калеб.

— Я люблю ее, отец! Я чувствую, что могу любить ее всей душой! — воскликнула слепая девушка. Она прижалась бедным своим слепым лицом к плечу Калеба, заплакала и плакала так долго, что он готов был пожалеть, что дал ей это счастье, орошенное слезами.

Между тем в доме Джона Пирибингла поднялась суматоха, потому что маленькая миссис Пирибингл, естественно, не могла и помыслить о том, чтобы отправиться куда-нибудь без малыша, а снарядить малыша в путь-дорогу требовало времени. Нельзя сказать, чтобы малыш представлял собой нечто крупное в смысле веса и объема, но возни с ним было очень много, и все надо было проделывать с передышками и не торопясь. Так, например, когда малыш ценою немалых усилий был уже до известной степени одет и можно было бы предположить, что еще одно-два движения — и туалет его будет закончен, а сам он превращен в отменного маленького щеголя, которому сам черт не брат, на него неожиданно нахлобучили фланелевый чепчик и спешно засунули его в постель, где он, если можно так выразиться, парился между двумя одеяльцами добрый час. Затем его, румяного до блеска и пронзительно вопящего, вывели из состояния неподвижности, чтобы предложить ему... что? Так и быть, скажу, если вы позволите мне выражаться общими словами: чтобы предложить ему легкое угощение. После этого он снова заснул. Миссис Пирибингл воспользовалась этим промежутком времени, чтобы скромно

принарядиться, и сделалась такой хорошенькой, каких и свет не видывал. В течение той же небольшой передышки мисс Слоубой впихивала себя в короткую кофту самого удивительного и хитроумного покроя — это одеяние не вязалось ни с нею, ни с чем-либо другим во всей вселенной, но представляло собою сморщенный, с загнувшимися углами независимый предмет, который существовал самостоятельно, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. К тому времени малыш снова оживился и соединенными усилиями миссис Пирибингл и мисс Слоубой тельце его было облачено в пелерину кремового цвета, а голова — в своего рода пышный пирог из бязи. И вот в должное время они все трое вышли во двор, где старая лошадь так нетерпеливо перебирала ногами, оставляя на дороге свои автографы, что будь это во время деловой поездки, она, наверное, успела бы с избытком отработать всю сумму пошлин, которые уплатил за день ее хозяин у городских застав, а Боксер смутно маячил вдали и, непрестанно оглядываясь, соблазнял лошадь двинуться в путь, не дожидаясь приказа.

Что касается стула или другого предмета, став на который миссис Пирибингл могла бы влезть в повозку, то вы, очевидно, плохо знаете Джона, если думаете, что такой предмет был нужен. Вы и глазом бы моргнуть не успели, а Джон уже поднял Крошку с земли, и она очутилась в повозке на своем месте, свежая и румяная, и сказала:

— Джон! Как тебе не стыдно! Подумай о Тилли!

Если бы мне разрешили, хотя бы в самых деликатных выражениях, упоминать об икрах молодых девиц, я сказал бы, что в икрах мисс Слоубой таилось нечто роковое, так как они были странным образом подвержены ранениям, и она ни разу не поднялась и не спустилась хоть на один шаг без того, чтобы не отметить этого события ссадиной на икрах, подобно тому как Робинзон Крузо зарубками отмечал дни на своем древесном календаре. Но, возможно, это сочтут не совсем приличным, и потому я не стану пускаться в подобные рассуждения.

— Джон! Ты взял корзину, в которой паштет из телятины и ветчины и прочая снедь, а также бутылки с пивом? — спросила Крошка.— Если нет, сию минуту поворачивай домой.

— Хороша, нечего сказать! — отозвался возчик.— Сама задержала меня на целую четверть часа, а теперь говорит: поворачивай домой!

— Прости, пожалуйста, Джон,— сказала Крошка в большом волнении,— но я, право же, не могу ехать к Берте — и не поеду, Джон, ни в коем случае — без паштета из телятины с ветчиной, и прочей снеди, и пива, Стой!

Этот приказ относился к лошади, но та не обратила на него никакого внимания.

— Ох, да остановись же, Джон! — взмолилась миссис Пирибингл.— Пожалуйста!

— Когда я начну забывать вещи дома, тогда и остановлюсь,— сказал Джон.— Корзина здесь, в целости и сохранности!

— Какое ты жестокосердое чудовище, Джон, что не сказал этого сразу,— ведь я так испугалась! Я бы ни за какие деньги не поехала к Берте без паштета из телятины с ветчиной и прочей снеди, а также без бутылок с пивом, это я прямо говорю. Ведь с тех пор как мы поженились, Джон, мы аккуратно раз в две недели устраиваем у нее маленькую пирушку. А если это у нас разладится, я, право же, подумаю, что мы никогда уже не будем счастливы.

— Ты очень добрая, что с самого начала придумала эти пирушки,— сказал возчик,— и я уважаю тебя за это, женушка.

— Милый Джон,— ответила Крошка, густо краснея,— не надо меня уважать. Вот уж нет!

— Кстати,— заметил возчик,— тот старик...

Опять она смутилась, и так ясно это было видно!

— Он какой-то чудной,— сказал возчик, глядя прямо перед собой на дорогу.— Не могу я его раскусить. Впрочем, не думаю, что он плохой человек.

— Конечно, нет... Я... я уверена, что он не плохой.

— Вот-вот! — продолжал возчик, невольно переводя на нее глаза, потому что она говорила таким тоном, словно была твердо убеждена в своей правоте.— Я рад, что ты в этом так уверена, потому что я и сам так думаю. Любопытно, почему он вздумал проситься к нам в жильцы, правда? Это что-то странно.

— Да, очень странно,— подтвердила она едва слышно.

— Однако он очень добродушный старикан,— сказал Джон,— и платит, как джентльмен, и я думаю, что слову его можно верить, как слову джентльмена. Я долго беседовал с ним сегодня утром,— он говорит, что теперь лучше понимает меня, потому что привык к моему голосу. Он много рассказывал о себе, и я много рассказывал ему о себе, и он задал мне кучу всяких вопросов. Я сказал ему, что, как тебе известно, мне приходится ездить по двум дорогам, один день — направо от нашего дома и обратно; другой день — налево от нашего дома и обратно (он нездешний, и я не стал объяснять ему, как называются здешние места), и он этому как будто очень обрадовался. «Так, значит, сегодня вечером я буду возвращаться домой той же дорогой, что и вы, говорит, а я думал, вы поедете в другую сторону. Вот это удача! Пожалуй, я попрошу вас опять подвезти меня, но на этот раз обещаю не засыпать так крепко». А в тот раз он спал действительно крепко, уж это верно!.. Крошка! О чем ты думаешь?

— О чем думаю, Джон? Я... я слушала тебя.

— Ах, так! Прекрасно,— сказал честный возчик.— А я поглядел сейчас на твое лицо и спохватился, что я-то все говорю, говорю, а ты уж, кажется, думаешь о чем-то другом. Спохватился все-таки, честное слово!

Крошка не ответила, и некоторое время они ехали молча. Но нелегко было долго молчать в повозке Джона Пирибингла, потому что каждый встречный на дороге хотел как-то приветствовать семейство возчика. Пусть это было только «здравствуйте» — да зачастую ничего другого и не говорили,— тем не менее ответное сердечное «здравствуйте» требовало не только кивка и улыбки, но и такого же напряжения легких, как длиннейшая речь в парламенте. Иногда пешие или конные путники некоторое время двигались рядом с повозкой Джона специально для того, чтобы поболтать с ним и Крошкой, и тогда уж разговор завязывался самый оживленный.

Надо сказать, что Боксер лучше всех содействовал этим дружеским разговорам. Ведь благодаря ему возчик издалека узнавал приятелей, а приятели узнавали его.

Боксера знали все, кто встречался по дороге, особенно куры и свиньи, и, завидев, как он бочком подкрадывается, с любопытством насторожив уши и ожесточенно размахивая обрубком хвоста, все встречные немедленно отступали на самые отдаленные задворки, отказываясь от чести познакомиться с ним поближе. Ему до всего было дело — он шмыгал за угол на каждом перекрестке; заглядывал во все колодцы; проникал во все дома; врывался в самую гущу школьниц, вышедших на прогулку; вспугивал всех голубей; устрашал всех кошек, отчего их хвосты пушились и раздувались, и, как завсегдатай, забегал в трактиры. Где бы он ни появился, кто-нибудь обязательно восклицал: «Эй, глядите! Да ведь это Боксер», и этот «кто-нибудь» в сопровождении двух-трех других тотчас выходил на дорогу поздороваться с Джоном Пирибинглом и его хорошенькой женой.

В повозке лежало множество пакетов и свертков, так что приходилось часто останавливаться, чтобы выдавать их и принимать новые. И эти остановки были едва ли не самым приятным развлечением во время путешествия. Одни люди с таким пылким нетерпением ожидали предназначенных им посылок, другие так пылко изумлялись полученным посылкам, третьи с таким пылом и так пространно давали указания насчет посылок, которые отправляли, а Джон так живо интересовался каждой посылкой, что всем было весело, как во время игры. Приходилось везти и такие грузы, о которых надо было подумать и поговорить, и возчик держал совет с отправителями о том, как укладывать и размещать эти посылки; а Боксер, который обычно присутствовал на подобных совещаниях, то прислушивался к ним в коротком приступе глубочайшего внимания, то носился вокруг собравшихся мудрецов в длительном приступе энергии и лаял до хрипоты. Крошка, свидетельница всех этих маленьких происшествий, с интересом наблюдала за ними со своего места, широко раскрыв глаза и напоминая очаровательный портрет, обрамленный верхом повозки, а молодые люди частенько заглядывались на нее, подталкивая друг друга локтем, шептались и завидовали возчику. Джону это доставляло безмерное удовольствие. Ведь он гордился тем, что его маленькой женушкой так восхи-

щаются, и знал, что сама она не против этого; пожалуй, это ей даже нравится.

Правда, все вокруг заволокло туманом, как тому и подобает быть в январе месяце, а погода стояла холодная и сырая. Но кого могли смутить подобные пустяки? Конечно, не Крошку. И не Тилли Слоубой, считавшую, что ехать в повозке в любую погоду — это предел доступной людям радости и венец всех земных желаний. И не малыша, ручаюсь головой — никакой малыш не мог бы всю дорогу оставаться таким тепленьким и спать так крепко (хотя все младенцы — мастера на то и на другое), как спал этот блаженный юный Пирибингл.

Конечно, в тумане нельзя было видеть на большое расстояние, однако удавалось все-таки видеть очень многое! Поразительно, чего только не увидишь и в более густом тумане, если получше присмотреться к окружающему! Да что там — приятно было просто сидеть в повозке и смотреть на «кольца фей» * в полях и на иней, еще не растаявший в тени изгородей и деревьев, не говоря уж о том, какие неожиданно причудливые формы принимали деревья, когда выступали из тумана и потом снова скрывались в нем. Живые изгороди с перепутавшимися сучьями растеряли все свои листья, и промерзшие ветви качались на ветру; но они не вызывали уныния. На них было приятно смотреть, потому что при виде их желанный огонь домашнего очага казался еще более горячим, чем он был на самом деле, а зелень будущего лета — еще более яркой. Речка как будто застыла, но она все-таки текла, текла довольно быстро, и то уже было хорошо. Вода в канале скорее ползла, чем текла, и казалась стоячей — это надо признать. Но ничего! Тем скорее она замерзнет, думали все, когда морозная погода установится окончательно, и можно будет кататься по льду на коньках и на санках, а грузные старые баржи, вмерзшие в лед где-нибудь в затоне, будут целыми днями дымить своими заржавленными железными трубами, отдыхая на досуге.

В одном месте пылала большая куча сорной травы или соломы, и путники смотрели на огонь, такой бледный при дневном свете и лишь кое-где прорывающийся вспышками красного пламени; но в конце концов мисс Слоубой

заявила, что дым «забивается ей в нос», поперхнулась — что случалось с нею по малейшему поводу — и разбудила малыша, который уже больше не мог заснуть. Теперь Боксер, бежавший на четверть мили впереди, миновал окраину городка и достиг поворота на ту улицу, где жили Калеб с дочерью, так что слепая девушка вышла с отцом из дому навстречу путникам задолго до того, как они подъехали.

Кстати сказать, обращение Боксера с Бертой отличалось кое-какими тонкими оттенками, которые неопровержимо убеждают меня в том, что он знал о ее слепоте. Он никогда не старался привлечь ее внимание, глядя ей в лицо, как делал с другими, но непременно прикасался к ней. Не знаю, кто мог рассказать ему о слепых людях и слепых собаках. Он никогда не жил у слепого хозяина, и, насколько мне известно, ни мистер Боксер-старший, ни миссис Боксер, ни кто-либо другой из почтенных родственников Боксера-младшего с отцовской и материнской стороны не страдал слепотой. Быть может, он сам догадался о том, что Берта слепая; во всяком случае, он както чувствовал это и потому теперь поймал ее за юбку и держал в зубах эту юбку до тех пор, пока миссис Пирибингл, малыш, мисс Слоубой и корзина не были благополучно переправлены в дом.

Мэй Филдинг уже пришла, пришла и мать ее, маленькая сварливая старушка с недовольным лицом, которая слыла необычайно важной дамой — по той простой причине, что сохранила талию, тонкую, как кроватный столбик,— и держалась очень по-светски и покровительственно, потому что некогда была богатой или воображала, что могла бы разбогатеть, если бы случилось что-то, чего не случилось и, очевидно, не могло случиться. Грубб и Теклтон тоже находился здесь и занимал общество, явно чувствуя себя так же уютно и в своей стихии, как чувствовал бы себя молодой лосось на вершине Большой египетской пирамиды.

— Мэй! Милая моя подружка! — вскричала Крошка, бросаясь навстречу девушке.— Как я рада тебя видеть!

Подружка была так же рада и довольна, как сама Крошка, и можете мне поверить, что, когда они обня-

лись, на них было очень приятно смотреть. Теклтон несомненно обладал тонким вкусом — Мэй была прехорошенькая.

Бывает, знаете ли, что вы привыкнете к какому-нибудь хорошенькому личику и вам случится увидеть его рядом с другим хорошеньким личиком; и первое лицо в сравнении со вторым покажется вам тогда некрасивым, увядшим и, пожалуй, не заслуживающим вашего высокого мнения о нем. Но тут этого не случилось, потому что красота Мэй только подчеркивала красоту Крошки, а красота Крошки — красоту Мэй; и это казалось естественным и приятным, и жаль было — чуть не сказал Джон Пирибингл, входя в комнату,— что они не родные сестры,— только этого и оставалось еще пожелать.

Теклтон принес баранью ногу и, ко всеобщему удивлению, еще торт (но маленькая расточительность — не беда, когда дело идет о нашей невесте: ведь женимся мы не каждый день), а вдобавок к этим лакомствам появились паштет из телятины с ветчиной и «прочая снедь», как выражалась миссис Пирибингл, а именно: орехи, апельсины, пирожные и тому подобная мелочь. Когда на стол было поставлено угощение, в том числе и доля участия самого Калеба — огромная деревянная миска с дымящимся картофелем (с Калеба взяли торжественное обещание никогда не подавать никаких других яств), Теклтон отвел свою будущую тещу на почетное место. Стремясь к вящему украшению высокоторжественного пиршества, величавая старушка нацепила на себя чепец, долженствовавший внушать благоговейный ужас легкомысленной молодежи. Кроме того, на руках у нее были перчатки. Хоть умри, но соблюдай приличия!

Калеб сидел рядом с дочерью, Крошка — рядом со своей школьной подругой, а славный возчик сел в конце стола. Мисс Слоубой поместили вдали от всякой мебели — кроме того стула, на котором она сидела,— чтоб она ни обо что не могла ушибить голову малыша.

Тилли все время таращила глаза на игрушки и куклы, но и они таращили глаза на нее и всех гостей. Почтенные пожилые джентльмены у подъездов (все они проявляли кипучую деятельность), горячо интересовались собравшимся обществом и потому иногда приостанавливались

перед прыжком, как бы прислушиваясь к беседе, а потом лихо перескакивали через палку все вновь и вновь, великое множество раз, не задерживаясь, чтобы перевести дыхание, и, видимо, бурно наслаждаясь всем происходящим.

Если бы эти пожилые джентльмены были склонны злорадствовать при виде разочарования Теклтона, они на этот раз получили бы полное удовлетворение. Теклтону было очень не по себе, и чем больше оживлялась его будущая жена в обществе Крошки, тем меньше ему это нравилось, хотя именно для этого он устроил их встречу. Он был настоящей собакой на сене, этот Теклтон, и когда женщины смеялись, а он не знал — чему, он тотчас забирал себе в голову, что они, наверное, смеются над ним.

— Ах, Мэй! — промолвила Крошка.— Подумать только, до чего все изменилось! Вот поболтаешь о веселых школьных временах и сразу помолодеешь.

— Но ведь вы не так уж стары! — проговорил Теклтон.

— А вы посмотрите на моего степенного, работящего супруга,— возразила Крошка.— Он меня старит лет на двадцать, не меньше. Ведь правда, Джон?

— На сорок,— ответил Джон.

— Не знаю уж, на сколько вы будете старить Мэй! — со смехом сказала Крошка.— Пожалуй, в следующий день ее рождения ей стукнет сто лет.

— Ха-ха! — засмеялся Теклтон. Но смех его звучал пусто, как барабан. И лицо у него было такое, как будто он с удовольствием свернул бы шею Крошке.

— Подумать только! — продолжала Крошка.— Помнишь, Мэй, как мы болтали в школе о том, каких мужей мы себе выберем? Своего мужа я воображала таким молодым, таким красивым, таким веселым, таким пылким! А мужа Мэй!.. Подумать только! Прямо не знаешь, плакать или смеяться, когда вспомнишь, какими мы были глупыми девчонками.

Мэй, очевидно, знала, что делать ей: она вспыхнула, и слезы показались у нее на глазах.

— Иногда мы даже прочили себе кое-кого в женихи — настоящих, не выдуманных молодых людей,— сказала

Крошка,— но нам и во сне не снилось, как все выйдет на самом деле. Я никогда не прочила себе Джона, ну нет, я о нем и не думала! А скажи я тебе, что ты выйдешь замуж за мистера Теклтона, да ты бы, конечно, меня побила! Ведь побила бы, а, Мэй?

Мэй, правда, не сказала «да», но во всяком случае не сказала и «нет», да и никаким иным способом не дала отрицательного ответа.

Теклтон захохотал очень громко, прямо-таки загрохотал. Джон Пирибингл тоже рассмеялся, по обыкновению добродушно, с довольным видом, но смех его казался шепотом по сравнению с хохотом Теклтона.

— И, несмотря на это, вы ничего не смогли поделать, вы не смогли устоять против нас, да! — сказал Теклтон.— Мы здесь! Мы здесь! А где теперь ваши молодые женихи?

— Одни умерли,— ответила Крошка,— другие забыты. Некоторые, стой они здесь в эту минуту, не поверили бы, что мы — это мы. Не поверили бы своим ушам и глазам, не поверили бы, что мы *могли* их забыть. Нет, скажи им об этом кто-нибудь, они не поверили бы ни одному слову!

— Крошка! — воскликнул возчик.— Что это ты так, женушка?

Она говорила так горячо, так страстно, что ее несомненно следовало призвать к порядку. Муж остановил ее очень мягко, ведь ему только хотелось заступиться за старика Теклтона,— так по крайней мере казалось ему самому,— но его замечание подействовало, и Крошка, умолкнув, не сказала ни слова больше. Но даже в ее молчании чувствовалось необычное беспокойство, и проницательный Теклтон, покосившись на нее своим полузакрытым глазом, заметил это и запомнил для каких-то своих целей.

Мэй не вымолвила ни слова, ни хорошего, ни плохого; она сидела очень тихо, опустив глаза и не выказывая никакого интереса ко всему происходящему. Тут вмешалась ее почтенная мамаша, заметив, что, во-первых, девушки по-девичьи и думают, а что было, то прошло, и пока молодые люди молоды и беспечны, они, уж конечно, будут вести себя как молодые и беспечные люди, и к этому добавила еще два-три не менее здравых и неоспоримых суждения. После этого она в порыве благочестия возблагодарила небо за то, что ее дочь Мэй была неизменно почти-


C.E.Brock 1905



тельной и послушной дочерью, но этого она, мать, не ставит себе в заслугу, хотя имеет все основания полагать, что Мэй стала такой дочерью только благодаря материнскому воспитанию. О мистере Теклтоне она сказала, что в отношении нравственности он безупречен, а с точки зрения годности его для брака он очень завидный зять, в чем не может усомниться ни один разумный человек. (Это она проговорила с большим воодушевлением.) Касательно же семьи, в которую он скоро должен будет войти после того, как долго этого добивался, то мистеру Теклтону известно,— как полагает миссис Филдинг,— что хотя у этой семьи средства ограниченные, но она имеет основания счи-

таться благородной, и если бы некоторые обстоятельства, до известной степени связанные с торговлей индиго — так и быть, она упомянет об этом, но говорить о них более подробно не будет,— если бы некоторые обстоятельства сложились иначе, семья эта, возможно, была бы весьма богатой. Затем она сказала, что не будет намекать на прошлое и упоминать о том, что дочь ее некоторое время отвергала ухаживания мистера Теклтона, а также не будет говорить целого ряда других вещей, которые тем не менее высказала, и весьма пространно. В конце концов она заявила, что опыт и наблюдения привели ее к следующему выводу: те браки, в которых недостает того, что глупо и романтично называют любовью, неизменно оказываются самыми счастливыми, так что она предвидит в грядущем брачном союзе величайшее блаженство для супругов,— не страстное блаженство, но прочное и устойчивое. Речь свою она заключила, оповестив все общество о том, что завтрашний день есть тот день, ради которого она только и жила, а когда он минует, ей останется лишь пожелать, чтобы ее положили в гроб и отправили на кладбище для избранных покойников.

На эти речи отвечать было нечего — счастливая особенность всех речей, не относящихся к делу,— и общество, изменив тему разговора, перенесло свое внимание на паштет из телятины с ветчиной, холодную баранину, картофель и торт. Заботясь о том, чтобы пирующие не забыли про пиво, Джон Пирибингл предложил тост в честь завтрашнего дня — дня свадьбы — и пригласил всех выпить по полному бокалу, до того как сам он отправится в путь.

Надо вам знать, что Джон обычно только отдыхал у Калеба и кормил здесь свою старую лошадь. Ему приходилось ехать дальше, еще четыре или пять миль, а вечером на обратном пути он заезжал за Крошкой и еще раз отдыхал перед отъездом домой. Таков был распорядок дня на всех этих пирушках, с тех пор как они были установлены.

Из числа присутствующих двое, не считая жениха и невесты, отнеслись к его тосту без особого сочувствия. Это были: Крошка, слишком взволнованная и расстроенная, чтобы принимать участие в мелких событиях этого дня, и Берта, которая поспешно встала и вышла из-за стола.

— До свидания! — решительно проговорил Джон Пирибингл, надевая толстое суконное пальто.— Я вернусь в обычное время. До свидания.

— До свидания, Джон! — откликнулся Калеб.

Он произнес это машинально и так же машинально помахал рукой — в это время он смотрел на Берту, и на лице у него застыло тревожное, недоуменное выражение.

— До свидания, малец! — шутливо сказал возчик и, наклонившись, поцеловал спящего ребенка. Тилли Слоубой уже орудовала ножом и вилкой, а своего питомца положила (как ни странно, не ушибив его) в постельку, приготовленную Бертой.— До свидания! Наступит день, так я полагаю, когда ты сам выйдешь на холод, дружок, а твой старик отец останется покуривать трубку и греть свои ревматические кости у очага. Как думаешь? А где Крошка?

— Я здесь, Джон! — вздрогнув, откликнулась та.

— Ну-ка,— заметил возчик, громко хлопнув в ладоши,— где трубка?

— О трубке я забыла, Джон.

Забыла о трубке! Вот так чудеса! Она! Забыла о трубке!

— Я... я сейчас набью ее. Это быстро делается.

Однако сделала она это не очень быстро. Трубка, как всегда, лежала в кармане суконного пальто, вместе со сшитым Крошкой маленьким кисетом, из которого она брала табак; но теперь руки молодой женщины так дрожали, что запутались в завязках (хотя ручки у нее были очень маленькие и, конечно, могли бы высвободиться без труда), и возилась она очень долго. Трубку она набила и зажгла из рук вон плохо; а я-то всегда так расхваливал Крошку за эти маленькие услуги мужу! Теклтон зловеще следил за всей процедурой полузакрытым глазом, и всякий раз как взгляд его встречался со взглядом Крошки (или ловил его, ибо едва ли можно утверждать, что глаз Теклтона встречался когда-нибудь с глазами других людей; лучше сказать, что он был своего рода капканом, перехватывающим чужие взгляды), это чрезвычайно смущало миссис Пирибингл.

— Какая ты сегодня неловкая, Крошка! — сказал Джон.— Откровенно говоря, я сам набил бы трубку лучше тебя.

С этими добродушными словами он вышел, и вскоре целый оркестр в составе Джона, Боксера, старой лошади и повозки заиграл веселую музыку на дороге. Все это время Калеб стоял как во сне, глядя все с тем же растерянным выражением лица на свою слепую дочь.

— Берта! — мягко проговорил Калеб.— Что случилось? Как ты переменилась, милая, и — всего за несколько часов... с сегодняшнего утра. Ты была такой молчаливой и хмурой весь день! Что с тобой! Скажи!

— Ах, отец, отец! — воскликнула слепая девушка, заливаясь слезами.— Как жестока моя доля!

Прежде чем ей ответить, Калеб провел рукою по глазам.

— Но вспомни, какой бодрой и счастливой ты была раньше, Берта! Какая ты хорошая, и сколько людей крепко любят тебя!

— Это-то и огорчает меня до глубины сердца, милый отец! Все обо мне так заботятся! Всегда так добры ко мне!

Калеб никак не мог понять ее.

— Быть... быть слепой, Берта, милая моя бедняжка,— запинаясь, проговорил он,— большое несчастье, но...

— Я никогда не чувствовала, что это несчастье! — вскричала слепая девушка.— Никогда не чувствовала этого вполне. Никогда! Вот только мне иногда хотелось увидеть тебя, увидеть его — только раз, милый отец, на одну минуточку,— чтобы узнать, какие они, те, кто мне так дорог,— она положила руки на грудь,— и кто хранится здесь! Чтобы узнать их и увериться в том, что я правильно их себе представляю. По временам (но тогда я была еще ребенком) я читала молитвы ночью и плакала при мысли о том, что твой образ и его образ, когда они поднимаются из моего сердца к небесам, может быть, не похожи на вас обоих. Но это горе жило во мне недолго. Оно проходило, и я снова была спокойной и довольной.

— И опять пройдет,— сказал Калеб.

— Отец! О мой добрый, кроткий отец, будь ко мне снисходителен, если я недобрая! — воскликнула слепая девушка.— Не это горе так тяготит меня теперь!

Отец ее не мог сдержать слез; девушка говорила с такой искренностью и страстностью, но он все еще не понимал ее.

— Подведи ее ко мне,— сказала Берта.— Я не могу больше скрывать и таить это в себе. Подведи ее ко мне, отец!

Она догадалась, что он медлит, не понимая ее, и сказала:

— Мэй. Подведи Мэй!

Мэй услышала свое имя и, тихонько подойдя к Берте, дотронулась до ее плеча. Слепая девушка тотчас же повернулась и взяла ее за руки.

— Посмотри мне в лицо, милая моя, дорогая! — сказала Берта.— Прочти его, как книгу, своими прекрасными глазами. Скажи мне — ведь оно говорит только правду, да?

— Да, милая Берта.

Не опуская неподвижного, незрячего лица, по которому быстро текли слезы, слепая девушка обратилась к Мэй с такими словами:

— Всей душой своей, всеми своими мыслями я желаю тебе добра, милая Мэй! Из всех дорогих воспоминаний, какие сохранились в моей душе, ни одного нет дороже, чем память о тех многих-многих случаях, когда ты, зрячая, во всем блеске своей красоты, заботилась о слепой Берте, а это было еще в нашем детстве, если только слепая Берта могла когда-нибудь быть ребенком! Да благословит тебя небо! Да осветит счастье твой жизненный путь! Тем более, милая моя Мэй,— и Берта, придвинувшись к девушке, крепче прижалась к ней,— тем более, моя птичка, что сегодня весть о том, что ты будешь его женой, чуть не разбила мне сердце! Отец, Мэй, Мэри! О, простите меня ради всего, что он сделал, чтобы облегчить тоску моей темной жизни, и верьте мне — ведь бог свидетель, что я не могла бы пожелать ему жены, более достойной его!

Тут она выпустила руки Мэй Филдинг и ухватилась за ее платье движением, в котором мольба сочеталась с любовью. Во время своей исповеди она опускалась все ниже и, наконец, упала к ногам подруги и спрятала слепое лицо в складках ее платья.

— Силы небесные! — воскликнул отец, сраженный правдой, которую он теперь узнал.— Неужто я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы под конец разбить ей сердце!

Хорошо было для всех присутствующих, что Крошка, сияющая, услужливая, хлопотливая Крошка (ибо такой она и была при всех своих недостатках, хотя впоследствии вы, быть может, и возненавидите ее), хорошо было для всех присутствующих, говорю я, что Крошка находилась здесь, иначе трудно сказать, чем бы все это кончилось. Но Крошка, овладев собой, вмешалась в разговор, прежде чем Мэй успела ответить, а Калеб вымолвить хоть слово.

— Успокойся, милая Берта! Пойдем со мною! Возьми ее под руку, Мэй. Так! Видите, она уже успокоилась, и какая же она милая, что так заботится о нас,— говорила бодрая маленькая женщина, целуя Берту в лоб.— Пойдем, милая Берта. Пойдем! А добрый отец ее пойдет с нею: правда, Калеб? Ну, коне-ечно!

Да, в подобных случаях маленькая Крошка вела себя поистине благородно, и лишь закоренелые упрямцы могли бы ей противостоять. Заставив бедного Калеба и его Берту уйти в другую комнату, чтобы утешить и успокоить друг друга так, как на это были способны лишь они сами, она вскоре примчалась назад (по пословице, «свежая, как ромашка», но я скажу: еще свежее) и стала на страже около важной особы в чепце и перчатках, чтобы милая старушка ни о чем не догадалась.

— Принеси-ка мне нашего бесценного малыша, Тилли,— сказала Крошка, придвигая стул к очагу,— а пока он будет лежать у меня на коленях, миссис Филдинг расскажет мне, как лучше ухаживать за грудными младенцами, и объяснит всякие вещи, в которых я совершенно не разбираюсь. Не правда ли, миссис Филдинг?

Даже Уэльский великан, который, согласно народному выражению, был такой «простак», что проделал сам над собой роковую хирургическую операцию, подражая фокусу, исполненному во время завтрака его злейшим врагом *,— даже этот простодушный великан и тот не попался бы в расставленную ему западню с такой легкостью, как попалась наша старушка в этот хитроумный капкан. Дело в том, что Теклтон к тому времени куда-то вышел, а все остальные минуты две разговаривали, предоставив старушку самой себе, и этого было совершенно достаточно, чтобы она потом целые сутки предавалась размышлениям о своем достоинстве и оплакивала упомянутый таинствен-

ный кризис в торговле индиго. Однако столь подобающее уважение к ее опыту со стороны молодой матери было так неотразимо, что, слегка поскромничав, старушка начала самым любезным тоном просвещать собеседницу и, сидя прямо, как палка, против лукавой Крошки, за полчаса перечислила столько верных домашних средств и рецептов, что, если бы их применить, они могли бы прикончить и вконец уничтожить юного Пирибингла, даже будь он младенцем Самсоном.

Желая переменить тему разговора, Крошка занялась шитьем (она носила в кармане содержимое целой рабочей корзинки, но как ей это удавалось, я не знаю), потом понянчила ребенка, потом еще немного пошила, потом немного пошепталась с Мэй (в то время как почтенная старушка дремала) и, таким образом, занятая по своему обыкновению то тем, то другим, даже не заметила, как прошел день. А когда стемнело и пришла пора выполнить один важный пункт устава этих пирушек, а именно: взять на себя хозяйственные обязанности Берты, Крошка помешала огонь, вымела очаг, накрыла стол к чаю, опустила занавеску и зажгла свечу. Потом она сыграла одну-две песни на самодельной арфе, которую Калеб смастерил для Берты, и сыграла прекрасно, потому что природа так устроила ее нежные маленькие ушки, что они были в дружбе с музыкой, как подружились бы и с драгоценными серьгами, если бы подобные серьги у Крошки были. Тем временем пробил час, назначенный для чаепития, и Теклтон вернулся, намереваясь принять участие в трапезе и общей беседе.

Калеб с Бертой незадолго перед тем возвратились, и Калеб сел за вечернюю работу. Но бедняга не мог сосредоточиться на ней, так тревожился он за дочь и так терзался угрызениями совести. Жаль было смотреть, как он сидел, праздный, на своей рабочей скамейке, грустно глядя на Берту, а лицо его, казалось, говорило: «Неужто я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы под конец разбить ей сердце?»

Когда же наступил вечер и чаепитие кончилось, а Крошка уже успела перемыть все чашки и блюдца, короче говоря (я все-таки должен перейти к этому — откладывать бесполезно), когда подошло время возчику вер-

нуться, а всем — прислушиваться к любому отдаленному стуку колес, она снова переменилась: она то краснела, то бледнела и очень волновалась. Но не так, как волнуются примерные жены, прислушиваясь, не идут ли их мужья. Нет, нет и нет! Это было совсем другое волнение.

Стук колес. Топот копыт. Лай собаки. Звуки постепенно приближаются. Боксер царапает лапой дверь!

— Чьи это шаги? — вскрикнула Берта, вскочив с места.

— Чьи шаги? — отозвался возчик, стоя в дверях; загорелое лицо его было красно от резкого ночного ветра, словно ягода остролиста.— Мои, конечно!

— Другие шаги! — сказала Берта.— Шаги человека, что идет за вами!

— Ее не проведешь,— со смехом заметил возчик.— Входите, сэр. Вас примут радушно, не бойтесь!

Он говорил очень громко, и тут в комнату вошел глухой джентльмен.

— Вам он немножко знаком, Калеб, вы его один раз видели,— сказал возчик.— Вы, конечно, позволите ему передохнуть здесь, пока мы не тронемся в путь?

— Конечно, Джон, пожалуйста!

— Вот при ком совершенно безопасно говорить секреты,— сказал Джон.— У меня здоровые легкие, но можете мне поверить, трудненько им приходится, когда я с ним говорю. Садитесь, сэр! Все здесь — ваши друзья и рады видеть вас!

Сделав это заверение таким громким голосом, что не приходилось сомневаться в том, что легкие у него и впрямь здоровые, Джон добавил обычным тоном:

— Все, что ему нужно, это кресло у очага — будет себе сидеть и благодушно посматривать по сторонам. Ему угодить легко.

Берта напряженно прислушивалась к разговору. Когда Калеб подвинул гостю кресло, она подозвала отца к себе и тихо попросила описать наружность посетителя. Отец исполнил ее просьбу (на этот раз, не погрешив против истины — описание его было совершенно точным), и тогда она впервые после прихода незнакомца пошевельнулась, вздохнула и, по-видимому, перестала им интересоваться.

Добрый возчик был в прекрасном расположении духа и больше чем когда-либо влюблен в свою жену.

— Нынче Крошка была нерасторопная! — сказал он, становясь рядом с нею, поодаль от остальных, и обнимая ее здоровенной рукой.— И все-таки я почему-то люблю ее. Взгляни туда, Крошка!

Он показал пальцем на старика. Она опустила глаза. Мне кажется, она задрожала.

— Он — ха-ха-ха! — он в восторге от тебя! — сказал возчик.— Всю дорогу ни о чем другом не говорил. Ну, что ж, он славный старикан. За то он мне и нравится.

— Желала бы я, чтобы он подыскал себе лучший предмет для восхищения,— проговорила она, беспокойно оглядывая комнату, а Теклтона в особенности.

— Лучший предмет для восхищения! — жизнерадостно вскричал Джон.— Но такого не найдется. Ну, долой пальто, долой толстый шарф, долой всю теплую одежду,— и давайте уютно проведем полчасика у огонька! Я к вашим услугам, миссис. Не хотите ли сыграть со мной партию в криббедж? Вот и прекрасно! Крошка, карты и доску! * И стакан пива, женушка, если еще осталось.

Приглашение поиграть в карты относилось к почтенной старушке, которая приняла его весьма милостиво и с готовностью, и они вскоре занялись игрой. Вначале возчик то и дело с улыбкой оглядывался вокруг, а по временам, в затруднительных случаях, подзывал к себе Крошку, чтобы она заглянула ему через плечо в карты, и советовался с нею. Но его противница настаивала на строгой дисциплине в игре и вдобавок частенько поддавалась свойственной ей слабости — втыкать в доску больше шпеньков, чем ей полагалось, а все это требовало с его стороны такой бдительности, что он уже ничего другого не видел и не слышал. Таким образом, карты постепенно поглотили все внимание Джона, и он ни о чем другом не думал, как вдруг чья-то рука легла на его плечо, и, вернувшись к действительности, он увидел Теклтона.

— Простите за беспокойство... но прошу вас... на одно слово. Немедленно!

— Мне ходить,— ответил возчик.— Решительная минута!

— Это верно, что решительная,— сказал Теклтон.— Пойдемте-ка!



В лице его было нечто такое, что заставило возчика немедленно встать и поспешно спросить, в чем дело.

— Тише! — сказал Теклтон.— Джон Пирибингл, все это очень огорчает меня. Искренне огорчает. Я опасался этого. Я с самого начала подозревал это.

— Что такое? — спросил возчик испуганно.

— Тише! Пойдемте, и я вам покажу.

Возчик последовал за ним, не говоря ни слова. Они пересекли двор под сияющими звездами и через маленькую боковую дверь прошли в контору Теклтона, где было оконце, которое выходило в склад, запертый на ночь. В конторе было темно, но в длинном, узком складе горели лампы, и потому оконце было ярко освещено.

— Одну минуту! — проговорил Теклтон.— Вы можете заглянуть в это окно, как вы думаете?

— Почему же нет? — спросил Джон.

— Еще минутку! — сказал Теклтон.— Не применяйте насилия. Это бесполезно. И это опасно. Вы сильный человек и не успеете оглянуться, как совершите убийство.

Возчик взглянул ему в лицо и отпрянул назад, как будто его ударили. Одним прыжком он очутился у окна и увидел...

О тень, омрачившая домашний очаг! О правдивый сверчок! О вероломная жена!

Джон увидел ее рядом со стариком, но это был уже не старик — он держался прямо, молодцевато, и в руках у него был парик с седыми волосами, при помощи которого он проник в осиротевший теперь, несчастный дом. Джон увидел, что Крошка слушает незнакомца, а тот наклонил голову и шепчет ей что-то на ухо; и она позволила ему обнять ее за талию, когда они медленно направлялись по тускло освещенной деревянной галерее к двери, через которую вошли. Он увидел, как они остановились, увидел, как она повернулась (это лицо, которое он так любил, в какой страшный час довелось Джону смотреть на него!), увидел, как обманщица своими руками надела парик на голову спутника и при этом смеялась над доверчивым мужем!

В первый миг он сжал в кулак могучую правую руку, точно готовясь свалить с ног льва. Но сейчас же разжал ее и заслонил ладонью глаза Теклтону (ибо он все еще любил Крошку, даже теперь), а когда Крошка и незнакомец ушли, ослабел, как ребенок, и рухнул на конторский стол.

Закутанный до подбородка, он потом долго возился с лошадью и с посылками, и вот, наконец, Крошка, готовая к отъезду, вошла в комнату.

— Едем, милый Джон! Спокойной ночи, Мэй! Спокойной ночи, Берта.

Как могла она расцеловаться с ними? Как могла она быть радостной и веселой при прощании? Как могла смотреть им в лицо, не краснея? Оказывается, могла. Теклтон внимательно наблюдал за нею, и она все это проделала.

Тилли, укачивая малыша, раз десять прошла мимо Теклтона, повторяя сонным голосом:

— Значит, вести о том, что они будут их женами, чуть не разбили им сердце, и, значит, отцы обманывали их с колыбелей, чтобы под конец разбить им сердца!

— Ну, Тилли, давай мне малыша! Спокойной ночи, мистер Теклтон. А где Джон, куда же он запропастился?

— Он пойдет пешком, поведет лошадь под уздцы,— сказал Теклтон, подсаживая ее в повозку.

— Что ты выдумал, Джон? Идти пешком? Ночью?

Закутанный возчик торопливо кивнул, а коварный незнакомец и маленькая нянька уже уселись на свои места, и старая лошадка тронулась. Боксер, ни о чем не подозревающий Боксер, убегал вперед, отбегал назад, бегал вокруг повозки и лаял торжествующе и весело, как всегда.

Теклтон тоже ушел — провожать Мэй и ее мать, а бедный Калеб сел у огня рядом с дочерью, встревоженный до глубины души, полный раскаяния, и, грустно глядя на девушку, твердил про себя: «Неужто я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы под конец разбить ей сердце!»

Игрушки, которые были заведены ради забавы малыша, давно уже остановились, так как завод их кончился. В этой тишине, освещенные слабым светом, невозмутимо спокойные куклы, борзые кони-качалки с выпученными глазами и раздутыми ноздрями, пожилые джентльмены с подгибающимися коленями, стоящие скрючившись у подъездов, щелкунчики, строящие рожи, даже звери, попарно шествующие в ковчег, точно пансионерки на прогулке,— все они как будто оцепенели от изумления: неужели могло так случиться, что Крошка оказалась неверной, а Теклтон любимым!

## ПЕСЕНКА ТРЕТЬЯ

Голландские часы в углу пробили десять, а возчик все еще сидел у очага. Он был так потрясен и подавлен горем, что, должно быть, напугал кукушку, и та, поспешив прокуковать свои десять мелодичных возгласов, снова скрылась

в мавританском дворце и захлопнула за собою дверцу, словно не выдержав этого неприятного зрелища.

Если бы маленький косец вооружился острейшей из кос и с каждым ударом часов пронзал ею сердце возчика, он и то не мог бы нанести ему такие глубокие раны, какие нанесла Крошка.

Это сердце было так полно любви к ней, так связано с нею бесчисленными нитями чудесных воспоминаний, сплетавшихся день за днем из повседневных и разнообразных проявлений ее нежности; в это сердце она внедрилась так мягко и крепко; это сердце было так цельно, так искренне в своей верности, в нем таилась такая сила добра и неспособность ко злу, что вначале оно не могло питать ни гнева, ни мести, а могло лишь вмещать образ своего разбитого кумира.

Но медленно, очень медленно, в то время как возчик сидел, задумавшись, у своего очага, теперь холодного и потухшего, другие, гневные мысли начали подниматься в нем, подобно тому как резкий ветер поднимается к ночи. Незнакомец сейчас находится под его опозоренным кровом. Три шага — и Джон очутится у двери в его комнату. Один удар выбьет ее. «Вы не успеете оглянуться, как совершите убийство»,— сказал Теклтон. Но какое же это убийство, если он даст возможность подлому негодяю схватиться с ним врукопашную? Ведь тот моложе.

Не вовремя пришла ему на ум эта мысль, нехороша она была для него. Злая эта была мысль, и она влекла его к мести, а месть способна была превратить его уютный дом в обитель привидений, мимо которой одинокие путники будут бояться идти ночью и где при свете затуманенной луны робкие люди увидят в разбитых окнах тени дерущихся и в бурю услышат дикие крики.

Тот моложе! Да, да! Тот любит ее и завоевал сердце, которое он, ее муж, не смог разбудить. Тот любит ее, и она избрала его еще в юности, она думала и мечтала о нем, она тосковала по нем, когда муж считал ее такой счастливой. Какая мука узнать об этом!

В это время она была наверху и укладывала спать малыша. Потом спустилась вниз и, видя, что Джон сидит, задумавшись, у очага, близко подошла к нему, и — хотя он не услышал ее шагов, ибо душевные терзания сделали

его глухим ко всем звукам,— придвинула свою скамеечку к его ногам. Он увидел ее только тогда, когда она коснулась его руки и заглянула ему в лицо.

Удивленно? Нет. Так ему показалось сначала, и он снова взглянул на нее, чтобы убедиться в этом. Нет, не удивленно. Внимательно, заботливо, но не удивленно. Потом лицо ее стало тревожным и серьезным, потом снова изменилось, и на нем заиграла странная, дикая, страшная улыбка — Крошка угадала его мысли, стиснула руками лоб, опустила голову, и Джон уже ничего не видел, кроме ее распустившихся волос.

Будь он в этот миг всемогущим, он все равно пальцем не тронул бы ее, так живо в нем было возвышенное чувство милосердия. Но он не в силах был видеть, как она сжалась на скамеечке у его ног, там, где так часто сидела невинная и веселая, а он смотрел на нее с любовью и гордостью; и когда она встала и, всхлипывая, ушла, ему стало легче оттого, что место рядом с ним опустело и не нужно больше выносить ее присутствия, некогда столь желанного. Уже одно это было жесточайшей мукой, напоминавшей ему о том, каким несчастным он стал теперь, когда порвались крепчайшие узы его жизни.

Чем сильнее он это чувствовал, тем лучше понимал, что предпочел бы видеть ее умершей с мертвым ребенком на груди, и тем больше возрастал его гнев на врага. Он огляделся по сторонам, ища оружия.

На стене висело ружье. Он снял его и сделал два-три шага к двери в комнату вероломного незнакомца. Он знал, что ружье заряжено. Смутная мысль о том, что справедливо было бы убить этого человека как дикого зверя, зародилась в его душе, разрослась и превратилась в чудовищного демона, который овладел ею целиком и неограниченно воцарился в ней, изгнав оттуда все добрые мысли.

Впрочем, это сказано неточно. Демон не изгнал добрых мыслей, но хитроумно преобразил их. Превратил их в бичи, которые гнали Джона вперед. Обратил воду в кровь, любовь в ненависть, кротость в слепую ярость. Ее образ, печальный, смиренный, но все еще с неодолимой силой взывающий к нежности и милосердию, не покидал Джона, но именно он повлек его к двери и, заставив вски-

нуть ружье на плечо и приложить палец к курку, крикнул в нем: «Убей его! Пока он спит!»

Джон повернул ружье, чтобы стукнуть в дверь прикладом; вот он уже поднял его; вот проснулось в нем смутное желание крикнуть тому человеку, чтобы он, ради всего святого, спасся бегством в окно...

Но вдруг тлеющие угли вспыхнули, залили весь очаг ярким светом, и застрекотал сверчок!

Ни один звук, ни один человеческий голос — даже ее голос — не мог бы так тронуть и смягчить Джона. Он ясно услышал безыскусственные слова, которыми она некогда выражала свою привязанность к этому сверчку; ее взволнованное, правдивое лицо, каким оно было тогда, снова предстало перед его глазами; ее милый голос — ах, что это был за голос! какой уютной музыкой он звучал у домашнего очага честного человека! — ее милый голос все звенел и звенел, пробуждая лучшие его чувства.

Он отшатнулся от двери, как лунатик, разбуженный во время страшного сновидения, и отложил ружье в сторону. Закрыв лицо руками, он снова сел у огня, и слезы принесли ему облегчение.

Но вот сверчок вышел из-за очага и предстал перед Джоном в образе сказочного призрака.

— «Я люблю его,— послышался голос этого призрака, повторявший слова, памятные Джону,— люблю за то, что слушала его столько раз, и за все те мысли, что посещали меня под его безобидную песенку».

— Да, так она сказала! — воскликнул возчик.— Это правда!

— «Наш дом — счастливый дом, Джон, и потому я так люблю сверчка!»

— Поистине он был счастливым,— ответил возчик,— она всегда приносила счастье этому дому... до сих пор.

— Такая кроткая, такая хлопотунья, жизнерадостная, прилежная и веселая! — прозвучал голос.

— Иначе я не мог бы любить ее так, как любил,— отозвался возчик.

Голос поправил его:

— Как люблю.

Возчик повторил:

— Как любил.



Но уже неуверенно. Язык не слушался его и говорил по-своему, за себя и за него.

Призрак поднял руку, словно заклиная его, и сказал:

— Ради твоего домашнего очага...

— Очага, который она погасила,— перебил его возчик.

— Очага, который она — так часто! — освещала и украшала своим присутствием,— сказал сверчок,— очага, который без нее был бы просто грудой камней, кирпича и заржавленного железа, но который благодаря ей стал алтарем твоего дома; а на этом алтаре ты каждый вечер предавал закланию какую-нибудь мелкую страсть, себялюбивое чувство или заботу и приносил в дар душевное спокойствие, доверие и сердце, переполненное любовью, так что дым этого бедного очага поднимался к небу, благоухая сладостней, чем самые драгоценные ароматы, сжигаемые на самых драгоценных жертвенниках во всех великолепных храмах мира!.. Ради твоего домашнего очага, в этом

тихом святилище, овеянный нежными воспоминаниями, услышь ее! Услышь меня! Услышь все, что говорит на языке твоего очага и дома!

— И защищает ее? — спросил возчик.

— Все, что говорит на языке твоего очага и дома, не может не защищать ее! — ответил сверчок.— Ибо все это говорит правду.

И пока возчик по-прежнему сидел в раздумье, подперев голову руками, призрак сверчка стоял рядом с ним, могуществом своим внушая ему свои мысли и показывая их ему, как в зеркале или на картине. Он был не один, этот призрак. Из кирпичей очага, из дымохода, из часов, трубки, чайника и колыбели; с пола, со стен, с потолка и лестницы; из повозки во дворе, из буфета в доме и всей хозяйственной утвари; из каждой вещи и каждого места, с которыми она соприкасалась и которые вызывали в душе ее несчастного мужа хоть одно воспоминание о ней,— отовсюду толпой появлялись феи. И они не только стояли рядом с Джоном, как сверчок,— они трудились не покладая рук. Они воздавали всяческий почет ее образу. Они хватали Джона за полы и заставляли смотреть туда, где возникал образ Крошки. Они теснились вокруг нее, и обнимали ее, и бросали цветы ей под ноги. Своими крохотными ручонками они пытались возложить венец на ее прекрасную головку. Они всячески выражали свою любовь и привязанность к ней; они говорили без слов, что нет на свете ни одного безобразного, злого или осуждающего существа, которое знало бы этот образ, ибо знают его только они, шаловливые феи, и восхищаются им.

Мысли Джона были верны ее образу. Она всегда жила в его душе.

Вот она села с иголкой перед огнем и напевает про себя. Такая веселая, прилежная, стойкая маленькая Крошка! Феи тотчас же кинулись к Джону, будто сговорившись, и все как одна впились в него глазами, словно спрашивая: «Неужели это та легкомысленная жена, которую ты оплакиваешь?»

Снаружи послышалась веселая музыка, громкие голоса и смех. Толпа молодежи ворвалась в дом; тут были Мэй Филдинг и множество хорошеньких девушек. Крошка была красивей всех и такая же молоденькая, как любая

из них. Они пришли, чтобы позвать ее с собой. Они собирались на танцы. А чьи ножки, как не ее, были рождены именно для танцев? Но Крошка засмеялась, покачала головой и с таким ликующим вызовом показала на свою стряпню, варившуюся на огне, и на стол, накрытый к обеду, что стала еще милее прежнего. И вот она весело распрощалась с ними, кивая своим незадачливым кавалерам, одному за другим, по мере того как они уходили, но кивая с таким шутливым равнодушием, что одного этого было бы довольно, чтобы они немедленно пошли топиться, если только они были влюблены в нее; а так оно, наверное, и было в той или иной степени,— ведь никто не мог устоять против нее. Однако равнодушие было не в ее характере. О нет! Вскоре к дверям подошел некий возчик, и — милая! — с какой же радостью она его встретила!

И опять все феи разом кинулись к Джону и, пристально глядя на него, как будто спросили: «Неужели это жена, которая тебя покинула?»

Тень упала на зеркало или картину — называйте это как хотите. Огромная тень незнакомца в том виде, в каком он впервые стоял под их кровом, и она закрыла поверхность этого зеркала или картины, затмив все остальное. Но шустрые феи, усердные, как пчелки, так старались, что стерли эту тень, и поверхность снова стала чистой. И Крошка появилась опять, все такая же ясная и красивая.

Она качала в колыбели своего малыша и тихо пела ему, положив головку на плечо двойника того задумавшегося человека, близ которого стоял волшебный сверчок.

Ночь — я хочу сказать, настоящая ночь, не та, что протекала по часам фей,— теперь кончалась, и когда возчик мысленно увидел жену у колыбели ребенка, луна вырвалась из-за облаков и ярко засияла в небе. Быть может, какой-то тихий, мягкий свет засиял и в душе Джона: теперь он уже более спокойно мог думать о том, что произошло.

Тень незнакомца по временам падала на зеркало — огромная и отчетливая,— но она была уже не такой темной, как раньше. Всякий раз, как она возникала, феи из-

давали горестный стон и, с непостижимой быстротой двигая ручками и ножками, соскребали ее прочь. А всякий раз, как они добирались до Крошки и снова показывали ее Джону, ясную и красивую, они громко ликовали.

Они всегда показывали ее красивой и ясной, потому что они были духами семейного очага, которых всякая ложь убивает, и раз они могли знать только правду, то чем же была для них Крошка, как не тем деятельным, сияющим, милым маленьким созданием, которое было светом и солнцем в доме возчика?!

Феи пришли в необычайное волнение, когда показали, как она с малышом на руках болтает в кучке благоразумных старух матерей, делая вид, будто сама она необычайно почтенная и семейственная женщина, и как она, степенно, сдержанно, по-старушечьи опираясь на руку мужа, старается (она, такой еще не распустившийся цветок!) убедить их, что она отреклась от всех мирских радостей, а быть матерью для нее не ново; но в то же мгновение феи показали, как она смеется над возчиком за то, что он такой неловкий, как поправляет воротник его рубашки, чтобы придать мужу нарядный вид, и весело порхает по этой самой комнате, уча его танцевать!

Но когда феи показали ему Крошку вместе со слепой девушкой, они повернулись и уставились на него во все глаза,— ибо если Крошка вносила бодрость и оживление всюду, где ни появлялась, то в доме Калеба Пламмера эти ее качества, можно сказать, вырастали в целую гору и переливались через край. Любовь слепой девушки к Крошке, ее вера в подругу, ее признательность; милое старание Крошки уклониться от выражений благодарности; искусные уловки, с помощью которых она заполняла каждую минуту своего пребывания у Берты каким-нибудь полезным занятием по хозяйству, и трудилась изо всех сил, делая вид, будто отдыхает; ее щедрые запасы неизменных лакомств в виде паштета из телятины с ветчиной и пива в бутылках; ее сияющее личико, когда, дойдя до двери, она оглядывалась, чтобы бросить на друзей последний прощальный взгляд; ее удивительное уменье казаться неотъемлемой принадлежностью мастерской игрушек, так что вся она, начиная с аккуратной ножки и до самой маковки, представлялась здесь чем-то необходимым, без чего

нельзя обойтись,— все это приводило фей в восторг и внушало им любовь к Крошке. А один раз они все вместе с мольбой взглянули на возчика и, в то время как некоторые из них прятались в платье Крошки и ласкали ее, как будто проговорили: «Неужели это жена, обманувшая твое доверие?»

Не раз, не два и не три за время этой долгой ночи, проведенной Джоном в размышлениях, феи показывали ему, как Крошка сидит на своей любимой скамеечке, поникнув головой, сжав руками лоб, окутанная распустившимися волосами. Такою он видел ее в последний раз. А когда они заметили, как она печальна, они даже не повернулись, чтобы взглянуть на возчика, а столпившись вокруг нее, утешали ее, целовали и торопились выразить ей свое сочувствие и любовь, а о нем позабыли окончательно.

Так прошла ночь. Луна закатилась; звезды побледнели; настал холодный рассвет; взошло солнце. Возчик все еще сидел, задумавшись, у очага. Он просидел здесь, опустив голову на руки, всю ночь. И всю ночь верный сверчок стрекотал за очагом. Всю ночь Джон прислушивался к его голоску. Всю ночь домашние феи хлопотали вокруг него. Всю ночь она, Крошка, нежная и непорочная, являлась в зеркале, кроме тех мгновений, когда на него падала некая тень.

Джон встал, когда уже совсем рассвело, умылся и оделся. Сегодня он не мог бы спокойно заниматься своей обычной работой — у него на это не хватило бы духу,— но это не имело значения, потому что сегодня был день свадьбы Теклтона, и возчик заранее нашел себе заместителя. Он собирался пойти вместе с Крошкой в церковь на венчание. Но теперь об этом не могло быть и речи. Сегодня исполнилась годовщина их свадьбы. Не думал он, что такой год может так кончиться!

Возчик ожидал, что Теклтон заявится к нему спозаранку, и не ошибся. Он всего лишь несколько минут ходил взад и вперед мимо дверей своего дома, как вдруг увидел, что фабрикант игрушек едет по дороге в карете. Когда карета подъехала, Джон заметил, что Теклтон принарядился к свадьбе и украсил голову своей лошади цветами и бантами.

Конь больше смахивал на жениха, чем сам Теклтон, чей полузакрытый глаз казался еще более неприятно выразительным, чем когда-либо. Но возчик не обратил на это особого внимания. Мысли его были заняты другим.

— Джон Пирибингл! — сказал Теклтон с соболезнующим видом.— Как вы себя чувствуете сегодня утром, друг мой?

— Я плохо провел ночь, мистер Теклтон,— ответил возчик, качая головой,— потому что в мыслях у меня расстройство. Но теперь это прошло! Можете вы уделить мне с полчаса, чтобы нам поговорить наедине?

— Для этого я и приехал,— сказал Теклтон, вылезая из экипажа.— Не беспокойтесь о лошади. Обмотайте вожжи вокруг столба, дайте ей клочок сена, и она будет стоять спокойно.

Возчик принес сена из конюшни, бросил его лошади и вместе с Теклтоном направился к дому.

— Вы венчаетесь не раньше полудня,— проговорил возчик,— так, кажется?

— Да,— ответил Теклтон.— Времени хватит. Времени хватит.

Они вошли в кухню и увидели, что Тилли Слоубой стучит в дверь незнакомца, до которой было лишь несколько шагов. Один ее очень красный глаз (Тилли плакала всю ночь напролет, потому что плакала ее хозяйка) приник к замочной скважине, а сама она стучала изо всех сил, и вид у нее был испуганный.

— Позвольте вам доложить, никто не отвечает,— сказала Тилли, оглядываясь кругом.— Только бы никто не взял да не помер, позвольте вам доложить!

Мисс Слоубой подчеркнула это человеколюбивое пожелание новыми разнообразными стуками и пинками в дверь, но они ни к чему не привели.

— Может быть, мне войти? — сказал Теклтон.— Тут что-то странное.

Возчик, отвернувшись от двери, сделал ему знак, чтобы он вошел, если хочет.

Итак, Теклтон пришел на помощь Тилли Слоубой. Он тоже принялся стучать и колотить ногой в дверь и тоже не добился никакого ответа. Но он догадался повернуть

ручку двери и, когда дверь легко открылась, просунул голову в комнату, оглядел ее, вошел и тотчас выбежал вон.

— Джон Пирибингл,— шепнул Теклтон на ухо возчику,— надеюсь, ночью не произошло ничего... никаких безрассудств?

Возчик быстро обернулся к нему.

— Дело в том, что его нет,— сказал Теклтон,— а окно открыто! Правда, я не заметил никаких следов... но окно почти на одном уровне с садом... и я побаиваюсь, не было ли здесь драки. А?

Он почти совсем зажмурил свой выразительный глаз и очень сурово смотрел на возчика. И глаз его, и лицо, и все тело резко перекосились. Казалось, он хотел вывинтить правду из собеседника.

— Успокойтесь,— сказал возчик.— Вчера вечером он вошел в эту комнату, не обиженный мною ни словом, ни делом, и с тех пор никто в нее не входил. Он ушел по доброй воле. Я с радостью убежал бы отсюда и всю жизнь ходил бы из дома в дом, прося милостыни, если бы только мог изменить этим прошлое и сделать так, чтобы он никогда к нам не являлся. Но он пришел и ушел. А у меня с ним покончено навсегда.

— Вот как! Мне кажется, он отделался довольно легко,— сказал Теклтон, усаживаясь в кресло.

Возчик не заметил его насмешки. Он тоже сел и на минуту прикрыл лицо рукой, прежде чем заговорить.

— Вчера вечером,— проговорил он, наконец,— вы показали мне мою жену, жену, которую я люблю, когда она тайно...

— И с нежностью,— ввернул Теклтон.

— ...встретилась с этим человеком наедине и помогла ему изменить его наружность. Хуже этого зрелища для меня быть не могло. И уж кому-кому, а вам я ни за что на свете не позволил бы показывать все это мне, если бы знал, что увижу.

— Признаюсь, у меня всегда были подозрения,— сказал Теклтон,— потому-то меня здесь и недолюбливали.

— Но так как именно вы показали мне это,— продолжал возчик, не обращая на него внимания,— и так как вы видели ее, мою жену, жену, которую я люблю,— и голос,

и взгляд, и руки его стали тверже, когда он повторял эти слова, видимо исполняя какое-то обдуманное решение,— так как вы видели ее в такой порочащей обстановке, справедливо и нужно, чтобы вы взглянули на все это моими глазами и узнали, что делается у меня на сердце и какого я об этом мнения. Потому что я решился,— сказал возчик, пристально глядя на собеседника,— и теперь ничто не может изменить мое решение.

Теклтон пробормотал несколько общих одобрительных фраз насчет необходимости того или иного возмездия, однако вид собеседника внушал ему большой страх. Как ни прост, как ни грубоват был возчик, в наружности его было что-то достойное и благородное, а это бывает только в тех случаях, когда и душа человека возвышенная и честная.

— Я человек простой, неотесанный,— продолжал возчик,— и никаких заслуг не имею. Я человек не большого ума, как вам отлично известно. Я человек не молодой. Я люблю свою маленькую Крошку потому, что знал ее еще ребенком и видел, как она росла в родительском доме; люблю потому, что знаю, какая она хорошая; потому, что многие годы она была мне дороже жизни. Немало найдется мужчин, с которыми мне не сравниться, но я думаю, что никто из них не мог бы так любить мою маленькую Крошку, как люблю ее я!

Он умолк и некоторое время постукивал ногой по полу, потом продолжал:

— Я часто думал, что хоть я и недостаточно хорош для нее, но буду ей добрым мужем, потому что знаю ей цену, быть может, лучше других; так вот я сам себя уговорил и начал подумывать, что, пожалуй, нам можно будет пожениться. И, наконец, так и вышло, и мы действительно поженились!

— Ха! — произнес Теклтон, многозначительно качнув головой.

— В себе самом я разбирался; я знал, что во мне происходит, знал, как крепко я ее люблю и как счастлив я буду с нею,— продолжал возчик,— но я недостаточно,— и теперь я это понимаю,— недостаточно думал о ней.

— Ну, конечно! — сказал Теклтон.— Взбалмошность, легкомыслие, непостоянство, страсть вызывать всеобщее

восхищение! Не подумали! Вы все это упустили из виду! Ха!

— Не перебивайте, пока вы меня не поймете,— довольно сурово проговорил возчик,— а вам до этого еще далеко. Если вчера я одним ударом свалил бы с ног человека, посмевшего произнести хоть слово против нее, то сегодня я растоптал бы его, как червяка, будь он даже моим родным братом!

Фабрикант игрушек, пораженный, смотрел на него. Джон продолжал более мягким тоном.

— Подумал ли я о том,— говорил возчик,— что оторвал ее — такую молодую и красивую — от ее сверстниц и подруг, от общества, украшением которого она была, в котором она сияла, как самая яркая звездочка, и запер ее в своем унылом доме, где ей день за днем пришлось скучать со мной? Подумал ли я о том, как мало я подходил к ее веселости, бойкости и как тоскливо было женщине такого живого нрава жить с таким человеком, как я, вечно занятым своей работой? Подумал ли я о том, что моя любовь к ней вовсе не заслуга и не мое преимущество перед другими,— ведь всякий, кто ее знает, не может не любить ее? Ни разу не подумал! Я воспользовался тем, что она во всем умеет находить радость и ниоткуда не ждет плохого, и женился на ней. Лучше бы этого не случилось! Для нее, не для меня.

Фабрикант игрушек смотрел на него не мигая. Даже полузакрытый глаз его теперь открылся.

— Благослови ее небо,— сказал возчик,— за то, что она так весело, так усердно старалась, чтобы я не заметил всего этого! И да простит мне небо, что я, тугодум, сам не догадался об этом раньше. Бедное дитя! Бедная Крошка! И я не догадывался ни о чем, хотя видел в ее глазах слезы, когда при ней говорили о таких браках, как наш! Ведь я сотни раз видел, что тайна готова сорваться с ее дрожащих губ, но до вчерашнего вечера ни о чем не подозревал! Бедная девочка! И я мог надеяться, что она полюбит меня! Я мог поверить, что она любит!

— Она выставляла напоказ свою любовь к вам,— сказал Теклтон.— Она так подчеркивала ее, что, сказать правду, это-то и начало возбуждать во мне подозрение.

И тут он заговорил о превосходстве Мэй Филдинг, которая, уж конечно, никогда не выставляла напоказ своей любви к нему, Теклтону.

— Она старалась,— продолжал бедный возчик, волнуясь больше прежнего,— я только теперь начинаю понимать, как усердно она старалась быть мне послушной и доброй женой, какой хорошей она была, как много она сделала, какое у нее мужественное и сильное сердце, и пусть об этом свидетельствует счастье, которое я испытал в этом доме! Это будет меня хоть как-то утешать и поддерживать, когда я останусь здесь один.

— Один? — сказал Теклтон.— Вот как! Значит, вы хотите что-то предпринять в связи с этим?

— Я хочу,— ответил возчик,— отнестись к ней с величайшей добротой и по мере сил загладить свою вину перед нею. Я могу избавить ее от каждодневных мучений неравного брака и стараний скрыть эти мучения. Она будет свободна — настолько, насколько я могу освободить ее.

— Загладить вину... перед ней! — воскликнул Теклтон, крутя и дергая свои огромные уши.— Тут что-то не так. Вы, конечно, не то хотели сказать.

Возчик схватил фабриканта игрушек за воротник и потряс его, как тростинку.

— Слушайте! — сказал он.— И постарайтесь правильно услышать. Слушайте меня. Понятно я говорю?

— Да уж куда понятнее,— ответил Теклтон.

— И говорю именно то, что хочу сказать?

— Да уж, видать, то самое.

— Я всю ночь сидел здесь у очага... всю ночь! — воскликнул возчик.— На том самом месте, где она часто сидела рядом со мной, обратив ко мне свое милое личико. Я вспомнил всю ее жизнь, день за днем. Я представил себе мысленно ее милый образ во все часы этой жизни. И, клянусь душой, она невинна,— если только есть на свете Высший суд, чтобы отличить невинного от виновного!

Верный сверчок за очагом! Преданные домашние феи!

— Гнев и недоверие покинули меня,— продолжал возчик,— и осталось только мое горе. В недобрый час какой-то прежний поклонник, который был ей больше по душе

и по годам, чем я, какой-то человек, которому она отказала из-за меня, возможно, против своей воли, теперь вернулся. В недобрый час она была застигнута врасплох, не успела подумать о том, что делает, и, став его сообщницей, скрыла его обман от всех. Вчера вечером она встретилась с ним, пришла на свидание, и мы с вами это видели. Она поступила нехорошо. Но во всем остальном она невинна, если только есть правда на земле!

— Если вы такого мнения...— начал Теклтон.

— Значит, пусть она уйдет! — продолжал возчик.— Пусть уйдет и унесет с собой мои благословения за те многие счастливые часы, которые подарила мне, и мое прощение за ту муку, которую она мне причинила. Пусть уйдет и вновь обретет тот душевный покой, которого я ей желаю! Меня она не возненавидит! Она будет лучше ценить меня, когда я перестану быть ей помехой и когда цепь, которой я опутал ее, перестанет ее тяготить. Сегодня годовщина того дня, когда я увез ее из родного дома, так мало думая о ее благе. Сегодня она вернется домой, и я больше не буду ее тревожить. Родители ее нынче приедут сюда — мы собирались провести этот день вместе,— и они отвезут ее домой. Там ли она будет жить или где-нибудь еще, все равно я в ней уверен. Она покинет меня беспорочной и такой, конечно, проживет всю жизнь. Если же я умру — а я, возможно, умру, когда она будет еще молодая, потому что за эти несколько часов я пал духом,— она узнает, что я вспоминал и любил ее до своего смертного часа! Вот к чему приведет то, что вы показали мне. Теперь с этим покончено!

— О нет, Джон, не покончено! Не говори, что покончено! Еще не совсем. Я слышала твои благородные слова. Я не могла уйти украдкой, притвориться, будто не узнала того, за что я тебе так глубоко благодарна. Не говори, что с этим покончено, пока часы не пробьют снова!

Она вошла в комнату вскоре после прихода Теклтона и все время стояла здесь. На Теклтона она не взглянула, но от мужа не отрывала глаз. Однако она держалась вдали от него, насколько возможно дальше, и хотя говорила со страстной искренностью, но даже в эту минуту не подошла к нему ближе. Как не похоже это было на нее, прежнюю!

— Никакая рука не смастерит таких часов, что могли бы снова пробить для меня час, ушедший в прошлое,— сказал возчик со слабой улыбкой,— но пусть будет так, дорогая, если ты этого хочешь. Часы пробьют скоро. А что я говорю, это неважно. Для тебя я готов и на более трудное дело.

— Так! — буркнул Теклтон.— Ну, а мне придется уйти, потому что, когда часы начнут бить, мне пора будет ехать в церковь. Всего доброго, Джон Пирибингл. Скорблю о том, что лишаюсь удовольствия видеть вас у себя. Скорблю об этой утрате и о том, чем она вызвана!

— Я говорил понятно? — спросил возчик, провожая его до дверей!

— Вполне!

— И вы запомните то, что я вам сказал?

— Ну, если вы принуждаете меня высказаться,— проговорил Теклтон, сперва, осторожности ради, забравшись в свой экипаж,— признаюсь, что все это было очень неожиданно, и я вряд ли это позабуду.

— Тем лучше для нас обоих,— сказал возчик.— Прощайте. Желаю вам счастья!

— Хотел бы и я пожелать того же самого вам,— отозвался Теклтон,— но не могу. Поэтому ограничусь тем, что только поблагодарю вас. Между нами (я, кажется, уже говорил вам об этом?), я не думаю, чтобы мой брак был менее счастливым, оттого, что Мэй до свадьбы не слишком мне льстила и не выставляла напоказ своих чувств. Прощайте! Подумайте о себе!

Возчик стоял и смотрел ему вслед, пока Теклтон не отъехал так далеко, что стал казаться совсем ничтожным — меньше цветов и бантов на своей лошади, а тогда Джон глубоко вздохнул и принялся ходить взад и вперед под ближними вязами, словно не находя себе места: ему не хотелось возвращаться в дом до тех пор, пока часы не начнут бить.

Маленькая жена его, оставшись одна, горько плакала; но по временам удерживалась от слез и, вытирая глаза, восклицала — какой у нее добрый, какой хороший муж! А раз или два она даже рассмеялась, да так радостно, торжествующе и непоследовательно (ведь плакала она не переставая), что Тилли пришла в ужас.

— О-у, пожалуйста, перестаньте! — хныкала Тилли.— И так уж хватает всего — впору уморить и похоронить младенчика, позвольте вам доложить!

— Ты будешь иногда приносить его сюда к отцу, Тилли, когда я уже не смогу больше оставаться здесь и перееду к родителям? — спросила ее хозяйка, вытирая глаза.

— О-у, пожалуйста, перестаньте! — вскричала Тилли, откидывая назад голову и испуская громкий вопль; в этот миг она была необыкновенно похожа на Боксера.— О-у, пожалуйста, не надо! О-у, что это со всеми сделалось и что все сделали со всеми, отчего все сделались такими несчастными! О-у-у-у!

Тут мягкосердечная Слоубой разразилась жестоким воплем, особенно громогласным, потому что она так долго сдерживалась; и она непременно разбудила бы малыша и напугала бы его так, что с ним, наверное, случилось бы серьезное недомогание (скорей всего, родимчик), если бы не увидела вдруг Калеба Пламмера, который входил в комнату под руку с дочерью. Это напомнило Тилли о том, что надо вести себя прилично, и она несколько мгновений стояла как вкопанная, широко разинув рот и не издавая ни звука, а потом, ринувшись к кроватке, на которой спал малыш, принялась отплясывать какой-то дикий танец, вроде пляски святого Витта, одновременно тыкаясь лицом и головой в постель и, по-видимому, получая большое облегчение от этих необыкновенных движений.

— Мэри! — проговорила Берта.— Ты не на свадьбе?

— Я говорил ей, что вас там не будет, сударыня,— прошептал Калеб.— Я кое-что слышал вчера вечером. Но, дорогая моя,— продолжал маленький человек, с нежностью беря ее за обе руки,— мне все равно, что они говорят. Я им не верю. Я недорого стою, но скорее дал бы разорвать себя на куски, чем поверил бы хоть одному слову против вас!

Он обнял ее и прижал к себе, как ребенок прижимает куклу.

— Берта не могла усидеть дома нынче утром,— сказал Калеб.— Я знаю, она боялась услышать колокольный звон и, не доверяя себе, не хотела оставаться так близко от них в день их свадьбы. Поэтому мы встали рано и пошли к вам.

Я думал о том, что я натворил,— продолжал Калеб после короткой паузы,— и ругательски ругал себя за то, что причинил ей такое горе, а теперь прямо не знаю, как быть и что делать. И я решил, что лучше мне сказать ей всю правду, только вы, сударыня, побудьте уж в это время со мною. Побудете? — спросил он, весь дрожа.— Не знаю, как это на нее подействует; не знаю, что она обо мне подумает; не знаю, станет ли она после этого любить своего бедного отца. Но для нее будет лучше, если она узнает правду, а я, что ж, я получу по заслугам!

— Мэри,— промолвила Берта,— где твоя рука? Ах, вот она, вот она! — Девушка с улыбкой прижала к губам руку Крошки и прилегла к ее плечу.— Вчера вечером я слышала, как они тихонько говорили между собой и за что-то осуждали тебя. Они были неправы.

Жена возчика молчала. За нее ответил Калеб.

— Они были неправы,— сказал он.

— Я это знала! — торжествующе воскликнула Берта.— Так я им и сказала. Я и слышать об этом не хотела. Как можно осуждать ее! — Берта сжала руки Крошки и коснулась нежной щекой ее лица.— Нет! Я не настолько слепа.

Отец подошел к ней, а Крошка, держа ее за руку, стояла с другой стороны.

— Я всех вас знаю,— сказала Берта,— и лучше, чем вы думаете. Но никого не знаю так хорошо, как ее. Даже тебя, отец. Из всех моих близких нет ни одного и вполовину такого верного и честного человека, как она. Если бы я сейчас прозрела, я нашла бы тебя в целой толпе, хотя бы ты не промолвила ни слова! Сестра моя!

— Берта, дорогая! — сказал Калеб.— У меня кое-что лежит на душе, и я хотел бы тебе об этом сказать, пока мы здесь одни. Выслушай меня, пожалуйста! Мне нужно признаться тебе кое в чем, милая.

— Признаться, отец?

— Я обманул тебя и сам совсем запутался, дитя мое,— сказал Калеб, и расстроенное лицо его приняло покаянное выражение.— Я погрешил против истины, жалея тебя, и поступил жестоко.

Она повернула к нему изумленное лицо и повторила:

— Жестоко?

— Он осуждает себя слишком строго, Берта,— промолвила Крошка.— Ты сейчас сама это скажешь. Ты первая скажешь ему это.

— Он... был жесток ко мне! — воскликнула Берта с недоверчивой улыбкой.

— Невольно, дитя мое! — сказал Калеб.— Но я был жесток, хотя сам не подозревал об этом до вчерашнего дня. Милая моя слепая дочка, выслушай и прости меня! Мир, в котором ты живешь, сердце мое, не такой, каким я его описывал. Глаза, которым ты доверялась, обманули тебя.

По-прежнему обратив к нему изумленное лицо, девушка отступила назад и крепче прижалась к подруге.

— Жизнь у тебя трудная, бедняжка,— продолжал Калеб.— а мне хотелось облегчить ее. Когда я рассказывал себе о разных предметах и характере людей, я описывал их неправильно, я изменял их и часто выдумывал то, чего на самом деле не было, чтобы ты была счастлива. Я многое скрывал от тебя, я часто обманывал тебя — да простит мне бог! — и окружал тебя выдумками.

— Но живые люди не выдумки! — торопливо проговорила она, бледнея и еще дальше отступая от него.— Ты не можешь их изменить.

— Я это делал, Берта,— покаянным голосом промолвил Калеб.— Есть один человек, которого ты знаешь, милочка моя...

— Ах, отец! Зачем ты говоришь, что я знаю? — ответила она с горьким упреком.— Кого и что я знаю! — Ведь у меня нет поводыря! Я слепа и так несчастна!

В тревоге она протянула вперед руки, как бы нащупывая себе путь, потом в отчаянии и тоске закрыла ими лицо.

— Сегодня свадьба,— сказал Калеб,— и жених — суровый, корыстный, придирчивый человек. Он много лет был жестоким хозяином для нас с тобой, дорогая моя. Он урод — и душой и телом. Он всегда холоден и равнодушен к другим. Он совсем не такой, каким я изображал его тебе, дитя мое. Ни в чем не похож!

— О, зачем,— вскричала слепая девушка, которая, как видно, невыразимо страдала,— зачем ты это сделал? Зачем ты переполнил мое сердце любовью, а теперь приходишь и, словно сама смерть, отнимаешь у меня того, кого

я люблю? О небо, как я слепа! Как беспомощна и одинока!

Удрученный отец опустил голову, и одно лишь горе и раскаяние были его ответом.

Берта страстно предавалась своей скорби; как вдруг сверчок начал стрекотать за очагом, и услышала его она одна. Он стрекотал не весело, а как-то слабо, едва слышно, грустно. И звуки эти были так печальны, что слезы потекли из глаз Берты, а когда волшебный призрак сверчка, всю ночь стоявший рядом с возчиком, появился сзади нее и указал ей на отца, слезы ее полились ручьем.

Вскоре она яснее услышала голос сверчка и, несмотря на свою слепоту, почувствовала, что волшебный призрак стоит около ее отца.

— Мэри,— проговорила слепая девушка,— скажи мне, какой у нас дом? Какой он на самом деле?

— Это бедный дом, Берта, очень бедный и пустой. Он больше одной зимы не продержится — не сможет устоять против ветра и дождя. Он так же плохо защищен от непогоды, Берта,— продолжала Крошка тихим, но ясным голосом,— как твой бедный отец в своем холщовом пальто.

Слепая девушка, очень взволнованная, встала и отвела Крошку в сторону.

— А эти подарки, которыми я так дорожила, которые появлялись неожиданно, словно кто-то угадывал мои желания, и так меня радовали,— сказала она, вся дрожа,— от кого они были? Это ты их присылала?

— Нет.

— Кто же?

Крошка поняла, что Берта сама догадалась, и промолчала. Слепая девушка снова закрыла руками лицо, но совсем не так, как в первый раз.

— Милая Мэри, на минутку, на одну минутку! Отойдем еще чуть подальше. Вот сюда. Говори тише. Ты правдива, я знаю. Ты не станешь теперь обманывать меня, нет?

— Нет, конечно, Берта.

— Да, я уверена, что не станешь. Ты так жалеешь меня. Мэри, посмотри на то место, где мы только что стояли, где теперь стоит мой отец, мой отец, который так жалеет и любит меня, и скажи, что ты видишь.

— Я вижу старика,— сказала Крошка, которая отлично все понимала,— он сидит, согнувшись, в кресле, удрученный, опустив голову на руки,— как бы ожидая, что дочь утешит его.

— Да, да. Она утешит его. Продолжай.

— Он старик, он одряхлел от забот и работы. Это худой, истощенный, озабоченный седой старик. Я вижу — сейчас он унылый и подавленный, он сдался, он больше не борется. Но, Берта, раньше я много раз видела, как упорно он боролся, чтобы достигнуть одной заветной цели. И я чту его седины и благословляю его.

Слепая девушка отвернулась и, бросившись на колени перед отцом, прижала к груди его седую голову.

— Я прозрела! Прозрела! — вскричала она.— Долго я была слепой, теперь глаза у меня открылись. Я никогда не знала его! Подумать только, ведь я могла бы умереть, не зная своего отца, а он так любит меня!

Волнение мешало Калебу говорить.

— Никакого красавца,— воскликнула слепая девушка, обнимая отца,— не могла бы я так горячо любить и лелеять, как тебя! Чем ты седее, чем дряхлее, тем дороже ты мне, отец! И пусть никто больше не говорит, что я слепая. Ни морщинки на его лице, ни волоса на его голове я не позабуду в своих благодарственных молитвах!

Калеб с трудом проговорил:

— Берта!

— И я в своей слепоте верила ему,— сказала девушка, лаская его со слезами глубокой любви,— и я считала, что он совсем другой! И, живя с ним, с тем, кто всегда так заботился обо мне, живя с ним бок о бок день за днем, я и не подозревала об этом!

— Веселый, щеголеватый отец в синем пальто,— промолвил бедный Калеб,— он исчез, Берта!

— Ничто не исчезло! — возразила она.— Нет, дорогой отец! Все — здесь, в тебе. Отец, которого я так любила, отец, которого я любила недостаточно и никогда не знала, благодетель, которого я привыкла почитать и любить за участие его ко мне,— все они здесь, все слились в тебе. Ничто для меня не умерло. Душа того, что мне было дороже всего,— здесь, здесь, и у нее дряхлое лицо и седые волосы. А я уже *не* слепая, отец!

Все внимание Крошки было поглощено отцом и дочерью, но теперь, взглянув на маленького косца на мавританском лугу, она увидела, что через несколько минут часы начнут бить и тотчас же стала какой-то нервной и возбужденной.

— Отец,— нерешительно проговорила Берта,— Мэри...

— Да, моя милая,— ответил Калеб,— вот она.

— А *она* не изменилась? Ты никогда не говорил мне неправды о *ней*?

— Боюсь, что я сделал бы это, милая,— ответил Калеб,— если бы мог изобразить ее лучше, чем она есть. Но если я менял ее, то, наверно, лишь к худшему. Ничем ее нельзя украсить, Берта.

Слепая девушка задала этот вопрос, уверенная в ответе, а все-таки приятно было смотреть на ее восторг и торжество, когда она снова обняла Крошку.

— Однако, милая, могут произойти перемены, о которых ты и не думаешь,— сказала Крошка.— Я хочу сказать, перемены к лучшему, перемены, которые принесут много радости кое-кому из нас. И если это случится, ты не будешь слишком поражена и потрясена? Кажется, слышен стук колес на дороге? У тебя хороший слух, Берта. Это едут по дороге?

— Да. Кто-то едет очень быстро.

— Я... я... я знаю, что у тебя хороший слух,— сказала Крошка, прижимая руку к сердцу и говоря как можно быстрее, чтобы скрыть от всех, как оно трепещет,— я часто это замечала. А вчера вечером ты так быстро распознала чужие шаги! Но почему ты сказала,— я это очень хорошо помню, Берта,— почему ты сказала: «Чьи это шаги?», и почему ты обратила на них особое внимание — я не знаю. Впрочем, как я уже говорила, произошли большие перемены, и лучше тебе подготовиться ко всяким неожиданностям.

Калеб недоумевал, что все это значит, понимая, что Крошка обращается не только к его дочери, но и к нему. Он с удивлением увидел, как она заволновалась и забеспокоилась так, что у нее перехватило дыхание и даже схватилась за стул, чтобы не упасть.

— В самом деле, это стук колес! — задыхалась она.— Все ближе! Ближе, вот уже совсем близко! А теперь, слы-

шишь, остановились у садовой калитки! А теперь, слышишь — шаги за дверью, те же самые шаги, Берта, ведь правда? А теперь...

Она громко вскрикнула в неудержимой радости и, подбежав к Калебу, закрыла ему глаза руками, а в это время какой-то молодой человек ворвался в комнату и, подбросив в воздух свою шляпу, кинулся к ним.

— Все кончилось? — вскричала Крошка.

— Да!

— Хорошо кончилось?

— Да!

— Вам знаком этот голос, милый Калеб? Вы слыхали его раньше? — кричала Крошка.

— Если бы мой сын не погиб в золотой Южной Америке...— произнес Калеб, весь дрожа.

— Он жив! — вскрикнула Крошка, отняв руки от глаз старика и ликующе хлопнув в ладоши.— Взгляните на него! Видите, он стоит перед вами, здоровый и сильный! Ваш милый, родной сын! Твой милый живой, любящий брат, Берта!

Честь и хвала маленькой женщине за ее ликованье! Честь и хвала ей за ее слезы и смех, с которыми она смотрела на всех троих, когда они заключили друг друга в объятия! Честь и хвала той сердечности, с какой она бросилась навстречу загорелому моряку с темными волосами, падающими на плечи и не отвернулась от него, а непринужденно позволила ему поцеловать ее в розовые губки и прижать к бьющемуся сердцу!

Кукушке тоже честь и хвала — почему бы и нет! — за то, что она выскочила из-за дверцы мавританского дворца, словно какой-нибудь громила, и двенадцать раз икнула перед всей компанией, как будто опьянела от радости.

Возчик, войдя в комнату, даже отшатнулся. И немудрено: ведь он нежданно-негаданно попал в такое веселое общество!

— Смотрите, Джон! — в восторге говорил Калеб.— Смотрите сюда! Мой родной мальчик из золотой Южной Америки! Мой родной сын! Тот, кого вы сами снарядили в путь и проводили! Тот, кому вы всегда были таким другом!

Возчик подошел было к моряку, чтобы пожать ему руку, но попятился назад, потому что некоторые черты его лица напоминали глухого старика в повозке.

— Эдуард! Так это был ты?

— Теперь скажи ему все! — кричала Крошка.— Скажи ему все, Эдуард! И не щади меня в его глазах, потому что я сама никогда не буду щадить себя.

— Это был я,— сказал Эдуард.

— И ты мог пробраться переодетым в дом своего старого друга? — продолжал возчик.— Когда-то я знал одного чистосердечного юношу — как давно, Калеб, мы услышали о его смерти и уверились в том, что он погиб? — Но тот никогда бы не сделал этого.

— А у меня был когда-то великодушный друг, скорее отец, чем друг,— сказал Эдуард,— но он не стал бы, не выслушав, судить меня, да и всякого другого человека. Это был ты. И я уверен, что теперь ты меня выслушаешь.

Возчик бросил смущенный взгляд на Крошку, которая все еще держалась вдали от него, и ответил:

— Что ж, это справедливо. Я выслушаю тебя.

— Так ты должен знать, что, когда я уехал отсюда еще мальчиком,— начал Эдуард,— я был влюблен и мне отвечали взаимностью. Она была совсем молоденькая девушка, и, быть может, скажешь ты, она не разбиралась в своих чувствах. Но я-то в своих разбирался, и я страстно любил ее.

— Любил! — воскликнул возчик.— Ты!

— Да, любил,— ответил юноша.— И она любила меня. Я всегда так думал, а теперь я в этом убедился.

— Боже мой! — проговорил возчик.— Это тяжелей всего!

— Я был ей верен,— сказал Эдуард,— и когда возвращался, окрыленный надеждами, после многих трудов и опасностей, чтобы снова обручиться с ней, я за двадцать миль отсюда услышал о том, что она изменила мне, забыла меня и отдала себя другому, более богатому человеку. Я не собирался ее упрекать, но мне хотелось увидеть ее и узнать наверное, правда ли это. Я надеялся, что, может, ее принудили к этому, против ее воли и наперекор ее чувству. Это было бы плохим утешением, но все-таки некоторым утешением. Так я полагал, и вот я приехал.

Я хотел узнать правду, чистую правду, увидеть все своими глазами, чтобы судить обо всем беспристрастно, не оказывая влияния на свою любимую (если только я мог иметь на нее влияние) своим присутствием. Поэтому я изменил свою наружность — ты знаешь как, и стал ждать на дороге — ты знаешь где. Ты не узнал меня и она тоже,— он кивнул на Крошку,— пока я не шепнул ей кое-чего на ухо здесь, у этого очага, и тогда она чуть не выдала меня.

— Но когда она узнала, что Эдуард жив и вернулся,— всхлипнула Крошка, которой во время этого рассказа не терпелось высказать все, что было у нее на душе,— когда она узнала о том, что он собирается делать, она посоветовала ему непременно сохранить тайну, потому что его старый друг, Джон Пирибингл, слишком откровенный человек и слишком неуклюжий, когда приходится изворачиваться, да он и во всем-то неуклюжий,— добавила Крошка, смеясь и плача,— и потому не сумеет держать язык за зубами. И когда она, то есть я, Джон,— всхлипывая, проговорила маленькая женщина,— сообщила ему все и рассказала о том, что его любимая считала его умершим, а мать в конце концов уговорила ее согласиться на замужество — ведь глупенькая милая старушка считала этот брак очень выгодным,— и когда она, то есть опять я, Джон, сказала ему, что они еще не поженились (но очень скоро поженятся) и что если это случится, это будет жертвой с ее стороны, потому что она совсем не любит своего жениха, и когда он, Эдуард, чуть не обезумел от радости, услышав это, тогда она, то есть опять я, сказала, что будет посредницей между ними, как это часто бывало в прежние годы, Джон, и расспросит его любимую и сама убедится, что она, то есть опять я, Джон, говорила и думала истинную правду. И это оказалось правдой, Джон! И они встретились, Джон! И они повенчались, Джон, час назад. А вот и новобрачная! А Грубб и Теклтон пусть умрет холостым! А я так счастлива, Мэй, благослови тебя бог!

Она всегда была неотразимой маленькой женщиной,— если только это сведение относится к делу,— но устоять против нее теперь, когда она так ликовала, было совершенно невозможно. Никто не слыхивал таких ласковых и очаровательных поздравлений, какими она осыпала себя и новобрачную.

Все это время честный возчик стоял молча, в смятении чувств. Теперь он бросился к жене, но Крошка протянула руку, чтобы остановить его, и снова отступила на шаг.

— Нет, Джон. Нет! Выслушай все! Не люби меня, Джон, пока не услышишь всего, что я хочу тебе сказать. Нехорошо было что-то скрывать от тебя, Джон. Я очень в этом раскаиваюсь. Я не думала, что это плохо, пока вчера вечером не пришла посидеть рядом с тобой на скамеечке. Но когда я узнала по твоему лицу, что ты видел, как я ходила по галерее с Эдуардом, когда я догадалась о твоих мыслях, я поняла, что поступила легкомысленно и нехорошо. Но, милый Джон, как ты мог, как ты мог это подумать!

Маленькая, как она опять разрыдалась! Джон Пирибингл хотел было ее обнять. Но нет, этого она не позволила.

— Нет, Джон, погоди, не люби меня еще немножко! Теперь уже недолго! Если меня огорчила весть об этом браке, милый, то огорчила потому, что я помнила Мэй и Эдуарда в то время, когда они были такими молодыми и влюбленными, и знала, что на сердце у нее не Теклтон. Теперь ты этому веришь? Ведь правда, Джон?

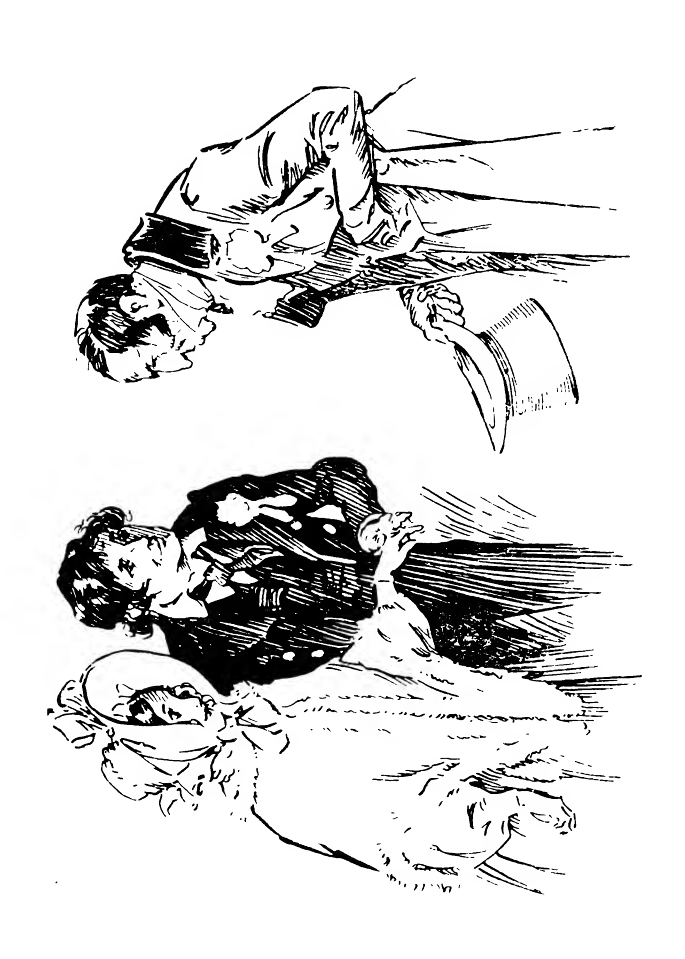
Джон снова хотел было броситься к ней, но она снова остановила его:

— Нет, пожалуйста, Джон, стой там! Когда я подсмеиваюсь над тобой, Джон, а это иногда бывает, и называю тебя увальнем, и милым старым медведем, и по-всякому в этом роде, это потому, что я люблю тебя, Джон, так люблю, и мне так приятно, что ты именно такой, и я не хотела бы, чтобы ты хоть капельку изменился, даже если бы тебя за это завтра же сделали королем.

— Ура-а! — во все горло заорал Калеб.— Правильно!

— И когда я говорю о пожилых и степенных людях, Джон, и делаю вид, будто мы скучная пара и живем по-будничному, это только потому, что я еще совсем глупенькая, Джон, и мне иногда хочется поиграть с малышом в почтенную мать семейства и прикинуться, будто я не такая, какая есть.

Она заметила, что муж приближается к ней, и снова остановила его. Но чуть не опоздала.



— Нет, не люби меня еще минутку или две, пожалуйста, Джон! Я оставила напоследок то, о чем мне больше всего хочется сказать тебе. Милый мой, добрый, великодушный Джон! Когда мы на днях вечером говорили о сверчке, я чуть было не сказала, что вначале я любила тебя не так нежно, как теперь. Когда я впервые вошла в твой дом, я побаивалась, что не смогу любить тебя так, как надеялась,— ведь я была еще такая молодая, Джон! Но, милый Джон, с каждым днем, с каждым часом я люблю тебя все больше и больше. И если бы я смогла полюбить тебя больше, чем люблю, это случилось бы сегодня утром, после того как я услышала твои благородные слова. Но я не могу! Весь тот запас любви, который во мне был (а он был очень большой, Джон), я давным-давно отдала тебе, как ты этого заслуживаешь, и мне нечего больше дать. А теперь, милый мой муж, прижми меня к своему сердцу по-прежнему! Мой дом здесь, Джон, и ты никогда, никогда не смей прогонять меня!

Попробуйте посмотреть, как любая очаровательная маленькая женщина падает в объятия другого человека; это не доставит вам того наслаждения, какое вы получили бы, случись вам видеть, как Крошка бросилась на шею возчику. Такого воплощения полной, чистейшей, одухотворенной искренности, каким была Крошка в эту минуту, вы, ручаюсь, ни разу не видели за всю свою жизнь.

Не сомневайтесь, что возчик был вне себя от упоения, и не сомневайтесь, что Крошка — также, и не сомневайтесь, что все они ликовали, в том числе мисс Слоубой, которая плакала в три ручья от радости и, желая включить своего юного питомца в общий обмен поздравлениями, подавала малыша всем по очереди, точно он был круговой чашей.

Но вот за дверью снова послышался стук колес, и кто-то крикнул, что это Грубб и Теклтон. Сей достойный джентльмен вскоре появился, разгоряченный и взволнованный.

— Что за черт, Джон Пирибингл! — проговорил Теклтон.— Произошло какое-то недоразумение. Я условился с будущей миссис Теклтон, что мы встретимся с нею в церкви, но, по-моему, я только что видел ее на дороге,— она направлялась сюда. Ах, вот и она! Простите,

сэр, не имею удовольствия быть с вами знакомым, но, если можете, окажите мне честь отпустить эту девицу — сегодня утром она должна поспеть на довольно важное деловое свидание.

— Но я не могу отпустить ее,— отозвался Эдуард.— Просто не в силах.

— Что это значит, бездельник? — проговорил Теклтон.

— Это значит, что я прощаю вашу раздражительность,— ответил тот с улыбкой,— нынче утром я плохо слышу резкие слова, и не удивительно, если вспомнить, что еще вчера я был совсем глухой!

Как вздрогнул Теклтон! И какой взгляд он бросил на Эдуарда!

— Мне очень жаль, сэр,— сказал Эдуард, поднимая левую руку Мэй и отгибая на ней средний палец,— что эта девушка не может сопровождать вас в церковь; она уже побывала там сегодня утром, и потому вы, может быть, извините ее.

Теклтон пристально поглядел на средний палец Мэй, затем достал из своего жилетного кармана серебряную бумажку, в которую, по-видимому, было завернуто кольцо.

— Мисс Слоубой,— сказал Теклтон,— будьте так добры, бросьте это в огонь! Благодарю вас.

— Моя жена уже была помолвлена, давно помолвлена, и, уверяю вас, только это помешало ей сдержать обещание, данное вам,— заметил Эдуард.

— Мистер Теклтон окажет мне справедливость и признает, что я чистосердечно рассказала ему о своей помолвке и много раз говорила, что никогда не забуду о ней,— промолвила Мэй, слегка зардевшись.

— О, конечно! — сказал Теклтон.— Безусловно! Правильно. Истинная правда. Миссис Эдуард Пламмер, так, кажется?

— Так ее зовут теперь,— ответил новобрачный.

— Понятно! Пожалуй, я не узнал бы вас, сэр,— сказал Теклтон, пристально всмотревшись в его лицо и отвесив глубокий поклон.— Желаю вам счастья, сэр!

— Благодарю вас.

— Миссис Пирибингл,— проговорил Теклтон, внезапно повернувшись к Крошке, которая стояла рядом с мужем,— прошу вас извинить меня. Вы не очень любезно

поступили со мной, но я все-таки прошу у вас извинения. Вы лучше, чем я о вас думал. Джон Пирибингл, прошу меня извинить. Вы понимаете меня, этого довольно. Все в порядке, леди и джентльмены, и все прекрасно. Прощайте!

Этими словами он закончил свою речь и уехал, но сначала немного задержался перед домом, снял цветы и банты с головы своей лошади и ткнул это животное под ребра, показывая этим, что в приготовлениях к свадьбе что-то разладилось.

Конечно, теперь все поняли, что священный долг каждого — так отпраздновать этот день, чтобы он навсегда остался в календаре Пирибинглов праздничным и торжественным днем. И вот Крошка принялась готовить такое угощение, которое осветило бы немеркнущей славой и ее дом и всех заинтересованных лиц, и сразу же погрузилась в муку по самые пухленькие локотки, а возчик скоро весь побелел, потому что она останавливала его всякий раз, как он проходил мимо, чтобы его поцеловать. А этот славный малый перемывал овощи, чистил репу, разбивал тарелки, опрокидывал в огонь котелки с водой и вообще всячески помогал по хозяйству, в то время как две стряпухи, так спешно вызванные от соседей, как будто дело шло о жизни и смерти, сталкивались друг с другом во всех дверях и во всех углах, а все и каждый везде и всюду натыкались на Тилли Слоубой и малыша. Тилли на этот раз превзошла самое себя: она поспевала всюду, вызывая всеобщее восхищение. В двадцать пять минут третьего она была камнем преткновения в коридоре; ровно в половине третьего — ловушкой на кухне и в тридцать пять минут третьего — западней на чердаке. Голова малыша служила, так сказать, пробным камнем для всевозможных предметов любого происхождения — животного, растительного и минерального. Не было в тот день ни одной вещи, которая рано или поздно не вступила бы в тесное соприкосновение с этой головенкой.

Затем отправили целую экспедицию с заданием разыскать миссис Филдинг, принести слезное покаяние этой благородной даме и привести ее, если нужно, силой, заставив развеселиться и простить всех. И когда экспедиция обнаружила ее местопребывание, старушка ни о чем не

захотела слышать, но произнесла (бесчисленное множество раз): «И я дожила до такого дня!», а затем от нее нельзя было ничего добиться, кроме слов: «Теперь несите меня в могилу», что звучало довольно нелепо, так как старушка еще не умерла, да и не собиралась умирать. Немного погодя она погрузилась в состояние зловещего спокойствия и заметила, что еще в то время, как произошло роковое стечение обстоятельств в связи с торговлей индиго, она предвидела для себя в будущем всякого рода оскорбления и поношения и теперь очень рада, что оказалась права, и просит всех не беспокоиться (ибо кто она такая? О господи! Никто!), но забыть о ней начисто и жить по-своему, без нее. От саркастической горечи она перешла к гневу и высказала следующее замечательное изречение: «Червяк — и тот не стерпит, коль на него наступишь»; * а после этого предалась кротким сожалениям и заявила, что, если бы ей доверились раньше, она уж сумела бы что-нибудь придумать! Воспользовавшись этим переломом в ее настроении, участники экспедиции обняли ее, и вот старушка уже надела перчатки и направилась к дому Джона Пирибингла с безукоризненно приличным видом и свертком под мышкой, в котором находился парадный чепец, почти столь же высокий, как митра, и не менее твердый.

Потом подошло уже время родителям Крошки приехать, а их все не было, и все стали бояться, не случилось ли чего, и то и дело посматривали на дорогу, не покажется ли там их маленький кабриолет, причем миссис Филдинг неизменно смотрела в противоположную сторону, и когда ей это говорили, она отвечала, что, кажется, имеет право смотреть, куда ей вздумается. Наконец они приехали! Это была толстенькая парочка, уютная и милая, как и все семейство Крошки. Приятно было смотреть на Крошку с матерью, когда они сидели рядом. Они были так похожи друг на друга!

Потом Крошкина мать возобновила знакомство с матерью Мэй. Мать Мэй всегда стояла на том, что она благородная, а мать Крошки ни на чем не стояла, разве только на своих проворных ножках. А старый Крошка (будем так называть Крошкиного отца, я забыл его настоящее имя, но ничего!) с самого начала повел себя

несколько вольно; без всяких предисловий пожал почтенной даме руку; по-видимому, не нашел ничего особенного в ее чепце — кисея и крахмал, только и всего; не выразил никакого благоговения перед торговлей индиго, а сказал просто, что теперь уж с этим ничего не поделаешь, поэтому миссис Филдинг, подводя итог своим впечатлениям, заявила, что он, правда, хороший человек... но грубоват, милая моя.

Ни за какие деньги не согласился бы я упустить случай увидеть Крошку в роли хозяйки, председательствующей за столом в своем подвенечном платье — да пребудет мое благословение на ее прелестном личике! О нет, ни за что бы не согласился не видеть ее! А также славного возчика, такого веселого и румяного, сидящего на другом конце стола; а также загорелого, пышащего здоровьем моряка и его красавицу жену. А также любого из присутствующих. Пропустить этот пир — значило бы пропустить самый веселый и сытный обед, какой только может съесть человек; а не пить из тех полных чаш, из которых пирующие пили, празднуя свадьбу, было бы огромнейшим лишением.

После обеда Калеб спел песню о пенном кубке. И как верно то, что я жив и надеюсь прожить еще год-два, так верно и то, что на сей раз он спел ее всю до самого конца!

И как только он допел последний куплет, произошло совершенно неожиданное событие.

Послышался стук в дверь, и в комнату, пошатываясь, ввалился какой-то человек, не сказав ни «позвольте войти», ни «можно войти?». Он нес что-то тяжелое на голове. Положив свою ношу на самую середину стола, между орехами и яблоками, он сказал:

— Мистер Теклтон велел вам кланяться, и так как ему самому нечего делать с этим пирогом, то, может быть, вы его скушаете.

С этими словами он ушел.

Вы, конечно, представляете себе, что все общество было несколько изумлено. Миссис Филдинг, женщина необычайно проницательная, заявила, что пирог, наверное, отравлен, и рассказала историю об одном пироге, от которого целая школа для молодых девиц вся носи-

нела, но сотрапезники хором разубедили ее, и Мэй торжественно разрезала пирог среди всеобщего ликования.

Никто еще, кажется, не успел отведать его, как вдруг снова раздался стук в дверь и вошел тот же самый человек с большим свертком в оберточной бумаге под мышкой.

— Мистер Теклтон просил передать привет и прислал кое-какие игрушки для мальчика. Они нестрашные.

Сделав это заявление, он снова удалился.

Общество вряд ли нашло бы слова, чтобы выразить свое изумление, даже если бы у него хватило времени их подыскать. Но времени не хватило — едва посыльный успел закрыть за собой дверь, как снова послышался стук и вошел сам Теклтон.

— Миссис Пирибингл! — проговорил фабрикант игрушек, сняв шляпу.— Прошу вас меня извинить. Прошу еще усерднее, чем сегодня утром. У меня было время подумать об этом. Джон Пирибингл! Я человек жесткий, но я не мог не смягчиться, когда очутился лицом к лицу с таким человеком, как вы, Калеб! Вчера вечером эта маленькая нянька, сама того не ведая, бросила мне намек, который я понял только теперь. Я краснею при мысли о том, как легко я мог бы привязать к себе вас и вашу дочь и каким я был презренным идиотом, когда считал идиоткой ее! Друзья, сегодня в доме моем очень пусто. У меня нет даже сверчка за очагом. Я всех их пораспугал. Будьте добры, позвольте мне присоединиться к вашему веселому обществу!

Через пять минут он уже чувствовал себя как дома. В жизни вы не видывали такого человека! Да что же он проделывал над собой всю свою жизнь, если сам до сей поры не знал, как он способен веселиться? Или что сделали с ним феи, если он так изменился?

— Джон, ты не отошлешь меня нынче вечером к родителям, нет? — прошептала Крошка.

А ведь он чуть не сделал этого!

Недоставало только одного живого существа, чтобы общество оказалось в полном составе, и вот это существо появилось во мгновение ока и, терзаемое жестокой жаж-

дой, забегало по комнате, напрасно стараясь просунуть голову в узкий кувшин. Боксер сопровождал повозку на всем ее пути до места назначения, но был очень огорчен отсутствием своего хозяина и обуреваем духом непокорства его заместителю. Послонявшись по конюшне, где он тщетно подстрекал старую лошадь взбунтоваться и самовольно вернуться домой, он проник в трактир и улегся перед огнем. Но, внезапно придя к убеждению, что заместитель Джона — обманщик и его нужно покинуть, снова вскочил, повернулся и прибежал домой.

Вечером устроили танцы. Я, пожалуй, только упомянул бы о них, не описывая их подробно, если бы танцы эти не были столь своеобразными и необыкновенными. Они начались довольно странным образом. Вот как.

Эдуард, молодой моряк, такой славный жизнерадостный малый, рассказывал всякие чудеса насчет попугаев, рудников, мексиканцев и золотоносного песка, как вдруг вскочил с места и предложил потанцевать — ведь арфа Берты была здесь, а девушка так хорошо играла на ней, что редко удается услышать такую игру. Крошка (ах, маленькая притворщица!) сказала, что для нее время танцев прошло, но мне кажется, что она сказала это потому, что возчик сидел и курил свою трубку, а ей больше всего хотелось сидеть возле него. После этого миссис Филдинг уже ничего не оставалось, как только сказать, что и для нее пора танцев прошла; и все сказали то же самое, кроме Мэй; Мэй охотно согласилась.

И вот Мэй и Эдуард начали танцевать одни под громкие рукоплескания, а Берта играла самые веселые мелодии, какие только знала.

Так! Но, верьте не верьте, не успели они поплясать и пяти минут, как вдруг возчик бросил свою трубку, обнял Крошку за талию, выскочил на середину комнаты и, громко стуча сапогами, пустился в пляс, да такой, что прямо загляденье. Не успел Теклтон это увидеть, как промчался через всю комнату к миссис Филдинг, обнял ее за талию и тоже пустился в пляс. Не успел Крошка-отец это увидеть, как вскочил и весело потащил миссис Крошку в самую гущу танцоров и оказался первым среди них. Не успел Калеб это увидеть, как схватил за руки Тилли Слоубой и тоже не ударил лицом в грязь; при этом

мисс Слоубой была твердо уверена, что танцевать — это значит отчаянно нырять между другими парами и елико возможно чаще сталкиваться с ними.

Слушайте, как сверчок вторит музыке своим «стрек, стрек, стрек» и как гудит чайник!

Но что это? В то время как я радостно прислушиваюсь к ним и поворачиваюсь в сторону Крошки, чтобы бросить последний взгляд на это столь милое мне создание, она и все остальные расплываются в воздухе, и я остаюсь один. Сверчок поет за очагом, на полу лежит сломанная игрушка... вот и все.

# БИТВА ЖИЗНИ

***Повесть о любви***

*Перевод* М. КЛЯГИНОЙ-КОНДРАТЬЕВОЙ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Давным-давно, все равно когда, в доблестной Англии, все равно где, разыгралась жестокая битва. Разыгралась она в долгий летний день, когда, волнуясь, зеленели травы. Немало полевых цветов, созданных Всемогущей Десницей, чтобы служить благоуханными кубками для росы, почувствовали в тот день, как их блестящие венчики до краев наполнились кровью и, увянув, поникли. Немало насекомых, подражавших своей нежной окраской безобидным листьям и травам, были запятнаны в тот день кровью умирающих людей и, уползая в испуге, оставляли за собой необычные следы. Пестрая бабочка уносила в воздух кровь на краях своих крылышек. Вода в реке стала красной. Истоптанная почва превратилась в трясину, и мутные лужицы, стоявшие в следах человеческих ног и конских копыт, отсвечивали на солнце тем же мрачным багровым отблеском.

Не дай нам бог видеть то, что видела луна на этом поле, когда, взойдя над темным гребнем дальних холмов, неясным и расплывчатым от венчавших его деревьев, она поднялась на небо и взглянула на равнину, усеянную людьми, которые лежали теперь, неподвижные, лицом вверх, а некогда, прижавшись к материнской груди, искали взглядом материнских глаз или покоились в сладком сне! Не дай нам бог узнать те тайны, которые услышал зловонный ветер, проносясь над местом, где в тот день

сражались люди и где той ночью царили смерть и муки! Не раз сияла одинокая луна над полем битвы, и не раз глядели на него со скорбью звезды; не раз ветры, прилетавшие со всех четырех стран света, веяли над ним, прежде чем исчезли следы сражения.

А они не исчезали долго, но проявлялись лишь в мелочах, ибо Природа, которая выше дурных человеческих страстей, скоро вновь обрела утраченную безмятежность и улыбалась преступному полю битвы, как она улыбалась ему, когда оно было еще невинным. Жаворонки пели над ним в высоте; ласточки носились взад и вперед, камнем падали вниз, скользили по воздуху; тени летящих облаков быстро гнались друг за дружкой по лугам и нивам, по лесу и брюквенному полю, по крышам и колокольне городка, утонувшего в садах, и уплывали в яркую даль, на грань земли и неба, где гасли алые закаты. На полях сеяли хлеб, и он поспевал, и его убирали в житницы; река, некогда багровая от крови, теперь вертела колесо водяной мельницы; пахари, посвистывая, шагали за плугом; косцы и сборщики колосьев спокойно занимались своей работой; овцы и волы паслись на пастбище; мальчишки кричали и перекликались в полях, отпугивая птиц; дым поднимался из деревенских труб; воскресные колокола мирно позванивали; старики жили и умирали; робкие полевые животные и скромные цветы в кустарниках и садах вырастали и гибли в положенные для них сроки; и все это — на страшном, обагренном кровью поле битвы, где тысячи людей пали в великом сражении.

Но вначале среди растущей пшеницы кое-где виднелись густо-зеленые пятна, и люди смотрели на них с ужасом. Год за годом появлялись они на тех же местах, и было известно, что на этих плодородных участках множество людей и коней, погребенных вместе, лежат в удобренной их телами земле. Фермеры, пахавшие эти места, отшатывались при виде кишевших там огромных червей, а снопы, сжатые здесь, много лет называли «снопами битвы» и складывали отдельно, и никто не запомнит, чтобы хоть один такой «сноп битвы» положили вместе с последними собранными с полей снопами и принесли на «Праздник урожая». Долго еще из каждой проведенной здесь борозды появлялись на свет божий осколки



оружия. Долго еще стояли на поле битвы израненные деревья; долго валялись на местах ожесточенных схваток обломки срубленных изгородей и разрушенных стен; а на вытоптанных участках не росло ни травинки. Долго еще ни одна деревенская девушка не решалась приколоть к волосам или корсажу цветок с этого поля смерти,— даже самый красивый,— и спустя многие годы люди все еще верили, что ягоды, растущие там, оставляют неестественно темные пятна на срывающей их руке.

И все же годы, хоть и скользили они один за другим так же легко, как летние облака по небу, с течением времени уничтожили даже эти следы давнего побоища и стерли в памяти окрестных жителей предания о нем, пока не стали они как старая сказка, которую смутно вспоминают зимним вечером у камелька, но с каждым годом забывают все более. Там, где полевые цветы и ягоды столько лет росли нетронутыми, теперь были разбиты сады, выстроены дома, и дети играли в войну на лужайках. Израненные деревья давным-давно пошли на дрова, что пылали и трещали в каминах, и наконец сгорели. Темно-зеленые пятна в хлебах были теперь не ярче, чем память о тех, кто лежал под ними в земле. Время от времени лемех плуга все еще выворачивал наружу куски заржавленного металла, но никто уже не мог догадаться, чем были когда-то эти обломки, и нашедшие их недоумевали и спорили об этом между собой. Старый, помятый панцирь и шлем уже так давно висели в церкви над выбеленной аркой, что дряхлый, полуслепой старик, тщетно стараясь рассмотреть их теперь в вышине, вспоминал, как дивился на них еще ребенком. Если б убитые здесь могли ожить на мгновение — каждый в прежнем своем облике и каждый на том месте, где застигла его безвременная смерть, то сотни страшных изувеченных воинов заглянули бы в окна и двери домов; возникли бы у очага мирных жилищ; наполнили бы, как зерном, амбары и житницы; встали бы между младенцем в колыбели и его няней; поплыли бы по реке, закружились бы вокруг мельничных колес, вторглись бы в плодовый сад, завалили бы весь луг и залегли бы грудами среди стогов сена. Так изменилось поле битвы, где тысячи и тысячи людей пали в великом сражении.

Нигде, быть может, оно так не изменилось, как там, где лет за сто до нашего времени, рос небольшой плодовый садик, примыкавший к старому каменному дому с крыльцом, обвитым жимолостью,— садик, где в одно ясное осеннее утро звучали музыка и смех и где две девушки весело танцевали друг с дружкой на траве, а несколько деревенских женщин, стоя на приставных лестницах, собирали яблоки с яблонь, порой отрываясь от работы, чтобы полюбоваться на девушек. Какое это было приятное, веселое, простое зрелище: погожий день, уединенный уголок и две девушки, непосредственные и беспечные, танцующие радостно и беззаботно.

Я думаю,— и, надеюсь, вы согласитесь со мной,— что, если б никто не старался выставлять себя напоказ, мы и сами жили бы лучше, и общение с нами было бы несравненно приятнее для других. Как хорошо было смотреть на этих танцующих девушек! У них не было зрителей, если не считать сборщиц яблок на лестницах. Им было приятно доставлять удовольствие сборщицам, но танцевали они, чтобы доставить удовольствие себе (по крайней мере так казалось со стороны), и так же невозможно было не восхищаться ими, как им — не танцевать. И как они танцевали!

Не так, как балетные танцовщицы. Вовсе нет. И не так, как окончившие курс ученицы мадам Такой-то. Ни в какой степени. Это была не кадриль, но и не менуэт и даже не крестьянская пляска. Они танцевали не в старом стиле и не в новом, не во французском стиле и не в английском, но, пожалуй, чуть-чуть в испанском стиле,— хоть сами того не ведали,— а это, как мне говорили, свободный и радостный стиль, и его прелесть — в том, что стук маленьких кастаньет придает ему характер обаятельной и вольной импровизации. Легко кружась друг с дружкой, девушки танцевали то под деревьями сада, то спускаясь в рощицу, то возвращаясь на прежнее место, и казалось, что их воздушный танец разливается по солнечному простору, словно круги, расходящиеся по воде. Их распущенные волосы и развевающиеся юбки, упругая трава под их ногами, ветви, шелестящие в утреннем воздухе, яркая листва, и пятнистые тени от нее на мягкой зеленой земле, ароматный ветер, веющий над полями и

охотно вращающий крылья отдаленной ветряной мельницы,— словом, все, начиная с обеих девушек и кончая далеким пахарем, который пахал на паре коней, так отчетливо выделяясь на фоне неба, точно им кончалось все в мире,— все, казалось, танцевало.

Но вот младшая из танцующих сестер, запыхавшись и весело смеясь, бросилась на скамью передохнуть. Другая прислонилась к ближнему дереву. Бродячие музыканты — арфист и скрипач — умолкли, закончив игру блестящим пассажем,— так они, вероятно, желали показать, что ничуть не устали, хотя, сказать правду, играли они в столь быстром темпе и столь усердствовали, соревнуясь с танцорками, что не выдержали бы и полминуты дольше. С лестниц пчелиным жужжанием донесся гул одобрения, и сборщицы яблок, как пчелы, снова взялись за работу.

Взялись тем усерднее, быть может, что пожилой джентльмен, не кто иной, как сам доктор Джедлер (надо вам знать, что и дом и сад принадлежали доктору Джедлеру, а девушки были его дочерьми), поспешно вышел из дому узнать, что случилось и кто, черт возьми, так расшумелся в его усадьбе, да еще до завтрака. Он был великий философ, этот доктор Джедлер, и недолюбливал музыку.

— Музыка и танцы сегодня! — пробормотал доктор, остановившись.— А я думал, девочки со страхом ждут нынешнего дня. Впрочем, наша жизнь полна противоречий... Эй, Грейс! Эй, Мэрьон! — добавил он громко.— Что вы тут, все с ума посошли?

— А хоть бы и так, ты уж не сердись, отец,— ответила его младшая дочь, Мэрьон, подбежав к нему и заглядывая ему в лицо,— ведь сегодня чей-то день рождения.

— Чей-то день рождения, кошечка! — воскликнул доктор.— А ты не знаешь, что каждый день — это чей-то день рождения? Или ты не слыхала, сколько новых участников ежеминутно вступает в эту — ха-ха-ха! невозможно серьезно говорить о таких вещах,— в эту нелепую и смехотворную игру, называемую Жизнью?

— Нет, отец!

— Ну, да конечно нет; а ведь ты уже взрослая...

почти,— сказал доктор.— Кстати,— тут он взглянул на хорошенькое личико, все еще прижимавшееся к нему,— сдается мне, что это твой день рождения?

— Неужто вспомнил, отец? — воскликнула его любимая дочка, протянув ему алые губки для поцелуя.

— Вот тебе! Прими вместе с поцелуем мою любовь,— сказал доктор, целуя ее в губы,— и дай тебе бог еще много-много раз — какая все это чепуха! — встретить этот день!

«Желать человеку долгой жизни, когда вся она — просто фарс какой-то,— подумал доктор,— ну и глупость! Ха-ха-ха!»

Как я уже говорил, доктор Джедлер был великий философ, и сокровенная сущность его философии заключалась в том, что он смотрел на мир как на грандиозную шутку, чудовищную нелепость, не заслуживающую внимания разумного человека. Поле битвы, на котором он жил, глубоко на него повлияло, как вы вскоре поймете.

— Так! Ну, а где вы достали музыкантов? — спросил доктор.— Того и гляди, курицу стащат! Откуда они взялись?

— Музыкантов прислал Элфред,— промолвила его дочь Грейс, поправляя в волосах Мэрьон, растрепавшихся во время танца, скромные полевые цветы, которыми сама украсила их полчаса назад, любуясь юной красавицей сестрой.

— Вот как! Значит, музыкантов прислал Элфред? — переспросил доктор.

— Да. Он встретил их, когда рано утром шел в город,— они как раз выходили оттуда. Они странствуют пешком и провели в городе прошлую ночь, а так как сегодня день рождения Мэрьон, то Элфред захотел сделать ей удовольствие и прислал их сюда с запиской на мое имя, в которой пишет, что, если я ничего не имею против, музыканты сыграют Мэрьон серенаду.

— Вот-вот! — небрежно бросил доктор.— Он всегда спрашивает твоего согласия.

— И так как я согласилась,— добродушно продолжала Грейс, на мгновение умолкнув и откинув назад голову, чтобы полюбоваться хорошенькой головкой, которую украшала,— а Мэрьон и без того была в чудесном

настроении, то она пустилась в пляс, и я с нею. Так вот мы и танцевали под музыку Элфреда, пока не запыхались. И мы решили, что музыка потому такая веселая, что музыкантов прислал Элфред. Правда, Мэрьон?

— Ах, право, не знаю, Грейс. Надоедаешь ты мне с этим Элфредом!

— Надоедаю, когда говорю о твоем женихе? — промолвила старшая сестра.

— Мне вовсе не интересно слушать, когда о нем говорят,— сказала своенравная красавица, обрывая лепестки с цветов, которые держала в руке, и рассыпая их по земле.— Только и слышишь, что о нем,— скучно; ну а насчет того, что он мой жених...

— Замолчи! Не говори так небрежно об этом верном сердце,— ведь оно все твое, Мэрьон! — воскликнула Грейс.— Не говори так даже в шутку. Нет на свете более верного сердца, чем сердце Элфреда!

— Да... да...— проговорила Мэрьон, с очаровательно-рассеянным видом, подняв брови и словно думая о чем-то.— Это, пожалуй, правда. Но я не вижу в этом большой заслуги... Я... я вовсе не хочу, чтобы он был таким уж верным. Я никогда не просила его об этом. И если он ожидает, что я... Но, милая Грейс, к чему нам вообще говорить о нем сейчас?

Приятно было смотреть на этих грациозных, цветущих девушек, когда они, обнявшись, не спеша прохаживались под деревьями, и хотя в их разговоре серьезность сталкивалась с легкомыслием, зато любовь нежно откликалась на любовь. И, право, очень странно было видеть, что на глазах младшей сестры выступили слезы: казалось, какое-то страстное, глубокое чувство пробивается сквозь легкомыслие ее речей и мучительно борется с ним.

Мэрьон была всего на четыре года моложе сестры, но как бывает в семьях, где нет матери (жена доктора умерла), Грейс, нежно заботившаяся о младшей сестре и всецело преданная ей, казалась старше своих лет, ибо не стремилась ни соперничать с Мэрьон, ни участвовать в ее своенравных затеях (хотя разница в возрасте между ними была небольшая), а лишь сочувствовала ей с искренней любовью. Велико чувство материнства, если даже такая тень ее, такое слабое отражение, как любовь сестрин-

ская, очищает сердце и уподобляет ангелам возвышенную душу!

Доктор, глядя на них и слыша их разговор, вначале только с добродушной усмешкой размышлял о безумии всякой любви и привязанности и о том, как наивно обманывает себя молодежь, когда хоть минуту верит, что в этих мыльных пузырях может быть что-либо серьезное; ведь после она непременно разочаруется... непременно!

Однако домовитость и самоотвержение Грейс, ее ровный характер, мягкий и скромный, но таивший нерушимое постоянство и твердость духа, особенно ярко предстали перед доктором сейчас, когда он видел ее, такую спокойную и непритязательную, рядом с младшей, более красивой сестрой, и ему стало жаль ее — жаль их обеих,— жаль, что жизнь это такая смехотворная нелепость.

Ему и в голову не приходило, что обе его дочери или одна из них, может быть, пытаются превратить жизнь в нечто серьезное. Что поделаешь — ведь он был философ.

Добрый и великодушный от природы, он по несчастной случайности споткнулся о тот лежащий на путях всех философов камень (его гораздо легче обнаружить, чем философский камень — предмет изысканий алхимиков), который иногда служит камнем преткновения для добрых и великодушных людей и обладает роковой способностью превращать золото в мусор и все драгоценное — в ничтожное.

— Бритен! — крикнул доктор.— Бритен! Подите сюда!

Маленький человек с необычайно кислым и недовольным лицом вышел из дома и откликнулся бесцеремонным тоном:

— Ну, что еще?

— Где накрыли стол для завтрака? — спросил доктор.

— В доме,— ответил Бритен.

— А вы не собираетесь накрыть его здесь, как вам было приказано вчера вечером? — спросил доктор.— Не знаете, что у нас будут гости? Что нынче утром надо еще до прибытия почтовой кареты закончить одно дело? Что это совсем особенный случай?

— А мог я тут накрыть стол, доктор Джедлер, пока женщины не кончили собирать яблоки, мог или нет, как

вы полагаете? А? — ответил Бритен, постепенно возвышая голос, под конец зазвучавший очень громко.

— Так; но ведь сейчас они кончили? — сказал доктор и, взглянув на часы, хлопнул в ладоши.— Ну, живо! Где Клеменси?

— Я здесь, мистер,— послышался чей-то голос с одной из лестниц, и пара неуклюжих ног торопливо спустилась на землю.— Яблоки собраны. Ну, девушки, по домам! Через полминуты все для вас будет готово, мистер.

Та, что произнесла эти слова, сразу же принялась хлопотать с величайшим усердием, а вид у нее был такой своеобразный, что стоит описать ее в нескольких словах.

Ей было лет тридцать, и лицо у нее было довольно полное и веселое, но какое-то до смешного неподвижное. Но что говорить о лице — походка и движения ее были так неуклюжи, что, глядя на них, можно было забыть про любое лицо на свете. Сказать, что обе ноги у нее казались левыми, а руки словно взятыми у кого-то другого и что все эти четыре конечности были вывихнуты и, когда приходили в движение, совались не туда, куда надо,— значит дать лишь самое смягченное описание действительности. Сказать, что она была вполне довольна и удовлетворена таким устройством, считая, что ей нет до него дела, и ничуть не роптала на свои руки и ноги, но позволяла им двигаться как попало,— значит лишь в малой степени воздать должное ее душевному равновесию. А одета она была так: громадные своевольные башмаки, которые упрямо отказывались идти туда, куда шли ее ноги, синие чулки, пестрое платье из набойки самого безобразного рисунка, какой только встречается на свете, и белый передник. Она всегда носила платья с короткими рукавами и всегда почему-то ходила с исцарапанными локтями, которыми интересовалась столь живо, что постоянно выворачивала их, тщетно пытаясь рассмотреть, что же с ними происходит. На голове у нее обычно торчал маленький чепчик, прилепившись, где угодно, только не на том месте, которое у других женщин обычно покрыто этой принадлежностью туалета; зато — она с ног до головы была безукоризненно опрятна и всегда имела какой-то развинченно-чистоплотный вид. Больше того: похвальное стремление быть аккуратной и подобранной,

как ради спокойствия собственной совести, так и затем, чтобы люди не осудили, порой заставляло ее проделывать самые изумительные телодвижения, а именно — хвататься за что-то вроде длинной деревянной ручки (составлявшей часть ее костюма и в просторечии именуемой корсетной планшеткой) и сражаться со своими одеждами, пока не удавалось привести их в порядок.

Так выглядела и одевалась Клеменси Ньюком, которая, должно быть, нечаянно исказила свое настоящее имя Клементина, превратив его в Клеменси (хотя никто этого не знал наверное, ибо ее глухая дряхлая мать, которую она содержала чуть не с детских лет, умерла, дожив до необычайно глубокой старости, а других родственников у нее не было), и которая хлопотала сейчас, накрывая на стол, но по временам бросала работу и стояла как вкопанная, скрестив голые красные руки и потирая исцарапанные локти — правый пальцами левой руки и наоборот,— и сосредоточенно смотрела на этот стол, пока вдруг не вспоминала о том, что ей не хватает какой-то вещи, и не кидалась за нею.

— Вон сутяги идут, мистер! — сказала вдруг Клеменси не слишком доброжелательным тоном.

— А! — воскликнул доктор и пошел к калитке навстречу гостям.— Здравствуйте, здравствуйте! Грейс, дорогая! Мэрьон! К нам пришли господа Сничи и Крегс. А где же Элфред?

— Он, наверное, сейчас вернется, отец,— ответила Грейс.— Ему ведь надо готовиться к отъезду, и нынче утром у него было столько дела, что он встал и ушел на рассвете. Доброе утро, джентльмены.

— С добрым утром, леди! — произнес мистер Сничи,— говорю за себя и за Крегса. (Крегс поклонился.) Мисс,— тут Сничи повернулся к Мэрьон,— целую вашу ручку.— Сничи поцеловал руку Мэрьон.— И желаю вам (желал он или не желал, неизвестно, ибо на первый взгляд он не казался человеком, способным на теплое чувство к другим людям), желаю вам еще сто раз счастливо встретить этот знаменательный день.

— Ха-ха-ха! Жизнь — это фарс! — задумчиво рассмеялся доктор, засунув руки в карманы.— Длинный фарс в сотню актов!

— Я уверен, однако,— проговорил мистер Сничи, прислонив небольшой синий мешок с юридическими документами к ножке стола,— что вы, доктор Джедлер, никоим образом не захотели бы сократить в этом длинном фарсе роль вот этой актрисы.

— Конечно нет! — согласился доктор.— Боже сохрани! Пусть живет и смеется над ним, пока может смеяться, а потом скажет вместе с одним остроумным французом: «Фарс доигран; опустите занавес».

— Остроумный француз,— сказал мистер Сничи, быстро заглядывая в свой синий мешок,— ошибался, доктор Джедлер, и ваша философия, право же, ошибочна от начала до конца, как я уже не раз объяснял вам. Говорить, что в жизни нет ничего серьезного! А что же такое суд, как, по-вашему?

— Шутовство! — ответил доктор.

— Вы когда-нибудь обращались в суд? — спросил мистер Сничи, отрывая глаза от синего мешка.

— Никогда,— ответил доктор.

— Ну, если это случится,— продолжал мистер Сничи,— вы, быть может, измените свое мнение.

Крегс, от имени которого всегда выступал Сничи и который сам, казалось, не ощущал себя как отдельную личность и не имел индивидуального существования, на этот раз высказался тоже. Мысль, выраженная в этом суждении, была единственной мыслью, которой он не разделял на равных началах со Сничи; зато ее разделяли кое-какие его единомышленники из числа умнейших людей на свете.

— Суд теперь слишком упростили,— изрек мистер Крегс.

— Как? Суд упростили? — усомнился доктор.

— Да,— ответил мистер Крегс,— все упрощается. Все теперь, по-моему, сделали слишком уж простым. Это порок нашего времени. Если жизнь — шутка (а я не собираюсь это отрицать), надо, чтобы эту шутку было очень трудно разыгрывать. Жизнь должна быть жестокой борьбой, сэр. Вот в чем суть. Но ее чрезмерно упрощают. Мы смазываем маслом ворота жизни. А надо, чтобы они были ржавые. Скоро они будут отворяться без скрипа. А надо, чтобы они скрежетали на своих петлях, сэр.

Изрекая все это, мистер Крегс как будто сам скрежетал на своих петлях, и это впечатление еще усиливалось его внешностью, ибо он был холодный, жесткий, сухой человек, настоящий кремень,— да и одет он был в серое с белым, а глаза у него чуть поблескивали, словно из них высекали искры. Все три царства природы — минеральное, животное и растительное,— казалось, нашли в этом братстве спорщиков своих представителей: ибо Сничи походил на сороку или ворона (только он был не такой прилизанный, как они), а у доктора лицо было сморщенное, как мороженое яблоко, с ямочками, точно выклеванными птицами, а на затылке у него торчала косичка, напоминавшая черенок.

Но вот энергичный красивый молодой человек в дорожном костюме, сопровождаемый носильщиком, тащившим несколько свертков и корзинок, веселый и бодрый — под стать этому ясному утру,— быстрыми шагами вошел в сад, и все трое собеседников, словно братья трех сестер Парок, или до неузнаваемости замаскированные Грации, или три вещих пророчицы на вересковой пустоши *, вместе подошли к нему и поздоровались с ним.

— Поздравляю с днем рождения, Элф! — весело проговорил доктор.

— Поздравляю и желаю еще сто раз счастливо встретить этот знаменательный день, мистер Хитфилд,— сказал Сничи с низким поклоном.

— Поздравляю! — глухо буркнул Крегс.

— Кажется, я попал под обстрел целой батареи! — воскликнул Элфред, останавливаясь.— И... один, два, три... все трое не предвещают мне ничего хорошего в том великом море, что расстилается передо мною. Хорошо, что я не вас первых встретил сегодня утром, а то подумал бы, что это не к добру. Нет, первой была Грейс, милая ласковая Грейс, поэтому я не боюсь всех вас!..

— Позвольте, мистер, первой была я,— вмешалась Клеменси Ньюком.— Она гуляла здесь в саду, когда еще солнце не взошло, помните? А я была в доме.

— Это верно, Клеменси была первой,— согласился Элфред.— Значит, Клеменси защитит меня от вас.

— Ха-ха-ха! — говорю за себя и за Крегса,— сказал Сничи.— Вот так защита!

— Быть может, не такая плохая, как кажется,— проговорил Элфред, сердечно пожимая руку доктору, Сничи и Крегсу и оглядываясь кругом.— А где же... Господи боже мой!

Он рванулся вперед, отчего Джонатан Сничи и Томас Крегс на миг сблизились теснее, чем это было предусмотрено в их деловом договоре, подбежал к сестрам, и... Впрочем, мне незачем подробно рассказывать о том, как он поздоровался, сперва с Мэрьон, потом с Грейс; намекну лишь, что мистер Крегс, возможно, нашел бы его манеру здороваться «слишком упрощенной».

Быть может, желая переменить тему разговора, доктор Джедлер велел подавать завтрак, и все сели за стол. Грейс заняла место хозяйки, и предусмотрительно села так, что отделила сестру и Элфреда от всех остальных. Сничи и Крегс сидели в конце стола друг против друга, поставив синий мешок между собой для большей сохранности, а доктор занял свое обычное место против Грейс. Клеменси, как наэлектризованная, носилась вокруг стола, подавая кушанья, а меланхолический Бритен, стоя за другим, маленьким, столом, нарезал ростбиф и окорок.

— Мяса? — предложил Бритен, приближаясь к мистеру Сничи с большим ножом и вилкой в руках и бросая в гостя вопрос, как метательный снаряд.

— Непременно,— ответил юрист.

— А вы желаете? — спросил Бритен Крегса.

— Нежирного и хорошо прожаренного,— ответил сей джентльмен.

Выполнив эти приказания и положив доктору умеренную порцию (Бритен как будто знал, что молодежь и не думает о еде), он стал около владельцев юридической конторы настолько близко, насколько это позволяли приличия, и строгим взором наблюдал, как они расправлялись с мясом, причем он один лишь раз утратил суровое выражение лица. Это случилось, когда мистер Крегс, чьи зубы были не в блестящем состоянии, чуть не подавился; тогда Бритен, внезапно оживившись, воскликнул: «Я думал уж, ему крышка!»

— Ну, Элфред,— сказал доктор,— давай поговорим о деле, пока мы завтракаем.

— Пока мы завтракаем,— сказали Сничи и Крегс, которые, видимо, не собирались прекращать это занятие.

Элфред не завтракал, а дел у него, должно быть, и без того хватало, но он почтительно ответил:

— Пожалуйста, сэр.

— Если и может быть что-нибудь серьезное,— начал доктор,— в таком...

— ...фарсе, как жизнь, сэр,— докончил Элфред.

— ...в таком фарсе, как жизнь,— подтвердил доктор,— так это, что мы сегодня накануне разлуки жениха и невесты празднуем их день рождения... ведь это день, связанный со многими воспоминаниями, приятными для нас четверых, и с памятью о долгой дружбе. Впрочем, это не относится к делу.

— Ах, нет, нет, доктор Джедлер! — возразил молодой человек.— Это относится к делу, прямо к нему относится, и нынче утром об этом говорит мое сердце, да и ваше также, я знаю,— только не мешайте ему. Сегодня я уезжаю из вашего дома; с нынешнего дня я перестаю быть вашим подопечным; наши давние дружеские отношения прерываются и уже не возобновятся в том же самом виде; зато нас свяжут иные отношения,— он взглянул на Мэрьон, сидевшую рядом с ним,— но они столь значительны, что я не решаюсь говорить о них сейчас. Ну, ну, доктор,— добавил он, повеселев и слегка посмеиваясь над доктором,— есть же хоть зернышко серьезности в этой огромной мусорной куче нелепостей! Давайте согласимся сегодня, что хоть одно-то есть.

— Сегодня! — вскричал доктор.— Что он только болтает! Ха-ха-ха! «Согласимся сегодня». Надо же выбрать из всех дней всего нелепого года именно этот день! Да ведь сегодня — годовщина великой битвы, разыгравшейся тут, на этом самом месте. Ведь здесь, где мы теперь сидим, где я видел сегодня утром, как плясали мои девочки, где только что для нас собирали яблоки, с этих вот деревьев, корни которых вросли не в почву, а в людей,— здесь погибло столько жизней, что десятки лет спустя, уже на моей памяти, целое кладбище, полное костей, костной пыли и обломков разбитых черепов, было вырыто из земли вот тут, под нашими ногами. Однако из всех участников этой битвы не наберется и ста чело-

век, знавших, за что они сражаются и почему, а из всех легкомысленных, но ликующих победителей — и сотни, знавших, почему они ликуют. Не наберется и полсотни человек, получивших пользу от победы или поражения. Не наберется и полдюжины, согласных между собой насчет причин этой битвы, или ее последствий, и, короче говоря, никто не составил себе о ней определенного мнения, кроме тех, кто оплакивал убитых. Ну, что же тут серьезного? — докончил со смехом доктор.— Сплошная чепуха!

— Но мне все это кажется очень серьезным,— сказал Элфред.

— Серьезным! — воскликнул доктор.— Если это считать серьезным, так надо сойти с ума или умереть, или влезть на вершину горы и сидеть на ней отшельником.

— К тому же... все это было так давно,— проговорил Элфред.

— Давно! — подхватил доктор.— А ты знаешь, что делали люди с тех пор? Знаешь ты, что еще они делали? Я-то уж, во всяком случае, не знаю!

— Они порою начинали тяжбу в суде,— заметил мистер Сничи, помешивая ложечкой чай.

— К сожалению, закончить ее всегда было слишком просто,— сказал его компаньон.

— И вы извините меня, доктор,— продолжал мистер Сничи,— если я выскажу свое мнение, хотя вы уже тысячи раз имели возможность слышать его во время наших дискуссий: в том, что люди обращались в суд, и вообще во всей их судебной системе я вижу нечто серьезное, право же, нечто осязаемое, нечто действующее с сознательным и определенным намерением...

Клеменси Ньюком угловатым движением толкнула стол, и раздался громкий стук чашек и блюдцев.

— Эй! Что там такое? — вскричал доктор.

— Да все этот зловредный синий мешок,— сказала Клеменси,— вечно подвертывается под ноги.

— С определенным и сознательным намерением, как я уже говорил,— продолжал Сничи,— а это вызывает уважение. Вы говорите, что жизнь — это фарс, доктор Джедлер? Несмотря на то, что в ней есть суд?

Доктор рассмеялся и взглянул на Элфреда.

— Согласен с вами, что война безумие,— сказал Сничи.— В этом мы сходимся. Объяснюсь подробнее: вот цветущая местность,— он ткнул вилкой в пространство,— некогда наводненная солдатами (которые все поголовно беззаконно нарушали границы чужих владений) и опустошенная огнем и мечом. Да-да-да! Подумать только, что находятся люди, добровольно подвергающие себя огню и мечу! Глупо, расточительно, прямо-таки нелепо; когда об этом думаешь, нельзя не смеяться над своими ближними! Но посмотрите на эту цветущую местность, какой она стала теперь. Вспомните о законах, касающихся недвижимого имущества, наследования и завещания недвижимого имущества: залога и выкупа недвижимого имущества; пользования землей на правах аренды, владения ею, сдачи в аренду с условием вносить поземельный налог; вспомните,— продолжал мистер Сничи, который так разволновался, что даже причмокнул,— вспомните о сложнейших законах, касающихся прав на владение и доказательства этих прав, вместе со всеми связанными с ними противоречащими один другому прецедентами и постановлениями парламента; подумайте о бесчисленном количестве хитроумных и бесконечных тяжб в Канцлерском суде, которым может положить начало эта приятная местность, и сознайтесь, доктор, что в жизни нашей имеется кое-что светлое! Я полагаю,— добавил мистер Сничи, взглянув на компаньона,— что говорю за себя и за Крегса.

Мистер Крегс знаком выразил согласие с этими словами, и мистер Сничи, несколько освеженный своим красноречием, сказал, что не прочь съесть еще немножко мяса и выпить еще чашку чаю.

— Я не поклонник жизни вообще,— продолжал он, потирая руки и посмеиваясь,— ибо она полна нелепостей; полна еще худших вещей. Ну а разговоры о верности, доверии, бескорыстии и тому подобном! Какая все это чепуха! Мы знаем им цену. Но вы не должны смеяться над жизнью. Вам нужно разыгрывать игру; поистине очень серьезную игру! Все и каждый играют против вас, заметьте себе, а вы играете против них. Да, все это весьма интересно! На этой шахматной доске иные ходы очень хитроумны. Смейтесь, только когда вы выигрываете, доктор Джедлер, да и то не слишком громко. Да-да-да! И то

не слишком громко,— повторил Сничи, качая головой и подмигивая с таким видом, словно хотел сказать: «Лучше не смейтесь, а тоже качайте головой и подмигивайте!»

— Ну, Элфред, что ты теперь скажешь? — воскликнул доктор.

— Я скажу, сэр,— ответил Элфред,— что вы, помоему, окажете мне да и себе самому величайшее благодеяние, если постараетесь иногда забывать об этом поле битвы и ему подобных ради более обширного поля битвы Жизни, на которое каждый день взирает солнце.

— Боюсь, что взгляды доктора от этого не смягчатся, мистер Элфред,— сказал Сничи.— Ведь в этой «битве жизни» противники сражаются очень яростно и очень ожесточенно. То и дело рубят, режут и стреляют людям в затылок. Топчут друг друга и попирают ногами. Прескверное занятие.

— А я, мистер Сничи,— сказал Элфред,— верю, что, несмотря на кажущееся легкомыслие людей и противоречивость их характера, бывают в битве жизни бесшумные победы и схватки, встречаются великое самопожертвование и благородное геройство, которые ничуть не становятся легче от того, что о них не говорят и не пишут; эти подвиги совершаются каждый день в глухих углах и закоулках, в скромных домиках и в сердцах мужчин и женщин; и любой из таких подвигов мог бы примирить с жизнью самого сурового человека и внушить ему веру и надежду, хотя бы две четверти человечества воевали между собой, а третья четверть судилась с ними; и это важный вывод.

Сестры внимательно слушали.

— Ну, ну,— сказал доктор,— слишком я стар, чтобы менять свои убеждения даже под влиянием присутствующего здесь моего друга Сничи или моей доброй незамужней сестры Марты Джедлер, которая когда-то давно пережила всякие, как она это называет, семейные злоключения и с тех пор всегда сочувствует всем и каждому; а взгляды ее настолько совпадают с вашими (хотя, будучи женщиной, она менее благоразумна и более упряма), что мы с нею никак не можем поладить и редко встречаемся. Я родился на этом поле битвы. Когда я был мальчиком, мысли мои были заняты подлинной историей этого

поля битвы. Шестьдесят лет промчались над моей головой, и я видел, что весь христианский мир, в том числе множество любящих матерей и добрых девушек, вроде моих дочек, прямо-таки увлекаются полями битвы. И во всем такие же противоречия. Остается только либо смеяться, либо плакать над столь изумительной непоследовательностью, и я предпочитаю смеяться.

Бритен, слушавший с глубочайшим и чрезвычайно меланхоличным вниманием каждого из говоривших, должно быть внезапно решил последовать совету доктора, если только можно было назвать смехом тот глухой, замогильный звук, что вырвался из его груди. Впрочем, и до и после этого лицо его оставалось неподвижным, и хотя кое-кто из сидевших за завтраком оглянулся, удивленный загадочным звуком, но никто не понял, откуда этот звук исходит. Никто — кроме Клеменси Ньюком, служившей вместе с Бритеном за столом, а та, расшевелив его одним из своих излюбленных суставов — локтем,— спросила укоризненным шепотом, над кем он смеется.

— Не над тобой! — сказал Бритен.

— А над кем же?

— Над человечеством,— ответил Бритен.— Вот в чем дело!

— Наслушался хозяина да сутяг этих, вот и дуреет с каждым днем! — вскричала Клеменси, ткнув Бритена другим локтем для возбуждения его умственной деятельности.— Да знаешь ты или нет, где ты сейчас находишься? Хочешь, чтобы тебя уволили?

— Ничего я не знаю,— проговорил Бритен со свинцовым взором и неподвижным лицом.— Ничем не интересуюсь. Ничего не понимаю. Ничему не верю. И ничего не желаю.

Столь безнадежная характеристика его душевного состояния, возможно, была несколько преувеличена им самим в припадке уныния, однако Бенджамин Бритен, которого иногда в шутку называли «Мало-Бритеном», намекая на сходство его фамилии с названием «Великобритания», но желая отметить различие между ними (ведь мы иногда говорим «Молодая Англия» *, одновременно подчеркивая и ее связь со «Старой Англией» и их различие) — Бенджамин Бритен обрисовал свое умонастроение,

в общем, довольно точно. Ведь для доктора он был примерно тем, чем Майлс был для монаха Бэкона *, и, слушая изо дня в день, как доктор разглагольствует перед разными людьми, стремясь доказать, что самое существование человека в лучшем случае только ошибка и нелепость, несчастный слуга постепенно погряз в такой бездне путаных и противоречивых размышлений, что Истина, которая, как говорится, «обитает на дне колодца», показалась бы плавающей по поверхности в сравнении с Бритеном, погруженным в бездонные глубины своих заблуждений. Одно он понимал вполне: новые мысли, обычно привносимые в эти дискуссии Сничи и Крегсом, не способствовали разъяснению его недоумений, но почему-то всегда давали доктору преимущество и подтверждали его взгляды. Поэтому Бритен ненавидел владельцев юридической конторы, усматривая в них одну из ближайших причин своего душевного состояния.

— Но не об этом речь, Элфред,— сказал доктор.— Сегодня ты (по твоим же словам) выходишь из-под моей опеки и покидаешь нас, вооруженный до зубов теми знаниями, которые получил в здешней школе и затем в Лондоне, а также той практической мудростью, которую мог тебе привить такой скромный старый деревенский врач, как я. Сегодня ты вступаешь в жизнь. Кончился первый испытательный срок, назначенный твоим покойным отцом, и ты — теперь уже сам себе хозяин — уезжаешь, чтобы исполнить его второе желание. Три года ты проведешь за границей, знакомясь с тамошними медицинскими школами, и уж конечно еще задолго до возвращения ты забудешь нас. Да что там! и полугода не пройдет, как ты нас позабудешь!

— Я забуду!.. Впрочем, вы сами все знаете, что мне с вами говорить! — со смехом сказал Элфред.

— Ничего я не знаю,— возразил доктор.— А ты что скажешь, Мэрьон?

Мэрьон, водя пальчиком по своей чайной чашке, видимо хотела сказать,— но не сказала,— что Элфред волен забыть их, если сможет. Грейс прижала к щеке цветущее личико сестры и улыбнулась.

— Надеюсь, я не был слишком нерадивым опекуном,— продолжал доктор,— но, во всяком случае, сегодня

утром меня должны формально уволить, освободить — и как это еще называется? — от моих опекунских обязанностей. Наши друзья Сничи и Крегс явились сюда с целым мешком всяких бумаг, счетов и документов, чтобы ввести тебя во владение состоявшим под моей опекой имуществом (жаль, невелико оно, так что распоряжаться им было нетрудно, Элфред, но ты станешь большим человеком и увеличишь его); иначе говоря, придется составить какие-то смехотворные бумажонки, а потом подписать, припечатать и вручить их тебе.

— А также надлежащим образом засвидетельствовать, согласно закону,— сказал Сничи, отодвинув свою тарелку и вынимая из мешка бумаги, которые его компаньон принялся раскладывать на столе.— Но так как я и Крегс распоряжались наследством вместе с вами, доктор, мы попросим обоих ваших слуг засвидетельствовать подписи. Вы умеете читать, миссис Ньюком?

— Я незамужняя, мистер,— поправила его Клеменси.

— Ах, простите! И как это я сам не догадался? — усмехнулся Сничи, бросая взгляд на необычайную фигуру Клеменси.— Вы *умеете* читать?

— Немножко,— ответила Клеменси.

— Утром и вечером читаете требник,— там, где написано про обряд венчания,— а? — в шутку спросил поверенный.

— Нет,— ответила Клеменси.— Это для меня трудно. Я читаю только наперсток.

— Читаете наперсток! — повторил Сничи.— Что вы этим хотите сказать, милейшая?

Клеменси кивнула головой:

— А еще терку для мускатных орехов.

— Да она не в своем уме! Это случай для Канцлерского суда! * — сказал Сничи, воззрившись на нее.

— ...если только у нее есть имущество,— ввернул Крегс.

Тут вступилась Грейс, объяснив, что на обоих упомянутых предметах выгравировано по изречению, и они, таким образом, составляют карманную библиотеку Клеменси, ибо она не охотница читать книги.

— Так, так, мисс Грейс! — проговорил Сничи.— Ха-ха-ха! А я было принял эту особу за слабоумную. Уж

очень похоже на то,— пробормотал он, поглядев на Клеменси.— Что же говорит наперсток, миссис Ньюком?

— Я незамужняя, мистер,— снова поправила его Клеменси.

— Ладно, скажем просто Ньюком. Годится? — сказал юрист.— Так что же говорит наперсток, Ньюком?

Не стоит говорить о том, как Клеменси, не ответив на вопрос, раздвинула один из своих карманов и заглянула в его зияющие глубины, ища наперсток, которого там не оказалось, и как она потом раздвинула другой карман, и, должно быть, усмотрев там искомый наперсток, словно драгоценную жемчужину, на самом дне, принялась устранять все мешающие ей препятствия, а именно: носовой платок, огарок восковой свечки, румяное яблоко, апельсин, монетку, которую хранила на счастье, баранью косточку, висячий замок, большие ножницы в футляре (точнее было бы назвать их недоросшими ножницами для стрижки овец), целую горсть феснизанных бус, несколько клубков бумажных ниток, игольник, коллекцию папильоток для завивки волос и сухарь, и как она вручала Бритену все эти предметы, один за другим, чтобы тот подержал их.

Не стоит говорить и о том, что в своей решимости схватить этот карман за горло и держать его в плену (ибо он норовил вывернуться и зацепиться за ближайший угол) она вся изогнулась и невозмутимо стояла в позе, казалось бы, несовместимой с человеческим телосложением и законами тяготения. Достаточно сказать, что она в конце концов торжествующе напялила наперсток на палец и забренчала теркой для мускатных орехов, причем оказалось, что запечатленные на них литературные произведения были уже почти неразборчивы — так часто эти предметы чистили и натирали.

— Это, стало быть, и есть наперсток, милейшая? — спросил мистер Сничи, посмеиваясь над Клеменси.— Что же говорит наперсток?

— Он говорит,— ответила Клеменси и, поворачивая наперсток, стала читать надпись на нем, но так медленно, как будто эта надпись опоясывала не наперсток, а башню,— он говорит: «Про-щай оби-ды, не пом-ни зла».

Сничи и Крегс расхохотались от всей души.

— Как ново! — сказал Сничи.

— Чересчур просто! — отозвался Крегс.

— Какое знание человеческой натуры! — заметил Сничи.

— Неприложимо к жизни! — подхватил Крегс.

— А мускатная терка? — вопросил глава фирмы.

— Терка говорит,— ответила Клеменси: — «Поступай... с другими так... как... ты... хочешь... чтобы поступали с тобой».

— Вы хотите сказать: «Наступай на других, а не то на тебя наступят»?

— Это мне непонятно,— ответила Клеменси, недоуменно качая головой.— Я ведь не юрист.

— Боюсь, что будь она юристом, доктор,— сказал мистер Сничи, внезапно повернувшись к хозяину и, видимо, желая предотвратить возможные отклики на ответ Клеменси,— она бы скоро убедилась, что это — золотое правило половины ее клиентов. В этом отношении они достаточно серьезны (хотя, по-вашему, жизнь — просто шутка), а потом валят вину на нас. Мы, юристы, в конце концов всего только зеркала, мистер Элфред; но с нами обычно советуются сердитые и сварливые люди, которые не блещут душевной красотой, и, право же, несправедливо ругать нас за то, что мы отражаем неприглядные явления. Я полагаю,— добавил мистер Сничи,— что говорю за себя и за Крегса.

— Безусловно,— подтвердил Крегс.

— Итак, если мистер Бритен будет так любезен снабдить нас глоточком чернил,— сказал мистер Сничи, снова принимаясь за свои бумаги,— мы подпишем, припечатаем и вручим, и давайте-ка сделаем это поскорее, а то не успеем мы оглянуться, как почтовая карета проедет мимо.

Что касается мистера Бритена, то, судя по его лицу, можно было сказать с уверенностью, что карета проедет раньше, чем успеет оглянуться он, ибо стоял он с отсутствующим видом, мысленно противопоставляя доктора поверенным, поверенных доктору, а их клиентов — всем троим, и в то же время тщетно стараясь примирить изречения на мускатной терке и наперстке (новые для него) со всеми прочими философскими системами и

путаясь так же, как путалась его великая тезка Британия во всяких теориях и школах. Но Клеменси, которая и на этот раз, как всегда, выступила в роли его доброго гения (хотя он ни во что не ставил ее умственные способности, ибо она редко утруждала себя отвлеченными размышлениями, зато неизменно оказывалась под рукой и вовремя делала все, что нужно),— Клеменси во мгновение ока принесла чернила и оказала ему еще одну услугу: привела его в себя с помощью своих локтей и столь успешно расшевелила его память — в более буквальном смысле слова, чем это обычно говорится,— этими легкими тычками, что он сразу же оживился и приободрился.

Как он терзался — подобно многим людям его звания, не привыкшим к перу и чернилам,— не решаясь поставить свое имя на документе, написанном не им самим, из боязни запутаться в каком-то темном деле или каким-то образом задолжать неопределенную, но громадную сумму денег, и как он, наконец, приблизился к документам,— приблизился неохотно и лишь под давлением доктора; и как он отказывался подписаться, пока не просмотрел всех бумаг (хотя они были для него китайской грамотой, по причине неразборчивого почерка, не говоря уж о канцелярском стиле изложения), и как он перевертывал листы, чтобы убедиться, нет ли какого подвоха на оборотной стороне; и как, подписавшись, он пришел в отчаяние, подобно человеку, лишенному состояния и всех прав,— рассказать обо всем этом мне не хватит времени. Не расскажу я и о том, как он сразу же воспылал таинственным интересом к синему мешку, поглотившему его подпись, и был уже не в силах отойти от него ни на шаг; не расскажу и о том, как Клеменси Ньюком, заливаясь ликующим смехом при мысли о важности и значении своей роли, сначала разлеглась по всему столу, расставив локти, подобно орлу с распростертыми крыльями, и склонила голову на левую руку, а потом принялась чертить какие-то кабалистические знаки, весьма расточительно тратя чернила и одновременно проделывая вспомогательные движения языком. Не расскажу и о том, как она, однажды познакомившись с чернилами, стала жаждать их, подобно тому, как ручные тигры будто бы жаждут некоей иной жидкости, если

они ее хоть раз отведали, и как стремилась подписать решительно все бумаги и поставить свое имя всюду, где только можно. Короче говоря, доктора освободили от опекунства и связанной с этим ответственности, а Элфреда, принявшего ее на себя, снарядили в жизненный путь.

— Бритен! — сказал доктор.— Бегите к воротам и посмотрите, не едет ли почтовая карета. Время бежит, Элфред!

— Да, сэр, да! — поспешно ответил молодой человек.— Милая Грейс, одну минутку! Мою Мэрьон, такую юную и прекрасную и всех пленяющую, мою Мэрьон, что мне дороже всего на свете... я оставляю, запомните это, Грейс!.. на ваше попечение!

— Заботы о ней всегда были для меня священными, Элфред. А теперь будут священны вдвойне. Поверьте, я свято исполню вашу просьбу.

— Я знаю, Грейс. Я в этом уверен. Да и кто усомнится в этом, глядя на ваше лицо и слыша ваш голос? Ах, Грейс! Если бы я обладал вашим уравновешенным сердцем и спокойным умом, с какой твердостью духа я уезжал бы сегодня.

— Разве? — отозвалась она с легкой улыбкой.

— И все же, Грейс... нет,— сестра, вот как вас надо называть.

— Да, называйте меня так! — быстро отозвалась она.— Я рада этому. Не называйте меня иначе.

— ...и все же, сестра,— сказал Элфред,— мы с Мэрьон предпочтем, чтобы ваша верность и постоянство пребывали здесь на страже нашего счастья. Даже будь это возможно, я не стал бы увозить их с собой, хоть они и послужили бы мне большой поддержкой!

— Почтовая карета поднялась на пригорок! — крикнул Бритен.

— Время не ждет, Элфред,— сказал доктор.

Мэрьон все время стояла в стороне, опустив глаза, а теперь, услышав крик Бритена, юный жених нежно подвел ее к сестре, и та приняла ее в свои объятия.

— Милая Мэрьон, я только что говорил Грейс,— начал он,— что, разлучаясь с вами, я вверяю вас ее попечению, как свое сокровище. А когда я вернусь

и потребую вас обратно, любимая, и начнется наша светлая совместная жизнь, мы с величайшей радостью вместе станем думать о том, как нам сделать счастливой нашу Грейс; как нам предупреждать ее желания; как выразить ей нашу благодарность и любовь; как вернуть ей хоть часть долга, который накопится к тому времени.

Одна рука Мэрьон лежала в его руке; другая обвивала шею сестры. Девушка смотрела в эти сестринские глаза, такие спокойные, ясные и радостные, взглядом, в котором любовь, восхищение, печаль, изумление, почти благоговение слились воедино. Она смотрела в это сестринское лицо, точно оно было лицом сияющего ангела. Спокойным, ясным, радостным взглядом отвечала Грейс сестре и ее жениху.

— Когда же наступит время,— а оно должно когда-нибудь наступить,— сказал Элфред,— и я удивляюсь, почему оно еще не наступило, но Грейс про то лучше знает, ведь Грейс всегда права,— когда же и для нее наступит время избрать себе друга, которому она сможет открыть все свое сердце и который станет для нее тем, чем она была для нас, тогда, Мэрьон, мы докажем ей свою преданность, и — до чего радостно нам будет знать, что она, наша милая, добрая сестра, любит и любима так, как мы ей этого желаем!

Младшая сестра все еще смотрела в глаза старшей, не оглядываясь даже на жениха. А честные глаза старшей отвечали Мэрьон и ее жениху все тем же спокойным ясным, радостным взглядом.

— А когда все это уйдет в прошлое и мы состаримся и будем жить вместе (а мы непременно будем жить вместе, все вместе!) и будем часто вспоминать о прежних временах,— продолжал Элфред,— то эти дни покажутся нам самыми лучшими из всех, а нынешний день особенно, и мы будем рассказывать друг другу о том, что думали и чувствовали, на что надеялись и чего боялись перед разлукой и как невыносимо трудно нам было расставаться...

— Почтовая карета едет по лесу! — крикнул Бритен.

— Я готов!.. И еще мы будем говорить о том, как снова встретились и были так счастливы, несмотря ни на что; и этот день мы будем считать счастливейшим в году

и праздновать его как тройной день рождения. Не правда ли, милая?

— Да! — живо откликнулась старшая сестра с сияющей улыбкой.— Да! Но, Элфред, не медлите. Время на исходе. Проститесь с Мэрьон. И да хранит вас бог!

Он прижал к груди младшую сестру. А она освободилась из его объятий, снова прижалась к Грейс, и глаза ее, отражавшие столько разнородных чувств, встретились опять с глазами сестры, такими спокойными, ясными и радостными.

— Счастливый путь, мальчик мой! — сказал доктор.— Конечно, говорить о каких-либо серьезных отношениях или серьезных привязанностях и взаимных обязательствах и так далее в таком... ха-ха-ха! Ну, да ты и так знаешь мои взгляды — все это, разумеется, сущая чепуха. Скажу лишь одно: если вы с Мэрьон будете по-прежнему упорствовать в своих смешных намерениях, я не откажусь взять тебя когда-нибудь в зятья.

— Карета на мосту! — крикнул Бритен.

— Иду, иду! — сказал Элфред, крепко пожимая руку доктору.— Думайте обо мне иногда, старый друг и опекун, думайте хоть сколько-нибудь серьезно, если можете. Прощайте, мистер Сничи! До свидания, мистер Крегс!

— Едет по дороге! — крикнул Бритен.

— Надо же поцеловать Клеменси Ньюком ради старого знакомства. Жму вашу руку, Бритен! Мэрьон, милая моя, до свидания! Сестра Грейс, не забудьте!

Спокойная, скромная, она вместо ответа повернулась к нему лицом, сияющим и прекрасным; а Мэрьон не шевельнулась, и глаза ее не изменили выражения.

Почтовая карета подкатила к воротам. Началась суета с укладкой багажа. Карета отъехала. Мэрьон стояла недвижно.

— Он машет тебе шляпой, милочка,— сказала Грейс.— Избранный тобою муж, дорогая! Посмотри!

Младшая сестра подняла голову и чуть повернула ее. Потом отвернулась снова, потом пристально заглянула в спокойные глаза сестры и, рыдая, бросилась ей на шею.

— О Грейс! Благослови тебя бог! Но я не в силах видеть это, Грейс! Сердце разрывается!

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

На древнем поле битвы у Сничи и Крегса была благоустроенная небольшая контора, в которой они вели свое благоустроенное небольшое дело и сражались во многих мелких, но ожесточенных битвах от имени многих тяжущихся сторон. О них вряд ли можно было сказать, что в атаку они ходили бегом — напротив, борьба шла черепашьим шагом,— однако участие в ней владельцев фирмы очень напоминало участие в настоящей войне: они то стреляли в такого-то истца, то целились в такого-то ответчика, то бомбардировали в Канцлерском суде чье-то недвижимое имущество, то бросались в драку с иррегулярным отрядом мелких должников,— все это в зависимости от обстоятельств и от того, с какими врагами приходилось сталкиваться. «Правительственный вестник» был столь же важным и полезным орудием на некоторых полях их деятельности, как и на других, более знаменитых полях битв; и про большинство сражений, в которых они показывали свое военное искусство, спорящие стороны впоследствии говорили, что им было очень трудно обнаружить друг друга или достаточно ясно разобрать, что с ними происходит,— столько им напустили дыму в глаза.

Контора господ Сничи и Крегса была удобно расположена на базарной площади, и в нее вела открытая дверь и две пологие ступеньки вниз, так что любой сердитый фермер, частенько попадающий впросак, мог с легкостью попасть в нее. Палатой для совещаний и залом для заседаний им служила невзрачная задняя комната наверху, с низким, темным потолком, который, казалось, мрачно хмурился, раздумывая над путаными параграфами закона. В этой комнате стояло несколько кожаных кресел с высокими спинками, утыканных большими медными гвоздями с пучеглазыми шляпками, причем в каждом кресле не хватало двух-трех гвоздей, выпавших или, быть может, бессознательно извлеченных большим и указательным пальцами сбитых с толку клиентов. На стене висела гравюра в рамке, изображавшая знаменитого судью в устрашающем парике, каждый локон

которого внушал людям такой ужас, что их собственные волосы вставали дыбом. Пыльные шкафы, полки и столы были битком набиты кипами бумаг, а у стен, обшитых деревянной панелью, стояли рядами запертые на замок несгораемые ящики; на каждом было написано краской имя того, чьи документы там хранились, и эти имена обладали свойством притягивать взор сидящих здесь взволнованных посетителей, которые, словно околдованные злой силой, невольно читали их слева направо и справа налево и составляли из них анаграммы, делая вид, что слушают Сничи и Крегса, но не понимая ни слова в их речах.

У Сничи и Крегса, компаньонов в делах, было по компаньону и в частной жизни, иначе говоря, по законной супруге. Но если Сничи и Крегс были близкими друзьями и вполне доверяли друг другу, то миссис Сничи, как это нередко бывает в делах жизни, принципиально сомневалась в Крегсе, а миссис Крегс принципиально сомневалась в Сничи.

— Ох, уж эти мне ваши Сничи! — неодобрительно говорила иногда миссис Крегс мистеру Крегсу, произвольно употребляя множественное число, как если бы речь шла о каких-нибудь негодных штанах или другом предмете, не имеющем единственного числа.— Я просто не могу понять, что вы видите в ваших Сничи... Вы, по-моему, доверяете вашим Сничи гораздо больше, чем следует, и, и от души желаю, чтобы вам не пришлось когда-нибудь убедиться в моей правоте.

А миссис Сничи так говорила мистеру Сничи о Крегсе:

— Кто-кто, а уж этот человек безусловно водит вас за нос,— ни в чьих глазах не доводилось мне видеть такого двуличия, как в глазах Крегса.

Однако, несмотря на это, все они, в общем, дружили между собой, а миссис Сничи и миссис Крегс даже основали крепкий союз, направленный против «конторы», почитая ее общим своим врагом и хранилищем страшных тайн, в котором творятся неведомые, а потому опасные козни.

Тем не менее в этой конторе Сничи и Крегс собирали мед для своих семейных ульев. Здесь они иногда в ясный

вечер засиживались у окна своей комнаты для совещаний, выходившей на древнее поле битвы, и дивились (обычно это бывало во время судебных сессий, когда обилие работы приводило юристов в сентиментальное расположение духа),— дивились безумию людей, которые не понимают, что гораздо лучше жить в мире, а для решения своих распрей спокойненько обращаться в суд. Дни, недели, месяцы, годы проносились здесь над ними, отмеченные календарем, постепенным исчезновением медных гвоздей с кожаных кресел и растущими кипами бумаг на столах. За три года, без малого, пролетевших со времени завтрака в плодовом саду, один из поверенных исхудел, а другой потолстел, и здесь они сидели однажды вечером и совещались.

Не одни, но с человеком лет тридцати, который был худощав, бледен и небрежно одет, но тем не менее хорош собой, хорошо сложен и носил хороший костюм, а сейчас сидел в самом парадном кресле, заложив одну руку за полу сюртука и запустив другую в растрепанные волосы, погруженный в унылое раздумье. Господа Сничи и Крегс сидели близ него за письменным столом друг против друга. На столе стоял несгораемый ящик, без замка и открытый; часть его содержимого была разбросана по столу, а остальное беспрерывно проходило через руки мистера Сничи, который подносил к свече один документ за другим и, отбирая бумаги, просматривал каждую в отдельности, качал головой и передавал бумагу мистеру Крегсу, который тоже просматривал ее, качал головой и клал на стол. Время от времени они бросали работу и, словно сговорившись, смотрели на своего рассеянного клиента, покачивая головой. На ящике было написано: «Майкл Уордн, эсквайр», а значит, мы можем заключить, что и это имя и ящик принадлежали молодому человеку и что дела Майкла Уордна, эсквайра, были плохи.

— Все,— сказал мистер Сничи, перевернув последнюю бумагу.— Другого выхода действительно нет. Другого выхода нет.

— Все проиграно, истрачено, промотано, заложено взято в долг и продано. Так? — спросил клиент, поднимая голову.

— Все,— ответил мистер Сничи.

— И сделать ничего нельзя, так вы сказали?

— Решительно ничего.

Клиент принялся грызть себе ногти и снова погрузился в раздумье.

— И мне даже опасно оставаться в Англии? Вы это утверждаете, а?

— Вам опасно оставаться в любой части Соединенного королевства Великобритании и Ирландии,— ответил мистер Сничи.

— Значит, я просто-напросто блудный сын, не имеющий ни отца, к которому можно вернуться, ни свиней, которых можно пасти, ни отрубей, которыми можно питаться вместе со свиньями? Так? — продолжал клиент, покачивая одной ногой, закинутой на другую, и глядя в пол.

Мистер Сничи кашлянул, видимо не считая уместной столь образную характеристику положения, предусмотренного законом. Мистер Крегс тоже кашлянул, как бы желая выразить, что разделяет мнение своего компаньона.

— Разорен в тридцать лет! — проговорил клиент.— Недурно!

— Не разорены, мистер Уордн,— возразил Сничи.— Дело не так уж плохо. Вы всеми силами старались разориться, должен признать, но вы еще не разорены. Немножко навести порядок в...

— К черту порядок! — воскликнул клиент.

— Мистер Крегс,— сказал Сничи,— вы не одолжите мне щепотки табаку? Благодарю вас, сэр.

Невозмутимый поверенный взял понюшку, видимо испытывая при этом большое удовольствие, и ни на что другое не обращая внимания, а клиент мало-помалу повеселел, улыбнулся и, подняв голову, сказал:

— Вы говорите — навести порядок в моих делах? А как долго придется наводить в них порядок?

— Как долго придется наводить в них порядок? — повторил Сничи, стряхивая с пальцев табак и неторопливо подсчитывая что-то в уме.— В ваших расстроенных делах, сэр? Если они будут в хороших руках? Скажем, в руках Сничи и Крегса? Шесть-семь лет.

— Шесть-семь лет умирать с голоду! — проговорил клиент с нервным смехом и в раздражении переменил позу.

— Шесть-семь лет умирать с голоду, мистер Уорди,— промолвил Сничи,— это было бы поистине необычайно. За это время вы, показывая себя за деньги, могли бы нажить другое состояние. Но мы не считаем вас способным на это — говорю за себя и за Крегса,— и, следовательно, не советуем этого.

— Ну а что же вы советуете?

— Необходимо привести в порядок ваши дела, как я уже сказал,— повторил Сничи.— Если мы с Крегсом за это возьмемся, то через несколько лет они поправятся. Но чтобы дать нам возможность заключить с вами соглашение и соблюдать его, а вам — выполнить это соглашение, вы должны уехать, вы должны пожить за границей. Что же касается голодной смерти, то мы с самого начала могли бы обеспечить вам несколько сотен годового дохода... чтобы вам на эти деньги умирать с голоду... так-то, мистер Уорди.

— Сотен! — проговорил клиент.— А я тратил тысячи!

— В этом нет никакого сомнения,— заметил мистер Сничи, неторопливо убирая бумаги в железный ящик.— Ника-ко-го сомнения,— повторил он как бы про себя, задумчиво продолжая свое занятие.

Поверенный, очевидно, знал, с кем он имеет дело; во всяком случае, его сухость, проницательность и насмешливость благотворно повлияли на приунывшего клиента, и он сделался более непринужденным и откровенным. А может быть, и клиент знал, с кем он имеет дело, и если добивался полученного им сейчас поощрения, то — как раз затем, чтобы оправдать какие-то свои намерения, о которых он собирался сказать. Подняв голову, он смотрел на своего невозмутимого советчика с улыбкой, внезапно перешедшей в смех.

— В сущности,— проговорил он,— мой твердокаменный друг...

Мистер Сничи махнул рукой в сторону своего компаньона:

— Я говорил за себя и за Крегса.

— Прошу прощения у мистера Крегса,— сказал

клиент.— В сущности, мои твердокаменные друзья,— он наклонился вперед и слегка понизил голос,— вы еще не знаете всей глубины моего падения.

Мистер Сничи перестал убирать бумаги и воззрился на него. Мистер Крегс тоже воззрился на него.

— Я не только по уши в долгах,— сказал клиент,— но и по уши...

— Неужели влюблены!— вскричал Сничи.

— Да! — подтвердил клиент, откинувшись на спинку кресла, засунув руки в карманы и пристально глядя на владельцев юридической конторы.— По уши влюблен.

— Может быть — в единственную наследницу крупного состояния, сэр? — спросил Сничи.

— Нет, не в наследницу.

— Или в какую-нибудь богатую особу?

— Нет, не в богатую, насколько мне известно. Она богата лишь красотой и душевными качествами.

— В незамужнюю, надеюсь? — проговорил мистер Сничи очень выразительно.

— Конечно.

— Уж не дочка ли это доктора Джедлера? — спросил Сничи, и внезапно нагнувшись, расставил локти на коленях и вытянул вперед голову, не меньше чем на ярд.

— Да,— ответил клиент.

— Уж не младшая ли его дочь? — спросил Сничи.

— Да! — ответил клиент.

— Мистер Крегс,— сказал Сничи, у которого гора с плеч свалилась,— вы не одолжите мне еще щепотку табаку? Благодарю вас. Я рад заверить вас, мистер Уордн, что из ваших замыслов ничего не выйдет: она помолвлена, сэр, она невеста. Мой компаньон может это подтвердить. Нам это хорошо известно.

— Нам это хорошо известно,— повторил Крегс.

— Быть может, и мне это известно,— спокойно возразил клиент.— Ну и что же? Разве вы не знаете жизни и никогда не слыхали, чтобы женщина передумала?

— Случалось, конечно, что и девицы и вдовы давали обещание вступить в брак, а потом отказывали женихам, за что те предъявляли им иск о возмещении убытков,— заметил мистер Сничи,— но в большинстве подобных судебных дел...

— Каких там судебных дел! — нетерпеливо перебил его клиент.— Не говорите мне о судебных делах. Таких случаев было столько, что их описания займут целый том, и гораздо более толстый, чем любая из ваших юридических книг. Кроме того, неужели вы думаете, что я зря прожил у доктора полтора месяца?

— Я думаю, сэр,— изрек мистер Сничи, торжественно обращаясь к своему компаньону,— что если мистер Уордн не откажется от своих замыслов, то из всех бед, в какие он время от времени попадал по милости своих лошадей (а бед этих было довольно, и обходились они очень дорого, кому об этом и знать, как не ему самому, вам и мне?), самой тяжкой бедой окажется тот случай, когда одна из этих лошадей сбросила его у докторской садовой ограды и он сломал себе три ребра, повредил ключицу и получил бог знает сколько синяков. В то время мы не особенно об этом беспокоились, зная, что он живет у доктора и поправляется под его наблюдением; но теперь дело плохо, сэр. Плохо! Очень плохо. Доктор Джедлер тоже ведь наш клиент, мистер Крегс.

— Мистер Элфред Хитфилд тоже в некотором роде клиент, мистер Сничи,— проговорил Крегс.

— Мистер Майкл Уордн тоже что-то вроде клиента,— подхватил беспечный посетитель,— и довольно-таки выгодного клиента: ведь он десять — двенадцать лет валял дурака. Как бы то ни было, мистер Майкл Уордн вел себя легкомысленно — вот плоды, они в этом ящике,— а теперь он перебесился, решил раскаяться и поумнеть. В доказательство своей искренности мистер Майкл Уордн намерен, если это ему удастся, жениться на Мэрьон, прелестной докторской дочке, и увезти ее с собой.

— Право же, мистер Крегс...— начал Сничи.

— Право же, мистер Сничи и мистер Крегс,— перебил его клиент,— вы знаете свои обязанности по отношению к вашим клиентам и, конечно, осведомлены, что вам не подобает вмешиваться в обыкновенную любовную историю, в которую я вынужден посвятить вас доверительно. Я не собираюсь увозить девушку без ее согласия. Тут нет ничего противозаконного. Мистер Хитфилд никогда не был моим близким другом. Я не обманываю его

доверия. Я люблю ту, которую любит он, и если удастся, завоюю ту, которую он хотел бы завоевать.

— Не удастся, мистер Крегс,— проговорил Сничи, явно встревоженный и расстроенный.— Это ему не удастся, сэр. Она души не чает в мистере Элфреде.

— Разве? — возразил клиент.

— Мистер Крегс, она в нем души не чает, сэр,— настаивал Сничи.

— Нет; я ведь недаром прожил у доктора полтора месяца, и я скоро усомнился в этом,— заметил клиент.— Она любила бы его, если бы сестре удалось вызвать в ней это чувство. Но я наблюдал за ними: Мэрьон избегала упоминать его имя, избегала говорить о нем, малейший намек на него явно приводил ее в смятение.

— Но почему бы ей так вести себя, мистер Крегс, как вы думаете? Почему, сэр? — спросил мистер Сничи.

— Я не знаю почему, хотя причин может быть много,— ответил клиент, улыбаясь при виде того внимания и замешательства, которые отражались в загоревшихся глазах мистера Сничи, и той осторожности, с какой он вел беседу и выпытывал нужные ему сведения,— но я знаю, что она именно так ведет себя. Она была помолвлена в ранней юности — если была помолвлена, а я даже в этом не уверен,— и, возможно, жалела об этом впоследствии. Быть может (то, что я скажу сейчас, покажется фатовством, но, клянусь, я вовсе не хочу хвалиться), быть может, она полюбила меня, как я полюбил ее.

— Ай-ай! А ведь мистер Элфред был товарищем ее детских игр, вы помните, мистер Крегс,— сказал Сничи, посмеиваясь в смущении,— он знал ее чуть не с пеленок!

— Тем более вероятно, что он ей наскучил,— спокойно продолжал клиент,— и она не прочь заменить его новым женихом, который представился ей (или был представлен своей лошадью) при романтических обстоятельствах; женихом, который пользуется довольно интересной — в глазах деревенской барышни — репутацией, ибо жил беспечно и весело, не делая никому большого зла, а по своей молодости, наружности и так далее (это опять может показаться фатовством, но, клянусь, я не хочу хвастаться) способен выдержать сравнение с самим мистером Элфредом:

На последние слова возражать, конечно, не приходилось, и мистер Сничи мысленно признал это, взглянув на собеседника. В самой беспечности Майкла Уордна было что-то изящное и обаятельное. При виде его красивого лица и стройной фигуры казалось, что он может стать еще более привлекательным, если захочет, а если преодолеет свою лень и сделается серьезным (ведь он еще никогда в жизни не был серьезным), то сможет проявить большую энергию. «Опасный поклонник,— подумал проницательный юрист,— пожалуй, он способен вызвать желанную искру в глазах юной девушки».

— Теперь заметьте, Сничи,— продолжал клиент, поднявшись и взяв юриста за пуговицу,— и вы, Крегс! — Он взял за пуговицу и Крегса и стал между компаньонами так, чтобы ни один из них не смог увильнуть от него. — Я не прошу у вас совета. Вы правы, отмежевываясь от подобного дела,— такие серьезные люди, как вы, конечно не могут им заниматься. Я коротко обрисую свое положение и намерения, а потом предоставлю вам устраивать мои денежные дела как можно лучше: не забывайте, что, если я уеду вместе с прекрасной докторской дочкой (а так и будет, надеюсь, и под ее благотворным влиянием я стану другим человеком), это в первое время будет обходиться дороже, чем если бы я уехал один. Но я скоро заживу по-новому и все устрою.

— Мне кажется, лучше не слушать этого, мистер Крегс? — сказал Сничи, глядя на компаньона из-за спины клиента.

— Мне тоже так кажется,— сказал Крегс.

Но оба слушали, и очень внимательно.

— Хорошо, не слушайте,— сказал клиент.— А я все-таки продолжаю. Я не хочу просить у доктора согласия, потому что он не согласится. Но я не причиню ему никакого вреда, не нанесу никакой обиды (к тому же он сам говорит, что в таких пустяках, как жизнь, нет ничего серьезного), если спасу его дочь, мою Мэрьон, от того, что, как мне *известно,* пугает ее и приводит в отчаяние,— спасу от встречи с ее прежним женихом. Она боится его возвращения, и это истинная правда. Пока что я еще никого не обидел. А меня так травят и терзают, что я мечусь словно летучая рыба. Я скрываюсь, я не могу

жить в своем собственном доме и показаться в своей усадьбе; но и этот дом, и эта усадьба, и вдобавок много акров земли когда-нибудь снова вернутся ко мне, как вы сами уверены и заверяете меня, и через десять лет Мэрьон в браке со мной наверное будет богаче (по вашим же словам, а вы не оптимисты), чем была бы в браке с Элфредом Хитфилдом, возвращения которого она боится (не забывайте этого) и который, как и всякий другой, любит ее уж конечно не сильнее, чем я. Пока что ведь никто не обижен? Дело это безупречно чистое. У Хитфилда прав на нее не больше, чем у меня, и если она решит выбрать меня, она будет моей; а решать я предоставлю ей одной. Ну, больше вы, очевидно, не захотите слушать, и больше я вам ничего не скажу. Теперь вы знаете мои намерения и желания. Когда я должен уехать?

— Через неделю, мистер Крегс? — спросил Сничи.

— Немного раньше, мне кажется,— ответил Крегс.

— Через месяц,— сказал клиент, внимательно всмотревшись в лица компаньонов.— Так вот, в четверг через месяц. Сегодня четверг. Успех ли мне предстоит, или неудача, ровно через месяц я уеду.

— Слишком долгая отсрочка,— сказал Сничи,— слишком долгая. Но пусть будет так... («Я думал, он запросит три месяца»,— пробормотал он.) Вы уходите? Спокойной ночи, сэр.

— Спокойной ночи! — ответил клиент, пожимая руки владельцам конторы.— Вы еще увидите, как я обращу на благо свое богатство. Отныне моей путеводной звездой будет Мэрьон!

— Осторожней на лестнице, сэр,— сказал Сничи,— там эта звезда не светит. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Поверенные стояли на верхней площадке с конторскими свечами в руках и смотрели, как их клиент спускается по ступенькам. Когда он ушел, они переглянулись.

— Что вы обо всем этом думаете, мистер Крегс? — спросил Сничи.

Мистер Крегс покачал головой.

— Помнится, в тот день, когда была снята опека, вы говорили, что в их прощании было что-то странное,— сказал Сничи.

— Было,— подтвердил мистер Крегс.

— Может быть, он жестоко обманывается,— продолжал мистер Сничи, запирая на замок несгораемый ящик и убирая его,— а если нет, что ж, ведь легкомыслие и коварство довольно обычные человеческие свойства, мистер Крегс. А мне-то казалось, что ее хорошенькое личико дышит правдой. Мне казалось,— продолжал мистер Сничи, надевая теплое пальто (погода была очень холодная), натягивая перчатки и задувая одну из свечей,— что в последнее время она стала более сильной и решительной, более похожей на сестру.

— Миссис Крегс того же мнения,— сказал Крегс.

— Нынче вечером я охотно пожертвовал бы коечем,— заметил мистер Сничи, человек добросердечный,— лишь бы поверить, что мистер Уорди просчитался; но хоть он и беспечен, и капризен, и неустойчив, он кое-что понимает в жизни и людях (еще бы! ведь он недешево купил свои знания), поэтому особенно надеяться не на что. Лучше нам не вмешиваться; мы должны сидеть смирно, только это нам и остается, мистер Крегс.

— Только это,— согласился Крегс.

— Наш друг доктор смеется над такими вещами,— сказал мистер Сничи, качая головой.— Хочу верить, что ему не придется искать утешения в своей философии. Наш друг Элфред разглагольствует о битве жизни,— он снова покачал головой,— хочу верить, что ему не придется потерпеть поражение в ближайшее же время. Вы уже взяли свою шляпу, мистер Крегс? Я сейчас погашу вторую свечу.

Мистер Крегс ответил утвердительно, а мистер Сничи погасил свечу, и они ощупью выбрались из комнаты для совещаний, столь же темной теперь, как занимавшее их дело да и все судебные дела вообще.

Место действия моего рассказа переносится в маленький кабинет, где в этот самый вечер обе сестры сидели вместе с постаревшим, но еще крепким доктором у весело пылавшего камина. Грейс шила. Мэрьон читала вслух книгу, лежавшую перед нею. Доктор, в халате и туфлях, сидел, откинувшись на спинку кресла и протянув ноги на

теплый коврик, слушал чтение и смотрел на своих дочерей.

На них было очень приятно смотреть. Самый огонь домашнего очага казался еще более ярким и священным оттого, что он озарял такие чудесные лица. За три года различие между обеими сестрами несколько сгладилось, и серьезность, давно уже свойственная старшей сестре, которая провела юность без матери, отражалась теперь на светлом личике младшей, светилась в ее глазах и звучала в ее голосе. Но по-прежнему младшая казалась и прелестнее и слабее старшей; по-прежнему она как бы склоняла голову на грудь сестры, ища совета и поддержки, по-прежнему доверялась ей во всем и смотрела ей в глаза. В эти любящие глаза, по-прежнему такие радостные, спокойные и ясные.

— «И, живя в своем родном доме,— читала вслух Мэрьон,— в доме, ставшем таким дорогим для нее благодаря этим воспоминаниям, она начала понимать, что великое испытание, предстоящее ее сердцу, скоро должно наступить, и отсрочить его нельзя. О родной дом, наш утешитель и друг, не покидающий нас и когда остальные друзья уходят — расставаться с ним в любой день жизни между колыбелью и могилой...»

— Мэрьон, милая! — проговорила Грейс.

— Кошечка,— воскликнул отец,— что с тобой?

Мэрьон коснулась руки, которую ей протянула сестра, и продолжала читать, и хотя голос ее по-прежнему срывался и дрожал, она сделала усилие и овладела собой.

— «Расставаться с ним в любой день жизни между колыбелью и могилой всегда мучительно. О родной дом, столь верный нам, столь часто пренебрегаемый, будь снисходителен к тем, кто отвертывается от тебя, и не преследуй их упреками совести в их заблуждениях! Пусть ни добрые взгляды, ни памятные улыбки не сопутствуют твоему призрачному образу. Пусть ни один луч привязанности, радушия, мягкости, снисходительности, сердечности не изойдет от твоих седин. Пусть ни одно слово былой любви не зазвучит как приговор покинувшему тебя, но если ты можешь принять жесткое и суровое обличье, сделай это из сострадания к кающемуся!»

— Милая Мэрьон, сегодня не читай больше,— сказала Грейс, потому что Мэрьон расплакалась.

— Я не могу совладать с собой,— отозвалась Мэрьон и закрыла книгу.— Слова эти будто жгут меня.

Доктора все это забавляло, и он со смехом погладил младшую дочь по голове.

— Что ты? Так расстраиваться из-за какой-то книжки! — сказал доктор Джедлер.— Да ведь это всего только шрифт и бумага! Все это, право же, не стоит внимания. Принимать всерьез шрифт и бумагу так же не умно, как принимать всерьез все прочее. Вытри же глазки, милая, вытри глазки. Героиня, конечно, давным-давно вернулась домой и все обошлось, а если нет, что ж,— ведь настоящий дом — это всего лишь четыре стены, а книжный — просто тряпье и чернила... Ну, что там еще?

— Это я, мистер,— сказала Клеменси, выглянув из-за двери.

— Так, а с вами что делается? — спросил доктор.

— Ах, со мной ничего не делается,— ответила Клеменси, и это была правда, если судить по ее начисто промытому лицу, как всегда сиявшему неподдельным добродушием, которое придавало ей, как она ни была неуклюжа, очень привлекательный вид. Правда, царапины на локтях, не в пример родинкам, обычно не считаются украшением женщины, но, проходя через жизнь, лучше повредить себе в этом узком проходе локти, чем испортить характер, а характер у Клеменси был прекрасный, без единой царапинки, не хуже, чем у любой красавицы в Англии.

— Со мной ничего не делается, мистер,— сказала Клеменси, входя в комнату,— но... Подойдите немножко поближе, мистер.

Доктор, слегка удивленный, последовал этому приглашению.

— Вы сказали, что я не должна давать вам это при барышнях, помните? — проговорила Клеменси.

Заметив, как она впилась глазами в доктора и в какой необычный восторг или экстаз пришли ее локти (казалось, она обнимала самое себя), новичок в этой семье мог бы подумать что упомянутое ею «это» — по

меньшей мере целомудренный поцелуй. В самом деле, доктор и тот на мгновение встревожился, но быстро успокоился, когда Клеменси, порывшись в обоих своих карманах — сначала в одном, потом в другом, потом снова в первом,— вынула письмо, полученное по почте.

— Бритен ездил верхом по делам,— хихикнула она, протягивая доктору письмо,— увидел, что привезли почту, и подождал. В уголку стоят буквы Э. Х. Держу пари, что мистер Элфред едет домой. Быть у нас в доме свадьбе! — недаром нынче утром на моем блюдце оказались две чайные ложечки. Ох, господи, да когда же он, наконец, откроет письмо!

Ей так хотелось поскорее узнать новости, что весь этот монолог она выпалила, постепенно поднимаясь на цыпочках все выше и выше, скручивая штопором свой передник и засовывая его в рот, как в бутылку. Наконец, не выдержав ожидания,— доктор все еще не кончил читать письмо,— она снова стала на всю ступню и в немом отчаянии, не в силах дольше терпеть, накинула передник на голову, как покрывало.

— Сюда, девочки! — вскричал доктор.— Не могу удержаться: я никогда не умел хранить тайны. Впрочем, много ли найдется таких тайн, которые стоило бы хранить в этой... Ну, ладно, не о том речь! Элфред едет домой, мои милые, на днях приедет!

— На днях! — воскликнула Мэрьон.

— Ага! Книжка уже позабыта? — воскликнул доктор, ущипнув ее за щечку.— Так я и знал, что эта новость осушит твои глазки. Да. «Пусть это будет сюрпризом», говорит он в письме. Но нет, никаких сюрпризов! Элфреду надо устроить великолепную встречу.

— На днях! — повторила Мэрьон.

— Ну, может, и не «на днях», как тебе, нетерпеливой, хочется,— сказал доктор,— но все же очень скоро. Посмотрим. Посмотрим. Сегодня четверг, правда? Так вот, Элфред обещает приехать ровно через месяц.

— Ровно через месяц! — тихо повторила Мэрьон.

— Сегодня радостный день и праздник для нас,— весело проговорила Грейс, целуя ее.— Мы долго ждали его, дорогая, и, наконец, он наступил.

Мэрьон ответила улыбкой,— печальной улыбкой, но полной сестринской любви. Она смотрела в лицо сестры, слушала ее спокойный голос, когда та говорила о том, как счастливы они будут после возвращения Элфреда, и у самой Мэрьон лицо светилось надеждой и радостью.

И еще чем-то; чем-то таким, что все ярче и ярче озаряло ее лицо, затмевая все другие душевные движения, и чего я не умею определить. То было не ликование, не торжество, не пылкий восторг. Все это не проявляется так спокойно. То были не только любовь и благодарность, хотя любовь и благодарность примешивались к этому чувству. И возникло оно не из своекорыстных мыслей, ибо такие мысли не освещают чело мерцающим светом, не дрожат на устах, не потрясают души трепетом сострадания, пробегающим по всему телу.

Доктор Джедлер, вопреки всем своим философским теориям, которые он, кстати сказать, никогда не применял на практике (но так поступали и более знаменитые философы), проявлял такой живой интерес к возвращению своего бывшего подопечного и ученика, как будто в этом событии и впрямь было нечто серьезное. И вот он снова уселся в кресло, снова протянул на коврик ноги в туфлях, снова принялся читать и перечитывать письмо и обсуждать его на все лады.

— Да, была пора,— говорил доктор, глядя на огонь,— когда во время его каникул он и ты, Грейс, гуляли под ручку, словно две живые куколки. Помнишь?

— Помню,— ответила она с милым смехом, и в руках у нее быстро замелькала иголка.

— Ровно через месяц, подумать только! — задумчиво промолвил доктор.— А ведь с тех каникул как будто прошло не больше года. Где же была тогда моя маленькая Мэрьон?

— Она не отходила от сестры, даже когда была совсем маленькой,— весело проговорила Мэрьон.— Ведь Грейс была для меня всем на свете, хотя сама она тогда была еще ребенком.

— Верно, кошечка, верно! — согласился доктор.— Она была рассудительной маленькой женщиной, наша Грейс, и хорошей хозяйкой и вообще деловитой, спокойной, ласковой девочкой; терпеливо выносила наши при-

чуды, предупреждала наши желания, постоянно забывая о своих собственных, и все это — уже в раннем детстве. Ты даже в те времена никогда не была настойчивой и упрямой, милая моя Грейс... разве только с одним исключением.

— Боюсь, что с тех пор я очень изменилась к худшему,— со смехом сказала Грейс, не отрываясь от работы.— Что ж это за исключение, отец?

— Элфред, конечно! — сказал доктор.— С тобой ничего нельзя было поделать: ты просто требовала, чтобы тебя называли женой Элфреда; ну мы и называли тебя его женой, и как это ни смешно теперь, я уверен, что тебе больше нравилось бы называться женой Элфреда, чем герцогиней,— если бы мы могли присвоить тебе герцогский титул.

— Неужели? — бесстрастно проговорила Грейс.

— Как, разве ты не помнишь? — спросил доктор.

— Кажется, что-то припоминаю,— ответила она,— но смутно. Все это было так давно.— И, продолжая работать, она стала напевать припев одной старинной песенки, которая нравилась доктору.

— Скоро у Элфреда будет настоящая жена,— сказала она вдруг,— и тогда наступит счастливое время для всех нас. Три года я тебя опекала, Мэрьон, а теперь мое опекунство подходит к концу. Тебя было очень легко опекать. Я скажу Элфреду, когда верну ему тебя, что ты все это время нежно любила его и что ему ни разу не понадобилась моя поддержка. Могу я сказать ему это, милая?

— Скажи ему, дорогая Грейс,— ответила Мэрьон,— что никто не смог бы опекать меня так великодушно, благородно, неустанно, как ты, и что все это время я все больше и больше любила тебя и, боже! как же я люблю тебя теперь!

— Нет,— весело промолвила сестра, отвечая на ее объятие,— этого я ему, пожалуй, не скажу; предоставим воображению Элфреда оценить мои заслуги. Оно будет очень щедрым, милая Мэрьон, так же, как и твое.

Снова Грейс принялась за работу, которую прервала, когда сестра ее заговорила с такой страстностью; и снова Грейс запела старинную песню, которую любил доктор. А доктор по-прежнему покоился в своем кресле, протянув ноги в туфлях на коврик, слушал песню, отбивая такт у

себя на колене письмом Элфреда, смотрел на своих дочерей и думал, что из всех многочисленных пустяков нашей пустячной жизни эти пустяки едва ли не самые приятные.

Между тем Клеменси Ньюком, выполнив свою миссию и задержавшись в комнате до тех пор, пока не узнала всех новостей, спустилась в кухню, где ее сотоварищ мистер Бритен наслаждался отдыхом после ужина, окруженный столь богатой коллекцией сверкающих сотейников, начищенных до блеска кастрюль, полированных столовых приборов, сияющих котелков и других вещественных доказательств трудолюбия Клеменси, развешенных по стенам и расставленных по полкам, что казалось, будто он сидит в центре зеркального зала. Правда, вся эта утварь в большинстве случаев рисовала не очень лестные портреты мистера Бритена и отражала его отнюдь не единодушно: так, в одних «зеркалах» он казался очень длиннолицым, в других — очень широколицым, в некоторых — довольно красивым, в других — чрезвычайно некрасивым, ибо все они отражали один и тот же предмет по-разному, так же как люди по-разному воспринимают одно и то же явление. Но все они сходились в одном: посреди них сидел человек, развалившись в кресле, с трубкой во рту и с кувшином пива под рукой, человек, снисходительно кивнувший Клеменси, когда она уселась за тот же стол.

— Ну, Клемми,— произнес Бритен,— как ты себя чувствуешь и что нового?

Клеменси сообщила ему новость, которую он принял очень благосклонно. Надо сказать, что Бенджамин с головы до ног переменился к лучшему. Он очень пополнел, очень порозовел, очень оживился и очень повеселел. Казалось, что раньше лицо у него было завязано узлом, а теперь оно развязалось и разгладилось.

— Опять, видно, будет работка для Сничи и Крегса,— заметил он, лениво попыхивая трубкой.— А нас с тобой, Клемми, пожалуй, снова заставят быть свидетелями.

— Ах! — отозвалась его прекрасная соседка, излюбленным движением вывертывая свои излюбленные суставы.— Кабы это со мной было, Бритен!

— То есть?..

— Кабы это я выходила замуж,— разъяснила Клеменси.

Бенджамин вынул трубку изо рта и расхохотался от всей души.

— Хороша невеста, нечего сказать! — проговорил он.— Бедная Клем!

Клеменси тоже захохотала, и не менее искренне, чем Бритен,— видимо, ее рассмешила самая мысль о том, что она может выйти замуж!

— Да,— согласилась она,— невеста я хорошая, правда?

— Ну, ты-то уж никогда не выйдешь замуж, будь покойна,— сказал мистер Бритен, снова принимаясь за трубку.

— Ты думаешь, так-таки и не выйду? — спросила Клеменси совершенно серьезно.

Мистер Бритен покачал головой.

— Ни малейшего шанса!

— Подумать только! — воскликнула Клеменси.— Ну что ж! А ты, пожалуй, соберешься когда-нибудь жениться, Бритен, правда?

Столь прямой вопрос на столь важную тему требовал размышления. Выпустив огромный клуб дыма, мистер Бритен стал рассматривать его, наклоняя голову то вправо, то влево — словно клуб дыма и был вопросом, который предстояло рассмотреть со всех сторон,— и, наконец, ответил, что это ему еще не совсем ясно, но, впрочем... да-а... он полагает, что в конце концов вступит в брак.

— Желаю ей счастья, кто б она ни была! — вскричала Клеменси.

— Ну, счастливой она будет,— сказал Бенджамин,— в этом можешь не сомневаться.

— Но она не была бы такой счастливой,— сказала Клеменси, навалившись на стол, и, вся в мыслях о прошлом, уставилась на свечу,— и не получила бы такого общительного мужа, если бы не... (хоть я и не нарочно старалась тебя расшевелить, все вышло само собой, ей-ей) если бы не мои старанья; ведь правда, Бритен?

— Конечно,— ответил мистер Бритен, уже достигший того высокого наслаждения трубкой, когда курильщик,

разговаривая, едва в состоянии приоткрывать рот и, недвижно блаженствуя в кресле, способен повернуть в сторону соседа одни лишь глаза, и то очень лениво и бесстрастно.— Да, я тебе, знаешь ли, очень обязан, Клем.

— Приятно слышать! — сказала Клеменси.

В то же время Клеменси сосредоточила и взоры свои и мысли на свечке и, внезапно вспомнив о целебных свойствах свечного сала, щедро вымазала свой левый локоть этим лекарством.

— Я, видишь ли, в свое время производил много исследований разного рода,— продолжал мистер Бритен с глубокомыслием мудреца,— ведь у меня всегда был любознательный склад ума — и я прочел множество книг о добре и зле, ибо на заре жизни сам был прикосновенен к литературе.

— Не может быть! — вскричала Клеменси в восхищении.

— Да,— сказал мистер Бритен,— два года без малого моей обязанностью было сидеть спрятанным за книжным прилавком, чтобы выскочить оттуда, как только кто-нибудь вздумает прикарманить книжку; а после этого я служил посыльным у одной корсетницы-портнихи, и тут меня заставляли разносить в клеенчатых корзинках одно лишь сплошное надувательство; и это ожесточило мою душу и разрушило мою веру в человеческую натуру; а затем я то и дело слышал споры в этом доме, что опять-таки ожесточило мою душу, и вот в конце концов я решил, что самое верное и приятное средство смягчить эту душу, самый надежный руководитель в жизни, это терка для мускатного ореха.

Клеменси хотела было сказать что-то, но он помешал ей, предвосхитив ее мысль.

— В соче-тании,— торжественно добавил он,— с наперстком.

— «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы...» и прочее,— заметила Клеменси, очень довольная его признанием, и, удовлетворенно сложив руки, похлопала себя по локтям.— Кратко, но ясно, правда?

— Я не уверен,— сказал мистер Бритен,— можно ли считать эти слова настоящей философией. У меня на этот счет сомнение; но если бы все так поступали, на свете

было бы куда меньше воркотни, так что от них большая польза, чего от настоящей философии не всегда можно ожидать.

— А помнишь, как ты сам ворчал когда-то! — проговорила Клеменси.

— Да! — согласился мистер Бритен.— Но самое необыкновенное, Клемми, это то, что я исправился благодаря тебе. Вот что странно. Благодаря тебе! А ведь у тебя, наверно, и мысли-то нет ни одной в голове.

Клеменси, ничуть не обижаясь, покачала этой головой, рассмеялась, крепко сжала себе локти и сказала:

— Пожалуй, и правда, нет.

— В этом сомневаться не приходится,— подтвердил мистер Бритен.

— Ну, конечно, ты прав,— сказала Клеменси.— А я и не говорю, что у меня есть мысли. Да мне они и не нужны.

Бенджамин вынул трубку изо рта и расхохотался так, что слезы потекли у него по лицу.

— Какая же ты дурочка, Клемми! — в восторге проговорил он, покачивая головой и вытирая глаза.

Клеменси, отнюдь не собираясь спорить с ним, тоже покачала головой и расхохоталась так же искренне, как и он.

— Но все-таки ты мне нравишься,— сказал мистер Бритен,— ты на свой лад предобрая, поэтому жму твою руку, Клем. Что бы ни случилось, я всегда буду тебя помнить и останусь твоим другом.

— В самом деле? — проговорила Клеменси.— Ну! Это очень мило с твоей стороны.

— Да, да,— сказал мистер Бритен, передавая ей свою трубку, из которой пора было выбить пепел.— Я буду тебя поддерживать... Хм! Что это за странный шум?

— Шум? — повторила Клеменси.

— Шаги в саду. Словно бы кто-то спрыгнул с ограды,— сказал Бритен.— А что, наверху у нас все уже легли спать?

— Да, сейчас все улеглись,— ответила она.

— Так ты больше ничего не слыхала?

— Нет.

Оба прислушались, но ничего не услышали.

— Вот что,— произнес Бритен, снимая фонарь,— пойду-ка я погляжу для спокойствия, пока сам спать не лег. Отопри дверь, Клемми, а я зажгу фонарь.

Клеменси тотчас повиновалась, но, отпирая дверь, твердила, что он прогуляется зря, что все это его выдумки, и тому подобное. Мистер Бритен сказал: «Очень может быть», но тем не менее вооружился кочергой и, выйдя за дверь, стал светить фонарем во все стороны.

— Тихо, как на кладбище,— проговорила Клеменси, глядя ему вслед,— и почти так же жутко!

Потом посмотрела назад, в кухню, и вскрикнула в испуге, потому что взгляд ее упал на чью-то стройную фигурку.

— Что такое?

— Тише! — взволнованно прошептала Мэрьон.— Ты всегда любила меня, правда?

— Как же не любить, девочка моя! Конечно любила.

— Я знаю. И я могу тебе довериться, да? (Ведь мне сейчас некому довериться.)

— Можешь,— сказала Клеменси от всего сердца.

— Пришел один человек,— промолвила Мэрьон, указывая на дверь.— Я должна с ним увидеться и поговорить сегодня же. Майкл Уордн, уйдите ради бога! Не сейчас!

Клеменси вздрогнула в тревожном изумлении,— следуя за взглядом Мэрьон, она увидела на пороге темную фигуру.

— Еще мгновение, и вас увидят,— сказала Мэрьон.— Не сейчас! Спрячьтесь где-нибудь и подождите, если можете. Я скоро приду.

Он помахал ей рукой и скрылся.

— Не ложись спать. Подожди меня здесь! — торопливо попросила Мэрьон служанку.— Я целый час искала случая поговорить с тобой. О, не выдавай меня!

Пылко схватив руку ошеломленной Клеменси, Мэрьон обеими руками прижала ее к груди,— жестом страстной мольбы, более выразительным, чем самые красноречивые слова.— и быстро убежала, а в дверях блеснул свет фонаря.

— Все тихо и мирно. Никого нет. Должно быть, мне показалось,— сказал мистер Бритен, запирая дверь и за-

двигая засовы.— Вот что значит иметь живое воображение! Клем, что с тобой?

Клеменси, не умея скрыть своего изумления и тревоги, бледная сидела в кресле и дрожала всем телом.

— «Что с тобой»! — передразнила она Бритена, нервно потирая руки и локти и стараясь не смотреть на него.— Вот ты какой, Бритен! Сам же напугал меня до смерти всякими шумами и фонарями и не знаю еще чем, а теперь говоришь «что с тобой»!

— Если ты до смерти испугалась фонаря, Клемми,— сказал мистер Бритен, хладнокровно задувая фонарь и вешая его на прежнее место,— то от этого «привидения» нетрудно избавиться. Но ты как будто не робкого десятка,— добавил он, останавливаясь и внимательно ее разглядывая,— ты не струсила, когда послышался шум и я зажег фонарь. А теперь что тебе взбрело в голову? Неужто какая-нибудь мысль, а?

Но когда Клеменси почти обычным своим тоном пожелала ему спокойной ночи и начала суетиться, делая вид, что сама собирается немедленно лечь спать, Мало Бритен процитировал весьма новое и оригинальное изречение на тему о том, что женских причуд не понять, потом в свою очередь пожелал ей спокойной ночи и, взяв свою свечу, уже полусонный отправился на боковую.

Когда все стихло, Мэрьон вернулась.

— Отопри дверь,— сказала она,— и стой рядом со мною, пока я буду говорить с ним.

Казалось, она робеет, но в голосе ее звучала такая твердая и обдуманная решимость, что Клеменси не смогла противиться. Она тихонько отодвинула засовы, но, прежде чем повернуть ключ, оглянулась на девушку, готовую выйти из дому, как только откроется дверь.

Мэрьон не отвернулась и не опустила головы; она смотрела прямо на Клеменси, сияя молодостью и красотой. Клеменси в простоте души сознавала, как шатка преграда, стоявшая между счастливым домом, где цвела чистая любовь прелестной девушки, и будущим, что грозило горем этому дому и гибелью его самому дорогому сокровищу; и это так остро поразило ее доброе сердце и так переполнило его скорбью и состраданием, что она бросилась на шею Мэрьон, заливаясь слезами.

— Я мало что знаю, моя милая,— плакала Клеменси, почти ничего! Но я знаю, что этого не должно быть. Подумай, что ты делаешь!

— Я уже много думала,— мягко проговорила Мэрьон.

— Подумай еще раз,— умоляла Клеменси.— Подожди до завтра.

Мэрьон покачала головой.

— Ради мистера Элфреда,— сказала Клеменси с простодушной серьезностью.— Ведь ты так нежно любила его когда-то!

Мэрьон на мгновение закрыла лицо руками и повторила «когда-то!» таким тоном, словно это слово разрывало ей сердце.

— Позволь мне пойти туда,— упрашивала ее Клеменси.— Я передам ему все что хочешь. Не выходи нынче вечером. Ведь ничего хорошего из этого не получится. Ах, в недобрый час попал мистер Уордн сюда! Подумай о своем добром отце, дорогая... о своей сестре.

— Я думала,— сказала Мэрьон, быстро подняв голову.— Ты не понимаешь, что я делаю. Не понимаешь. Я должна поговорить с ним. Ты отговариваешь меня как мой лучший, самый верный друг, и я очень тронута, но я должна пойти. Ты проводишь меня, Клеменси,— продолжала она, целуя служанку,— или мне идти одной?

Горюя и недоумевая, Клеменси повернула ключ и открыла дверь. А Мэрьон, держа ее за руку, ушла в простиравшуюся за порогом темную непогожую ночь.

В темноте ночи Майкл встретился с Мэрьон, и они беседовали серьезно и долго, и рука, так крепко уцепившаяся за руку Клеменси, то дрожала, то мертвенно холодела, то сжимала пальцы спутницы, бессознательно подчеркивая бурные чувства, вызванные этой беседой. Когда они возвращались домой, он проводил девушку до дверей и, остановившись на мгновение, схватил ее другую руку и прижал ее к губам. Потом тихо скрылся.

Дверь снова заперта, засовы задвинуты, и вот Мэрьон опять под отчим кровом. Совсем еще юная, она, однако, не согнулась под бременем тайны, которую принесла сюда, и на лице ее отражалось чувство, которому я не нашел названия, а глаза сияли сквозь слезы.

Она вновь и вновь благодарила свою скромную подругу, повторяя, что всецело полагается на нее. Вернувшись в свою комнату, она упала на колени и, несмотря на тайну, тяготившую ее сердце, смогла молиться!

Спокойная и ясная, смогла встать после молитвы и, склонившись над спящей любимой сестрой, смотреть на ее лицо и улыбаться — печальной улыбкой,— целуя ее в лоб и шепча, что Грейс всегда была матерью для нее и что она, Мэрьон, любит ее, как дочь.

Смогла, отходя ко сну, обвить рукой спящей сестры свою шею (казалось, что рука Грейс сама обняла ее — нежная и заботливая даже во сне) и прошептать полураскрытыми губами:

— Благослови ее бог!

Смогла и сама погрузиться в мирный сон. И лишь в одном сновидении Мэрьон пролепетала невинно и трогательно, что она совсем одна и все близкие забыли ее.

Месяц проходит быстро, даже когда время идет самым медлительным своим шагом. Тот месяц, что должен был пройти между этой ночью и возвращением Элфреда, был скороходом и пронесся как облачко.

И вот настал долгожданный день. Непогожий зимний день, с ветром, который временами с такой силой обрушивался на старый дом, что тот, казалось, вздрагивал от его порывов. В такой день родной дом кажется родным вдвойне. В такой день уголок у камина кажется особенно уютным. Отблески пламени тогда ярче алеют на лицах людей, собравшихся у огонька, и любой подобный кружок сплачивается в еще более дружный и тесный союз против разъяренных стихий за стенами. В такой ненастный зимний день хочется получше завесить окна, чтобы мрак ночи не заглянул в комнаты; хочется радоваться жизни; хочется музыки, смеха, танцев, света и веселья!

Все это доктор припас в изобилии, чтобы отпраздновать возвращение Элфреда. Было известно, что Элфред приедет поздно вечером, и «когда он подъедет,— говорил доктор,— воздух ночной и тот у нас зазвенит. Все старые друзья соберутся встретить его. Ему не придется тщетно

искать глазами тех, кого он знал и любил! Нет! Все они будут здесь!»

Итак, пригласили гостей, наняли музыкантов, накрыли столы, натерли пол для танцев и щедро приготовились встретить гостя как можно радушнее. Дело было на святках, а глаза Элфреда, наверное, отвыкли от яркой зелени английского остролиста, поэтому в зале развесили гирлянды этого растения, и его красные ягоды поблескивали, выглядывая из-под листвы и словно готовясь приветствовать Элфреда на английский лад.

Это был хлопотливый день для всех домашних и особенно хлопотливый для Грейс, которая весело и несуетливо руководила окружающими и была душой всех приготовлений. Не раз в этот день (да не раз и в течение всего быстро промелькнувшего месяца) Клеменси смотрела на Мэрьон с тревогой, почти со страхом. Девушка была, пожалуй, бледнее обычного, но лицо ее дышало кротким спокойствием, красившим ее еще больше.

Вечером, когда она уже переоделась и волосы ее украсил венок, которым Грейс с гордостью обвила ее головку (искусственные цветы, составлявшие его, были любимыми цветами Элфреда, и это Грейс выбирала их), лицо ее приняло прежнее выражение, задумчивое, почти печальное, но еще более вдохновенное, возвышенное и волнующее, чем раньше.

— Скоро я опять надену венок на эту прелестную головку, но он уже будет свадебным венком,— сказала Грейс.— Если нет, значит я плохой пророк, дорогая.

Сестра улыбнулась и обняла ее.

— Еще минутку, Грейс. Не уходи. Ты уверена, что ничего больше не нужно прибавить к моему наряду?

Не об этом она заботилась. Она не могла наглядеться на сестру, и глаза ее были с нежностью устремлены на лицо Грейс.

— Как я ни старайся,— ответила Грейс,— ничем я тебя украсить не смогу: милая моя девочка, ты сейчас так хороша, что краше быть невозможно. Никогда я не видела тебя такой красивой, как сейчас.

— Я никогда не была такой счастливой,— отозвалась Мэрьон.

— Да, но тебя ждет еще большее счастье. В другом доме, таком же веселом и светлом, как наш сегодня,— сказала Грейс,— скоро поселятся Элфред и его молодая жена.

Мэрьон опять улыбнулась.

— Ты думаешь, Грейс, что в этом доме воцарится счастье. Я вижу это по твоим глазам. Да, милая, я знаю, что счастье там будет. Как радостно мне сознавать это!

— Ну,— вскричал доктор, вбегая в комнату,— мы уже приготовились встретить Элфреда, а? Он приедет очень поздно, часов в одиннадцать ночи, поэтому у нас хватит времени раскачаться. Он увидит нас, когда веселье будет уже в разгаре. Подкиньте сюда дров, Бритен! Пусть остролист снова заблестит при свете лампы. Жизнь — это сплошная глупость, кошечка; верные влюбленные и прочее — все это глупости, но мы будем глупыми, как все, и примем нашего верного влюбленного с распростертыми объятиями. Честное слово,— проговорил доктор, с гордостью глядя на своих дочерей,— нынче вечером я плохо разбираюсь во всяких нелепостях, но мне ясно одно: я отец двух красивых девушек.

— Если одна из них когда-нибудь сделала или сделает... сделает тебе больно, дорогой отец, если она огорчит тебя, ты прости ее,— сказала Мэрьон,— прости ее теперь, когда сердце ее переполнено. Скажи, что прощаешь ее. Что простишь ее. Что всегда будешь любить ее и...— Прочее осталось невысказанным, и Мэрьон прижалась лицом к плечу старика.

— Полно, полно,— мягко проговорил доктор,— ты говоришь — прости! А что мне прощать? Ну уж, знаете, если наши верные влюбленные возвращаются, чтобы так нас расстраивать, мы должны удерживать их на почтительном расстоянии; мы должны посылать им навстречу курьеров, чтобы те останавливали их на дороге — пусть плетутся мили по две в день, пока мы не будем совсем готовы их встретить. Поцелуй меня, кошечка. Простить! Какая же ты глупенькая девочка! Да если бы ты досаждала и дерзила мне хоть по сто раз на день,— чего ты не делала,— я простил бы тебе все это, кроме такой просьбы. Поцелуй меня еще раз, кошечка. Вот так! Мы уже сосчитались и за прошлое и за будущее. Подбавьте

сюда дров! Или вы хотите заморозить гостей в такую студеную декабрьскую ночь! Пусть у нас будет тепло, светло и весело, иначе я не прощу кое-кому из вас!

Вот как оживился старый доктор! И в огонь подбросили дров, и свет в комнатах горел ярко, и приехали гости, и поднялся оживленный говор, и по всему дому уже повеяло духом радости и веселья.

Все больше и больше гостей входило в дом. Блестящие глазки, сияя, смотрели на Мэрьон; улыбающиеся губы поздравляли ее с возвращением Элфреда; степенные матери обмахивались веерами и выражали надежду, что она окажется не слишком ребячливой и ветреной для тихой семейной жизни; восторженные отцы впадали в немилость за то, что слишком пылко восхищались ее красотой; дочери завидовали ей; сыновья завидовали жениху; бесчисленные влюбленные парочки пользовались удобным случаем пошептаться; все были заинтересованы, оживлены и ждали события.

Мистер и миссис Крегс вошли под руку, а миссис Сничи пришла одна.

— Как, вы одна? А где же ваш супруг? — спросил доктор.

Перо райской птицы на тюрбане миссис Сничи так затрепетало, как будто сама эта райская птица ожила, и миссис Сничи ответила, что мистер Крегс, без сомнения, знает, где ее супруг. А вот ей никогда ни о чем не говорят.

— Противная контора! — промолвила миссис Крегс.

— Хоть бы она сгорела дотла! — сказала миссис Сничи.

— Мистер Сничи... он... одно небольшое дело задерживает моего компаньона, и придет он довольно поздно, — проговорил мистер Крегс, беспокойно оглядываясь кругом.

— А-ах, дело! Ну, конечно! — произнесла миссис Сничи.

— Знаем мы, какие у вас дела! — сказала миссис Крегс.

Но они не знали, какие это были дела, и может быть, именно потому перо райской птицы на тюрбане миссис Сничи трепетало так взволнованно, а все висюльки на серьгах миссис Крегс звенели, как колокольчики.

— Удивляюсь, как это вы смогли отлучиться, мистер Крегс,— сказала его жена.

— Мистеру Крегсу безусловно повезло! — заметила миссис Сничи.

— Эта контора прямо-таки поглощает их целиком,— промолвила миссис Крегс.

— Мужчина, имеющий контору, не должен жениться,— изрекла миссис Сничи.

Затем миссис Сничи решила, что ее взгляд проник в самую душу Крегса, и Крегс сознает это, а миссис Крегс заметила, обращаясь к Крегсу, что «его Сничи» втирают ему очки у него за спиной и он сам убедится в этом, да поздно будет.

Впрочем, мистер Крегс не обращал большого внимания на все эти разговоры, но беспокойно озирался по сторонам, пока глаза его не остановились на Грейс. Он сейчас же подошел к ней.

— Добрый вечер, сударыня,— сказал Крегс.— Как вы хороши сегодня! Ваша... мисс... ваша сестра, мисс Мэрьон, как она...

— Благодарю вас, она чувствует себя прекрасно, мистер Крегс.

— Она... Я... Она здесь? — спросил мистер Крегс.

— Конечно здесь! Разве вы не видите? Вон она! Сейчас пойдет танцевать,— ответила Грейс.

Мистер Крегс надел очки, чтобы в этом удостовериться; некоторое время смотрел на Мэрьон; потом кашлянул и, наконец, с облегчением сунул очки в футляр, а футляр — в карман.

Но вот заиграла музыка и начались танцы. Ярко горящие дрова потрескивали и рассыпали искры, а пламя вскидывалось и опадало, словно тоже решив пуститься в пляс за компанию. Порой оно гудело, как бы вторя музыке. Порой вспыхивало и сверкало, словно око этой старинной комнаты; а порой подмигивало, как лукавый старец, молодежи, шептавшейся в уголках. Порой заигрывало с ветками остролиста, и когда оно, вздрагивая и взлетая, бросало на них мерцающие отблески, казалось, что листья вернулись в холодную зимнюю ночь и трепещут на ветру. Порой веселье пламени превращалось в буйство и переходило все границы: и тогда оно с громким

треском внезапно выкидывало в комнату, к мелькающим ногам танцоров, целый сноп безобидных искорок и прыгало и скакало, как безумное, в широком старом камине.

Второй танец уже подходил к концу, когда мистер Сничи дотронулся до плеча своего компаньона, смотревшего на танцующих.

Мистер Крегс вздрогнул, словно это был не приятель его, а призрак.

— Он уехал? — спросил мистер Крегс.

— Тише! Он просидел со мною три часа с лишком,— ответил Сничи.— Он входил во все. Проверял все, что мы для него сделали, и очень придирался. Он... хм!

Танец кончился. Мэрьон прошла мимо мистера Сничи, как раз когда он произнес последние слова. Но она не заметила ни его, ни его компаньона; медленно пробираясь в толпе, она оглянулась через плечо на сестру, стоявшую в отдалении; затем скрылась из виду.

— Вот видите! Все обошлось благополучно,— сказал мистер Крегс.— Он, вероятно, не говорил на эту тему?

— Ни слова.

— И он действительно уехал? Убрался подальше от греха?

— Да, свое обещание он сдержал. Сегодня он решил сплыть вниз по Темзе во время отлива в своей лодчонке-скорлупке и выбраться к морю с попутным ветром — в такую-то темень, вот смельчак! Но зато он не рискует ни с кем встретиться. Отлив начинается за час до полуночи... а значит, он вот-вот начнется. Как я рад, что все это благополучно кончилось! — Мистер Сничи вытер потный, нахмуренный лоб.

— Что вы думаете,— спросил мистер Крегс,— относительно...

— Тише! — перебил его осторожный компаньон, глядя прямо перед собой.— Я вас понимаю. Не упоминайте имен и не подавайте виду, что мы говорим о чем-то секретном. Не знаю, что подумать, да сказать правду, и не интересуюсь этим теперь. У меня отлегло от сердца. Очевидно, его ослепило самомнение. Должно быть, девушка слегка кокетничала с ним, и только. Похоже на то. Элфред еще не приехал?

— Нет еще,— сказал мистер Крегс,— его ждут с минуты на минуту.

— Отлично,— мистер Сничи снова вытер лоб.— У меня отлегло от сердца. Ни разу я так не нервничал, с тех пор как мы стали компаньонами. А теперь я собираюсь приятно провести вечерок, мистер Крегс.

Миссис Крегс и миссис Сничи подошли к ним, как только он высказал это намерение. Райская птица отчаянно трепетала, а звон «колокольчиков» был отчетливо слышен.

— Ваше отсутствие было предметом всеобщего обсуждения, мистер Сничи,— сказала миссис Сничи.— Надеюсь, контора удовлетворена.

— Чем удовлетворена, душенька? — спросил мистер Сничи.

— Тем, что поставила беззащитную женщину в смешное положение — ведь люди прохаживались на мой счет,— ответила его супруга.— Это совершенно в духе конторы, совершенно!

— А вот я лично,— промолвила миссис Крегс,— давно привыкла к тому, что контора во всех отношениях противодействует семейной жизни, и хорошо хоть, что она иногда открыто объявляет себя врагом моего спокойствия. Это по крайней мере честно.

— Душенька,— попытался умаслить ее мистер Крегс,— приятно слышать ваше доброе мнение, но ведь я-то никогда не утверждал, что контора — враг вашего спокойствия.

— Еще бы! — подхватила миссис Крегс, поднимая настоящий трезвон своими «колокольчиками».— Сами вы этого, конечно, не утверждали. Если бы у вас на это хватило искренности, вы не были бы достойны своей конторы.

— Что касается моего опоздания сегодня вечером, душенька,— сказал мистер Сничи, предлагая руку жене,— то сам я скорблю об этом больше других, но, как известно мистеру Крегсу...

Тут миссис Сничи резко оборвала эту фразу, оттащив своего супруга в сторону и попросив его взглянуть на «этого человека». Пусть сделает ей удовольствие и посмотрит на него!

— На какого человека, душенька? — спросил мистер Снички.

— На вашего задушевного друга; ведь я-то вам не друг, мистер Снички.

— Нет, нет, вы мне друг, душенька,— заспорил мистер Снички.

— Нет, нет, не друг,— упиралась миссис Снички, величественно улыбаясь.— Я знаю свое место. Так вот, не хотите ли взглянуть на своего задушевного друга, мистер Снички, на вашего советчика, на хранителя ваших тайн, на ваше доверенное лицо, словом, на ваше второе «я»?

Привыкнув объединять себя с Крегсом, мистер Снички посмотрел в его сторону.

— Если вы нынче вечером можете смотреть в глаза этому человеку,— сказала миссис Снички,— и не понимать, что вы обмануты, одурачены, пали жертвой его козней и рабски подчинены его воле в силу какого-то непостижимого наваждения, которое невозможно объяснить и нельзя рассеять никакими моими предостережениями, то я могу сказать одно — мне жаль вас!

В то же самое время миссис Крегс разглагольствовала на ту же тему, но с противоположной точки зрения. Неужели, допытывалась она, Крегс так ослеплен своими Снички, что перестал понимать, в какое положение он попал? Будет ли он утверждать, что видел, как «Снички вошли» в эту комнату, но не распознал в «этом человеке» скрытности, хитрости, предательства? Будет ли он уверять ее, что самые движения «этого человека», когда он вытирал себе лоб и так воровато озирался по сторонам, не доказывают, что какое-то темное дело обременяет совесть его драгоценных Снички (если у них есть совесть)? Разве кто-нибудь, кроме его Снички, врывается на вечеринку, как разбойник? (Что, кстати сказать, было едва ли правильным описанием данного случая, ибо мистер Снички очень скромно вошел в дверь.) И будет ли он упрямо доказывать ей среди бела дня (было около полуночи), что его Снички должны быть оправданы, несмотря ни на что, наперекор всем фактам, разуму и опыту?

Ни Снички, ни Крегс явно не пытались запрудить этот разлившийся поток, но позволили ему увлекать их по течению, пока стремительность его не ослабела. Это слу-

чилось как раз в то время, когда все стали готовиться к контрдансу, и тут мистер Сничи предложил себя в качестве кавалера миссис Крегс, а мистер Крегс галантно пригласил миссис Сничи, и после нескольких притворных отговорок, как, например: «Почему бы вам не пригласить какую-нибудь другую даму», или: «Знаю я вас, вы обрадуетесь, если я вам откажу», или: «Удивляюсь, что вы можете танцевать где-нибудь, кроме конторы» (но это уже было сказано игривым тоном), обе дамы милостиво приняли приглашение и заняли свои места.

У них давно вошло в обычай и танцевать друг с другом и сидеть рядом в таком же порядке на званых обедах и ужинах,— ведь эти супружеские пары были связаны долголетней тесной дружбой. Быть может, «двуличный Крегс» и «коварный Сничи» были для обеих жен такими же традиционными фикциями, какими были для их мужей Доу и Роу *, непрестанно перебегавшие из одного судебного округа в другой; а может быть, каждая из этих дам, стараясь очернить компаньона своего мужа, тем самым пыталась принять долю участия в работе конторы, чтобы не остаться совсем в стороне от нее. Так или иначе, и та и другая жена столь же серьезно и упорно предавались своему любимому занятию, как их мужья,— своему, и не допускали, что контора может преуспевать без их похвальных усилий.

Но вот райская птица запорхала в самой гуще танцующих; «колокольчики» принялись подскакивать и позванивать; румяное лицо доктора завертелось по всей комнате, как хорошо отполированный волчок; мистер Крегс, запыхавшись, начал уже сомневаться в том, что контрданс, как и все на свете, «слишком упростили», а мистер Сничи прыгал и скакал, лихо отплясывая «за себя и за Крегса» да еще за полдюжины танцоров.

Но вот и огонь в камине, приободрившись, благодаря свежему ветерку, поднятому танцующими, запылал еще ярче и взвился еще выше. Он был гением этой комнаты и проникал всюду. Он сиял в людских глазах, он сверкал в драгоценностях на белоснежных шейках девушек, он поблескивал на их сережках, как бы лукаво шепча им что-то на ушко, он вспыхивал у них на груди, он мерцал на полу, расстилая им под ноги ковер из розового света,

он расцветал на потолке, чтобы отблеском своим оттенить красоту их прелестных лиц, и он зажег целую иллюминацию на маленькой звоннице миссис Крегс.

Вот и свежий ветерок, раздувавший огонь, стал крепчать, по мере того как музыканты ускоряли темп, и танец продолжался с новым воодушевлением, а вскоре поднялся настоящий вихрь, от которого листья и ягоды остролиста заплясали на стене, как они зачастую плясали на дереве, и вихрь этот зашуршал по комнате, мчась по пятам за плясунами из плоти и крови, и чудилось, будто невидимая стайка фей завертелась позади них. И уже нельзя было разглядеть лицо доктора, все кружившего и кружившего по комнате; и уже казалось, что не одна, а добрый десяток райских птиц мечется в порывистом полете и что звенит целая тысяча колокольчиков; и вот, наконец, всю флотилию развевающихся юбок внезапно смело точно бурей, ибо оркестр умолк и танец кончился...

Как ни запыхался, как ни разгорячен был доктор, он все нетерпеливее ждал приезда Элфреда.

— Не видно ли чего, Бритен? Не слышно ли чего?

— Очень уж темно, далеко не видать, сэр. Очень уж шумно в доме — ничего не услышишь,

— Это верно! Тем веселее мы его встретим. Который час?

— Ровно двенадцать, сэр. Вот-вот подъедет, сэр.

— Помешайте огонь в камине и подбросьте туда еще полено,— сказал доктор.— Пусть он увидит,— наш дорогой мальчик! — какой иллюминацией мы его встречаем.

И он увидел это. Да! Он заметил свет, когда фаэтон еще только заворачивал за угол у старой церкви. Он узнал комнату, где горел огонь. Он увидел оголенные ветви старых деревьев, озаренных светом из окон. Он знал, что летом одно из этих деревьев мелодично шелестит под окном Мэрьон.

Слезы выступили у него на глазах. Сердце его билось так буйно, что он едва мог вынести свое счастье. Как часто думал он об этой минуте... как ярко представлял ее себе, где бы ни находился сам... как боялся, что она никогда не наступит... как страстно желал ее и тосковал о ней... там, далеко!



Снова свет! Яркий, рдеющий; зажженный, конечно, для того, чтобы приветствовать его и помочь ему скорее добраться домой. Он поднял руку и замахал шляпой и громко крикнул, словно этот свет олицетворял его близких и они могли видеть и слышать его в то время, как он, торжествуя, мчался к ним по грязи и слякоти.

— Стой! — Он знал доктора и догадался обо всем. Доктор не захотел сделать сюрприз своим домашним. Но он, Элфред, все-таки сделает им сюрприз: он пойдет пешком. Если калитка в сад открыта, он пройдет через нее, если нет — перелезть через садовую ограду легко, это он давно знает. И тогда он мгновенно очутится среди своих.

Он вышел из экипажа и приказал кучеру (с трудом выговаривая слова,— так он был взволнован) постоять несколько минут, а потом ехать шагом, а сам побежал вперед, все убыстряя бег, подергал запертую калитку, перелез через ограду, спрыгнул на землю и остановился, тяжело дыша, в старом плодовом саду.

Деревья были опушены инеем, и при слабом свете луны, окутанной облаками, маленькие ветки казались увядшими гирляндами. Сухие листья потрескивали и шуршали под ногами Элфреда, когда он тихо пробирался к дому. Печаль зимней ночи охватила и землю и небо. Но алый свет весело сиял из окон навстречу путнику, тени людей мелькали в них, а говор и гул голосов сладостно приветствовали его слух.

Пробираясь вперед, он прислушивался, не прозвучит ли ее голос, пытаясь выделить его среди других голосов, и готов был поверить, что расслышал его; он уже подбежал к входной двери, как вдруг она распахнулась, и какая-то женщина, выбегая, столкнулась с ним.

Она мгновенно отпрянула назад, тихо охнув.

— Клеменси! — воскликнул он.— Неужели вы меня не узнаете?

— Не входите! — ответила она, отталкивая его.— Уйдите! Не спрашивайте меня почему. Не входите!

— Что случилось? — вскрикнул он.

— Не знаю... Я... я боюсь подумать. Уйдите! Ах!

В доме внезапно поднялся шум. Клеменси закрыла уши руками. Раздался громкий крик,— такой крик, что

не услышать его было нельзя, и Грейс, как безумная, выскочила за дверь.

— Грейс! — Элфред обнял ее.— Что случилось? Она умерла?

Девушка высвободилась и, отстранившись, словно для того, чтобы рассмотреть его лицо, упала к его ногам.

Вокруг них столпились люди, выбежавшие из дома. Среди них был ее отец; в руках он держал исписанный листок бумаги.

— Что случилось? — вскричал Элфред и, схватившись за голову, опустился на одно колено рядом с бесчувственной девушкой, в отчаянии перебегая глазами от лица к лицу. — Почему вы на меня не смотрите? Почему молчите? Разве вы меня не узнаете? Или вы все потеряли голос, что не можете сказать мне, что случилось?

Среди толпы поднялся говор:

— Она ушла.

— Ушла! — повторил он.

— Убежала, мой милый Элфред! — произнес доктор срывающимся голосом и закрыл лицо руками.— Ушла из родного дома, покинула нас. Сегодня вечером! Она пишет, что сделала выбор, но ни в чем дурном не виновна... умоляет нас простить ее... надеется, что мы никогда ее не забудем... и вот... ушла.

— С кем? Куда?

Элфред вскочил, словно готовый броситься за нею в погоню, но когда люди расступились, чтобы дать ему дорогу, окинул их безумным взглядом, шатаясь, отпрянул назад и, снова опустившись на колени, сжал похолодевшую руку Грейс.

А люди засуетились, забегали туда-сюда, поднялся шум, началась суматоха, но все без толку. Одни гости разбрелись по дорогам, другие умчались на лошадях, третьи схватили факелы, четвертые стали переговариваться между собой, утверждая, что следов не найти и поиски бесполезны. Некоторые ласково заговаривали с Элфредом, стараясь утешить его; другие убеждали его, что Грейс нужно перенести в комнату, а он мешает этому. Он не слышал их и не трогался с места.

Снег валил все гуще. Элфред на мгновение поднял голову, и ему почудилось, что это — белый пепел, сып-

лющийся на его надежды и страдания. Он окинул взглядом побелевшую землю и подумал, что следы ног Мэрьон, едва возникнув, будут стерты, заметены снегом, и даже эта память о ней скоро исчезнет. Но он не ощущал холода и не шевелился.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С той ночи, как вернулся Элфред, мир постарел на шесть лет. Теплый осенний день склонялся к закату; только что прошел сильный ливень. Солнце внезапно выглянуло в прорыв между тучами, и древнее Поле битвы, ослепительно и весело сверкнув ему навстречу одной из своих зеленых площадок, просияло ответным приветствием, разлившимся по всей округе, как будто вспыхнул вдруг радостный огонь маяка и ему ответили сотни других огней.

Как хороши были эти просторы, пылающие в солнечном свете, как чудесно было это роскошное пламя, словно вестник неба, озарившее все вокруг! Лес, дотоле казавшийся темной массой, открылся во всем разнообразии своих красок — желтой, зеленой, коричневой, красной — и своих деревьев с дождевыми каплями, сверкающими на листьях и искрящимися при падении. Пламенеющий яркой зеленью луг еще минуту назад казался слепым, а сейчас вновь обрел зрение и смотрел вверх, на ясное небо. Нивы, живые изгороди, заборы, усадьбы, скученные крыши, церковная колокольня, речка, водяная мельница — все, улыбаясь, выступило из хмурой мглы. Птички нежно щебетали, цветы поднимали свои поникшие головки, свежие ароматы исходили от обновленной земли; голубое пространство вверху ширилось и растекалось, и вот уже косые лучи солнца насмерть пронзили хмурую гряду облаков, замешкавшуюся в бегстве, и радуга, душа всех красок, украшающих землю и небо, широко раскинула свою величественную триумфальную арку.

В этот час маленькая придорожная гостиница, уютно притулившаяся под огромным вязом, чей мощный ствол был окружен удобной скамьей для отдыхающих, особенно



приветливо — как и подобает общественному зданию,— обращала свой фасад к путешественнику, соблазняя его многими немыми, но выразительными обещаниями радушного приема. Высоко на дереве ярко-красная вывеска с золотыми буквами, сиявшими на солнце, игриво поглядывала на прохожего из-за зеленых веток, словно жизнерадостное личико, и сулила ему хорошее угощение. Колода, полная чистой, свежей воды, и земля под нею, усеянная клочками душистого сена, манили каждую проходившую здесь лошадь, и та настораживала уши. Малиновые шторы на окнах нижних комнат и чистые белые занавески на окнах маленьких спален во втором этаже с каждым дуновением ветерка, казалось, призывно кивали: «Войдите!» На ярко-зеленых ставнях надписи, начертанные золотом, повествовали о пиве и эле, о добрых винах и мягких постелях, и там же красовалось выразительное изображение коричневого кувшина с пеной, бьющей через край. На подоконниках стояли цветущие растения в ярко-красных горшках, красиво подчеркивавших белизну стен, а сумрак за входной дверью пестрили блики света, отраженного блестящей поверхностью бутылок и оловянных пивных кружек.

На пороге стоял сам хозяин гостиницы, который был под стать своему заведению: хоть и невысокий ростом, он был толст и широк в плечах, а стоял, заложив руки в карманы и слегка расставив ноги,— словом, всем своим видом выражая полное удовлетворение состоянием своего винного погреба и непоколебимую уверенность (слишком спокойную и твердую, чтобы стать чванством) во всех прочих достоинствах своей гостиницы. Изобильная влага, проступавшая всюду после недавнего дождя, была ему очень по душе. Ведь ничто вокруг сейчас не испытывало жажды. Несколько тяжелоголовых георгин, глядевших через забор опрятного, хорошо расчищенного сада, поглотили столько жидкости, сколько могли вместить,— пожалуй, даже немного больше,— и выпивка подействовала на них довольно скверно; зато шиповник, розы, желтофиоль, цветы на окнах и листья на старом вязе сияли, как воздержанные собутыльники, которые выпили не больше. чем это было для них полезно, отчего лучшие их качества засияли еще ярче. Осыпая вокруг себя землю роси-

стыми каплями, они как бы щедро расточали невинное искрометное веселье, украшавшее все вокруг, и увлажняли даже те забытые уголки, куда и сильный дождь проникает лишь редко, но никому этим не вредили.

Когда эта сельская гостиница начала свое существование, ее снабдили необычной вывеской. Ей дали название «Мускатная терка». А под этими словами, заимствованными из домашнего обихода, на той же рдеющей доске высоко на дереве и такими же золотыми буквами было написано: «Бенджамин Бритен».

Взглянув еще раз на человека, стоявшего в дверях, и присмотревшись внимательнее к его лицу, вы, наверно, угадали бы, что это не кто иной, как сам Бенджамин Бритен, естественно изменившийся с течением времени, но — к лучшему, и поистине приятный хозяин гостиницы.

— Миссис Бритен что-то запоздала,— сказал мистер Бритен, глядя на дорогу.— Пора бы и чай пить.

Но никакой миссис Бритен не появлялось, поэтому он не спеша вышел на дорогу и с величайшим удовлетворением устремил взор на свой дом.

— В такой вот гостинице,— молвил Бенджамин,— я хотел бы останавливаться, если бы не сам держал ее.

Потом он направился к садовой ограде и осмотрел георгины. Они в свою очередь смотрели на него, беспомощно и осовело повесив головы и подрагивая, когда с них падали тяжелые капли влаги.

— За вами придется поухаживать,— сказал Бенджамин.— Не забыть сказать ей об этом. Долго же она не едет!

Прекрасная половина мистера Бритена, очевидно, была наиболее прекрасной из его половин, ибо другая его половина — он сам — чувствовала себя совершенно заброшенной и беспомощной без первой.

— У нее как будто не так уж много дела,— сказал Бен.— Правда, после рынка ей надо было похлопотать кое о чем, но на это много времени не уйдет. А, вот она наконец!

И правда, на дороге, стуча колесами, показалась повозка, в которой на козлах торчал мальчик, заменявший кучера, а на сиденье со спинкой, заваленная множеством корзин и свертков, с огромным зонтом за плечами, про-

мокшим насквозь и раскрытым для просушки, восседала полная женщина средних лет, сложив обнаженные до локтей руки на корзине, стоявшей у нее на коленях,— женщина, чье веселое, добродушное лицо, дышащее довольством, и неуклюжая фигура, качавшаяся из стороны в сторону в лад с толчками повозки, даже на расстоянии пробуждали какие-то давние воспоминания. Этот исходивший от нее аромат былых дней не ослабел и тогда, когда она приблизилась; а как только лошадь остановилась перед «Мускатной теркой», пара обутых в башмаки ног высунулась из повозки и, ловко проскользнув между протянутыми руками мистера Бритена, тяжело опустилась на дорожку, причем башмаки эти не могли принадлежать никому, кроме Клеменси Ньюком.

Они и, правда, принадлежали ей, и она стояла в них, в этих башмаках, румяная и довольная, а лицо ее было промыто до такого же яркого блеска, как и в минувшие времена, но локти стали совсем гладкими — теперь на них даже виднелись ямочки, говорившие о том, как расцвела ее жизнь.

— Как ты поздно, Клеменси! — сказал мистер Бритен.

— Да видишь ли, Бен, у меня была куча дел! — ответила она, заботливо следя за тем, чтобы все ее свертки и корзинки были благополучно перенесены в дом.— Восемь, девять, десять... где же одиннадцатая? Ах, моя корзинка — одиннадцатая! Все на месте! Убери лошадь, Гарри, и если она опять будет кашлять, дай ей вечером горячего пойла из отрубей. Восемь, девять, десять... Где же одиннадцатая? Ах, я забыла, все на месте! Как дети, Бен?

— Резвятся, Клемми, резвятся.

— Дай им бог здоровья, деточкам нашим! — сказала миссис Бритен, снимая шляпу, обрамлявшую ее круглое лицо (супруги уже перешли в буфетную), и приглаживая ладонями волосы.— Ну, поцелуй же меня, старина!

Мистер Бритен с готовностью повиновался.

— Кажется, я сделала все, что нужно,— промолвила миссис Бритен, роясь в карманах и вытаскивая наружу целую кипу тонких книжек и смятых бумажек с загнутыми уголками.— По всем счетам заплатила... брюкву продала, счет пивовара проверила и погасила... трубки

для курильщиков заказала, семнадцать фунтов четыре шиллинга внесла в банк. А насчет платы доктору Хитфилду за то, что он принимал у меня маленькую Клем, ты, конечно, догадываешься, Бен,— он опять не хочет брать денег.

— Так я и думал,— проговорил Бен.

— Да. Он говорит, что сколько бы у нас ни было детей, Бен, он никогда не возьмет с нас ни полпенни. Даже если их десятка два народится.

Лицо у мистера Бритена стало серьезным, и он уставился на стену.

— Ну разве это не любезно с его стороны? — сказала Клеменси.

— Очень,— согласился мистер Бритен.— Но к подобной любезности я не стал бы прибегать слишком часто.

— Конечно,— отозвалась Клеменси.— Конечно, нет. А еще пони... продала его за восемь фунтов и два шиллинга. Недурно, а?

— Очень хорошо,— сказал Бен.

— Ну, я рада, что ты доволен! — воскликнула его жена.— Так я и думала, и, пожалуй, это все, а значит, кончаю письмо и остаюсь известная вам К. Бритен... Ха-ха-ха! Вот! Забери все бумаги и спрячь их под замок. Ах! Подожди минутку! Надо наклеить на стену вот это печатное объявление. Оно еще совсем сырое, только что из типографии. Как приятно пахнет!

— Насчет чего это? — спросил Бен, рассматривая объявление.

— Не знаю,— ответила ему жена,— я не читала.

— «Продается с торгов...— начал читать хозяин «Мускатной терки»,—...если окажется непроданным до назначенного срока...»

— Так всегда пишут,— сказала Клеменси.

— Да, но не всегда пишут вот что,— отозвался он.— Слушай-ка: «Жилой дом» и проч., «службы» и проч., «ягодники» и проч., «ограда» и проч., «господа Сничи и Крегс» и проч., «красивейшая часть незаложенного собственного имения Майкла Уордна, эсквайра, намеревающегося продлить свое пребывание за границей».

— Намеревающегося продлить свое пребывание за границей! — повторила Клеменси.

— Так тут написано,— проговорил Бритен.— Видишь?

— А я еще сегодня слышала, как в старом доме прошел слушок, будто вскоре от нее должны прийти вести — и более радостные и более подробные, чем раньше! — сказала Клеменси, горестно качая головой и похлопывая себя по локтям, должно быть потому, что воспоминания о прежней жизни пробудили в ней старые привычки.— Ай-ай-ай! Тяжело у них будет на сердце, Бен!

Мистер Бритен испустил вздох, покачал головой и сказал, что ничего в этом не понимает и давным-давно уже не пытается понять. Сделав это замечание, он принялся наклеивать объявление на окно с внутренней стороны. Клеменси после недолгих безмолвных размышлений поднялась, разгладила морщины на своем озабоченном челе и убежала взглянуть на детей.

Надо признать, что хозяин «Мускатной терки» питал глубокое уважение к своей супруге, но он по-прежнему относился к ней снисходительно, и Клеменси чрезвычайно забавляла своего мужа. Он очень удивился бы, скажи ему кто-нибудь, что ведь это она ведет все хозяйство и своей неуклонной бережливостью, прямотой, добродушием, честностью и трудолюбием сделала его зажиточным человеком. Такие деятельные натуры никогда не говорят о своих заслугах, и очень часто видишь (на всех ступенях общественной лестницы), как их оценивают по их же собственной скромной мерке, в то же время неразумно восхищаясь поверхностным своеобразием и оригинальностью тех людей, чья внутренняя ценность так невысока, что если бы мы поглубже заглянули к ним в душу, то покраснели бы за то, что приравняли их к первым!

Мистеру Бритену было приятно думать о том, как он снизошел до Клеменси, женившись на ней. Она служила ему вечным доказательством доброты его сердца и кротости его характера, и если оказалась отличной женой, то в этом он видел подтверждение старой поговорки: «Добродетель в себе самой таит награду».

Он только что кончил наклеивать объявление, а оправдательные документы, касавшиеся всего, что сделала в этот день Клеменси, спрятал под замок, в шкаф для



посуды,— все время посмеиваясь над деловыми способностями жены,— и тут она сама вернулась с известием, что оба маленьких Бритена играют в каретном сарае под присмотром некоей Бетси, а маленькая Клем спит, «как картинка», после чего супруги уселись за столик пить чай, поджидавший прихода хозяйки. Они сидели в маленькой, очень опрятной буфетной, где, как и подобает, было множество бутылок и стаканов, где внушительные часы точно показывали время (половину шестого), где все стояло на своем месте и было донельзя начищено и натерто.

— Первый раз присела за весь день,— сказала миссис Бритен, глубоко вздохнув с таким видом, словно она уселась на целый вечер, но немедленно вскочив, чтобы подать мужу чашку чаю и намазать ему хлеб маслом.— Это объявление так живо напомнило мне о прежних временах!

— А,— произнес мистер Бритен, держа блюдце, как устрицу, и, как устрицу, проглатывая его содержимое.

— Через этого самого мистера Майкла Уордна,— сказала Клеменси, мотнув головой в сторону объявления о продаже,— я потеряла место.

— И заполучила мужа,— добавил мистер Бритен.

— Да, тоже через него,— согласилась Клеменси,— и я премного благодарна ему за это.

— Человек — раб привычки,— сказал мистер Бритен, глядя на жену поверх своего блюдца.— Как-то так вышло, что я привык к тебе, Клем, ну и увидел, что не могу без тебя обойтись. Так что мы с тобой взяли да и поженились. Ха-ха! Мы с тобой! Кто бы мог подумать!

— Да уж, кто бы мог подумать? — вскричала Клеменси.— Это было очень благородно с твоей стороны, Бен.

— Ну, что ты! — возразил мистер Бритен с самоотверженным видом.— Тут и говорить не о чем.

— Нет, это так, Бен! — простодушно молвила его жена.— Я, право же, так думаю, и я очень тебе благодарна. Ах! — Она снова взглянула на объявление.— Ты помнишь, когда узнали, что она ушла, моя милочка, и даже след ее простыл, я не смогла удержаться и все рассказала, столько же ради нее, сколько ради них; да и можно ли было удержаться?

— Во всяком случае, ты все рассказала,— заметил ее муж.

— А доктор Джедлер,— продолжала Клеменси, поставив на стол свою чашку и задумчиво глядя на объявление,— в горе и гневе выгнал меня из дому! За всю свою жизнь я ничем так не была довольна, как тем, что не сказала ему тогда ни одного дурного слова и что не было у меня к нему никакого дурного чувства даже в то время; а ведь потом он сам искренне раскаялся. Как часто он сидел в этой комнате и все твердил мне, что жалеет о своем поступке, и в последний раз это было как раз вчера, когда тебя не было дома. Как часто он сидел в этой самой комнате и часами говорил со мной о том о сем, притворяясь, будто это ему интересно, а на самом деле — только в память о былых днях и потому, что она любила меня, Бен!

— Да как же ты до этого додумалась, Клем? — спросил ее муж, удивленный тем, что она ясно осознала истину, которая лишь смутно мерещилась его пытливому уму.

— Право, не знаю,— ответила Клеменси, дуя на чай, чтобы остудить его.— Не могу объяснить тебе это, даже пообещай ты мне награду в сто фунтов.

Мистер Бритен, возможно, продолжал бы обсуждать эту метафизическую тему, если бы Клеменси вдруг не увидела в дверях за его спиной некий реальный факт в образе джентльмена, который носил плащ и сапоги, как все, кто путешествует верхом. Он как будто внимательно прислушивался к разговору и не спешил прервать его.

Тут Клеменси поспешно встала. Мистер Бритен тоже встал и поклонился гостю.

— Не хотите ли пройти наверх, сэр? Наверху есть очень хорошая комната, сэр.

— Благодарю вас,— сказал незнакомец, устремив пристальный взгляд на жену мистера Бритена.— Можно мне войти сюда?

— Конечно, сэр, войдите, если желаете,— ответила Клеменси, приглашая его войти.— Что вам будет угодно потребовать, сэр?

Незнакомец заметил объявление и начал читать его.

— Прекрасное имение, сэр,— заметил мистер Бритен.

Тот не ответил, но, кончив читать, обернулся и опять взглянул на Клеменси с таким же любопытством, как и раньше.

— Вы спросили меня...— начал он, не сводя с нее глаз.

— Что вам угодно заказать, сэр? — повторила Клеменси, поглядывая на него в свою очередь.

— Если вы дадите мне глоток эля,— ответил он, переходя к столу у окна,— и позволите выпить его здесь, не мешая вашему чаепитию, я буду вам очень благодарен.

Не тратя лишних слов, он сел и начал смотреть в окно. Это был стройный, хорошо сложенный человек во цвете лет. Лицо его, очень загорелое, было обрамлено густыми темными волосами, и он носил усы. Когда ему подали пиво, он налил себе стакан, любезно выпил за «процветание этого дома» и, поставив стакан на стол, добавил:

— Это новый дом, не правда ли?

— Не особенно новый, сэр,— ответил мистер Бритен.

— Ему лет пять или шесть,— сказала Клеменси, нарочито отчетливо произнося слова.

— Когда я вошел, мне показалось, что вы говорили о докторе Джедлере,— сказал незнакомец.— Это объявление напоминает мне о нем, потому что я случайно коечто знаю о той истории, и по слухам и со слов одних моих знакомых... А что, старик жив?

— Да, он жив, сэр,— ответила Клеменси.

— Очень изменился?

— С каких пор, сэр? — спросила Клеменси необыкновенно подчеркнуто и выразительно.

— С тех пор, как его дочь... ушла.

— Да! С тех пор он очень изменился,— ответила Клеменси.— Он поседел и постарел и вообще уже не тот, что был, но, кажется, он теперь счастлив. С тех пор он помирился со своей сестрой и очень часто ездит к ней в гости. Это сразу же хорошо повлияло на него. Вначале он был совсем убит — прямо сердце кровью обливалось, когда, бывало, видишь, как он бродит и ропщет на жизнь; но спустя год-два он очень изменился к лучшему и стал часто говорить о своей ушедшей дочери, хвалит ее,

да и жизнь вообще тоже! И он без устали твердит, со слезами на глазах, бедняга, какая она была красивая и хорошая. Он тогда уже простил ее. Это было примерно в то время, когда мисс Грейс вышла замуж. Помнишь, Бритен?

Мистер Бритен помнил это очень хорошо.

— Так, значит, сестра ее вышла замуж...— промолвил незнакомец. Немного помолчав, он спросил: — За кого?

Клеменси едва не опрокинула чайного подноса, так она разволновалась.

— Разве вы ничего не слыхали? — спросила она.

— Хотелось бы услышать,— ответил он, снова наполнив стакан и поднося его к губам.

— Ах! История это длинная, если рассказывать ее как следует,— сказала Клеменси и, опустив подбородок на левую ладонь, а правой рукой поддерживая левый локоть, покачала головой и, казалось, устремила взор назад, в прошлое, с тем же задумчивым выражением, с каким люди часто смотрят на огонь в очаге.— Это, право же, длинная история.

— А что, если рассказать ее вкратце? — предложил незнакомец.

— Если рассказать ее вкратце,— повторила Клеменси все тем же задумчивым тоном, как будто не обращаясь к собеседнику и не сознавая, что у нее есть слушатели,— что же тогда рассказывать? Что ее сестра и бывший жених горевали вместе и вместе вспоминали о ней, как об умершей; что они очень жалели ее и никогда не осуждали; что они напоминали друг другу о том, какая она была, и оправдывали ее — вот и все! Но об этом все знают. Уж я-то знаю, во всяком случае. Кому и знать, как не мне,— добавила Клеменси, вытирая глаза рукой.

— И вот...— понукал ее незнакомец.

— И вот,— продолжала Клеменси, машинально подхватив его слова и не изменив ни позы, ни выражения лица,— и вот они в конце концов поженились. Они поженились в день ее рождения — этот день будет как раз завтра,— и свадьба была очень тихая, очень скромная, но живут они очень счастливо. Как-то раз вечером, гуляя по саду, мистер Элфред сказал: «Грейс, пусть день рождения Мэрьон будет днем нашей свадьбы». Так и сделали.

— Значит, они счастливы в браке? — спросил незнакомец.

— Да,— ответила Клеменси.— Счастливей и быть нельзя. Одно только это горе у них и есть.

Она подняла голову, как бы внезапно вернувшись к действительности, и быстро взглянула на незнакомца. Увидев, что он отвернулся к окну и, кажется, погрузился в созерцание расстилавшейся перед ним дали, она принялась делать отчаянные знаки своему супругу: то показывала пальцем на объявление, то шевелила губами, словно все вновь и вновь и весьма выразительно повторяя ему одно и то же слово или фразу. Она не издавала ни звука, а ее немые жесты, как и почти все ее движения вообще, были чрезвычайно своеобразны; поэтому непостижимое поведение жены довело мистера Бритена до отчаяния. Он таращил глаза на стол, на незнакомца, на ложки, на жену... следил за ее пантомимой взором, полным глубокого изумления и замешательства... спрашивал ее на том же немом языке, грозит ли опасность их имуществу, ему самому или ей... отвечал на ее знаки другими знаками, выражавшими глубочайшее волнение и смущение... следил за движениями ее губ, стараясь угадать ее слова, произносил вполголоса: «малый гордый?», «мак у лорда?», «мелкий орден?» и все-таки не мог догадаться, что именно она хочет сказать.

В конце концов Клеменси отказалась от своих безнадежных попыток сообщить что-то мужу и, тихонько подвинув свой стул поближе к незнакомцу, сидела, как будто опустив глаза, но в действительности то и дело бросала на него внимательные взгляды, словно ожидая от него еще какого-нибудь вопроса. Ей не пришлось долго ждать, ибо он вскоре заговорил:

— А что произошло с девушкой, после того как она ушла? Ее родные, вероятно, знают об этом?

Клеменси покачала головой.

— Я слышала,— сказала она,— будто доктор Джедлер, должно быть, знает о ней больше, чем говорит. Мисс Грейс получала письма от сестры, в которых та писала, что она здорова и счастлива и стала еще счастливее, когда узнала, что мисс Грейс вышла замуж за мистера Элфреда; и мисс Грейс отвечала на эти письма. Но

все-таки жизнь и судьба мисс Мэрьон окутаны тайной, которая не раскрыта до сих пор и которую...

Она запнулась и умолкла.

— И которую? — повторил незнакомец.

— Которую, по-моему, только один-единственный человек мог бы раскрыть,— докончила Клеменси, часто дыша.

— Кто бы это мог быть? — спросил незнакомец.

— Мистер Майкл Уордн! — чуть не взвизгнула Клеменси, тем самым напрямик высказав мужу то, что перед этим лишь старалась дать ему понять, и одновременно показывая Майклу Уордну, что его узнали.— Вы помните меня, сэр? — спросила Клеменси, дрожа от волнения.— Я сейчас поняла, что помните! Вы помните меня в тот вечер в саду? Ведь это я была с нею.

— Да. Это были вы,— подтвердил он.

— Я самая, сэр,— подхватила Клеменси.— Никто, как я. А это, позвольте вам представить, мой муж. Бен, милый Бен, беги к мисс Грейс... беги к мистеру Элфреду... беги куда-нибудь. Бен! Приведи сюда кого-нибудь, да поскорей!

— Стойте! — сказал Майкл Уордн, спокойно становясь между дверью и Бритеном.— Что вы хотите делать?

— Хочу, чтоб они узнали, что вы здесь, сэр! — вне себя ответила Клеменси, хлопая в ладоши.— Хочу сказать им, что они могут услышать о ней из ваших собственных уст; хочу уверить их, что она не совсем потеряна для них, что она вернется домой обрадовать отца и любящую сестру... и даже свою старую служанку, даже меня,— тут Клеменси ударила себя в грудь обеими руками,— и даст нам взглянуть на ее милое личико! Беги, Бен, беги!

И она по-прежнему толкала его к выходу, а мистер Уордн по-прежнему загораживал дверь, вытянув руку, не рассерженный, но печальный.

— Или, может быть,— сказала Клеменси, проносясь мимо мужа и в волнении хватая мистера Уордна за плащ,— может быть, она уже здесь, может быть, она тут, рядом? Судя по вашему виду, так оно и есть. Дайте же мне взглянуть на нее, сэр, прошу вас! Я нянчила ее, когда она была ребенком. Я видела, как она выросла и

стала гордостью всей нашей округи. Я знала ее, когда она была невестой мистера Элфреда. Я старалась предостеречь ее, когда вы соблазняли ее уйти. Я знаю, каким был ее старый родной дом, когда она была его душою, и до чего он изменился с тех пор, как она ушла и пропала. Пожалуйста, сэр, дайте мне поговорить с нею!

Он смотрел на нее сострадательно и немного удивленно, но ничем не выразил своего согласия.

— Она, наверное, и не знает,— продолжала Клеменси,— как искренне они простили ее, как все родные любят ее, как рады они будут увидеть ее опять. Пожалуй, ей боязно вернуться домой. Может быть, она осмелеет, когда увидит меня. Только скажите мне правду, мистер Уордн, она с вами?

— Нет,— ответил он, покачав головой.

Этот ответ, и все его поведение, и черный костюм, и таинственное возвращение, и объявленное во всеуслышание намерение остаться за границей объясняли все. Мэрьон умерла!

Он не противоречил; значит, она умерла! Клеменси села, уронила голову на стол и заплакала.

В этот миг в комнату вбежал седовласый пожилой джентльмен, который совсем запыхался и дышал с таким трудом, что голос его едва можно было признать за голос мистера Сничи.

— Господи, мистер Уордн! — воскликнул поверенный, отводя в сторону Майкла.— Каким ветром принесло...— Но его самого, должно быть, принесло сюда столь сильным ветром, что он не мог продолжать, и лишь после небольшой паузы докончил слабым голосом: — ...вас сюда?

— Недобрым ветром, к сожалению,— ответил Майкл Уордн.— Если бы вы слышали, о чем здесь говорили... если бы вы знали, как меня просили и умоляли совершить невозможное... какое смятение и горе я ношу в себе!

— Я догадываюсь обо всем этом. Но зачем вы вообще сюда пришли, дорогой сэр? — спросил Сничи.

— Зачем пришел! Как мог я знать, кто арендует этот дом? Я послал к вам своего слугу, потом сам зашел сюда, потому что этот дом показался мне незнакомым, а мне, естественно, любопытно видеть все — и новое и старое — в родных местах; к тому же я хотел снестись с вами

раньше, чем покажусь в городе. Я хотел знать, что будут говорить люди обо мне. По вашему лицу я вижу, что вы можете сказать мне это. Если бы не ваша проклятая осторожность, я уже давно вступил бы во владение своим имуществом.

— Наша «осторожность»! — проговорил поверенный.— Буду говорить за себя и за Крегса — покойного.— Мистер Сничи бросил взгляд на траурную ленту своей шляпы и покачал головой.— Как можете вы осуждать нас, мистер Уордн? Ведь мы условились, что никогда больше не будем поднимать этот вопрос, ибо он был не такого рода, чтобы серьезные и трезвые люди вроде нас (я тогда записал ваше выражение) могли в него вмешиваться. Наша «осторожность» — подумать только! Когда мистер Крегс, сэр, сошел в свою почитаемую могилу, искренне веря...

— Я дал торжественное обещание молчать до своего возвращения, когда бы я ни вернулся,— перебил его мистер Уордн,— и сдержал обещание.

— Так вот, сэр, я повторяю,— продолжал мистер Сничи,— что мы тоже обязались молчать. Мы обязались молчать из чувства долга по отношению к себе самим и по отношению к своим многочисленным клиентам, к вам в том числе, а вы были очень скрытны. Не нам было расспрашивать вас относительно столь деликатного предмета. Я кое-что подозревал, сэр; но только шесть месяцев назад узнал правду и убедился, что вы потеряли Мэрьон.

— От кого вы узнали? — спросил клиент.

— От самого доктора Джедлера, сэр,— он в конце концов по своему почину доверил мне эту тайну. Он, он один знал всю правду уже несколько лет.

— И вы знаете ее? — спросил клиент.

— Знаю, сэр! — ответил Сничи.— И у меня есть основания думать, что правду откроют старшей сестре завтра вечером. Ей обещали это. А пока вы, может быть, окажете мне честь пожаловать ко мне домой, ибо в вашем доме вас не ждут. Но чтобы вам опять не попасть в неловкое положение, если вас узнают (хотя вы очень изменились, возможно я и сам не узнал бы вас, мистер Уордн), нам, пожалуй, лучше пообедать здесь и уйти

вечером. Здесь можно отлично отобедать, мистер Уордн, и кстати сказать, этот дом принадлежит вам. Я и Крегс (покойный), мы иногда заказывали себе здесь отбивные котлеты, и нас прекрасно кормили. Мистер Крегс, сэр,— сказал Сничи, на мгновение крепко зажмурив глаза и снова открыв их,— был вычеркнут из списков жизни слишком рано.

— Простите, что я не выразил вам соболезнования,— отозвался Майкл Уордн, проводя рукой по лбу,— но сейчас я точно во сне. Мне нужно собраться с мыслями. Мистер Крегс... да... мне очень жаль, что вы потеряли мистера Крегса.— Но, говоря это, он смотрел на Клеменси и, видимо, сочувствовал Бену, утешавшему ее.

— Для мистера Крегса, сэр,— заметил Сничи,— жизнь оказалась, к сожалению, не столь простой, как это выходило по его теории, иначе он до сих пор был бы среди нас. Для меня это огромная потеря. Он был моей правой рукой, моей правой ногой, моим правым глазом, моим правым ухом — вот кем был для меня мистер Крегс. Без него я парализован. Свой пай в деле он завещал миссис Крегс, ее управляющим, уполномоченным и доверенным. Его имя осталось в нашей фирме до сих пор. Иногда я, как ребенок, пытаюсь делать вид, что он жив. Вы, быть может, заметили, что я обычно говорю за себя и за Крегса — покойного, сэр... покойного,— промолвил чувствительный юрист, вынимая носовой платок.

Майкл Уордн, все время наблюдавший за Клеменси, повернулся к мистеру Сничи, когда тот умолк, и шепнул ему что-то на ухо.

— Ах, бедняжка! — сказал Сничи, качая головой.— Да, она всегда была так предана Мэрьон. Она всегда любила ее от всего сердца. Прелестная Мэрьон! Бедная Мэрьон! Развеселитесь, миссис... теперь вас можно так называть, теперь вы замужем, Клеменси.

Клеменси только вздохнула и покачала головой.

— Полно, полно! Подождите до завтра,— мягко проговорил поверенный.

— Завтра не может вернуть мертвых к жизни, мистер,— всхлипывая, промолвила Клеменси.

— Да, этого «завтра» не может, иначе оно вернуло бы покойного мистера Крегса,— отозвался поверенный.—

Но завтра могут обнаружиться кое-какие приятные обстоятельства; может прийти некоторое утешение. Подождите до завтра!

И Клеменси, пожимая его протянутую руку, сказала, что подождет; а Бритен, совсем упавший духом при виде своей расстроенной жены (ему уже мерещилось, что и все его дела пришли в расстройство), сказал, что это правильно, после чего мистер Сничи и Майкл Уордн пошли наверх и там вскоре начали беседовать, но так тихо, что голоса их были не слышны за стуком тарелок и блюд, шипением жира на сковороде, бульканьем в кастрюлях, глухим монотонным скрежетом вертела (прерывавшимся по временам страшным щелканьем: казалось, вертел в приступе головокружения смертельно поранил себе голову) и прочими кухонными шумами предобеденных приготовлений.

Следующий день выдался ясный, безветренный, и нигде осенние краски не были так хороши, как в тихом плодовом саду, окружавшем докторский дом. Снегà многих зимних ночей растаяли на этой земле, увядшие листья многих летних дней отшуршали на ней с тех пор, как Мэрьон бежала. Крыльцо, обвитое жимолостью, зеленело снова. деревья отбрасывали на траву густые изменчивые тени, все окружающее казалось спокойным и безмятежным, как всегда; но где же сейчас была сама Мэрьон?

Не здесь... Не здесь... И будь она здесь, в своем старом родном доме, это показалось бы еще более странным, чем вначале казался этот дом без нее. Но на ее прежнем месте сидела женщина, чья любовь никогда не покидала Мэрьон, в чьей преданной памяти она оставалась неизменной — юной, сияющей, окрыленной самыми радужными надеждами; в чьем сердце (теперь это было сердце матери — ведь рядом с женщиной играла ее обожаемая дочка),— в чьем сердце она жила, не имея ни соперников, ни преемников; на чьих нежных губах сейчас трепетало ее имя.

Душа далекой девушки глядела из этих глаз,— из глаз Грейс, ее сестры, сидевшей вместе со своим мужем в саду в годовщину их свадьбы и дня рождения Элфреда и Мэрьон.

Элфред не сделался великим человеком; он не разбогател; он не забыл родных мест и друзей своей юности; он не оправдал ни одного из давних предсказаний доктора. Но когда он тайно и неустанно делал добро, посещая жилища бедняков, сидел у одра больных, повседневно видел расцветающие на окольных тропинках жизни кротость и доброту — не раздавленные тяжкой стопой нищеты, но упруго выпрямляющиеся на ее следах и скрашивающие ее путь,— он с каждым годом все лучше познавал и доказывал правильность своих прежних убеждений. Жизнь его, хоть она и была тихой и уединенной, показала ему, как часто люди и теперь, сами того не ведая, принимают у себя ангелов, как и в старину, и как самые, казалось бы, жалкие существа — даже те из них, что на вид гадки и уродливы и бедно одеты,— испытав горе, нужду и страдания, обретают просветление и уподобляются добрым духам с ореолом вокруг головы.

Быть может, такая вот жизнь его на изменившемся поле битвы была более ценной, чем если бы он, не зная покоя, состязался с другими на пути тщеславия; и он был счастлив со своей женой, милой Грейс.

А Мэрьон? Или он забыл ее?

— С тех пор время летело быстро, милая Грейс,— сказал он (они только что говорили о памятной ночи),— а между тем кажется, будто это случилось давным-давно. Мы ведем счет времени по событиям и переменам внутри нас. Не по годам.

— Однако уже и годы прошли с того дня, как Мэрьон покинула нас,— возразила Грейс.— Шесть раз, милый мой муж, считая сегодняшний, сидели мы здесь в день ее рождения и говорили о ее радостном возвращении,— ведь мы так страстно ожидали его, а оно все откладывалось. Ах, когда же она вернется? Когда?

Глаза ее наполнились слезами, а муж внимательно взглянул на нее и, подойдя ближе, сказал:

— Но, милая, Мэрьон писала тебе в прощальном письме, которое она оставила на твоем столе, а ты перечитывала так часто, что пройдут многие годы, прежде чем она сможет вернуться. Ведь так?

Грейс вынула письмо, спрятанное у нее на груди, поцеловала его и сказала:

— Да.

— Она писала, что все эти годы, как бы она ни была счастлива, она будет мечтать о том времени, когда вы встретитесь и все разъяснится; она умоляла тебя ждать этого, веря и надеясь, что ты послушаешься ее. Ведь так написано в том письме, не правда ли, милая?

— Да, Элфред.

— И в каждом письме, написанном ею с тех пор?

— Не считая последнего, которое я получила несколько месяцев назад: в нем она говорит о тебе и добавляет, что ты знаешь нечто такое, о чем я узнаю сегодня вечером.

Он посмотрел на солнце, быстро опускавшееся к горизонту, и сказал, что тайну ей откроют на закате.

— Элфред! — промолвила Грейс и с серьезным лицом положила ему руку на плечо,— в этом письме, в этом старом письме, которое, как ты сказал, я перечитывала так часто, написано еще кое-что; об этом я никогда не говорила тебе. Но нынче, милый мой муж, когда назначенный час близок и вся наша жизнь как будто умиротворяется и затихает вместе с угасающим днем, я не могу хранить это в тайне.

— Что же это, милая?

— Уходя, Мэрьон написала мне в прощальном письме, что когда-то ты поручил ее мне, а теперь она поручает мне тебя, Элфред. При этом она просила и умоляла меня, ради моей любви к ней и к тебе, не отвергать тех чувств, которые, как она думала (знала, по ее словам), ты перенесешь на меня, когда свежая рана заживет, просила не отвергать их, но поощрять и ответить на них взаимностью.

— И тем самым вернуть мне гордость и счастье, Грейс. Так она написала?

— Она хотела сказать, что это я буду счастлива и горда твоей любовью,— ответила ему жена, и он обнял ее.

— Слушай, что я скажу тебе, милая! — промолвил он.— Нет, слушай меня вот так! — И он нежно прижал ее поднятую голову к своему плечу.— Я знаю, почему я до сих пор ничего не слыхал об этих строках. Я знаю, почему до сих пор ни намека на них не было ни в одном твоем слове или взгляде. Я знаю, почему мою Грейс, хоть

она и была мне верным другом, оказалось так трудно склонить на брак со мной. И, зная это, родная моя, я знаю, как драгоценно то сердце, что сейчас бьется на моей груди!..

Он прижимал ее к сердцу, а она плакала, но не от горя. Немного помолчав, он опустил глаза, взглянул на девочку, которая сидела у их ног, играя корзиночкой с цветами, и сказал ей:

— Посмотри на солнышко. Какое оно золотое и красное!

— Элфред! — сказала Грейс, быстро поднимая голову при этих словах.— Солнце заходит. Ты не забыл о том, что я должна узнать, прежде чем оно зайдет?

— Ты узнаешь правду о Мэрьон, дорогая моя,— ответил он.

— Всю правду,— с мольбой проговорила она.— Не надо больше ничего скрывать от меня. Ты это обещал. Ведь так?

— Да,— ответил он.

— В день рождения Мэрьон, прежде чем зайдет солнце. А ты видишь, Элфред? Оно вот-вот зайдет.

Он обвил рукой ее талию и, пристально глядя ей в глаза, промолвил:

— Не я должен открыть тебе правду, милая Грейс. Ты услышишь ее из других уст.

— Из других уст? — едва слышно повторила она.

— Да. Я знаю твое верное сердце, я знаю, как ты мужественна, я знаю, что одного слова достаточно, чтобы тебя подготовить. Ты права: час настал. Пора! Скажи мне, что сейчас у тебя хватит твердости перенести испытание... неожиданность... потрясение, ибо вестник ждет у ворот.

— Какой вестник? — проговорила она.— И какие вести он несет?

— Я дал слово не говорить ничего больше,— ответил он, не отрывая от нее глаз.— Ты, быть может, понимаешь меня?

— Боюсь понять,— ответила она.

Лицо его отражало такое волнение, хотя глаза казались спокойными, что это испугало ее. Вся дрожа, она

снова прижалась лицом к его плечу и умоляла его подождать... хоть минуту.

— Мужайся, милая моя жена! Если ты достаточно тверда, чтобы встретить вестника, вестник ждет у ворот. Сегодня день рождения Мэрьон, и солнце уже заходит. Мужайся, мужайся, Грейс!

Она подняла голову и, глядя на него, сказала, что теперь готова. И когда она стояла и смотрела вслед уходящему мужу, лицо ее было так похоже на лицо Мэрьон, каким оно было в последние дни перед ее уходом, что это казалось каким-то чудом. Элфред увел с собой дочку. Грейс позвала ее (девочка была тезкой далекой сестры) и прижала к своей груди. Но вот мать отпустила ее, и девочка побежала за отцом, а Грейс осталась одна.

Она не знала, чего боялась и на что надеялась, но стояла, не двигаясь с места и не отрывая глаз от крыльца, на которое поднялись ее муж и дочка перед тем, как войти в комнаты.

Ах, кто это выступил из темного входа в дом и стал на пороге? Эта девушка в белом платье, шуршащем на вечернем ветерке, эта головка, лежащая на груди отца и прижавшаяся к его любящему сердцу! О боже! Что это? Видение? Или это Мэрьон, живая, с криком вырвалась из объятий старика и, протянув руки, переполненная беспредельной любовью, устремилась к Грейс и бросилась в ее объятия?

— О Мэрьон, Мэрьон! О сестра моя! О любовь моего сердца! О радость, невыразимая радость и счастье снова встретиться с тобой!

Да, это был не сон, не призрак, вызванный надеждой и страхом, но сама Мэрьон, чудесная Мэрьон! Такая прекрасная, такая счастливая, такая не тронутая ни заботами, ни испытаниями, полная такой возвышенной и вдохновенной прелести, что в этот миг, когда заходящее солнце ярко осветило ее лицо, она казалась духом, посетившим землю с благой вестью.

Прижимаясь к сестре, упавшей на скамью, Мэрьон склонилась над нею, улыбаясь сквозь слезы, потом стала на колени, обняв ее обеими руками, и, ни на мгновение не сводя глаз с ее лица, озаренная золотым светом заходящего солнца, окутанная тишиной вечера, наконец заго-

ворила, и голос ее был спокоен, тих, ясен и нежен, как этот вечерний час.

— Когда я жила здесь, Грейс, в своем милом родном доме, где опять буду жить теперь...

— Постой, любимая моя! Одно мгновение! О Мэрьон, вновь услышать твой голос!

В первую минуту Грейс была просто не в силах слышать этот столь любимый голос.

— Когда я жила здесь, Грейс, в своем милом родном доме, где опять буду жить теперь, я всей душой любила Элфреда. Я любила его преданно. Я готова была умереть за него, хотя была еще такой юной. В тайниках сердца я никогда не изменяла своей любви к нему, ни на мгновение. Она была мне дороже всего на свете. Хотя это было так давно, и теперь все это уже в прошлом и вообще все изменилось, но мне нестерпима мысль, что ты, которая умеешь так любить, можешь подумать, будто я не любила его искренне. Никогда я не любила его так глубоко, Грейс, как в тот час, когда он уезжал из этого дома в день нашего рождения. Никогда я не любила его так глубоко, милая, как в ту ночь, когда сама ушла отсюда!

Сестра, склонившись над нею, смотрела ей в лицо и сжимала ее в своих объятиях.

— Но, сам того не ведая,— продолжала Мэрьон с нежной улыбкой,— он завоевал другое сердце раньше, чем я поняла, что готова отдать ему свое... Это сердце — твое, сестра моя! — было так переполнено нежностью ко мне, так преданно, так благородно, что таило свою любовь и сумело скрыть эту тайну от всех глаз, кроме моих (нежность и благодарность ведь обострили мое зрение), и это сердце радовалось, жертвуя собой мне. Но я знала о том, что таилось в его глубине. Я знала, какую борьбу оно вынесло, знала, как неизмеримо драгоценно оно для Элфреда и как Элфред почитает его при всей своей любви ко мне. Я знала, в каком я долгу перед этим сердцем. Каждый день я видела перед собой достойный пример. Я знала: то, что ты сделала для меня, Грейс, я могу сделать для тебя, если захочу. Ни разу я не легла спать, не помолившись со слезами о том, чтобы сделать это. Ни разу я не легла спать, не вспомнив о том, что говорил

Элфред в день своего отъезда и как верно он сказал (ибо это я знала, зная тебя), что борющиеся сердца каждый день одерживают такие победы, в сравнении с которыми победы на обычных полях битв кажутся совершенно ничтожными. И когда я все больше и больше думала о той великой битве, про которую он говорил, и о том, какое великое терпение мужественно проявляется в ней, тайно от всех, каждый день и каждый час, мой искус казался мне светлым и легким. И тот, кто сейчас видит наши сердца, дорогая, и знает, что в моем сердце нет ни капли горечи и страдания, нет ничего, кроме чистейшего счастья, тот помог мне решить, что я никогда не выйду за Элфреда. Он будет мужем Грейс и моим братом, говорила я себе, если путь мой приведет к этому счастливому концу; но никогда (О Грейс, как я тогда любила его), никогда я не стану его женой!

— О Мэрьон! О Мэрьон!

— Я пыталась казаться равнодушной к нему,— и Мэрьон прижала лицо сестры к своему,— но это мне удавалось с трудом, а ты всегда была его верной сторонницей. Я пыталась даже сказать тебе о своем решении, но знала, что ты и слушать меня не станешь; ты не смогла бы меня понять. Близилось время его возвращения. Я почувствовала, что мне нужно действовать, прежде чем мы снова станем видеться каждый день. Я понимала, что лучше покончить разом,— лучше одно внезапное потрясение, чем долгие муки для всех нас. Я знала, что, если я уеду, все будет так, как получилось теперь, а ведь это сделало нас обеих такими счастливыми, Грейс! Я написала доброй тете Марте и попросила ее дать мне приют — в то время я не сказала ей всего о себе, но кое-что объяснила, и она охотно согласилась. Когда я уже принимала это решение и внутренне боролась с собой и с любовью к тебе и родному дому, мистер Уордн случайно попал сюда и временно поселился у нас.

— В последние годы я иногда со страхом думала, что не ради него ты ушла! — воскликнула старшая сестра, и лицо ее мертвенно побледнело.— Ты никогда не любила его и вышла за него замуж, жертвуя собой ради меня!

— В то время,— сказала Мэрьон, притянув к себе сестру,— он собирался тайно уехать на долгий срок. По-

кинув наш дом, он написал мне письмо, в котором откровенно рассказал о своих делах и планах на будущее и сделал мне предложение. По его словам, он видел, что я без радости жду возвращения Элфреда. Мне кажется, он думал, что сердце мое не участвовало в нашей помолвке с Элфредом, или думал, что я когда-то любила его, но потом разлюбила... а когда я старалась казаться равнодушной, он, возможно, считал, что я стараюсь скрыть свое равнодушие... не знаю. Но мне хотелось, чтобы ты считала меня навсегда потерянной для Элфреда, безнадежно утраченной... умершей для него! Ты понимаешь меня, милая?

Сестра внимательно смотрела ей в лицо. Казалось, ею овладели сомнения.

— Я увиделась с мистером Уордном и положилась на его честь; а накануне нашего отъезда открыла ему свою тайну. Он сохранил ее. Ты понимаешь меня, дорогая?

Грейс в смущении смотрела на нее. Она как будто ничего не слышала.

— Милая моя, сестра моя,— промолвила Мэрьон,— сосредоточься хоть на минутку и выслушай меня! Не смотри на меня так странно. Дорогая моя, есть края, где женщины, решив отказаться от неудачной любви или бороться с каким-нибудь глубоким чувством и победить его, уходят в безнадежное уединение и навсегда отрекаются от мира, земной любви и надежд. Тогда эти женщины принимают имя, столь дорогое нам с тобой, и называют друг друга «сестрами». Но есть и другие сестры, Грейс: они живут в широком, не огражденном стенами мире, под вольным небом, в людных местах и, погруженные в суету жизни, стараясь помогать людям, ободрять их и делать добро, приобретают тот же опыт, что и первые, и хотя сердца их по-прежнему свежи и юны и открыты для счастья и путей к счастью, они могут сказать, что битва для них давно кончилась, победа давно одержана. И одна из них — я! Понимаешь ты меня теперь?

Грейс все так же пристально смотрела на нее, не отвечая ни слова.

— О Грейс, милая Грейс,— промолвила Мэрьон, еще нежней и ласковей прижимаясь к груди, от которой была

отторгнута так долго,— не будь ты счастливой женой и матерью, не будь у меня здесь маленькой тезки, не будь Элфред — мой милый брат — твоим любимым мужем, откуда снизошло бы ко мне то блаженство, которое я чувствую теперь? Но какой я ушла отсюда, такой и вернулась. Сердце мое не знало иной любви, и руки своей я не отдавала никому. Я девушка, я все та же твоя незамужняя и не помолвленная сестра, твоя родная, преданная Мэрьон, которая любит тебя одну, Грейс, любит безраздельно!

Теперь Грейс поняла сестру. Лицо ее разгладилось, она облегченно зарыдала и, бросившись Мэрьон на шею, все плакала и плакала и ласкала ее, как ребенка.

Немного успокоившись, они увидели, что доктор и его сестра, добрая тетя Марта, стоят поблизости вместе с Элфредом.

— Сегодня печальный день для меня,— проговорила добрая тетя Марта, улыбаясь сквозь слезы и целуя племянниц.— Я принесла счастье всем вам, но потеряла свою дорогую подругу; а что вы можете дать мне взамен моей Мэрьон?

— Обращенного брата,— ответил доктор.

— Да, это, конечно, чего-нибудь стоит,— сказала тетя Марта,— в таком фарсе, как...

— Пожалуйста, не надо,— произнес доктор покаянным тоном.

— Хорошо, не буду! — согласилась тетя Марта.— Но я считаю себя обиженной. Не знаю, что со мной будет без моей Мэрьон, после того как мы с нею прожили вместе целых шесть лет.

— Переезжай сюда и живи с нами,— ответил доктор.— Теперь мы не будем ссориться, Марта.

— А то выходите замуж, тетушка,— сказал Элфред.

— И верно,— подхватила старушка,— пожалуй, не сделать ли предложение Майклу Уордну, который, как я слышала, вернулся домой и после долгого отсутствия изменился к лучшему во всех отношениях. Но вот беда — я знала его еще мальчишкой, а сама я в то время была уже не первой молодости, так что он, чего доброго, не ответит мне взаимностью! Поэтому лучше уж мне поселиться у Мэрьон, когда она выйдет замуж, а до тех пор

(могу вас уверить, что ждать придется недолго) я буду жить одна. Что ты на это скажешь, братец?

— Мне очень хочется сказать, что наш мир совершенно нелеп, и в нем нет ничего серьезного,— заметил бедный старый доктор.

— Можешь хоть двадцать раз утверждать это под присягой, Энтони,— возразила ему сестра,— никто не поверит, если посмотрит тебе в глаза.

— Зато наш мир полон любящих сердец! — сказал доктор, обнимая младшую дочь и склоняясь над нею, чтобы обнять Грейс, так как он был не в силах разлучить сестер,— и это серьезный мир, несмотря на всю его глупость, в том числе и мою, а моей глупостью можно было бы наводнить весь земной шар. И всякий раз, как над этим миром восходит солнце, оно видит тысячи бескровных битв, которые искупают несчастье и зло, царящие на полях кровавых битв; а мы должны осторожно судить о мире, да простит нам небо, ибо мир полон священных тайн, и один лишь создатель его знает, что таится в глубине его самого скромного образа и подобия!

Вряд ли неискусное мое перо доставит вам более полное удовольствие, если я опишу подробно и представлю вашему взору блаженство этой семьи, некогда распавшейся, а теперь воссоединенной. Поэтому я не стану рассказывать, как смиренно вспоминал бедный доктор о горе, которое он испытал, когда потерял Мэрьон, и не буду говорить о том, какой серьезной ему теперь казалась жизнь, в которой каждый человек наделен крепко укоренившейся в нем любовью, а также о том, что такой пустяк, как выпадение одной ничтожной единицы из огромного нелепого итога поразило доктора в самое сердце. Не буду рассказывать и о том, как сестра, сострадая его отчаянию, давно уже мало-помалу открыла ему правду, помогла понять сердце дочери, добровольно ушедшей в изгнание, и привела его к этой дочери.

Не расскажу и о том, как Элфреду Хитфилду сказали правду в этом году, как Мэрьон увиделась с ним и обещала ему, как брату, что в день ее рождения Грейс, наконец, узнает все из ее уст.

— Простите, доктор,— сказал мистер Сничи, заглянув в сад,— нельзя ли мне войти?

Но он не стал дожидаться ответа, а подошел прямо к Мэрьон и радостно поцеловал ей руку.

— Будь мистер Крегс еще жив, дорогая мисс Мэрьон,— сказал мистер Сничи,— он проявил бы большой интерес к этому событию. Быть может, он подумал бы, мистер Элфред, что наша жизнь, пожалуй, не так проста, как он полагал, и что не худо бы нам упрощать ее по мере сил — ведь мистера Крегса нетрудно было убедить, сэр. Он охотно поддавался убеждению. Но если он охотно поддавался убеждению, то я... Впрочем, это слабость. Миссис Сничи, душенька (на этот призыв из-за двери появилась миссис Сничи), вы среди старых друзей.

Миссис Сничи, поздравив всех присутствующих, отвела своего супруга в сторону.

— На минуту, мистер Сничи! — сказала она.— Не в моем характере тревожить прах усопших.

— Совершенно верно, душенька,— подтвердил ее супруг.

— Мистер Крегс...

— Да, душенька, он скончался,— сказал Сничи.

— Но я спрашиваю вас,— продолжала его супруга,— помните ли вы тот день, когда здесь устроили вечеринку? Только об этом я и спрашиваю. Если вы его не забыли, и если память не изменила вам окончательно, мистер Сничи, и если вы не совсем ослеплены своей привязанностью, я прошу вас сопоставить сегодняшний день с тем днем, прошу вспомнить, как я тогда просила и умоляла вас на коленях...

— Уж и на коленях, душенька! — усомнился мистер Сничи.

— Да,— подтвердила миссис Сничи убежденным тоном,— и вы это знаете. Я умоляла вас остерегаться этого человека... обратить внимание на его глаза... а теперь я прошу вас сказать, была я права или нет, и знал ли он в то время тайны, о которых не хотел говорить вам, или не знал?

— Миссис Сничи,— шепнул ей на ухо супруг — а вы, сударыня, тогда заметили что-нибудь в моем взгляде?

— Нет! — резко проговорила миссис Сничи.— Не обольщайтесь.

— А ведь в ту ночь, сударыня,— продолжал он, дернув ее за рукав,— мы оба знали тайны, в которые не хотели никого посвящать, и были осведомлены о них в связи со своими профессиональными обязанностями. Итак, чем меньше вы будете говорить об этом, тем лучше, миссис Сничи, и пусть это послужит вам предостережением и побудит вас впредь быть умнее и добрее. Мисс Мэрьон, я привел с собой одну близкую вам особу. Пожалуйте сюда, миссис!

Прикрыв глаза передником, бедная Клеменси медленно подошла в сопровождении своего супруга, совершенно удрученного тяжелым предчувствием: ему казалось, что если жена его предастся отчаянию, «Мускатной терке» конец.

— Ну, миссис,— произнес поверенный, остановив Мэрьон, бросившуюся к Клеменси, и став между ними,— что с вами такое?

— Что со мной! — вскричала бедная Клеменси.

Но вдруг, изумленная, негодующая и к тому же взволнованная громким возгласом мистера Бритена, она подняла голову и, увидев совсем близко от себя милое незабвенное лицо, впилась в него глазами, всхлипнула, рассмеялась, расплакалась, взвизгнула, обняла Мэрьон, крепко прижала ее к себе, выпустила из своих объятий, бросилась на шею мистеру Сничи и обняла его (к великому негодованию миссис Сничи), бросилась на шею доктору и обняла его, бросилась на шею мистеру Бритену и обняла его и, наконец, обняла себя самое, накинув передник на голову и разрыдавшись под его прикрытием.

Вслед за мистером Сничи в сад вошел какой-то незнакомец, и все это время стоял поодаль у калитки, никем не замеченный, ибо все наши герои были так поглощены собой, что ни на что другое у них внимания не хватало, а если какое и оставалось, то было целиком посвящено восторгам Клеменси. Незнакомец, должно быть, и не желал, чтобы его заметили — он стоял в стороне, опустив голову, и хотя на вид был молодец, казался совершенно подавленным, что особенно бросалось в глаза на фоне всеобщего ликования.

Увидели его только зоркие глаза тети Марты, и, едва заметив его, она тотчас же заговорила с ним. Вскоре она подошла к Мэрьон, стоявшей рядом с Грейс и своей маленькой тезкой, и что-то шепнула ей на ухо, а Мэрьон вздрогнула и как будто удивилась, но, быстро оправившись от смущения, застенчиво подошла к незнакомцу вместе с тетей Мартой и тоже заговорила с ним.

— Мистер Бритен,— сказал между тем поверенный, сунув руку в карман и вынув из него какой-то документ, по-видимому юридический,— поздравляю вас: теперь вы — полноправный и единоличный собственник арендуемого вами недвижимого имущества, точнее — дома, в котором вы в настоящее время живете и содержите разрешенную законом таверну или гостиницу и который носит название «Мускатная терка». Ваша жена потеряла один дом, а теперь приобретает другой, и все это благодаря моему клиенту мистеру Майклу Уордну. В один из этих прекрасных дней я буду иметь удовольствие просить вашего голоса для поддержки нашего кандидата на выборах *.

— А если изменить вывеску, это не повлияет на голосование, сэр? — спросил Бритен.

— Ни в малейшей степени,— ответил юрист.

— Тогда,— сказал мистер Бритен, возвращая ему дарственную запись,— будьте добры, прибавьте к названию гостиницы слова: «и наперсток», а я прикажу написать оба изречения на стене в гостиной — вместо портрета жены.

— И позвольте мне,— послышался сзади них чей-то голос (это был голос незнакомца, а незнакомец оказался Майклом Уордном),— позвольте мне рассказать, какое доброе влияние оказали на меня эти изречения. Мистер Хитфилд и доктор Джедлер, я готов был тяжко оскорбить вас обоих. Не моя заслуга, что этого не случилось. Не скажу, что за эти шесть лет я стал умнее или лучше. Но, во всяком случае, я за это время познал, что такое угрызения совести. У вас нет оснований относиться ко мне снисходительно. Я злоупотребил вашим гостеприимством; однако впоследствии осознал свои заблуждения — со стыдом, которого никогда не забуду, но, надеюсь, и с некоторой пользой для себя,— осознал благодаря той,—

он взглянул на Мэрьон,— которую смиренно молил о прощении, когда понял, какая она хорошая и как я недостоин ее. Через несколько дней я навсегда покину эти места. Я прошу вас простить меня. «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой! Прощай обиды, не помни зла!»

*Время,* от которого я узнал, чем окончилась эта повесть и с которым имею удовольствие быть лично знакомым вот уже тридцать пять лет, сообщило мне, небрежно опираясь на свою косу, что Майкл Уордн никуда не уехал и не продал своего дома, но вновь открыл его и радушно принимает в нем гостей, а жену его, красу и гордость всей округи, зовут Мэрьон. Но, как я уже заметил, Время иногда перепутывает события, и я не знаю, насколько ему можно верить.

# ОДЕРЖИМЫЙ ИЛИ СДЕЛКА С ПРИЗРАКОМ

*Перевод Н. ГАЛЬ*

## ГЛАВА I

### *Дар принят*

Все так говорили.

Я далек от утверждения, будто то, что все говорят, непременно правда. Все нередко и ошибаются. Как показывает опыт человечества, эти самые все уже так часто ошибались и порой так не скоро удавалось понять всю глубину их ошибки, что этому авторитету больше не следует доверять. Все могут быть и правы. «Но это не закон»,— как говорит призрак Джайлса Скроггинса в известной балладе.

Грозное слово «призрак» будит во мне воспоминания...

Все говорили, что этот человек похож на одержимого. И на сей раз все были правы. Именно так он и выглядел.

Увидав его впалые щеки, его блестящие глаза, глубоко ушедшие в орбиты, всю его фигуру в черном, невыразимо мрачную, хотя ладную и стройную, его тронутые сединой волосы, падающие на лоб и виски подобно спутанным водорослям,— словно всю свою жизнь он был одинокой вехой, которую треплет и бьет бездонный людской океан,— кто не сказал бы, что это человек одержимый?

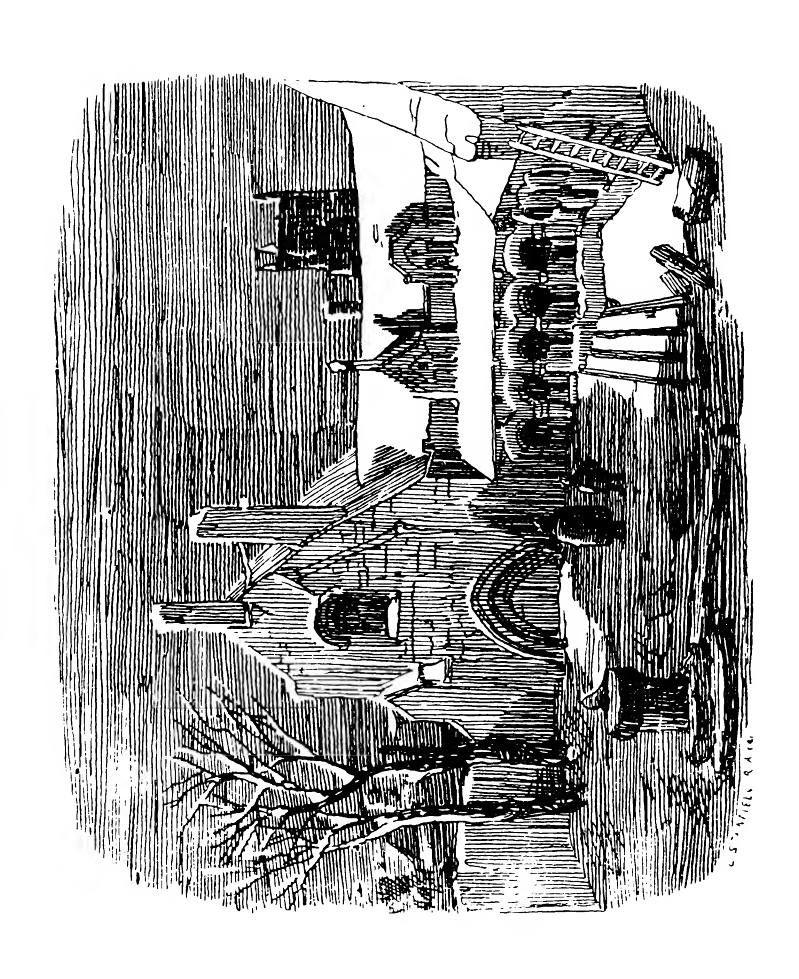
Глядя на него — молчаливого, задумчивого, неизменно скрытного и замкнутого, всегда сумрачного и чуждого веселости, и притом столь рассеянного, словно он постоянно уходил мыслью в далекое прошлое или прислушивался к давно отзвучавшим голосам,— кто не сказал бы, что так вести себя может только человек одержимый?

Услыхав его голос, медлительный, глубокий и печальный, чью природную силу и звучность он словно нарочно сдерживал и приглушал, кто не сказал бы, что это голос человека одержимого?

Видя, как он сидит в своей уединенной комнате, то ли библиотеке, то ли лаборатории — ибо, как известно всему свету, он ученый химик и профессор, к чьим словам прислушиваются изо дня в день толпы учеников,— видя, как он одиноко сидит там зимним вечером в молчаливом окружении колб с химическими веществами, приборов и книг, а тень от прикрытой абажуром лампы, точно исполинский жук, прилепилась на стене, и лишь она одна недвижна среди всех зыбких теней, которые неверное пламя камина отбрасывает от причудливых предметов, наполняющих комнату (иные из этих призрачных силуэтов — отражения стеклянных сосудов с какой-либо жидкостью — трепещут порою в страхе, точно живые твари, знающие, что он властен разложить их на составные части, предать огню и обратить в пар); видя его в этот час, когда дневной труд окончен и он сидит, задумавшись, в кресле, перед багровым пламенем, пляшущим за ржавой каминной решеткой, и шевелит тонкими губами, с которых, однако, не слетает ни звука, точно с безмолвных уст мертвеца,— кто не сказал бы, что, должно быть, и этого человека и эту комнату посещают привидения?

Кто, отдавшись во власть крылатого воображения, не поверил бы, что все вокруг этого человека отмечено печатью чего-то сверхъестественного и живет он среди призраков?

Жилище его — в заброшенном крыле старинного колледжа — так угрюмо и так напоминает склеп; некогда то было величавое здание, высившееся на открытом месте, ныне оно кажется лишь обветшалой прихотью давно забытых зодчих; закопченное, потемневшее от времени и непогоды, оно стиснуто со всех сторон неудержимо растущим огромным городом, задушено камнем и кирпичом, словно старый колодец. Прямоугольные дворики колледжа лежат как бы на дне глубоких провалов — среди высоких стен и домов, что за долгие годы выросли по соседству и поднялись куда выше его приземистых труб; вековые деревья осквернены копотью всех окрестных печей, ибо в хмурые



ненастные дни дым, не имея сил вытянуться кверху, удостаивает сползать даже в такие низины; жалкая травка чуть прозябает на этой пропитанной сыростью почве и тщетно силится разрастись хотя бы в подобие настоящих газонов; мощеные дорожки отвыкли от звонкого шума шагов и даже от чьих-либо взоров,— разве что из окна соседнего дома, словно из другого мира, случайно глянет кто-нибудь и с недоумением спросит себя, что это за глухой закоулок; солнечные часы прячутся в углу среди кирпичных стен, куда за сто лет не пробился ни единый солнечный луч; зато этот забытый солнцем уголок облюбовала зима — и снег залеживается тут еще долго после того, как повсюду он сойдет, и злой восточный ветер гудит здесь, точно огромный волчок, когда в других местах все давно уже тихо и спокойно.

Внутри, в самом сердце своем — у камина — обиталище Ученого было такое старое и мрачное, такое ветхое и вместе прочное; так еще крепки источенные червями балки над головой, так плотно сбит потускневший паркет, ступенями спускающийся к широкому камину старого дуба; окруженное и сдавленное со всех сторон наступающим на него огромным городом, оно было, однако, так старомодно, словно принадлежало иному веку, иным нравам и обычаям; такая тишина тут царила и, однако, такое громовое эхо откликалось на далекий человеческий голос или на стук захлопнувшейся двери, что не только в соседних коридорах и пустых комнатах гудело оно, но перекатывалось, ворча и рыча, все дальше и дальше по дому, пока не замирало в духоте забытых подвалов, где столбы низких нормандских сводов * уже наполовину ушли в землю.

Жаль, что вы не видели его, когда он сумерничает у себя глухою зимней порой!

Когда воет и свистит пронизывающий ветер и солнце, едва видное сквозь туман, склоняется к закату. Когда стемнело ровно настолько, что все предметы кажутся огромными и неясными, но не совсем еще расплылись во тьме. Когда тем, кто сидит у огня, в рдеющих углях начинают мерещиться странные лица и чудовищные образы, горы и пропасти, засады и сражения. Когда на улицах гонимые ветром пешеходы почти бегут, низко наклоняя

голову. Когда те, кому приходится повернуть навстречу ветру, в испуге останавливаются на углу, ибо колючий снег вдруг залепил им глаза, хоть до сих пор его и не видно было,— он падал так редко и уносился по ветру так быстро, что и следа не оставалось на окоченевшей от холода земле. Когда люди наглухо закрывают окна своих домов, сберегая тепло и уют. Когда газовые фонари вспыхивают и на оживленных и на тихих улицах, на которые быстро опускается темнота. Когда прозябший запоздалый пешеход, ускоряя шаг, начинает заглядывать в окна кухонь, где жарко топятся печи, и благоухание чужих обедов щекочет ему ноздри, дразня и без того разыгравшийся аппетит.

Когда путники, продрогнув до костей, устало глядят вокруг, на угрюмые леса и рощи, которые шумят и трепещут под порывами ветра. Когда моряков в открытом море, повисших на обледенелых вантах, безжалостно швыряет во все стороны над ревущей пучиной. Когда на скалах и мысах горят огни одиноких недремлющих маяков и застигнутые тьмою морские птицы бьются грудью о стекло их огромных фонарей и падают мертвыми. Когда ребенок, читая при свете камина сказки «Тысячи и одной ночи», дрожит от страха, ибо ему вдруг привиделся злополучный Кассим-баба, разрубленный на куски и подвешенный в Пещере Разбойников; а еще страшнее ему оттого, что скоро его пошлют спать, и придется идти наверх по темной, холодной, нескончаемой лестнице,— и как бы не попалась ему там навстречу злая старушонка с клюкой, та самая, что выскакивала из ящика в спальне Торговца Абуды.

Когда в конце деревенских улиц гаснет последний слабый отсвет дня и свод ветвей над головой черен и угрюм. Когда в лесах и парках стволы деревьев и высокий влажный папоротник, и пропитанный сыростью мох, и груды опавшей листвы тонут в непроглядной тьме. Когда над плотиной, и над болотом, и над рекой встает туман. Когда весело видеть огни в высоких окнах помещичьего дома и в подслеповатых окошках сельских домиков. Когда останавливается мельница, кузнец запирает кузницу, колесник — свою мастерскую, закрываются заставы, плуг и борона брошены в поле, пахарь с упряжкой возвращается

домой и бой часов на колокольне звучней и слышнее, чем в полдень, и сегодня уже никто больше не отворит калитку кладбища.

Когда из сумрака повсюду выходят тени, весь день томившиеся в неволе, и собираются толпою, точно призраки на смотр. Когда они грозно встают в каждом углу и, хмурясь, выглядывают из-за каждой приотворенной двери. Когда они — безраздельные хозяева чуланов и коридоров. Когда они пляшут по полу, и по стенам, и по потолку жилой комнаты, пока огонь в камине не разгорелся, и отступают, точно море в час отлива, едва пламя вспыхнет ярче. Когда игра теней странно искажает все привычные домашние предметы, и няня обращается в людоедку, деревянная лошадка в чудище, и малыш, которому и смешно и страшно, уже сам себя не узнает — и даже щипцы у очага, кажется ему, больше не щипцы, а великан, он стоит, широко расставив ноги, упершись руками в бока, и, конечно, уже учуял, что тут пахнет человечиной, и готов перемолоть человечьи кости и испечь себе из них хлеб.

Когда те же тени будят у людей постарше иные мысли и показывают им иные картины. Когда они подкрадываются из всех углов, принимая облик тех, кто отошел в прошлое, кто спит в могиле, кто сокрыт в глубокой, глубокой бездне, где вечно бодрствует все то, что могло бы быть, но чего никогда не было.

В эти-то часы Ученый и сидит у камина, глядя в огонь. Пламя то вспыхивает, то почти гаснет, и то скроются, то вновь нахлынут тени. Но он не поднимает глаз; приходят ли тени, уходят ли, он все так же пристально глядит в огонь. Вот когда вам надо бы на него посмотреть.

Вместе с тенями пробуждаются звуки и выползают из потаенных углов по зову сумерек, но от того лишь становится еще глубже сгустившаяся вокруг него тишина. Ветер чем-то гремит в трубе и то поет, то завывает по всему дому. Вековые деревья за стеною так качаются и гнутся, что одинокий ворчливый старик ворон, не в силах уснуть, снова и снова изъявляет свое недовольство негромким, дремотным, хриплым карканьем. То содрогнется в тиши под ударами ветра окно, то жалобно скрипнет на башенке ржавый флюгер и часы на ней возвестят, что

еще четверть часа миновало, то с треском осыплются угли в камине.

Так сидел он однажды вечером, и вдруг его раздумья нарушил стук в дверь.

— Кто там? — откликнулся он.— Войдите!

Нет, разумеется, никто не опирался на спинку его кресла; ничье лицо не склонялось над ним. И, конечно, никто не прошел здесь неслышной, скользящей походкой, когда он вдруг вскинул голову и заговорил. Но ведь в комнате нет ни одного зеркала, в котором могла бы на миг отразиться его собственная тень; а между тем Нечто темное прошло и скрылось!

— Боюсь, сэр,— озабоченно проговорил, появляясь на пороге румяный человек средних лет; он ногою придержал дверь и протиснулся в комнату со своей ношей — деревянным подносом, затем понемногу, осторожно стал отпускать дверь, чтобы она не захлопнулась с шумом,— боюсь, что сегодня ужин сильно запоздал. Но миссис Уильям так часто сбивало с ног...

— Ветром? Да, я слышал, как он разбушевался.

— Ветром, сэр. Еще слава богу, что она вообще добралась до дому. Да, да. Это все ветер, мистер Редлоу. Ветер.

Он поставил поднос на стол и теперь хлопотал, зажигая лампу и расстилая скатерть. Не докончив, кинулся поправлять огонь в камине, потом опять взялся за прежнее занятие. Зажженная лампа и вновь весело запылавший камин с такой быстротой преобразили комнату, что казалось, отрадная перемена вызвана одним лишь появлением этого бодрого, хлопотливого, румяного человека.

— Видите ли, сэр, стихии всегда заставляют миссис Уильям терять равновесие. Она не в силах с ними совладать.

— Да? — коротко, но добродушно отозвался Редлоу.

— Да, сэр. Миссис Уильям может потерять равновесие по причине Земли; к примеру, в прошлое воскресенье, когда было так сыро и скользко, а ее пригласила на чай новая невестка, и она хоть и шла пешком, непременно хотела прийти в наиприличнейшем виде, не запачкав платья, потому что она ведь гордая. Миссис Уильям может потерять равновесие по причине Воздуха; так оно случилось раз на Пикхемской ярмарке, когда одна приятельница

уговорила ее покачаться на качелях, и на нее они сразу подействовали, как пароход. Миссис Уильям может потерять равновесие по причине Огня; так оно случилось, когда подняли тревогу, будто в доме ее матери пожар, она тогда пробежала две мили в ночном чепце. Миссис Уильям может потерять равновесие по причине Воды; так случилось в Бэттерси, когда ее племянник, Чарли Свинджер-младший, повез ее кататься под мостом, а ему от роду двенадцать лет и он совсем не умеет управляться с лодкой. Но это все стихии. Вот если уберечь миссис Уильям от стихий, тогда-то сила ее духа и покажет себя.

Он умолк, дожидаясь ответа, и в ответ снова послышалось «*да*», добродушное, но столь же краткое, как и в первый раз.

— Да, сэр! О да! — сказал мистер Свинджер, все еще занятый приготовлениями к обеду и попутно перечислявший вслух все, что ставил на стол.— То-то оно и есть, сэр. Я и сам всегда это говорю, сэр. Нас, Свинджеров, многое множество!.. Перец... Да вот хотя бы мой отец, сэр, отставной страж и хранитель нашего колледжа, восьмидесяти семи лет от роду. Он доподлинный Свинджер!.. Ложка...

— Это верно, Уильям,— последовал кроткий и рассеянный ответ, когда говоривший снова умолк на минуту.

— Да, сэр,— продолжал мистер Свинджер.— Я всегда это самое и говорю, сэр. Он, можно сказать, ствол нашего древа!.. Хлеб... Далее перед вами его преемник, аз недостойный... Соль... и миссис Уильям, оба Свинджеры... Нож и вилка... Дальше идут мои братья и их семьи, всё Свинджеры — мужья с женами, сыновья и дочери. Да еще двоюродные братья, дядья и тетки и всякая другая родня, ближняя и дальняя, и седьмая вода на киселе. Да еще свойственники, да сватья... Бокал... Так ведь если все Свинджеры возьмутся за руки, получится хоровод вокруг всей Англии!

Не дождавшись на сей раз никакого ответа от своего погруженного в раздумье слушателя, мистер Уильям подошел поближе и, чтоб заставить его очнуться, будто ненароком стукнул по столу графином. Убедившись, что хитрость удалась, он тотчас продолжал, словно спеша выразить свое горячее согласие:

— Да, сэр! Я и сам всегда это говорю, сэр. Мы с миссис Уильям часто так говорим. «На свете довольно Свиджеров, и незачем нам с тобой подбавлять еще»,— говорим мы... Масло... По правде сказать, сэр, что до забот, так мой отец один стоит целого семейства... Соусники... и это только к лучшему, что у нас нет своих детей, хотя миссис Уильям еще и от этого такая тихая. Подавать уже дичь и пюре, сэр? Когда я уходил, миссис Уильям сказала, что через десять минут все будет готово.

— Подавайте,— сказал Ученый, словно пробуждаясь от сна, и начал медленно прохаживаться по комнате.

— Миссис Уильям опять принялась за свое, сэр,— сказал нынешний страж и хранитель колледжа, подогревая у огня тарелку и заслоняя ею лицо от жара. Редлоу остановился посреди комнаты, видимо заинтересованный.

— Я и сам всегда это говорю, сэр. Она иначе не может! Есть в груди миссис Уильям материнские чувства, которые уж непременно найдут выход.

— А что она такое сделала?

— Да, видите ли, сэр, ведь она вроде как мать всем молодым джентльменам, которые съехались к нам со всех сторон в наше старинное заведение, чтоб послушать ваши лекции... прямо удивительно, до чего накаляется этот самый фаянс в такой мороз! — Он перевернул тарелку и подул на пальцы.

— Ну, и что же? — промолвил Редлоу.

— Это самое я и говорю, сэр,— подхватил мистер Уильям, оживленно кивая ему через плечо.— Вот именно, сэр! Наши студенты все до единого любят ее, как родную мать. Всякий день то один, то другой заглядывает в сторожку, и каждому не терпится что-нибудь рассказать миссис Уильям или о чем-нибудь ее попросить. Я слышал, между собою они называют ее просто «Свидж». Но я вам вот что скажу, сэр. Лучше пускай твою фамилию как угодно переиначат, но любя, чем называют тебя по всем правилам, а самого и в грош не ставят! Для чего человеку фамилия? Чтоб знали, кто он есть. А если миссис Уильям знают не просто по фамилии — я хочу сказать, знают по ее достоинствам и доброте душевной,— так бог с ней, с фамилией, хоть она по-настоящему и Свиджер. Пусть зовут ее Свидж, Видж, Бридж — господи боже! Да, да, хоть

бридж, хоть покер, преферанс, пасьянс, я даже не против подкидного, если им так больше нравится!

Заканчивая эту тираду, он подошел к столу и поставил, вернее уронил на него тарелку, перегретую до того, что она обожгла ему пальцы; и в эту самую минуту в комнату вошел предмет его восхвалений, с новым подносом в руках и с фонарем, а за нею следовал почтенного вида седовласый старец.

Миссис Уильям, как и ее супруг, была с виду скромным и простодушным созданием, ее круглые румяные щеки были почти того же цвета, что и форменный жилет мистера Уильяма. Но светлые волосы мистера Уильяма стояли дыбом, устремляясь ввысь, и, казалось, вслед за ними и брови взлетели так высоко, потому и глаза раскрыты во всю ширь в постоянной готовности все видеть и всему изумляться; у миссис же Уильям волнистые темно-каштановые волосы были тщательно приглажены и скромнейшим, аккуратнейшим образом убраны под чистенький, опрятный чепец. Даже темно-серые панталоны мистера Уильяма вздергивались у лодыжек, словно беспокойный характер заставлял их то и дело озираться по сторонам; у миссис же Уильям ровно ниспадающие до полу юбки в крупных цветах, белых с розовым, под стать ее румяному миловидному лицу, были столь аккуратны и безукоризненно отглажены, словно даже зимний ветер, бушующий за дверьми, не в силах был потревожить ни единой их складки. Отвороты фрака на груди мистера Уильяма и его воротник вечно имели такой вид, точно они вот-вот оторвутся и улетят, от ее же гладкого корсажа веяло безмятежным спокойствием, которое послужило бы ей защитою от самых черствых и грубых людей, нуждайся она в защите. Кто был бы столь жесток, чтобы наполнить сердце, бьющееся в этой груди, скорбью, заставить его громко стучать от страха или трепетать от стыда! Кто не почувствовал бы, что этот мир и покой надо охранять, как невинный сон младенца!

— Ты точна, как всегда, Милли,— сказал мистер Уильям и взял у нее из рук поднос.— Как же иначе! Вот и миссис Уильям, сэр! Он сегодня совсем тень тенью,— шепнул он жене, беря у нее поднос.— Уж такой сиротливый и несчастный, я его таким еще не видывал.

Тихая и спокойная до того, что ее присутствие было почти незаметно, Милли бесшумно и неторопливо поставила на стол принесенные блюда; мистер Уильям, немало побегав и посуетившись, ухватил, наконец, один только соусник и держал его наготове.

— А что это в руках у старика? — спросил Редлоу, садясь за свою одинокую трапезу.

— Остролист, сэр,— негромко ответила Милли.

— Вот и я говорю, сэр,— вмешался Уильям, выступая вперед со своим соусником.— Ягодки на нем как раз поспевают в эту пору. Подливка, сэр!

— Еще одно рождество наступило, еще год прошел! — пробормотал Ученый и тяжело вздохнул.— Длиннее стал бесконечный счет воспоминаний, над которыми мы трудимся и трудимся, на горе себе, пока Смерть ленивой рукою все не спутает и не сотрет, не оставив следа... А, это вы, Филипп! — сказал он громче, обращаясь к старику, который стоял поодаль с охапкой глянцевитых ветвей; миссис Уильям спокойно брала у него из рук веточки, неслышно подрезала их ножницами и украшала комнату, а старик свекор с интересом следил за каждым ее движением.

— Мое вам почтение, сэр! — отозвался старик.— Я поздоровался бы и раньше, да ведь, скажу не хвалясь, я знаю ваши привычки, мистер Редлоу, вот и ждал, пока вы сами со мной заговорите. Веселого вам рождества, сэр, и счастливого нового года, и еще многих, многих лет. Я и сам прожил их немало — ха-ха! — смело могу и другому пожелать того же. Мне уже восемьдесят семь годков.

— И много ли из них было веселых и счастливых? — спросил Редлоу.

— Много, сэр, много,— ответил старик.

— Видно, память его сдает? Это вполне естественно в таком возрасте,— понизив голос, обратился Редлоу к Свиджеру-младшему.

— Ни чуточки, сэр,— возразил мистер Уильям.— Я это самое и говорю, сэр. У моего отца память на диво. В целом свете не сыскать другого такого человека. Он не знает, что значит забывать. Поверите ли, сэр, я именно про это всегда говорю миссис Уильям.

Мистер Свиджер, из вежливости никогда и ни с кем не желавший спорить, произнес все это тоном решительного

и безоговорочного согласия, словно он ни на волос не расходился во мнении с мистером Редлоу.

Ученый отодвинул свою тарелку и, поднявшись из-за стола, подошел к старику, который стоял в другом конце комнаты, задумчиво разглядывая веточку остролиста.

— Вероятно, эта веточка напоминает вам еще многие встречи нового года и проводы старого, не так ли? — спросил он, всматриваясь в лицо старика, и положил руку ему на плечо.

— О, много, много лет! — встрепенувшись, отозвался Филипп.— Мне уже восемьдесят семь.

— И все они были веселые и счастливые? — тихо спросил Ученый.— Веселые и счастливые, а, старик?

— Вон с каких пор я это помню — пожалуй, вот таким был, не больше,— сказал Филипп, показывая рукою чуть повыше колена и рассеянно глядя на собеседника.— Помню, день холодный, и солнце светит, и мы идем на прогулку, и тут кто-то говорит — уж верно это была моя дорогая матушка, хоть я и не помню ее лица, потому что в то рождество она захворала и умерла,— так вот, говорит она мне, что этими ягодами кормятся птицы. А малыш — то есть я — и вообразил, будто у птиц оттого и глаза такие блестящие, что зимой они кормятся блестящими ягодками. Это я хорошо помню. А мне уже восемьдесят семь.

— Веселых и счастливых! — в раздумье повторил Редлоу и сочувственно улыбнулся согбенному старцу.— Веселых и счастливых — и вы ясно их припоминаете?

— Как же, как же! — вновь заговорил старик, уловив его последние слова.— Я хорошо помню каждое рождество за все годы, что я учился в школе, и сколько тогда было веселья. В ту пору я был крепким парнишкой, мистер Редлоу; и верите ли, на десять миль окрест нельзя было сыскать лучшего игрока в футбол. Где сын мой Уильям? Ведь правда, Уильям, другого такого не сыскать было и за десять миль?

— Я всегда это говорю, батюшка! — торопливо и почтительно подтвердил Уильям.— Уж вы-то самый настоящий Свиджер, другого такого на свете нет!

— Так-то! — Старик покачал головой и снова поглядел на веточку остролиста.— Многие годы мы с его матерью

(Уильям — наш меньшой) встречали рождество в кругу наших детей, у нас были и сыновья, и дочки, большие и поменьше, и совсем малыши, а глаза у всех, бывало, так и блестят — куда уж там остролисту! Многие умерли; и она умерла; и сын мой Джордж, наш первенец, которым она гордилась больше всех, теперь совсем пропащий человек; а посмотрю я на эту ветку — и опять вижу их всех живыми и здоровыми, как тогда; и Джорджа я, слава богу, тоже вижу невинным ребенком, каким он был тогда. Это большое счастье для меня, в мои восемьдесят семь лет.

Редлоу, вначале пристальным и неотступным взглядом изучавший лицо старика, медленно опустил глаза.

— Когда мы потеряли все, что у нас было, оттого что со мною поступили нечестно, и мне пришлось пойти сюда сторожем,— продолжал старик,— а было это больше пятидесяти лет тому назад... где сын мой Уильям? Тому больше полувека, Уильям!

— Вот и я это говорю, батюшка,— все так же поспешно и уважительно откликнулся сын.— В точности так оно и есть. Дважды ноль — ноль, и дважды пять — десять, и выходит сотня.

— Приятно было мне тогда узнать, что один из наших основателей — или, правильнее сказать, один из тех ученых джентльменов, которые помогали нам доброхотными даяниями в дни королевы Елизаветы, потому что основаны мы еще до ее царствования (по всему чувствовалось, что и предмет этой речи и его собственные познания составляют величайшую гордость старика),— завещал нам среди всего прочего известную сумму на покупку остролиста, чтобы к рождеству украшать им стены и окна. Что-то в этом есть уютное, душевное. Мы тогда были здесь еще чужими и приехали как раз на рождество, и нам сразу приглянулся портрет этого джентльмена, тот самый, который висит в большой зале, где в старину, пока наши незабвенные десять джентльменов не порешили выдавать студентам стипендию деньгами, помещалась наша трапезная. Такой степенный джентльмен с острой бородкой, в брыжах, а под ним свиток, и на свитке старинными буквами надпись: «Боже, сохрани мне память!» Вы знаете про этого джентльмена, мистер Редлоу?

— Я знаю, что есть такой портрет, Филипп.

— Да, конечно, второй справа, повыше панелей. Вот я и хотел сказать — он-то и помог мне сохранить память, спасибо ему; потому что, когда я каждый год вот так обхожу весь дом, как сегодня, и украшаю пустые комнаты свежим остролистом, моя пустая старая голова тоже становится свежее. Один год приводит на память другой, а там припоминается еще и еще! И под конец мне кажется, будто в день рождества Христова родились все, кого я только любил в своей жизни, о ком горевал, кому радовался, а их было многое множество, потому что я ведь прожил восемьдесят семь лет!

— Веселых и счастливых...— пробормотал про себя Редлоу.

В комнате стало как-то странно темнеть.

— Так что, сами видите, сэр,— продолжал Филипп; его старческие, морщинистые, но все еще свежие щеки раскраснелись во время этой речи и голубые глаза блестели,— я много чего храню в памяти заодно с нынешним днем. Ну, а где же моя тихая Мышка? В мои годы, грешным делом, становишься болтлив, а надо еще обойти и дом и пристройки, если только мы прежде не закоченеем на морозе, если нас не собьет с ног ветром и мы не заблудимся в темноте.

Не успел он договорить, как тихая Мышка уже спокойно стала рядом с ним и молча взяла его под руку.

— Пойдем, моя милая,— сказал старик.— Не то мистер Редлоу не примется за свой обед, пока он совсем не застынет. Надеюсь, сэр, вы мне простите мою болтовню. Добрый вечер, и позвольте еще раз пожелать вам веселого...

— Постойте! — сказал Редлоу, вновь усаживаясь за стол, как видно, не потому, что в нем пробудился аппетит, а просто чтобы успокоить старика.— Уделите мне еще минуту, Филипп. Уильям, вы собирались рассказать мне о чем-то, что делает честь вашей уважаемой супруге. Быть может, ей не будет неприятно послушать, как вы ее превозносите. Так в чем же там было дело?

— Да ведь, видите ли, сэр,— замялся Уильям Свиджер, в явном смущении косясь на жену,— миссис Уильям на меня смотрит...

— А вы разве боитесь глàза миссис Уильям?

— Да нет, сэр,— возразил Свиджер,— я как раз это самое и говорю. Не такие у нее глаза, чтоб их бояться. А то господь бог не создал бы их такими кроткими. Но я не хотел бы... Милли! Это про него, знаешь. Там, в Старых домах...

В замешательстве отыскивая неизвестно что на столе, мистер Уильям бросал красноречивые взгляды на жену и исподтишка кивал на Ученого, даже незаметно указывал на него большим пальцем, словно убеждая ее подойти поближе.

— Насчет того, ты же знаешь, душенька,— сказал он.— Там, в Старых домах. Расскажи, милочка! Ты же по сравнению со мной настоящий Шекспир. Там, ну, ты же знаешь, душенька. Студент...

— Студент? — повторил Редлоу и поднял голову.

— Вот я же и говорю, сэр! — с величайшей охотой согласился мистер Уильям.— Если бы не тот бедный студент в Старых домах, чего ради вы бы захотели услышать об этом от самой миссис Уильям? Миссис Уильям, милочка... там, в Старых домах...

— Я не знала,— сказала Милли спокойно и чистосердечно, без малейшей поспешности или смущения,— что Уильям сказал вам об этом хоть слово, а то я не пришла бы сюда. Я просила его не рассказывать. Там есть молодой джентльмен, сэр, он болен — и, боюсь, очень беден. Он так болен, что не мог поехать на праздники домой, и живет один-одинешенек в очень неподходящем помещении для джентльмена, в Старых домах... то есть в «Иерусалиме». Вот и все, сэр.

— Почему же я о нем ни разу не слыхал? — спросил Ученый, поспешно вставая.— Почему он не дал мне знать, что очутился в таком тяжелом положении? Болен! — Дайте мою шляпу и плащ. Беден! — Где это? Какой номер дома?

— Нет, сэр, вам нельзя туда идти,— сказала Милли и, оставив свекра, стала на дороге Редлоу; лицо ее выражало спокойную решимость, руки были сложены на груди.

— Нельзя?

— Нет, нет! — повторила Милли, качая головой, словно речь шла о чем-то совершенно невозможном и немыслимом.— Об этом и думать нечего!

— Что это значит? Почему?

— Видите ли, сэр,— доверительно стал объяснять мистер Уильям,— это самое я и говорю. Уж поверьте, молодой джентльмен никогда не поведал бы о своих невзгодах нашему брату-мужчине. Миссис Уильям заслужила его доверие, но это совсем другое дело. Все они доверяют миссис Уильям, все открывают ей душу. Ни один мужчина у него и полсловечка не выведал бы, сэр; но женщина, сэр, да еще к тому же миссис Уильям!..

— Вы рассуждаете очень здраво, Уильям, и я отдаю должное вашей деликатности,— согласился Редлоу, глядя прямо в кроткое, спокойное лицо Милли. И, прижав палец к губам, потихоньку вложил ей в руку кошелек.

— Ох, нет, сэр, ни за что! — воскликнула она, поспешно возвращая кошелек.— Час от часу не легче! Это и вообразить невозможно!

И такая она была степенная, домовитая хозяйка, таким глубоким и прочным было ее душевное спокойствие, что, едва успев возразить Ученому, она уже тщательно подбирала случайные листочки, упавшие мимо ее подставленного фартука, пока она подстригала остролист.

Вновь распрямившись, она увидела, что Редлоу все еще смотрит на нее удивленно и с недоумением,— и спокойно повторила, поглядывая в то же время, не осталось ли еще где-нибудь на полу незамеченной веточки:

— Ох, нет, сэр, ни за что! Он сказал, что уж вам-то никак нельзя про него знать, и помощи он от вас никакой не примет, хоть он и ваш ученик. Я с вас не брала слова молчать, но я полагаюсь на вашу честь, сэр.

— Почему же он так говорит?

— Право, не умею вам сказать, сэр,— отвечала Милли, подумав минуту.— Я ведь не большого ума женщина; я просто хотела, чтоб ему было удобно и уютно, и прибирала у него в комнате. Но я знаю, что он очень бедный и одинокий, и, видно, некому о нем позаботиться. Что это темно как!

В комнате становилось все темнее. Угрюмые тени сгустились за креслом Ученого.

— Что еще вам о нем известно?

— У него есть нареченная, и они поженятся, как только ему будет на что содержать семью,— сказала Милли.— По-моему, он для того и учится, чтоб потом было

чем заработать кусок хлеба. Я уж давно вижу, что он все силы кладет на ученье и во всем себе отказывает. Да что же это, до чего темно!

— И холодно стало,— вставил старик Свиджер, зябко потирая руки.— Что-то дрожь пробирает, и на душе нехорошо. Где сын мой Уильям? Уильям, сынок, подкрути-ка фитиль в лампе да подбрось угля в камин!

И опять зазвучал голос Милли, точно мирная, чуть слышная музыка.

— Вчера под вечер, когда мы с ним поговорили (последние слова она сказала совсем про себя), он задремал и во сне все что-то бормотал про кого-то, кто умер, и про какую-то тяжкую обиду, которую нельзя забыть; но кого это обидели, его или кого другого, не знаю. Только, если кто и обидел, так уж верно не он.

— Коротко сказать, мистер Редлоу,— подойдя поближе, шепнул ему на ухо Уильям,— даже если миссис Уильям пробудет тут у вас до следующего нового года, сама она все равно не скажет, сколько добра она сделала бедному молодому человеку. Господи, сколько добра! Дома все как всегда, отец мой в тепле и холе, нигде ни соринки не сыщешь даже за пятьдесят фунтов наличными, и как ни погляди, миссис Уильям вроде бы всегда тут... а на самом деле миссис Уильям все бегает да бегает взад и вперед, взад и вперед, и хлопочет о нем, будто о родном сыне!

В комнате стало еще темней, еще холоднее, и мрак и тени все сгущались за креслом.

— А ей и этого мало, сэр. Не дальше как нынче вечером (с тех пор и двух часов не прошло) по дороге домой миссис Уильям видит на улице мальчишку — не мальчишку, а прямо какого-то звереныша, сидит он на чужом крыльце и дрожит от холода. Как поступает миссис Уильям? Подбирает этого ребенка и приводит его к нам, и согревает, и кормит, и уж не отпустит до утра рождества, когда у нас по обычаю раздают бедным еду и теплое белье. Можно подумать, что он отродясь не грелся у огня и даже не знает, что это такое: сидит у нас в сторожке и смотрит на камин во все глаза, никак не наглядится. По крайней мере он там сидел,— подумав, поправился мистер Уильям,— а теперь, может быть, уже и удрал.

— Дай бог ей счастья! — громко сказал Ученый.— И вам тоже, Филипп! И вам, Уильям. Я должен обдумать, как тут быть. Может быть, я все-таки решу навестить этого студента. Не стану вас больше задерживать. Доброй ночи!

— Покорно вас благодарю, сэр, покорно вас благодарю! — отозвался старик.— И за Мышку, и за сына моего Уильяма, и за себя. Где сын мой Уильям? Возьми фонарь, Уильям, ты пойдешь первый по этим длинным темным коридорам, как в прошлом году и в позапрошлом, а мы за тобой. Ха-ха, я-то все помню, хоть мне и восемьдесят семь! «Боже, сохрани мне память!» Очень хорошая молитва, мистер Редлоу, ее сочинил ученый джентльмен с острой бородкой и в брыжах — он висит вторым по правую руку над панелями, там, где прежде, пока наши незабвенные десять джентльменов не порешили по-новому со стипендией, была большая трапезная. «Боже, сохрани мне память!» Очень хорошая молитва, сэр, очень благочестивая. Аминь! Аминь!

Они вышли и хоть и придержали осторожно тяжелую дверь, но, когда она затворилась за ними, по всему дому загремело нескончаемое раскатистое эхо. И в комнате стало еще темнее.

Редлоу опустился в кресло и вновь погрузился в одинокое раздумье. И тогда ярко-зеленый остролист на стене съежился, поблек — и на пол осыпались увядшие, мертвые ветки.

Мрачные тени сгустились позади него, в том углу, где с самого начала было всего темнее. И постепенно они стали напоминать — или из них возникло благодаря какому-то сверхъестественному, нематериальному процессу, которого не мог бы уловить человеческий разум и чувства,— некое пугающее подобие его самого.

Безжизненное и холодное, свинцово-серого цвета руки и в лице ни кровинки — но те же черты, те же блестящие глаза и седина в волосах, и даже мрачный наряд — точная тень одежды Редлоу,— таким возникло оно, без движения и без звука обретя устрашающую видимость бытия. Как Редлоу оперся на подлокотник кресла и задумчиво глядел в огонь, так и Видение, низко наклонясь над ним, оперлось на спинку его кресла, и ужасное подобие живого лица



было точно так же обращено к огню с тем же выражением задумчивости.

Так вот оно, то Нечто, что уже прошло однажды по комнате и скрылось! Вот он, страшный спутник одержимого!

Некоторое время Видение, казалось, так же не замечало Редлоу, как и Редлоу — его. Откуда-то издалека с улицы доносилась музыка, там пели рождественские гимны, и Редлоу, погруженный в раздумье, казалось, прислушивался. И Видение, кажется, тоже прислушивалось.

Наконец он заговорил — не шевелясь, не поднимая головы.

— Опять ты здесь! — сказал он.

— Опять здесь! — ответило Видение.

— Я вижу тебя в пламени,— сказал одержимый.— Я слышу тебя в звуках музыки, во вздохах ветра, в мертвом безмолвии ночи.

Видение наклонило голову в знак согласия.

— Зачем ты приходишь, зачем преследуешь меня?

— Я прихожу, когда меня зовут,— ответил Призрак.

— Нет! Я не звал тебя! — воскликнул Ученый.

— Пусть не звал,— сказал Дух,— не все ли равно. Я здесь.

До этой минуты отблески пламени играли на двух лицах — если тот ужасный лик можно назвать лицом; оба все еще смотрели в огонь, словно не замечая друг друга. Но вот одержимый внезапно обернулся и в упор посмотрел на привидение. Оно столь же внезапно вышло из-за кресла и в упор посмотрело на Редлоу. Так могли бы смотреть друг на друга живой человек и оживший мертвец, в котором он узнал бы самого себя. Ужасна эта встреча в глухом, пустынном углу безлюдного старого здания, в зимнюю ночь, когда ветер, таинственный путник, со стоном проносится мимо, а куда и откуда — того не ведала ни одна душа с начала времен, и несчетные миллионы звезд сверкают в вечных пространствах, где наша земля — лишь пылинка, и ее седая древность — младенчество.

— Взгляни на меня! — сказал Призрак.— Я тот, кто в юности был жалким бедняком, одиноким и всеми забытым, кто боролся и страдал, и вновь боролся и страдал, пока с великим трудом не добыл знание из недр, где оно

было сокрыто, и не вытесал из него ступени, по которым могли подняться мои усталые ноги.

— Этот человек — я,— отозвался Ученый.

— Никто не помогал мне,— продолжало Видение.— Я не знал ни беззаветной материнской любви, ни мудрых отцовских советов. Когда я был еще ребенком, чужой занял место моего отца и вытеснил меня из сердца моей матери. Мои родители были из тех, что не слишком утруждают себя заботами и долг свой скоро почитают исполненным; из тех, кто, как птицы — птенцов, рано бросают своих детей на произвол судьбы,— и если дети преуспели в жизни, приписывают себе все заслуги, а если нет — требуют сочувствия.

Видение умолкло; казалось, оно намеренно дразнит Редлоу, бросает ему вызов взглядом, и голосом, и улыбкой.

— Я — тот,— продолжало Видение,— кто, пробиваясь вверх, обрел друга. Я нашел его, завоевал его сердце, неразрывными узами привязал его к себе. Мы работали вместе, рука об руку. Всю любовь и доверие, которые в ранней юности мне некому было отдать и которых я прежде не умел выразить, я принес ему в дар.

— Не всю,— хрипло возразил Редлоу.

— Это правда, не всю,— согласилось Видение.— У меня была сестра.

— Была! — повторил одержимый и опустил голову на руки.

Видение с недоброй улыбкой придвинулось ближе, сложило руки на спинке кресла, оперлось на них подбородком и, заглядывая сверху в лицо Редлоу пронзительным взором, словно источавшим пламя, продолжало:

— Если я и знавал в своей жизни мгновенья, согретые теплом домашнего очага, тепло и свет исходили от нее. Какая она была юная и прекрасная, какое это было нежное, любящее сердце! Когда у меня впервые появилась своя жалкая крыша над головой, я взял ее к себе — и мое бедное жилище стало дворцом! Она вошла во мрак моей жизни и озарила ее сиянием. Она и сейчас предо мною!

— Только сейчас я видел ее в пламени камина. Я слышал ее в звуках музыки, во вздохах ветра, в мертвом безмолвии ночи,— отозвался Редлоу.

— Любил ли он ее? — точно эхо откликнулось Видение, вторя его задумчивой речи.— Пожалуй, когда-то любил. Да, конечно. Но лучше бы ей любить его меньше — не так скрытно и нежно, не так глубоко; лучше бы не отдавать ему безраздельно все свое сердце!

— Дай мне забыть об этом! — гневно сказал Ученый и предостерегающе поднял руку.— Дай мне вычеркнуть все это из памяти!

Призрак, по-прежнему недвижимый, все так же пристально глядя на Редлоу холодными, немигающими глазами, продолжал:

— Мечты, подобные ее мечтам, прокрались и в мою жизнь.

— Это правда,— сказал Редлоу.

— Любовь, подобная ее любви, хоть я и неспособен был любить так самоотверженно, как она, родилась и в моем сердце,— продолжало Видение.— Я был слишком беден тогда и жребий мой слишком смутен, я не смел какими-либо узами обещания или мольбы связать с собою ту, которую любил. Я и не добивался этого — я слишком сильно ее любил. Но никогда еще я не боролся так отчаянно за то, чтобы возвыситься и преуспеть! Ведь подняться хотя бы на пядь — значило еще немного приблизиться к вершине. И, не щадя себя, я взбирался все выше. В ту пору я работал до поздней ночи, и в минуты передышки, уже под утро — когда сестра, моя нежная подруга, вместе со мною засиживалась перед остывающим очагом, где угасали в золе последние угольки,— какие чудесные картины будущего рисовались мне!

— Только сейчас я видел их в пламени камина,— пробормотал Редлоу.— Они вновь являются мне в звуках музыки, во вздохах ветра, в мертвом безмолвии ночи, в круговороте лет.

— Я рисовал себе свой будущий домашний очаг, свое счастье с той, что вдохновляла меня в моих трудах. И мою сестру, которой я дал бы приданое, чтобы она могла стать женою моего любимого друга,— у него было небольшое состояние, у нас же — ни гроша. И наши зрелые годы, и полное, ничем не омраченное счастье, и золотые узы, которые протянутся в далекое будущее и соединят нас и наших детей в одну сверкающую цепь,— сказал Призрак.

— И все это были ложь и обман,— произнес одержимый.— Почему я обречен вечно вспоминать об этом!

— Ложь и обман,— все тем же бесстрастным голосом откликнулось Видение, глядя на него в упор все тем же холодным, пристальным взглядом.— Ибо мой друг, которому я верил, как самому себе, стал между мною и той, что была средоточием всех моих надежд и устремлений, и завоевал ее сердце, и вся моя хрупкая вселенная рассыпалась в прах. Моя сестра по-прежнему жила под моим кровом и еще более щедро, чем прежде, расточала мне свою нежность и преданность и поддерживала во мне бодрость духа; она дождалась дня, когда ко мне пришла слава и давняя мечта моя сбылась, хотя то, ради чего я добивался славы, было у меня отнято, а затем...

— А затем умерла,— договорил Редлоу.— Умерла, по-прежнему любящая и счастливая, и все мысли ее до последней минуты были только о брате. Да почиет в мире!

Видение молчало, неотступно глядя на него.

— Помню ли! — вновь заговорил одержимый.— О да. Так хорошо помню, что даже сейчас, после стольких лет, когда давно угасшая полудетская любовь кажется такой наивной и нереальной, я все же вспоминаю об этом сочувственно, как будто это случилось с моим младшим братом или сыном. Иной раз я даже спрашиваю себя: когда же она впервые отдала ему свое сердце и питало ли прежде это сердце нежные чувства ко мне? Некогда, мне кажется, она меня любила. Но это все пустяки. Несчастливая юность, рана, нанесенная рукою того, кого я любил и кому верил, и утрата, которую ничто не может возместить, куда важнее подобных фантазий.

— Так несу я в душе Скорбь и Обиду,— сказало Видение.— Так я терзаю себя. Так память стала моим проклятием. И если бы я мог забыть свою скорбь и свои обиды, я забыл бы их!

— Мучитель! — воскликнул Редлоу, вскочив на ноги; казалось, он готов гневной рукою схватить своего двойника за горло.— Зачем ты вечно глумишься надо мной?

— Берегись! — раздался в его ушах грозный голос Призрака.— Коснись меня — и ты погиб.

Редлоу замер, точно обращенный в камень этими словами, и только не сводил глаз с Видения. Оно неслышно

отступало, подъятая рука словно предостерегала или грозила; темная фигура торжествующе выпрямилась, и на губах Призрака мелькнула улыбка.

— Если б я мог забыть мою скорбь и мои обиды, я забыл бы их,— повторил он.— Если б я мог забыть мою скорбь и мои обиды, я забыл бы их!

— Злой дух, владеющий мною,— дрогнувшим голосом промолвил одержимый,— перестань нашептывать мне эти слова, ты обратил мою жизнь в беспросветную му́ку.

— Это только отзвук,— сказал Дух.

— Если это лишь отзвук моих мыслей,— а теперь я вижу, что так и есть,— за что же тогда меня терзать? Я думаю не о себе одном. Я страдаю и за других. У всех людей на свете есть свое горе, почти у всякого — свои обиды; неблагодарность, низкая зависть, корысть равно преследуют богатых и бедных, знатных и простолюдинов! Кто не хотел бы забыть свою скорбь и свои обиды!

— Поистине, кто не хотел бы забыть их и от этого стать чище и счастливее? — сказал Дух.

— О, эти дни, когда уходит старый год и наступает новый,— продолжал Редлоу,— сколько воспоминаний они пробуждают! Найдется ли на свете хоть один человек, в чьей душе они не растравили бы вновь какое-нибудь давнее горе, старую рану? Что помнит старик, который был здесь сегодня, кроме бесконечной цепи горя и страданий?

— Однако заурядные натуры, непросвещенные умы и простые души не чувствуют и не понимают этого так, как люди развитые и мыслящие,— заметило Видение, и недобрая улыбка вновь скользнула по его недвижному лицу.

— Искуситель,— промолвил Редлоу,— твой безжизненный лик и голос несказанно страшат меня, и пока я говорю с тобой, смутное предчувствие еще большего ужаса закрадывается в мою душу. В твоих речах я вновь слышу отголосок собственных мыслей.

— Пусть это будет для тебя зна̀ком моего могущества,— сказал Призрак.— Слушай! Я предлагаю тебе забыть всю скорбь, страдания и обиды, какие ты знал в своей жизни!

— Забыть! — повторил Редлоу.

— Я властен стереть воспоминание о них, так что останется лишь слабый, смутный след, но вскоре изгладится и он,— сказало Видение.— Что ж, решено?

— Подожди! — воскликнул одержимый, в страхе отступая от занесенной над ним руки.— Я трепещу, сомневаюсь, я не верю тебе; неизъяснимый страх, который ты мне внушаешь, обращается в безмерный ужас, я этого не вынесу. Нет, я не хочу лишиться добрых воспоминаний, не хочу утратить ни капли сочувствия, благодетельного для меня или для других. Что я потеряю, если соглашусь? Что еще исчезнет из моей памяти?

— Ты не утратишь знаний; ничего такого, чему можно научиться из книг; ничего, кроме сложной цепи чувств и представлений, которые все связаны с воспоминаниями и питаются ими. Вместе с воспоминаниями исчезнут и они.

— Разве их так много? — тревожно спросил одержимый.

— Они являлись тебе в пламени камина, в звуках музыки и вздохах ветра, в мертвом безмолвии ночи, в круговороте лет,— с презрением ответил Дух.

— И это все?

Видение не ответило.

С минуту оно молча стояло перед Ученым, потом двинулось к камину и здесь остановилось.

— Решайся, пока не поздно! — сказало оно.

— Помедли! — в волнении произнес Редлоу.— Я призываю небеса в свидетели, что никогда я не был ненавистником рода человеческого, никогда не был угрюм, равнодушен или жесток с теми, кто окружал меня. Если в своем одиночестве я слишком много думал о том, что было и что могло бы быть и слишком мало ценил то, что есть, от этого ведь страдал только я один и никто другой. Но если в моем теле заключен яд, а я знаю противоядие, разве я не вправе к нему прибегнуть? Если яд заключен в моей душе и с помощью этой страшной тени я могу изгнать его оттуда, разве не вправе я его изгнать?

— Так что же,— сказал Призрак,— решено?

— Еще одну минуту! — поспешно возразил Редлоу.— Да, я все забыл бы, если б мог! Разве я один думал об этом? Разве не мечтали об этом тысячи и тысячи людей, поколение за поколением? Память каждого человека обре-

менена скорбью и страданиями. И мои воспоминания так же тягостны, как воспоминания всех людей, но у других не было подобного выбора. Да, пусть так, я согласен! Я забуду свое горе, свои обиды и страдания, я этого хочу!

— Так решено? — сказал Призрак.

— Решено!

— Решено. Прими же от меня дар, ты, которого я ныне покидаю, и неси его всем и всюду, куда бы ты ни пошел. Способность, с которой ты пожелал расстаться, не вернется к тебе — и отныне ты будешь убивать ее в каждом, к кому приблизишься. Твоя мудрость подсказала тебе, что помнить о скорби, обидах и страданиях — удел всего рода людского и что люди стали бы счастливее, если бы тягостные и печальные события не оставляли в их памяти никакого следа. Ступай же! Осчастливь человечество! Свободный от подобных воспоминаний, ты с этой минуты вольно или невольно будешь всем дарить эту благословенную свободу. Неизменно и непрестанно она будет исходить от тебя. Ступай! Наслаждайся великим благом, которым ты завладел и которое принесешь другим!

Так говорило Видение, подняв бескровную руку, точно совершая какое-то страшное заклятие, и понемногу подступало все ближе к одержимому — и он видел, что, хоть губы Видения искривились пугающей улыбкой, но глаза не улыбаются, а смотрят все так же холодно, пристально и грозно; и вдруг оно растаяло и исчезло.

Редлоу оцепенел, не в силах пошевелиться, охваченный ужасом и изумлением, и в ушах его снова и снова отдавались, точно угасающее вдалеке эхо, слова: «Ты будешь убивать ее в каждом, к кому приблизишься». И в это время откуда-то донесся пронзительный крик. Он раздавался не в коридоре за дверью, но в другом конце старого здания; казалось, это кричит кто-то заплутавшийся в темноте.

Ученый в растерянности оглядел себя, как бы стараясь увериться, что это в самом деле он, и отозвался; голос его прозвучал громко и дико, ибо неизъяснимый ужас все еще владел им, словно он и сам заплутался.

Крик повторился, на этот раз ближе; Редлоу схватил лампу и откинул тяжелую завесу, которая отделяла его комнату от примыкавшего к ней зала, где он читал лекции,— этим путем он всегда выходил к студентам и воз-



вращался к себе. Обычно на этих скамьях, широким амфитеатром уходивших вверх, он видел множество молодых, оживленных лиц, которые, как по волшебству, загорались пытливым интересом, стоило ему войти; но сейчас здесь не было и признака жизни, и мрачный пустой зал смотрел на него в упор, точно сама Смерть.

— Эй! — крикнул Редлоу.— Эй! Сюда! Идите на свет! — И пока он так стоял, придерживая одной рукой завесу, а другою подняв лампу, и всматривался в темноту зала, что-то живое метнулось мимо него в комнату, точно дикая кошка, и забилось в угол.

— Что это? — быстро спросил Редлоу.

Через минуту, стоя над странным существом, сжавшимся в углу, он лучше разглядел его, но и теперь не мог понять, что же это такое.

Куча лохмотьев, которые все рассыпались бы, если б их не придерживала на груди рука, по величине и форме почти младенческая, но стиснутая с такой судорожной жадностью, словно она принадлежала злому и алчному старику. Круглое, гладкое личико ребенка лет шести-семи, но искаженное, изуродованное следами пережитого. Блестящие глаза, но взгляд совсем не ребяческий. Босые ноги, еще прелестные детской нежностью очертаний, но обезображенные запекшейся на них кровью и грязью. Младенец-дикарь, маленькое чудовище, ребенок, никогда не знавший детства, существо, которое с годами может принять обличье человека, но внутренне до последнего вздоха своего останется только зверем.

Уже привычный к тому, что его гонят и травят, как зверя, мальчик, весь съежившись под взглядом Редлоу, отвечал ему враждебным взглядом и заслонился локтем, ожидая удара.

— Только тронь! — сказал он.— Я тебя укушу.

Всего лишь несколько минут назад сердце Ученого больно сжалось бы от подобного зрелища. Теперь он холодно смотрел на странного гостя; напряженно стараясь что-то припомнить, сам не зная что, он спросил мальчика, зачем он здесь и откуда пришел.

— Где та женщина? — ответил мальчик.— Мне надо ту женщину.

— Какую?

— Ту женщину. Она меня привела и посадила у большого огня. Она очень давно ушла, я пошел ее искать и заблудился. Мне тебя не нужно. Мне нужно ту женщину.

Внезапно он метнулся к выходу, босые ноги глухо застучали по полу; Редлоу едва успел схватить его за лохмотья, когда он был уже у самой завесы.

— Пусти меня! Пусти! — бормотал мальчик сквозь зубы, отбиваясь изо всех сил.— Что я тебе сделал! Пусти меня к той женщине, слышишь!

— Тут далеко. Надо идти другой дорогой,— сказал Редлоу, удерживая его и по-прежнему тщетно пытаясь вспомнить что-то связанное с этим маленьким чудовищем.— Как тебя зовут?

— Никак.

— Где ты живешь?

— Как это — живу?

Мальчик мотнул головой, отбрасывая волосы, упавшие на глаза, и мгновенье глядел в лицо Редлоу, потом опять стал вырываться, без конца повторяя:

— Пусти меня, слышишь? Я хочу к той женщине!

Ученый подвел его к двери.

— Сюда,— сказал он, все еще недоуменно глядя на мальчика, но уже с растущим отвращением и брезгливостью, порожденной равнодушием.— Я отведу тебя к ней.

Колючие глаза, чужие на этом детском лице, оглядели комнату и остановились на столе, с которого еще не были убраны остатки обеда.

— Дай! — жадно сказал мальчик.

— Разве она не накормила тебя?

— Так ведь завтра я опять буду голодный. Я каждый день голодный.

Почувствовав, что его больше не держат, он прыгнул к столу, точно хищный зверек, и крепко прижал к лохмотьям на груди хлеб и кусок мяса.

— Вот! Теперь веди меня к той женщине!

Ученый вдруг понял, что ему противно дотронуться до этого оборвыша, и, жестом приказав мальчику следовать за ним, уже хотел переступить порог, но вздрогнул и остановился.

«Прими от меня дар и неси его всем и всюду, куда бы ты ни пошел!»

Эти слова Призрака донеслись до него с порывом ветра, и он весь похолодел.

— Я не пойду туда сегодня,— прошептал он чуть слышно.— Я никуда сегодня не пойду. Мальчик! Иди прямо по этому сводчатому коридору, минуешь высокую темную дверь, выйдешь во двор и там увидишь в окне огонь.

— Это окно той женщины? — переспросил мальчик.

Редлоу кивнул, и маленькие босые ноги глухо застучали по полу, торопливо убегая прочь. С лампой в руках Редлоу вернулся к себе, поспешно запер дверь и, опустившись в кресло, закрыл лицо руками, точно страшась самого себя.

Ибо теперь он поистине был один. Один, один.

## ГЛАВА II

### *Дар разделен*

Маленький человечек сидел в маленькой комнатке, отделенной от маленькой лавочки маленькой ширмой, сплошь заклеенной маленькими газетными вырезками. Компанию маленькому человечку составляло любое количество маленьких детей, какое вам заблагорассудится назвать,— по крайней мере так могло показаться с первого взгляда: столь внушительное впечатление производили они на этом весьма ограниченном пространстве.

Из этой мелюзги двое чьими-то мощными усилиями были уложены на кровать, стоявшую в углу, где они могли бы мирно опочить сном невинности, если бы не прирожденная склонность пребывать в бодрствующем состоянии и при этом все время то выскакивать из кровати, то снова вскакивать на нее. Непосредственной целью этих буйных вторжений в бодрствующий мир была стена из устричных раковин, возводимая в другом углу комнаты еще двумя юными созданиями; на каковую крепость двое из кровати совершали непрестанные нападения (подобно тем ненавистным пиктам и скоттам, что осаждают на первых порах

изучения истории почти всех юных бриттов) и затем отступали на собственную территорию.

В придачу к суматохе, возникавшей при этих набегах и при контратаках, когда те, что подверглись нападению, увлеченно преследуя обидчиков, с размаху кидались на постель, где под одеялом пытались укрыться беглецы, еще один маленький мальчик, сидевший в другой маленькой кроватке, вносил свою скромную лепту в общий беспорядок, швыряя башмаки и еще кое-какие мелкие предметы, безобидные сами по себе, но в качестве метательных снарядов не очень мягкие и приятные, в нарушителей своего покоя, которые незамедлительно отвечали ему такими же любезностями.

Помимо этого еще один маленький мальчик — самый большой из всех, но все-таки маленький — ковылял взад и вперед, перегнувшись набок и с великим трудом передвигая ноги под тяжестью крупного младенца; иные оптимистически настроенные родители воображают, будто таким способом ребенка можно убаюкать. Но, увы! Мальчик и не подозревал, что глаза младенца глядят поверх его плеча с неистощимым любопытством и только еще зарождающейся готовностью созерцать и наблюдать окружающее.

То был воистину не младенец, а ненасытный Молох, на чей алтарь изо дня в день приносилось в жертву существование упомянутого брата. Характер младенца, можно сказать, составляли два качества: неспособность пять минут кряду пробыть на одном месте без реву и неспособность уснуть, когда это от него требовалось.

«Малютка Тетерби» была столь же известной персоной в квартале, как почтальон или мальчишка-подручный в трактире. Она странствовала на руках маленького Джонни Тетерби от крыльца к крыльцу, тащилась в хвосте ребячьей оравы, сопровождавшей бродячих акробатов или ученую обезьяну, и, завалившись на бок, являлась с пятиминутным опозданием к месту любого происшествия, какое только привлекало зевак в любой час дня и любой день недели. Где бы ни собралась детвора поиграть, маленький Молох был тут как тут и доводил Джонни до седьмого пота. Если Джонни хотелось побыть где-нибудь подольше, маленький Молох принимался буянить и не желал оста-

ваться на одном месте. Если Джонни хотелось уйти из дому, Молох спал и надо было сторожить его сон. Если Джонни хотел посидеть дома, Молох не спал и надо было нести его гулять. И, однако, Джонни был искренне убежден, что ему поручено образцовое дитя, которому нет равного во всем Британском королевстве; он довольствовался теми клочками окружающего мира, которые ему удавалось углядеть из-за платьица Молоха или поверх широких оборок его чепца, и, вполне довольный своей участью, бродил повсюду, сгибаясь под тяжестью Молоха, точно слишком маленький носильщик со слишком большим тюком, который никому не адресован и никогда не может быть доставлен по назначению.

Маленький человечек, сидевший в маленькой комнатке и тщетно пытавшийся среди всей этой сумятицы мирно читать газету, был отцом описанного семейства и главою фирмы, которую вывеска над входом в маленькую лавочку именовала «А. Тетерби и Компания, книгопродавцы». Строго говоря, он был единственным, к кому относились это наименование и титул, ибо «Компания» существовала лишь как поэтический вымысел, совершенно безличный и не имеющий под собою никакой реальной почвы.

Лавочка Тетерби помещалась на углу «Иерусалима». В витрине устроена была солидная выставка литературы, состоявшая главным образом из старых иллюстрированных газет и книжечек о пиратах и разбойниках во многих выпусках с продолжением. Предметом торговли были также трости и бабки. Некогда здесь торговали еще и кондитерскими изделиями; но, как видно, в «Иерусалиме» на подобные предметы роскоши не было спроса, ибо в витрине не осталось почти ничего от этой отрасли коммерции, если не считать подобия стеклянного фонарика, в котором томилась пригоршня леденцов; они столько раз таяли на солнце летом и смерзались зимой, что теперь уже нечего было и надеяться извлечь их на свет божий и съесть — разве что вместе с фонарем. Фирма Тетерби пытала счастья в нескольких направлениях. Однажды она даже сделала робкую попытку заняться игрушками; ибо в другом стеклянном фонаре хранилась кучка крохотных восковых кукол, перемешанных самым жалостным и непостижимым образом, так что одна упиралась пятками в затылок дру-

гой, а на дне плотным слоем лежал осадок из сломанных рук и ног. Она пробовала сделать шаг в направлении торговли дамскими шляпками, о чем свидетельствовали два-три проволочных каркаса, уцелевших в углу витрины. Она некогда возмечтала обрести достаток и благополучие, торгуя табаком, и вывесила изображение трех коренных жителей трех основных частей Британской империи, сосредоточенно наслаждающихся этим ароматным зельем; подпись в стихах поясняла, что всем троим табачок одинаково нужен; кто с понюшкой, кто с трубкой, кто со жвачкою дружен; но и из этого, как видно, ничего не вышло, только картинку засидели мухи. Было, очевидно, и такое время, когда фирма с отчаяния возложила свои надежды на поддельные драгоценности, ибо за стеклом виднелся картон с дешевыми печатками и другой с пеналами, и загадочный черный амулет неведомого назначения, с ярлычком, на котором указана была цена — девять пенсов. Но по сей день «Иерусалим» не купил ни одного из этих сокровищ. Короче говоря, фирма Тетерби так усердно старалась тем или иным способом извлечь из «Иерусалима» средства к существованию и, по-видимому, так мало в этом преуспела, что в наилучшем положении явно оказалась «Компания»: «Компанию», существо бесплотное, ничуть не волновали столь низменные неприятности, как голод и жажда, ей не приходилось платить налогов и у нее не было потомства, о котором надо заботиться.

Сам же Тетерби, чье потомство, как уже упоминалось, заявляло о своем присутствии в маленькой комнатке слишком шумно, чтобы можно было не замечать его и спокойно читать, отложил газету, несколько раз кряду рассеянно, кругами, прошелся по комнате, точно почтовый голубь, еще не определивший, в какую сторону ему направиться, безуспешно попытался поймать на лету одну из проносившихся мимо фигурок в длинных ночных рубашках,— и вдруг, накинувшись на единственного ни в чем не провинившегося члена семейства, надрал уши няньке маленького Молоха.

— Скверный мальчишка! — приговаривал мистер Тетерби.— Почему ты ни капельки не сочувствуешь своему несчастному отцу, который с пяти часов утра на ногах и так устал и измучился за долгий, трудный зимний день?

Почему ты непременно должен своими озорными выходками нарушать его покой и сводить его с ума? Разве не довольно того, сэр, что в то время, как ваш брат Дольф в такой холод и туман трудится, мается и выбивается из сил, вы здесь утопаете в роскоши и у вас есть... у вас есть малютка и все, чего только можно пожелать,— сказал мистер Тетерби, очевидно полагая, что большей благодати и вообразить нельзя.— И при этом тебе непременно нужно обращать свой дом в дикий хаос и родителей доводить до помешательства? Этого, что ли, ты добиваешься? А, Джонни? — Задавая эти вопросы, мистер Тетерби всякий раз делал вид, будто хочет снова приняться за сыновние уши, но в конце концов передумал и не дал воли рукам.

— Ой, папа! — прохныкал Джонни.— Я же ничего плохого не делал! Я так старался убаюкать Салли! Ой, папа!

— Хоть бы моя маленькая женушка поскорей вернулась,— смягчаясь и уже каясь в своей горячности, произнес мистер Тетерби.— Об одном мечтаю; хоть бы моя маленькая женушка поскорей вернулась! Не умею я с ними. У меня от них голова идет кругом, и всегда-то они меня перехитрят. Ох, Джонни! Неужели мало того, что ваша дорогая мамочка подарила вам всем такую милую сестричку,— и он указал на Молоха.— Прежде вас было семеро и ни одной девочки, и чего только не претерпела ваша дорогая мамочка, ради того, чтобы у вас была сестричка, так неужели же вам этого мало? Почему вы так озорничаете, что у меня голова идет кругом?

Все более смягчаясь по мере того, как брали верх его собственные нежные чувства и чувства его незаслуженно оскорбленного сына, мистер Тетерби под конец заключил Джонни в объятия и тотчас рванулся в сторону, чтобы поймать одного из истинных нарушителей тишины и спокойствия. Он удачно взял старт, после короткого, но стремительного броска совершил тяжелый бег с препятствиями по местности, пересеченной несколькими кроватями, одолел лабиринт из стульев и успешно захватил в плен дитя, которое тут же подвергнуто было справедливому наказанию и уложено в постель. Пример этот возымел могущественное и, по всей видимости, гипнотическое действие на

младенца, швырявшегося башмаками, ибо он тотчас погрузился в глубокий сон, хотя лишь за минуту перед тем был весьма оживлен и бодр. Не оставили его без внимания и два юных зодчих, которые скромно и с величайшей поспешностью ретировались в смежную крохотную каморку, где и улеглись в постель. Сотоварищ захваченного в плен тоже постарался так съежиться в своем гнездышке, чтобы его и заметить нельзя было. И мистер Тетерби, остановясь, чтобы перевести дух, неожиданно обнаружил, что вокруг него царят мир и тишина.

— Моя маленькая женушка — и та не могла бы лучше управиться с ними,— сказал мистер Тетерби, утирая раскрасневшееся лицо.— Хотел бы я, чтобы ей самой пришлось сейчас их утихомиривать, очень бы хотел!

Мистер Тетерби поискал среди газетных вырезок на ширме подходящую к случаю и назидательно прочел детям вслух следующее:

— «Бесспорен тот факт, что у всех замечательных людей были замечательные матери, которых они впоследствии чтили как своих лучших друзей». Подумайте о своей замечательной матери, дети мои,— продолжал мистер Тетерби,— и учитесь ценить ее, пока она еще с вами!

Он снова удобно уселся у камина, закинул ногу на ногу и развернул газету.

— Пусть кто-нибудь, все равно кто, еще раз вылезет из кровати,— кротко и ласково произнес он, не обращаясь ни к кому в отдельности,— «и крайнее изумление станет уделом этого нашего уважаемого современника!» — Последнее выражение мистер Тетерби нашел среди вырезок на ширме.— Джонни, сын мой, позаботься о твоей единственной сестре Салли; ибо никогда еще на твоем юном челе не сверкала столь драгоценная жемчужина.

Джонни сел на низенькую скамеечку и благоговейно согнулся под тяжестью Молоха.

— Какой великий дар для тебя эта малютка, Джонни! — продолжал отец,— и как ты должен быть благодарен! «Не всем известно», Джонни,— теперь он снова обратил взгляд на ширму,— «но это факт, установленный при помощи точных подсчетов, что огромный процент новорожденных младенцев не достигает двухлетнего возраста, а именно...»

— Ой, папа, пожалуйста, не надо! — взмолился Джонни.— Я просто не могу, как подумаю про Салли!

Мистер Тетерби сжалился над ним, и Джонни, еще глубже восчувствовав, какое сокровище ему доверено, утер глаза и вновь принялся баюкать сестру.

— Твой брат Дольф сегодня запаздывает, Джонни,— продолжал отец, помешивая кочергой в камине.— Он придет домой замерзший, как сосулька. Что же это случилось с нашей бесценной мамочкой?

— Вот, кажется, мама идет! И Дольф! — воскликнул Джонни.

— Да, ты прав,— прислушавшись, ответил отец.— Это шаги моей маленькой женушки.

Ход мысли, приведший мистера Тетерби к заключению, что жена его — маленькая, остается его секретом. Из нее без труда можно было выкроить двух таких, как он. Даже увидев ее одну всякий подумал бы: «Какая рослая, дородная, осанистая женщина!» — а уж рядом с мужем она казалась настоящей великаншей. Не менее внушительны были ее размеры и по сравнению с ее миниатюрными сыновьями. Однако в дочери миссис Тетерби наконец-то нашла свое достойное отражение; и никто не знал этого лучше, чем жертвенный агнец Джонни, который с утра до ночи испытывал на себе вес и размеры своего требовательного идола.

Миссис Тетерби ходила за покупками и вернулась с тяжелой корзиной; сбросив шаль и чепец, она устало опустилась на стул и приказала Джонни сейчас же принести ей малютку, которую она желала поцеловать. Джонни повиновался, потом вернулся на скамеечку и опять скорчился на ней в три погибели; но тут Адольф Тетерби-младший, который к этому времени размотал нескончаемый пестрый шарф, обвивавший его чуть ли не до пояса, потребовал и для себя такой же милости. Джонни снова подчинился, потом опять вернулся на свою скамеечку и скорчился на ней; но тут мистер Тетерби, осененный вдохновением, в свою очередь заявил о своих родительских правах. Когда это третье пожелание было выполнено, несчастная жертва совсем выбилась из сил; она еле добралась назад к своей скамеечке, снова скорчилась на ней и, едва дыша, поглядывала на родителей и старшего брата.

— Что бы ни было, Джонни,— сказала мать, качая головой,— береги ее — или никогда больше не смей смотреть в глаза своей матери.

— И своему брату,— подхватил Дольф.

— И своему отцу,— прибавил мистер Тетерби.

Джонни, трепеща при мысли о грозящем ему отлучении, заглянул в глаза Молоху, убедился, что покуда сестра цела и невредима, умелой рукой похлопал ее по спине (которая в эту минуту была обращена кверху) и стал покачивать на коленях.

— Ты не промок, Дольф? — спросил отец.— Поди сюда, сынок, сядь в мое кресло и обсушись.

— Нет, папа, спасибо,— ответил Адольф, ладонями приглаживая волосы и одежду.— Я вроде не очень мокрый. А что, лицо у меня здорово блестит?

— Да, у тебя такой вид, сынок, как будто тебя натерли воском,— сказал мистер Тетерби.

— Это от погоды,— объяснил Адольф, растирая щеки рукавом потрепанной куртки.— Когда такой дождь, и ветер, и снег, и туман, у меня лицо иной раз даже сыпью покрывается. А уж блестит вовсю!

Адольф-младший, которому лишь недавно минуло десять лет, тоже пошел по газетной части: нанявшись в фирму более преуспевающую, нежели отцовская, он продавал газеты на вокзале, где сам он, маленький и круглолицый, точно купидон в убогом наряде, и его пронзительный голосишко были всем так же знакомы и привычны, как сиплое дыхание прибывающих и отходящих локомотивов. Он был еще слишком юн для коммерции, и, быть может, ему не хватало бы невинных развлечений, свойственных его возрасту, но, к счастью, он придумал себе забаву, помогающую скоротать долгий день и внести в него разнообразие без ущерба для дела. Это остроумное изобретение, как многие великие открытия, замечательно было своей простотой: оно заключалось в том, что Дольф в разное время дня заменял слово «листок» другими, созвучными. Так, хмурым зимним утром, пока не рассвело, расхаживая по вокзалу в клеенчатом плаще, в шапке и теплом шарфе, он пронизывал сырой, промозглый воздух криком: «Утренний листок»! Примерно за час до полудня газета называлась уже «Утренний блисток», затем, около двух часов

пополудни она превращалась в «Утренний кусток», еще через два часа в «Утренний свисток» и, наконец, на заходе солнца — в «Вечерний хвосток», что очень помогало нашему молодому джентльмену сохранять веселое расположение духа.

Миссис Тетерби, его почтенная матушка, которая, как уже упоминалось, сидела, откинув на спину шаль и чепец, и в задумчивости вертела на пальце обручальное кольцо, теперь поднялась, сняла верхнюю одежду и начала накрывать стол скатертью.

— О господи, господи боже ты мой! — вздохнула она.— И что только творится на свете!

— Что же именно творится на свете, дорогая? — спросил, оглянувшись на нее, мистер Тетерби.

— Ничего, — сказала миссис Тетерби.

Муж поднял брови, перевернул газету и, глаза его побежали по странице вверх, вниз, наискось, но читать он не читал; ему никак не удавалось сосредоточиться.

Тем временем миссис Тетерби расстилала скатерть, но делала это так, словно не готовила стол к мирному семейному ужину, а казнила его за какие-то грехи: без всякой нужды с размаху била его ножами и вилками, шлепала тарелками, щелкала солонкой и, наконец, обрушила на него каравай хлеба.

— О господи, господи боже ты мой! — промолвила она.— И что только творится на свете!

— Голубка моя, ты уже один раз это сказала,— заметил муж.— Что же такое творится на свете?

— Ничего,— отрезала миссис Тетерби.

— Ты и это уже говорила, София,— мягко заметил муж.

— Ну и пожалуйста, могу еще повторить: ничего! И еще, пожалуйста: ничего! И еще, пожалуйста: — ничего! Вот, на тебе!

Мистер Тетерби обратил взор на свою подругу жизни и с кротким удивлением спросил:

— Чем ты расстроена, моя маленькая женушка?

— Сама не знаю,— отозвалась та.— Не спрашивай. И вообще с чего ты взял, что я расстроена? Ни капельки я не расстроена.

Мистер Тетерби отложил газету до более удобного слу-

чая, поднялся и, сгорбившись, заложив руки за спину и медленно прохаживаясь по комнате (его походка вполне соответствовала всему его кроткому и покорному облику), обратился к двум своим старшим отпрыскам.

— Твой ужин сейчас будет готов, Дольф,— сказал он.— Твоя мамочка под дождем ходила за ним в харчевню. Это очень великодушно с ее стороны. И ты тоже скоро получишь что-нибудь на ужин, Джонни. Твоя мамочка довольна тобою, мой друг, потому что ты хорошо заботишься о твоей драгоценной сестричке.

Миссис Тетерби молчала, но стол, видимо, уже не вызывал у нее прежней враждебности; покончив с приготовлениями, она достала из своей вместительной корзинки солидный кусок горячего горохового пудинга, завернутый в бумагу, и миску, от которой, едва с нее сняли покрывавшую ее тарелку, распространялся такой приятный аромат, что три пары глаз в двух кроватях широко раскрылись и уже не отрывались от пиршественного стола. Мистер Тетерби, словно не замечая безмолвного приглашения, продолжал стоять и медленно повторял: «Да, да, твой ужин сейчас будет готов, Дольф, твоя мамочка ходила за ним по дождю в харчевню. Это очень, очень великодушно с ее стороны». Он повторял эти слова до тех пор, пока миссис Тетерби, которая уже некоторое время за его спиной обнаруживала всяческие признаки раскаяния, не кинулась ему на шею и не расплакалась.

— Ох, Дольф! — вымолвила она сквозь слезы.— Как я могла так себя вести!

Это примирение до такой степени растрогало Адольфа-младшего и Джонни, что оба они, точно сговорившись, подняли отчаянный рев, отчего немедленно закрылись три пары круглых глаз в кроватях и окончательно обратились в бегство еще двое маленьких Тетерби, которые как раз выглянули украдкой из своей каморки в надежде поживиться каким-нибудь лакомым кусочком.

— Понимаешь, Дольф,— всхлипывала миссис Тетерби,— когда я шла домой, я того и думать не думала, все равно как младенец, который еще и на свет-то не родился...

Мистеру Тетерби, по-видимому, не понравилось это сравнение.

— Скажем лучше, как новорожденный младенец, дорогая,— заметил он.

— И думать не думала, все равно как новорожденный младенец,— послушно повторила за ним миссис Тетерби,— Джонни, не гляди на меня, а гляди на нее, не то она упадет у тебя с колен и убьется насмерть, и тогда сердце твое разорвется, и поделом тебе... И когда домой пришла, думать не думала, совсем как наша малютка, что вдруг возьму да и разозлюсь. Но почему-то, Дольф...— Тут миссис Тетерби умолкла и опять начала вертеть на пальце обручальное кольцо.

— Понимаю! — сказал мистер Тетерби.— Очень хорошо понимаю. Моя маленькая женушка расстроилась. Тяжелые времена, и тяжелая работа, да и погода такая, что дышать тяжело,— все это иной раз удручает. Понимаю, милая! Ничего удивительного! Дольф, мой друг,— продолжал мистер Тетерби, исследуя вилкой содержимое миски,— твоя мамочка, кроме горохового пудинга, купила в харчевне еще целую косточку от жареной поросячьей ножки, и на косточке осталось еще вдоволь хрустящих корочек, и подливка есть, и горчицы сколько душе угодно. Давай-ка твою тарелку, сынок, и принимайся, пока не остыло.

Второго приглашения не потребовалось: у Адольфа-младшего при виде еды даже слезы навернулись на глаза; получив свою порцию, он уселся на привычном месте и с великим усердием принялся за ужин. О Джонни тоже не забыли, но положили его долю на ломоть хлеба, чтобы подливка не капнула на сестру. По той же причине ему было велено свой кусок пудинга до употребления держать в кармане.

На поросячьей ножке когда-то, наверно, было побольше мяса, но повар в харчевне, без сомнения, не забывал об этой ножке, когда отпускал жаркое предыдущим покупателям; зато на подливку он не поскупился, и эта привычная спутница свинины тотчас вызывала в воображении ее самое и приятнейшим образом обманывала вкус. Гороховый пудинг, хрен и горчица опять-таки были здесь все равно что на Востоке роза при соловье: не будучи сами свининой, они еще совсем недавно жили с нею рядом; и в целом получалось столько ароматов, словно на стол был

подан поросенок средней величины. Благоухание это неодолимо притягивало всех Тетерби, лежавших в постели,— и хотя они притворялись мирно спящими, но, стоило родителям отвернуться, как малыши точно из-под земли вырастали перед братьями, молчаливо требуя от Дольфа и Джонни какого-либо съедобного доказательства братской любви. Те, отнюдь не жестокосердые, дарили им крохи своего ужина, и летучий отряд разведчиков в ночных рубашках непрестанно сновал по комнате, что очень беспокоило мистера Тетерби; раза два он даже вынужден был предпринять атаку, и тогда партизаны в беспорядке отступали.

Миссис Тетерби ужинала без всякого удовольствия. Казалось, какая-то тайная мысль не дает ей покоя. Один раз она вдруг без видимой причины засмеялась, немного погодя без причины всплакнула и, наконец, засмеялась и заплакала сразу,— и настолько ни с того ни с сего, что муж пришел в совершенное недоумение.

— Моя маленькая женушка,— сказал он,— не знаю, что творится на свете, но, видно, что-то неладное и тебе оно не на пользу.

— Дай мне глоточек воды,— сказала миссис Тетерби, стараясь взять себя в руки,— и не говори сейчас со мною и не обращай на меня внимания. Просто не обращай внимания.

Мистер Тетерби дал ей воды и тотчас накинулся на злополучного Джонни (который был исполнен сочувствия), вопрошая, чего ради он погряз в чревоугодии и праздности и не догадывается подойти с малюткой поближе, чтобы ее вид утешил мамочку. Джонни незамедлительно приблизился, сгибаясь под своей ношей; но миссис Тетерби махнула рукой в знак того, что сейчас ей не выдержать столь сильных чувств, и под страхом вечной ненависти всех родных злополучному Джонни было запрещено двигаться далее; он вновь попятился к скамеечке и скорчился на ней в прежней позе.

После короткого молчания миссис Тетерби сказала, что теперь ей лучше, и начала смеяться.

— София, женушка, а ты вполне уверена, что тебе лучше? — с сомнением в голосе переспросил ее супруг.— Может, это у тебя опять начинается?

— Нет, Дольф, нет,— возразила жена,— теперь я пришла в себя.

С этими словами она пригладила волосы, закрыла глаза руками и опять засмеялась.

— Какая же я была злая дура, что могла думать так хоть одну минуту! — сказала она.— Поди сюда, Дольф, и дай мне высказать, что у меня на душе. Я тебе все объясню.

Мистер Тетерби придвинул свое кресло поближе, миссис Тетерби снова засмеялась, крепко обняла его и утерла слезы.

— Ты ведь знаешь, Дольф, милый,— сказала она,— что, когда я была незамужняя, у меня был богатый выбор. Одно время за мною ухаживали сразу четверо; двое из них были сыны Марса.

— Все мы чьи-нибудь сыны, дорогая,— сказал мистер Тетерби.— Или чьи-нибудь дочки.

— Я не то хочу сказать,— возразила его супруга.— Я хочу сказать, военные. Они были сержанты.

— А-а! — протянул мистер Тетерби.

— Так вот, Дольф, можешь мне поверить, никогда я про это не думаю и не жалею; я же знаю, что у меня хороший муж, и я готова чем угодно доказать, что я так ему предана, как...

— Как ни одна маленькая женушка на свете,— сказал мистер Тетерби.— Очень хорошо. Очень, очень хорошо.

В голосе мистера Тетерби звучало столь ласковое снисхождение к воздушной миниатюрности супруги, словно сам он был добрых десяти футов ростом; и миссис Тетерби столь смиренно приняла это как должное, словно сама она была ростом всего в два фута.

— Но понимаешь, Дольф,— продолжала она,— на дворе рождество, и все, кто только может, празднуют, и всякий, у кого есть деньги, старается что-нибудь купить... вот я походила, поглядела — и немножко расстроилась. Сейчас столько всего продают — есть такие вкусные вещи, что слюнки текут, а есть такие красивые, что не налюбуешься, и такие платья, что наслаждение их надеть,— а тут приходится столько рассчитывать да высчитывать, пока решишься потратить шесть пенсов на что-нибудь самое простое и обыкновенное; а корзинка

такая огромная, никак ее не наполнишь; а денег у меня так мало, ни на что не хватает... Ты меня, верно, за это ненавидишь, Дольф?

— Пока еще не очень,— сказал мистер Тетерби.

— Хорошо же! Я скажу тебе всю правду,— покаянно продолжала жена,— и тогда ты, пожалуй, меня возненавидишь. Я все ходила по холоду и смотрела, и вокруг было столько хозяек с большущими корзинками, и все они тоже ходили и смотрели, и высчитывали и приценивались; и так я из-за всего этого разогорчилась, что мне пришло на мысль: может, я жила бы лучше и была бы счастливее, если бы... если бы не...— она снова начала вертеть на пальце обручальное кольцо и покачала низко опущенной головой.

— Понимаю,— тихо сказал муж,— если бы ты совсем не вышла замуж или если б вышла за кого-нибудь другого?

— Да! — всхлипнула миссис Тетерби.— Как раз это самое я и подумала. Теперь ты меня ненавидишь, Дольф?

— Да нет,— сказал мистер Тетерби,— пока еще все-таки нет.

Миссис Тетерби благодарно чмокнула его и опять заговорила:

— Я начинаю надеяться, что ты и не возненавидишь меня, Дольф, хоть я еще и не сказала тебе самого плохого. Уж и не знаю, что это было за наважденье. То ли я заболела, то ли вдруг помешалась, или еще что, но только я не могла ничего такого припомнить, что нас с тобою связывает и что примирило бы меня с моей долей. Все, что у нас было в жизни хорошего и радостного, показалось мне вдруг таким пустым и жалким. Я бы за все это гроша ломаного не дала. И только одно лезло в голову: что мы с тобой так бедны, а надо столько ртов прокормить.

— Ну что ж, милая,— сказал мистер Тетерби и ободряюще похлопал ее по руке,— ведь в конце концов так оно и есть. Мы с тобою бедны, и нам надо прокормить много ртов — все это чистая правда.

— Ах, Дольф, Дольф! — воскликнула жена и положила руки ему на плечи.— Мой хороший, добрый, терпе-

ливый друг! Вот я совсем немножко побыла дома — и все стало совсем иначе. Все стало по-другому, Дольф, милый. Как будто воспоминания потоком хлынули в мое закаменевшее сердце, и смягчили его, и переполнили до краев. Я вспомнила, как мы с тобой бились из-за куска хлеба, и сколько у нас было нужды и забот с тех пор, как мы поженились, и сколько раз болели и мы с тобой, и наши дети, и как мы часами сидели у изголовья больного ребенка,— все это мне вспомнилось, будто заговорило со мною, будто сказало, что мы с тобой — одно, и что я — твоя жена и мать твоих детей, и не может быть у меня никакой другой доли, и не надо мне другой доли, и не хочу я ее. И тогда наши простые радости, которые я готова была безжалостно растоптать, стали так дороги мне, так драгоценны и милы. Просто подумать не могу, до чего я была несправедлива. Вот тогда я и сказала, и еще сто раз повторю: как я могла так вести себя, Дольф, как я могла быть такой бессердечной!

Добрая женщина, охваченная глубокой нежностью и раскаянием, плакала навзрыд; но вдруг она вскрикнула, вскочила и спряталась за мужа. Так страшно крикнула она, что дети проснулись, повскакали с постелей и кинулись к ней. И в глазах ее тоже был ужас, когда она показала на бледного человека в черном плаще, который вошел и остановился на пороге.

— Кто этот человек? Вон там, смотри! Что ему нужно?

— Дорогая моя,— сказал мистер Тетерби,— я спрошу его об этом, если ты меня отпустишь. Что с тобой? Ты вся дрожишь!

— Я его только что видела на улице. Он поглядел на меня и остановился рядом. Я его боюсь!

— Боишься его? Почему?

— Я не знаю... я... стой! Дольф! — крикнула она, видя, что муж направляется к незнакомцу.

Она прижала одну руку ко лбу, другую к груди; странный трепет охватил ее, глаза быстро и беспорядочно перебегали с предмета на предмет, словно она что-то потеряла.

— Ты больна, дорогая? Что с тобой?

— Что это опять уходит от меня? — чуть слышно пробормотала миссис Тетерби.— Что это от меня уходит?

Потом сказала отрывисто:

— Больна? Нет, я совершенно здорова,— и невидящим взглядом уставилась себе под ноги.

Мистер Тетерби вначале тоже невольно поддался испугу, и его отнюдь не успокаивало последующее странное поведение жены; но наконец он осмелился заговорить с бледным посетителем в черном плаще; а тот все еще стоял не шевелясь, опустив глаза.

— Чем мы можем вам служить, сэр? — спросил мистер Тетерби.

— Простите, я, кажется, напугал вас,— сказал посетитель,— но вы были заняты разговором и не заметили, как я вошел.

— Моя маленькая женушка говорит — может быть, вы даже слышали ее слова,— что вы сегодня уже не первый раз ее пугаете,— ответил мистер Тетерби.

— Очень сожалею. Я припоминаю, что видел ее на улице, но только мимоходом. Я не хотел ее пугать.

Говоря это, он поднял глаза, и в ту же самую минуту миссис Тетерби тоже подняла глаза. Странно было видеть, какой ужас он ей внушал и с каким ужасом сам в этом убеждался,— и, однако, он не сводил с нее глаз.

— Меня зовут Редлоу,— сказал он.— Я ваш сосед, живу в старом колледже. Если не ошибаюсь, у вас квартирует один молодой джентльмен, наш студент?

— Мистер Денхем? — спросил Тетерби.

— Да.

То был вполне естественный жест и притом мимолетный, его можно было и не заметить,— но прежде чем снова заговорить, маленький человечек провел рукою по лбу и быстрым взглядом обвел комнату, словно ощущая вокруг какую-то перемену. В тот же миг Ученый обратил на него такой же полный ужаса взгляд, какой прежде устремлен был на его жену, отступил на шаг и еще больше побледнел.

— Комната этого джентльмена наверху, сэр,— сказал Тетерби.— Есть и более удобный отдельный ход; но раз уж вы здесь, поднимитесь вот по этой лесенке,— он показал на узкую внутреннюю лестницу,— тогда вам не

придется опять выходить на холод. Вот сюда — наверх и прямо к нему в комнату, если хотите его повидать.

— Да, я хочу его повидать,— подтвердил Ученый.— Не можете ли вы дать мне огня?

Неотступный взгляд его усталых, страдальческих глаз и непонятное недоверие, омрачавшее этот взгляд, словно бы смутили мистера Тетерби. Он ответил не сразу; в свою очередь пристально глядя на посетителя, он стоял минуту-другую, словно зачарованный или чем-то ошеломленный. Наконец он сказал:

— Идите за мною, сэр, я вам посвечу.

— Нет,— отвечал Ученый,— я не хочу, чтобы меня провожали или предупреждали его о моем приходе. Он меня не ждет. Я предпочел бы пойти один. Дайте мне, пожалуйста, свечку, если можете без нее обойтись, и я сам найду дорогу.

Он так спешил уйти, что, беря из рук Адольфа Тетерби свечу, случайно коснулся его груди. Отдернув руку с такой поспешностью, как будто нечаянно ранил человека (ибо он не знал, в какой части его тела таится новоявленный дар, как он передается и каким именно образом его перенимают разные люди), Ученый повернулся и начал подниматься по лестнице.

Но, поднявшись на несколько ступенек, он остановился и поглядел назад. Внизу жена стояла на прежнем месте, снова вертя на пальце обручальное кольцо. Муж, повесив голову, угрюмо размышлял о чем-то. Дети, все еще льнувшие к матери, робко смотрели вслед посетителю и, увидев, что он обернулся и тоже смотрит на них, теснее прижались друг к дружке.

— А ну, хватит! — прикрикнул на них отец.— Ступайте спать, живо!

— Тут и без вас повернуться негде,— прибавила мать.— Ступайте в постель!

Весь выводок, испуганный и грустный, разбрелся по своим кроватям; позади всех тащился маленький Джонни со своей ношей. Мать с презреньем оглядела убогую комнату, раздраженно оттолкнула тарелки, словно хотела убрать со стола, но тут же отказалась от этого намерения, села и предалась гнетущему, бесплодному раздумью. Отец уселся в углу у камина, нетерпеливо сгреб кочергой

в одну кучку последние чуть тлеющие угольки и согнулся над ними, словно желая один завладеть всем теплом. Они не обменялись ни словом.

Ученый еще больше побледнел и, крадучись, точно вор, снова стал подниматься по лестнице; оглядываясь назад, он видел перемену, происшедшую внизу, и равно боялся как продолжать путь, так и возвратиться.

— Что я наделал! — сказал он в смятении.— И что я собираюсь делать!

— Стать благодетелем рода человеческого,— послышалось в ответ.

Он обернулся, но рядом никого не было; нижняя комната уже не была ему видна, и он пошел своей дорогой, глядя прямо перед собою.

— Только со вчерашнего вечера я сидел взаперти,— хмуро пробормотал он,— а все уже кажется мне каким-то чужим. Я и сам себе как чужой. Я точно во сне. Зачем я здесь, что мне за дело до этого дома, да и до любого дома, какой я могу припомнить? Разум мой слепнет.

Он увидел перед собою дверь и постучался. Голос из-за двери пригласил его войти, так он и сделал.

— Это вы, моя добрая нянюшка? — продолжал голос.— Да зачем я спрашиваю? Больше некому сюда прийти.

Голос звучал весело, хотя и был очень слаб; осмотревшись, Редлоу увидел молодого человека, который лежал на кушетке, придвинутой поближе к камину, спинкою к двери. В глубине камина была сложена из кирпича крохотная, жалкая печурка с боками тощими и ввалившимися, точно щеки чахоточного; она почти не давала тепла, и к догоравшему в ней огню было обращено лицо больного. Комната была под самой крышей, обдуваемой ветром, печка, гудя, быстро прогорала, и пылающие угольки часто-часто сыпались из-за отворенной дверцы.

— Они звенят, когда падают из печки,— с улыбкой сказал студент,— так что, если верить приметам, они не к гробу, а к полному кошельку. Я еще буду здоров и даже с божьей помощью когда-нибудь разбогатею, и, может быть, проживу так долго, что смогу радоваться на свою дочку, которую назову Милли в честь самой доброй и отзывчивой женщины на свете.

Он протянул руку через спинку кушетки, словно ожидая, что Милли возьмет ее в свои, но, слишком слабый, чтобы подняться, остался лежать, как лежал, подсунув под щеку ладонь другой руки.

Ученый обвел взглядом комнату; он увидел стопки бумаг и книг рядом с незажженной лампой на столике в углу, сейчас запретные для больного и прибранные к сторонке, но говорившие о долгих часах, которые студент проводил за этим столом до своей болезни и которые, возможно, были ее причиной; увидел и предметы, свидетельствовавшие о былом здоровье и свободе, например, куртку и плащ, праздно висевшие на стене теперь, когда хозяин их не мог выйти на улицу; и несколько миниатюр на камине и рисунок родного дома — напоминание об иной, не столь одинокой жизни; и в раме на стене — словно бы знак честолюбивых стремлений, а быть может и привязанности — гравированный портрет его самого, незваного гостя. В былые времена и даже еще накануне Редлоу смотрел бы на все это с искренним участием и каждая мелочь что-то сказала бы ему о живущем здесь человеке. Теперь это были для него всего лишь бездушные предметы; а если мимолетное сознание связи, существующей между ними и их владельцем, и мелькнуло в мозгу Редлоу, оно лишь озадачило его, но ничего ему не объяснило, и он стоял неподвижно, в глухом недоумении осматриваясь по сторонам.

Студент, чья худая рука так и осталась лежать на спинке кушетки, не дождавшись знакомого прикосновения, обернулся.

— Мистер Редлоу! — воскликнул он, вставая.

Редлоу предостерегающе поднял руку.

— Не подходите! Я сяду здесь. Оставайтесь на своем месте.

Он сел на стул у самой двери, мельком поглядел на молодого человека, который стоял, опираясь одной рукой о кушетку, и опустил глаза.

— Я случайно узнал — как именно, это неважно,— что один из моих слушателей болен и одинок,— сказал он.— Мне ничего не было о нем известно, кроме того, что он живет на этой улице. Я начал розыски с крайнего дома — и вот нашел.

— Да, я был болен, сэр,— ответил студент не только скромно и неуверенно, но почти с трепетом перед посетителем.— Но мне уже несравненно лучше. Это был приступ лихорадки — нервной горячки, вероятно,— и я очень ослаб, но теперь мне уже много лучше. Я не могу сказать, что был одинок во время болезни, это значило бы забыть протянутую мне руку помощи.

— Вы говорите о жене сторожа? — спросил Редлоу.

— Да.— Студент склонил голову, словно отдавая доброй женщине безмолвную дань уважения.

Ученый все сильнее ощущал холодную скуку и безразличие; трудно было узнать в нем человека, который лишь накануне вскочил из-за обеденного стола, услыхав, что где-то лежит больной студент,— теперь он был подобен мраморному изваянию на собственной могиле. Вновь поглядев на студента, все еще стоявшего опершись на кушетку, он сразу отвел глаза и смотрел то под ноги, то в пространство, как бы в поисках света, который озарил бы его померкший разум.

— Я припомнил ваше имя, когда мне сейчас назвали его там, внизу, и мне знакомо ваше лицо. Но разговаривать с вами мне, очевидно, не приходилось?

— Нет.

— Мне кажется, вы сами отдалялись от меня и избегали встреч?

Студент молча кивнул.

— Отчего же это? — спросил Ученый без малейшей заинтересованности, но с каким-то брюзгливым любопытством, словно из каприза.— Почему именно от меня вы старались скрыть, что вы здесь в такое время, когда все остальные разъехались, и что вы больны? Я хочу знать, в чем причина?

Молодой человек слушал это со все возраставшим волнением, потом поднял глаза на Редлоу, губы его задрожали, и, стиснув руки, он с неожиданной горячностью воскликнул:

— Мистер Редлоу! Вы открыли, кто я! Вы узнали мою тайну!

— Тайну? — резко переспросил Ученый.— Я узнал тайну?

— Да! — ответил студент.— Вы сейчас совсем другой, чем обычно, в вас нет того участия и сочувствия, за которые все вас так любят, самый ваш голос переменился, в каждом вашем слове и в вашем лице принужденность, и я теперь ясно вижу, что вы меня узнали. И ваше старание даже сейчас это скрыть — только доказательство (а видит бог, я не нуждаюсь в доказательствах!) вашей прирожденной доброты и той преграды, что нас разделяет.

Холодный, презрительный смех был ему единственным ответом.

— Но, мистер Редлоу,— сказал студент,— вы такой добрый и справедливый, подумайте, ведь если не считать моего имени и происхождения, на мне нет даже самой малой вины, и разве я в ответе за то зло и обиды, которые вы претерпели, за ваше горе и страдания?

— Горе! — со смехом повторил Редлоу.— Обиды! Что они мне?

— Ради всего святого, сэр! — взмолился студент.— Неужели эти несколько слов, которыми мы сейчас обменялись, могли вызвать в вас такую перемену. Я не хочу этого! Забудьте обо мне, не замечайте меня. Позвольте мне, как прежде, оставаться самым чужим и далеким из ваших учеников. Знайте меня только по моему вымышленному имени, а не как Лэнгфорда...

— Лэнгфорда! — воскликнул Ученый.

Он стиснул руками виски, и мгновенье студент видел перед собою прежнее умное и вдумчивое лицо Редлоу. Но свет, озаривший это лицо, вновь погас, точно мимолетный солнечный луч, и оно опять омрачилось.

— Это имя носит моя мать, сэр,— с запинкой промолвил студент.— Она приняла это имя, когда, быть может, могла принять другое, более достойное уважения. Мистер Редлоу,— робко продолжал он,— мне кажется, я знаю, что произошло. Там, где исчерпываются мои сведения и начинается неизвестность, догадки, пожалуй, подводят меня довольно близко к истине. Я родился от брака, в котором не было ни согласия, ни счастья. С младенчества я слышал, как моя матушка говорила о вас с уважением, почтительно, с чувством, близким к благоговению. Я слышал о такой преданности, о такой силе духа и о столь нежном сердце, о такой мужественной борьбе

с препятствиями, перед которыми отступают обыкновенные люди, что с тех пор, как я себя помню, мое воображение окружило ваше имя ореолом. И, наконец, у кого, кроме вас, мог бы учиться такой бедняк, как я?

Ничто не тронуло Редлоу, ничто не дрогнуло в его лице, он слушал, хмуро и пристально глядя на студента, и не отвечал ни словом, ни движением.

— Не могу сказать вам,— продолжал тот,— я все равно не нашел бы слов,— как я был взволнован и растроган, увидев вашу доброту, памятную мне по тем рассказам. Недаром же с такой признательностью, с таким доверием произносят наши студенты (и особенно беднейшие из нас) самое имя великодушного мистера Редлоу. Разница наших лет и положения так велика, сэр, и я так привык видеть вас только издали, что сам удивляюсь сейчас своей дерзости, когда осмеливаюсь об этом говорить. Но человеку, который... которому, можно сказать, когда-то была не совсем безразлична моя матушка, теперь, когда все это осталось далеко в прошлом, быть может интересно будет услышать, с какой невыразимой любовью и уважением смотрю на него я, безвестный студент; как трудно, как мучительно мне все время держаться в стороне и не искать его одобрения, тогда как одно лишь слово похвалы сделало бы меня счастливым; и, однако, я полагаю своим долгом держаться так и впредь, довольствуясь тем, что знаю его, и оставаясь ему неизвестным. Мистер Редлоу,— докончил он упавшим голосом,— то, что я хотел вам сказать, я сказал плохо и бессвязно, потому что силы еще не вернулись ко мне; но за все, что было недостойного в моем обмане, простите меня, а все остальное забудьте!

Редлоу по-прежнему хмуро и пристально смотрел на студента, ничто не отразилось на его лице, но когда юноша при последних словах шагнул вперед, словно желая коснуться его руки, он отпрянул с криком:

— Не подходите!

Молодой человек остановился, потрясенный, не понимая,— откуда этот ужас, это нетерпеливое, беспощадное отвращение, — и растерянно провел рукою по лбу.

— Прошлое есть прошлое,— сказал Ученый.— Оно умирает, как умирают бессловесные твари. Кто сказал,

что прошлое оставило след в моей жизни? Он бредит или лжет! Какое мне дело до ваших сумасбродных фантазий? Если вам нужны деньги, вот они. Я пришел предложить вам денег; только за этим я и пришел. Что еще могло привести меня сюда? — пробормотал он и опять сжал ладонями виски.— Ничего другого не может быть, и однако...

Он швырнул на стол кошелек и весь отдался этим смутным раздумьям; студент поднял кошелек и протянул его Ученому.

— Возьмите это назад, сэр,— сказал он гордо, но без гнева.— И я хотел бы, чтобы вместе с этим кошельком вы унесли также воспоминание о ваших словах и о вашем предложении.

— Вы этого хотите? — переспросил Редлоу, и глаза его дико блеснули.— Вот как?

— Да, хочу!

Редлоу впервые подошел к нему вплотную, принял кошелек, взял студента за руку повыше локтя и посмотрел ему в лицо.

— Болезнь приносит с собою скорбь и страдание, не так ли? — спросил он и засмеялся.

— Так,— удивленно ответил студент.

— И лишает покоя, и приносит тревогу и заботы, и страх за будущее, и еще много тягот душевных и телесных? — продолжал Ученый с какой-то дикой, нечеловеческой радостью.— И обо всем этом лучше бы позабыть, не так ли?

Студент не ответил, но опять смятенно провел рукою по лбу. Редлоу все еще держал его за рукав, как вдруг за дверью послышался голос Милли.

— Ничего, мне и так видно,— говорила она.— Спасибо, Дольф. Не надо плакать, милый. Завтра папа с мамой помирятся и дома все опять будет хорошо. Так ты говоришь, у него гость?

Редлоу, прислушиваясь, разжал пальцы и выпустил руку студента.

— С первой минуты я страшился встречи с нею,— пробормотал он едва слышно.— От нее неотделима эта спокойная доброта, и я боюсь повредить ей. Вдруг я стану убийцей того, что есть лучшего в этом любящем сердце.

Милли уже стучала в дверь.

— Что же мне делать, не обращать внимания на пустые страхи или и дальше избегать ее? — шептал Ученый, в смущении озираясь по сторонам.

В дверь снова постучали.

— Из всех, кто мог бы сюда прийти, именно с ней я не хочу встречаться,— хрипло, тревожно произнес Редлоу, обращаясь к студенту.— Спрячьте меня!

Студент отворил узенькую дверь в каморку с косым потолком, помещавшуюся под скатом крыши. Редлоу поспешно прошел в каморку и захлопнул за собою скрипучую дверцу.

Тогда студент снова лег на свою кушетку и крикнул Милли, что она может войти.

— Милый мистер Эдмонд,— сказала Милли, оглядевшись,— а внизу мне сказали, что у вас сидит какой-то джентльмен.

— Здесь никого нет, я один.

— Но к вам кто-то приходил?

— Да, приходил.

Милли поставила на стол свою корзинку и подошла сзади к кушетке, словно хотела взять протянутую руку,— но руки ей не протянули. Слегка удивленная, она тихонько наклонилась над кушеткой, заглянула в лицо лежащего и ласково коснулась его лба.

— Вам опять стало хуже к вечеру? Днем у вас голова была не такая горячая.

— А, пустяки! — нетерпеливо сказал студент.— Ничуть мне не хуже!

Еще более удивленная, но без тени упрека на лице, она отошла от него, села по другую сторону стола и вынула из корзинки узелок с шитьем. Но тут же передумала, отложила шитье и, неслышно двигаясь по комнате, начала аккуратно расставлять все по местам и приводить в порядок; даже подушки на кушетке она поправила таким осторожным, легким движением, что студент, который лежал, глядя в огонь, кажется, этого и не заметил. Потом она подмела золу, высыпавшуюся из камина, села, склонила голову в скромном чепчике над своим шитьем и тотчас принялась за дело.

— Это вам новая муслиновая занавеска на окно,

мистер Эдмонд,— промолвила она, проворно работая иглой.— Она будет очень мило выглядеть, хоть и стоит совсем дешево, и к тому же она защитит ваши глаза от света. Мой Уильям говорит, что сейчас, когда вы так хорошо пошли на поправку, в комнате не должно быть слишком светло, не то у вас от яркого света закружится голова.

Эдмонд ничего не ответил, только заворочался на кушетке, но было в этом столько нетерпения и недовольства, что иголка замерла в руках Милли, и она с тревогой посмотрела на него.

— Вам неудобно лежать,— сказала она, отложила шитье и поднялась.— Сейчас я поправлю подушки.

— И так хорошо,— ответил он.— Оставьте, пожалуйста. Вечно вы беспокоитесь по пустякам.

Говоря это, он поднял голову и посмотрел на нее холодно, без малейшего проблеска благодарности, так что, когда он опять откинулся на подушки, Милли еще с минуту стояла в растерянности. Но потом она все же снова села и взялась за иглу, не укорив его даже взглядом.

— Я все думаю, мистер Эдмонд, о том, о чем вы и сами так часто думали, когда я сидела тут с вами последнее время: как это верно говорится, что беда научит уму-разуму. После вашей болезни вы станете ценить здоровье, как никогда не ценили. Пройдет много-много лет, опять наступит рождество, и вы вспомните эти дни, как вы тут лежали больной, один, потому что не хотели вестью о своей болезни огорчать милых вашему сердцу,— и родной дом станет вам вдвойне мил и отраден. Правда же, это хорошо и верно люди говорят?

Она была так занята своим шитьем, так искренне верила в справедливость того, о чем говорила, да и вообще такая она была спокойная и уравновешенная, что ее мало заботило, какими глазами посмотрит на нее Эдмонд, выслушав эти слова; поэтому не согретый благодарностью взгляд, который он метнул в нее вместо ответа, не ранил ее.

— Ах,— сказала Милли, задумчиво склонив набок свою хорошенькую головку и не отрывая глаз от работы,— даже я все время об этом думала, пока вы были больны, мистер Эдмонд, а где же мне с вами равняться,

я женщина неученая и нет у меня настоящего разумения. Но только эти бедняки, которые живут внизу, и вправду к вам всей душой, а я как погляжу, что вы совсем из-за них растрогаетесь, так и думаю: уж, верно, и это для вас какая-то награда за нездоровье, и у вас на лице это можно прочитать, прямо как по книге, что, если бы не горе да страдания, мы бы и не приметили, сколько вокруг нас добра.

Она хотела еще что-то сказать, но остановилась, потому что больной поднялся с кушетки.

— Не будем преувеличивать ничьих заслуг, миссис Уильям,— небрежно бросил он.— Этим людям, смею сказать, в свое время будет заплачено за каждую самую мелкую услугу, которую они мне оказали; вероятно, опи этого и ждут. И вам я тоже весьма признателен.

Она перестала шить и подняла на него глаза.

— Не надо преувеличивать серьезность моей болезни,— продолжал студент.— Этим вы не заставите меня почувствовать еще большую признательность. Я сознаю, что вы проявили ко мне участие, и, повторяю, я вам весьма обязан. Чего же вам еще?

Шитье выпало из рук Милли, и она молча смотрела, как он, раздосадованный, ходит по комнате, порою остановится на минуту и снова шагает взад и вперед.

— Еще раз повторяю, я вам весьма обязан. Ваши заслуги бесспорны, так зачем же ослаблять мою признательность, предъявляя ко мне какие-то непомерные претензии? Несчастья, горе, болезни, беды! Можно подумать, что я был на волосок от десяти смертей сразу!

— Неужто вы думаете, мистер Эдмонд,— спросила Милли, вставая и подходя к нему,— что, когда я говорила об этих бедняках, я намекала на себя? На себя? — И она с улыбкой простодушного удивления приложила руку к груди.

— Ах, да ничего я об этом не думаю, моя милая,— возразил студент.— У меня было небольшое недомогание, которому вы с вашей заботливостью (заметьте, я сказал — заботливостью!) придаете чересчур большое значение; ну, а теперь все прошло, и довольно об этом.

Холодно посмотрев на Милли, он взял книгу и подсел к столу.

Милли еще минуту-другую смотрела на него, и постепенно улыбка ее погасла. Потом, отойдя к столу, где оставалась ее корзинка, она тихо спросила:

— Мистер Эдмонд, может быть, вам приятнее побыть одному?

— Не вижу причин вас удерживать,— отозвался он.

— Вот только...— нерешительно промолвила она, показывая на шитье.

— А, занавеска,— он презрительно засмеялся.— Ради этого не стоит оставаться.

Она свернула свою работу и уложила в корзинку. Потом остановилась перед Эдмондом, глядя на него с такой терпеливой мольбой, что и он поневоле поднял на нее глаза, и сказала:

— Если я вам понадоблюсь, я с охотой приду опять. Когда я вам была нужна, я приходила с радостью, никакой заслуги в этом нет. Может, вы боитесь, как бы теперь, когда вы пошли на поправку, я вас не обеспокоила. Но я не стала бы вам мешать, право слово, я бы приходила только, пока вы еще слабы и не можете выйти из дому. Мне от вас ничего не нужно. Но только верно, что вам надо бы обращаться со мной по справедливости, все равно как если бы я была настоящая леди — даже та самая леди, которую вы любите. А если вы подозреваете, будто я из корысти набиваю себе цену за ту малость, что я старалась сделать, чтобы вам, больному, было тут немножко повеселее, так этим вы не меня, а себя обижаете. Вот что жалко. Мне не себя, мне вас жалко.

Будь она исполнена бурного негодования, а не сдержанности и спокойствия; будь ее лицо столь же гневным, сколь оно было кротким, и кричи она вместо того, чтобы говорить таким тихим и ясным голосом,— и то после ее ухода комната не показалась бы студенту такой пустой и одинокой.

Мрачно смотрел он недвижным взором на то место, где она только что стояла, и в это время из своего убежища вышел Редлоу и направился к двери.

— Когда тебя вновь постигнет недуг — и пусть это будет поскорее! — сказал он, яростно глядя на студента,— умри здесь! Издохни, как собака!

— Что вы со мной сделали? — воскликнул студент, удерживая его за край плаща.— Вы сделали меня другим человеком! Что за проклятие вы мне принесли? Верните мне мою прежнюю душу!

— Сначала верните душу мне! — как безумный, крикнул Редлоу.— Я заражен! Я заражаю других! Я несу в себе яд, отравивший меня и способный отравить все человечество! Там, где прежде я испытывал участие, сострадание, жалость, я теперь обращаюсь в камень. Самое присутствие мое вредоносно, всюду, где я ни пройду, я сею себялюбие и неблагодарность. Лишь в одном я не столь низок, как те, кого я обращаю в злодеев: в тот миг, как они теряют человеческий облик, я способен их ненавидеть.

С этими словами он оттолкнул юношу, все еще цеплявшегося за его плащ, и, ударив его по лицу, выбежал в ночь, где свистел ветер, падал снег, неслись по небу облака и сквозь них смутно просвечивал месяц — и всюду и во всем чудились ему слова Призрака: их насвистывал ветер, нашептывал падающий снег, он читал их в проносящихся по небу облаках, в лунном свете и в угрюмых тенях: «Прими от меня дар и неси его всем и всюду, куда бы ты ни пошел!»

Куда он шел — этого он сам не знал, и ему было все равно, лишь бы оставаться одному. Перемена, которую он ощущал в себе, обратила шумные улицы в пустыню, и его собственную душу —в пустыню, и толпы людей вокруг, людей с бесконечно разными судьбами, терпеливо и мужественно сносящих то, что выпало каждому на долю,— в несчетное множество песчинок, которые ветер сметает в беспорядочные груды и вновь раскидывает без смысла и без цели. Видение предсказало, что былое вскоре изгладится из его памяти и сгинет без следа, но этот час еще не настал, сердце Ученого пока еще не совсем окаменело, и, понимая, во что обратился он сам и во что́ обращает других, он старался избегать людей.

И тут, пока он торопливо шагал все вперед и вперед, ему вспомнился мальчик, ворвавшийся к нему в комнату. И он припомнил, что из всех, с кем он встречался после исчезновения Призрака, лишь в этом мальчике не заметно было никакой перемены.

Каким отвратительным чудовищем ни казался ему этот маленький звереныш, Редлоу решил отыскать его и проверить, вправду ли его близость никак не влияет на мальчика; и тут же еще одна мысль родилась у него.

Итак, не без труда сообразив, где он находится, он повернул к своему старому колледжу, к той его части, где находился главный вход, к единственному месту, где плиты мощеного двора были истерты шагами многих и многих студентов.

Сторожка помещалась сразу же за чугунными воротами и составляла часть четырехугольника, образованного зданиями колледжа. Рядом была невысокая арка; укрывшись под нею — Редлоу знал это,— можно было заглянуть в окно скромной комнаты Свиджеров и увидеть, есть ли кто-нибудь дома. Ворота были закрыты, но Редлоу, просунув руку между прутьями решетки, привычно нащупал засов, отодвинул его, тихо прошел во двор, вновь запер ворота и прокрался под окно, стараясь как можно легче ступать по хрустящему подмерзшему снегу.

Тот самый огонь, на свет которого он накануне вечером послал мальчика, и сейчас весело пылал за окном, и от него на землю ложился яркий отблеск. Бессознательно избегая освещенного места, Редлоу осторожно обошел его и заглянул в окно. Сперва ему показалось, что в комнате никого нет и пламя бросает алый отсвет только на потемневшие от времени стены и балки потолка; но всмотревшись пристальнее, он увидел того, кого искал: мальчик спал, свернувшись в клубок на полу перед камином. Редлоу шагнул к двери, отворил ее и вошел.

Мальчишка лежал так близко к огню, что, когда Редлоу нагнулся к нему, чтобы разбудить, его обдало нестерпимым жаром. Едва ощутив на плече чужую руку, спящий мгновенно очнулся, привычным движением вечно гонимого существа стиснул на груди свои лохмотья, не то откатился, не то отбежал в дальний угол комнаты и, съежившись на полу, выставил одну ногу, готовый защищаться.

— Вставай! — сказал Ученый.— Ты меня не забыл?

— Отстань! — ответил мальчик.— Это ее дом, а не твой.

Однако пристальный взгляд Ученого все же усмирил его — настолько, что он не пытался отбиваться, когда его поставили на ноги и начали разглядывать.

— Кто обмыл тебе ноги и перевязал раны и царапины? — спросил Ученый.

— Та женщина.

— И лицо тебе тоже она умыла?

— Да.

Редлоу задавал эти вопросы, чтобы привлечь к себе взгляд мальчика,— он хотел заглянуть ему в глаза; и с тем же намерением взял его за подбородок и отбросил со лба спутанные волосы, хоть ему и было противно прикасаться к этому оборвышу. Мальчик зорко, настороженно следил за его взглядом, готовый защищаться: как знать, что этот человек станет делать дальше? И Редлоу ясно видел, что в нем не произошло никакой перемены.

— Где все? — спросил он.

— Женщина ушла.

— Я знаю. А где старик с белыми волосами и его сын?

— Это который ее муж? — переспросил мальчик.

— Ну, да. Где они оба?

— Ушли. Где-то что-то стряслось. Их позвали. И они скорей пошли, а мне велели сидеть тут.

— Пойдем со мной,— сказал Ученый,— и я дам тебе денег.

— Куда идти? А сколько дашь?

— Я дам тебе столько шиллингов, сколько ты за всю свою жизнь не видал, и скоро приведу тебя обратно. Ты найдешь дорогу туда, откуда ты к нам пришел?

— Пусти! — сказал мальчик и неожиданно вывернулся из рук Ученого.— Не пойду я с тобой. Отвяжись, а то я кину в тебя огнем!

И он присел на корточки перед очагом, готовый голой рукой выхватить оттуда горящие уголья.

Все, что испытал до сих пор Ученый, видя, как, точно по волшебству, меняются люди от его тлетворной близости, было ничтожно перед необъяснимым, леденящим ужасом, объявшим его при виде этого маленького дикаря, которому все было нипочем. Кровь стыла в его жилах, когда он смотрел на это бесстрастное, не доступное

никаким человеческим чувствам чудовище во образе ребенка, на поднятое к нему хитрое и злое лицо, на крохотную, почти младенческую руку, замершую наготове у решетки очага.

— Слушай, мальчик! — сказал он.— Веди меня куда хочешь, но только в такое место, где живут люди очень несчастные или же очень дурные. Я хочу им помочь, я не сделаю им зла. А ты, как я уже сказал, получишь деньги, и я приведу тебя обратно. Вставай! Идем скорей! — И он поспешно шагнул к двери, в страхе, как бы не вернулась миссис Уильям.

— Только ты меня не держи, я пойду один, и не трогай меня,— сказал мальчик, опуская руку, угрожающе протянутую к огню, и медленно поднимаясь с полу.

— Хорошо!

— И я пойду вперед тебя или сзади, как захочу?

— Хорошо!

— Дай сперва денег, тогда я пойду.

Ученый вложил в протянутую ладонь, один за другим, несколько шиллингов. Сосчитать их мальчик не умел, он только всякий раз говорил: «одна», «еще одна», и алчными глазами смотрел то на монету, то на дающего. Ему некуда было положить деньги, кроме как в рот, и он сунул их за щеку.

Вырвав листок из записной книжки, Редлоу карандашом написал, что уводит мальчика с собой, и положил записку на стол. Затем сделал мальчишке знак идти. И тот, по обыкновению придерживая на груди свои лохмотья, как был босой и с непокрытой головою, вышел в зимнюю ночь.

Не желая снова проходить через ворота — ибо он страшился встречи с тою, кого все время так избегал,— Ученый углубился в коридоры, в которых накануне заплутался мальчик, и через ту часть здания, где находилось и его жилище, прошел к небольшой двери, от которой у него был ключ. Они вышли на улицу, и Редлоу остановился и спросил своего спутника, тотчас же отпрянувшего, узнает ли он это место.

Маленький дикарь минуту-другую озирался по сторонам, потом кивнул и пальцем показал, куда им теперь надо идти. Редлоу сейчас же зашагал в этом направле-

нии, и мальчик уже не так опасливо и подозрительно, как прежде, двинулся следом; на ходу он то вынимал монеты изо рта и натирал их до блеска о свои лохмотья, то опять закладывал за щеку.

Трижды за время пути им случалось поравняться и идти рядом. Трижды, поравнявшись, они останавливались. Трижды Ученый искоса поглядывал на лицо своего маленького провожатого и всякий раз содрогался от одной и той же неотвязной мысли.

В первый раз эта мысль возникла, когда они пересекали старое кладбище и Редлоу растерянно остановился среди могил, тщетно спрашивая себя, почему принято думать, что один вид могилы может тронуть душу, смягчить или утешить.

Во второй раз — когда из-за туч вышла луна и Редлоу, подняв глаза к посветлевшему небу, увидел ее во всем ее великолепии, окруженную несметным множеством звезд; он помнил их названия и все, что говорит о каждой из них наука, но он не увидел того, что видел в них прежде, не почувствовал того, что чувствовал прежде в такие же ясные ночи, поднимая глаза к небу.

В третий — когда он остановился, чтобы послушать донесшуюся откуда-то печальную музыку, но услыхал одну лишь мелодию, издаваемую бездушными инструментами; слух его воспринимал звуки, но они не взывали ни к чему сокровенному в его груди, не нашептывали ни о прошлом, ни о грядущем, и значили для него не больше, чем лепет давным-давно отжурчавшего ручья и шелест давным-давно утихшего ветра.

И всякий раз он с ужасом убеждался, что, как ни огромна пропасть, отделяющая разум ученого от животной хитрости маленького дикаря, как ни не схожи они внешне, на лице мальчика можно прочитать в точности то же, что и на его собственном лице.

Так они шли некоторое время — то по людным улицам, где Редлоу поминутно оглядывался назад, думая, что потерял своего провожатого, но чаще всего обнаруживал его совсем рядом с другой стороны; то по таким тихим, пустынным местам, что он мог бы сосчитать быстрые, частые шаги босых ног за спиною; наконец они подошли к каким-то тесно прижавшимся друг к другу

полуразрушенным домам, и мальчик, тронув Редлоу за локоть, остановился.

— Вон тут! — сказал он, указывая на дом, в окнах которого кое-где светился огонь, а над входом качался тусклый фонарь и была намалевана надпись: «Постоялый двор».

Редлоу огляделся; он посмотрел на эти дома, потом на весь этот неогороженный, неосушенный, неосвещенный клочок земли, где стояли — вернее наполовину уже развалились — эти дома и по краю которого тянулась грязная канава; потом на длинный ряд не одинаковых по высоте арок — часть какого-то моста или виадука, также служившего границей этого странного места; чем ближе к Редлоу, тем все меньше, все ниже становились арки, и вторая от него была не больше собачьей конуры, а от самой ближней осталась лишь бесформенная груда кирпича; потом он перевел взгляд на мальчика, остановившегося рядом: тот весь съежился и, дрожа от холода, подпрыгивал на одной ноге, поджимая другую, чтобы хоть немного ее согреть; однако в его лице, в выражении, с каким он смотрел на все вокруг, Редлоу так ясно узнал себя, что в ужасе отшатнулся.

— Вон тут! — повторил мальчик, снова указывая на дом.— Я обожду.

— А меня впустят? — спросил Редлоу.

— Скажи, что ты доктор. Тут больных сколько хочешь.

Редлоу пошел к двери и, оглянувшись на ходу, увидел, что мальчик поплелся к самой низкой арке и заполз под нее, точно крыса в нору. Но Редлоу не ощутил жалости, это странное существо пугало его; и когда оно поглядело ему вслед из своего логова, он, точно спасаясь, ускорил шаг.

— В этом доме уж наверно конца нет горю, обидам и страданиям,— сказал Ученый, мучительно силясь яснее вспомнить что-то, ускользавшее от него.— Не может причинить никакого вреда тот, кто принесет сюда забвенье.

С этими словами он толкнул незапертую дверь и вошел.

На ступеньках лестницы сидела женщина и то ли спала, то ли горько задумалась, уронив голову на руки.

Видя, что трудно тут пройти, не наступив на нее, а она его не замечает, Редлоу нагнулся и тронул ее за плечо. Женщина подняла голову, и он увидел лицо совсем еще юное, но такое увядшее и безжизненное, словно, наперекор природе, вслед за весною настала внезапно зима и убила начинавшийся расцвет.

Женщина не обнаружила ни малейшего интереса к незнакомцу, только отодвинулась к стене, давая ему пройти.

— Кто вы? — спросил Редлоу и остановился, держась за сломанные перила.

— А вы как думаете? — ответила она вопросом, снова обращая к нему бледное лицо.

Он смотрел на этот искалеченный венец творенья, так недавно созданный, так быстро поблекший; и не сострадание — ибо источники подлинного сострадания пересохли и иссякли в груди Редлоу,— но нечто наиболее близкое состраданию из всех чувств, какие за последние часы пытались пробиться во мраке этой души, где сгущалась, но еще не окончательно наступила непроглядная ночь,— прозвучало в его голосе, когда он произнес:

— Я здесь, чтобы, если можно, облегчить вашу участь. Быть может, вы сокрушаетесь потому, что вас обидели?

Она нахмурилась, потом рассмеялась ему в лицо; но смех оборвался тяжелым вздохом, и женщина снова низко опустила голову и охватила ее руками, запустив пальцы в волосы.

— Вас мучит старая обида? — опять спросил Редлоу.

— Меня мучит моя жизнь,— сказала она, мельком взглянув на него.

Он понял, что она — одна из многих, что эта женщина, поникшая у его ног,— олицетворение тысяч таких же, как она.

— Кто ваши родители? — спросил он резко.

— Был у меня когда-то родной дом. Далеко, в деревне. Мой отец был садовник.

— Он умер?

— Для меня умер. Все это для меня умерло. Вы джентльмен, вам этого не понять! — И снова она подняла на него глаза и рассмеялась.

— Женщина! — сурово сказал Редлоу.— Прежде чем дом и семья умерли для тебя, не нанес ли тебе кто-нибудь обиды? Как ты ни стараешься о ней забыть, не гложет ли тебя, наперекор всему, воспоминание о старой обиде? И не терзает ли оно тебя снова и снова, все сильнее день ото дня?

Так мало женственного оставалось в ее облике, что он изумился, когда она вдруг залилась слезами. Но еще больше изумился и глубоко встревожился он, заметив, что вместе с пробудившимся воспоминанием об этой старой обиде в ней впервые ожило что-то человеческое, какое-то давно забытое тепло и нежность.

Он слегка отодвинулся от нее и тут только увидел, что руки ее выше локтя покрыты синяками, лицо все в ссадинах и на груди кровоподтеки.

— Кто вас так жестоко избил? — спросил Редлоу.

— Я сама. Это я сама себя поранила! — быстро ответила женщина.

— Не может быть.

— Я и под присягой так скажу. Он меня не трогал. Это я со злости сама себя исколотила и бросилась с лестницы. А его тут и не было. Он меня и пальцем не тронул!

Она лгала, глядя ему прямо в глаза,— и в этой решимости сквозили последние уродливые и искаженные остатки добрых чувств, еще уцелевшие в груди несчастной женщины; и совесть горько упрекнула Редлоу за то, что он стал на ее пути.

— Горе, обиды и страдания! — пробормотал он, со страхом отводя глаза.— Вот они, корни всего, что связывает ее с прошлым, с тем, какою она была до своего падения. Богом тебя заклинаю, дай мне пройти!

Страшась еще раз взглянуть на нее, страшась до нее дотронуться, страшась одной лишь мысли, что он может оборвать последнюю нить, еще удерживающую эту женщину на краю пропасти, на дне которой уже нет надежды на небесное милосердие, Редлоу плотнее завернулся в плащ и торопливо проскользнул по лестнице наверх.

Поднявшись на площадку, он увидел приотворенную дверь, и в эту самую минуту какой-то человек со свечой в руках хотел закрыть ее изнутри, но при виде Редлоу

в волнении отшатнулся и неожиданно, как бы против воли, произнес его имя.

Удивленный тем, что здесь кто-то знает его, Редлоу остановился и попытался вспомнить, не знакомо ли ему это изможденное и испуганное лицо. Но не успел он над этим задуматься, как к его величайшему изумлению из комнаты вышел старик Филипп и взял его за руку.

— Мистер Редлоу,— промолвил старик,— вы верны себе, всегда верны себе, сэр! Вы услыхали про это и пришли помочь чем можете. Но, увы, слишком поздно, слишком поздно!

Редлоу, растерянный и недоумевающий, покорно пошел за Филиппом в комнату. Здесь на складной железной кровати лежал человек, подле стоял Уильям Свиджер.

— Поздно! — пробормотал старик, печально глядя на Ученого, и слезы поползли по его щекам.

— Вот и я говорю, батюшка,— шепотом подхватил Уильям.— Так оно и есть. Раз он задремал, будем пока тише воды, ниже травы, это единственное, что нам остается делать. Вы совершенно правы, батюшка!

Редлоу остановился у кровати и посмотрел на тело, простертое на убогом тюфяке. То был человек совсем еще не старый, однако видно было, что едва ли он дотянет до утра. За четыре или пять десятилетий всевозможные пороки наложили неизгладимое клеймо на его лицо, и, сравнивая его с лицом стоявшего тут же Филиппа, всякий сказал бы, что тяжкая рука времени обошлась со старцем милостиво и даже украсила его.

— Кто это? — спросил Ученый, оглядываясь на стоявших вокруг.

— Это мой сын Джордж, мистер Редлоу,— сказал старик, ломая руки.— Джордж, мой старший сын, которым его мать гордилась больше, чем всеми другими детьми!

И он припал седой головой к постели умирающего.

Редлоу перевел глаза с Филиппа на того, кто сперва так неожиданно назвал его по имени, а потом все время держался в тени, в самом дальнем углу. Это был человек примерно его возраста, судя по всему безнадежно опустившийся и нищий; Редлоу не мог припомнить среди своих знакомых никого, кто дошел бы до такой степени

падения, но было что-то знакомое в фигуре этого человека, когда он стоял отвернувшись, и в его походке, когда он затем вышел из комнаты,— и Ученый в смутной тревоге провел рукою по лбу.

— Уильям,— сумрачно прошептал он,— кто этот человек?

— Вот видите ли, сэр,— отозвался Уильям,— это самое я и говорю. Чего ради ему было вечно играть в азартные игры и все такое прочее и понемножку сползать все ниже и ниже, так что под конец уже, оказывается, ниже некуда!

— Так вот как он до этого дошел? — сказал Редлоу, глядя вслед ушедшему, и опять провел рукою по лбу.

— Именно так, сэр,— подтвердил Уильям Свиджер.— Он, видно, кое-что смыслит во врачевании больных, сэр, и странствовал с моим несчастным братом (тут мистер Уильям утер глаза рукавом), и когда они добрались до Лондона и остановились в этом доме на ночлег — каких только людей иной раз не сведет судьба! — он ухаживал за братом и по его просьбе пришел за нами. Печальное зрелище, сэр! Но так уж, видно, ему на роду написано. Я только боюсь за батюшку, он этого не переживет!

При этих словах Редлоу поднял глаза и, припомнив, где он, и кто его окружает, и какое проклятье он несет с собой,— удивленный неожиданной встречей, он совсем было забыл об этом,— поспешно отступил на шаг, сам не зная, бежать ли сейчас же из этого дома, или остаться.

Уступая какому-то мрачному упрямству, с которым ему теперь постоянно приходилось бороться, он решил, что останется.

«Ведь только вчера я заметил, что память этого старика хранит одно лишь горе и страдания, ужели сегодня я не решусь помрачить ее? — сказал он себе.— Ужели те воспоминания, которые я могу изгнать, так дороги этому умирающему, что я должен бояться за него? Нет, я отсюда не уйду».

И он остался, но трепетал от страха, наперекор всем этим рассуждениям; он стоял поодаль, завернувшись в свой черный плащ и не глядя в сторону постели, только прислушивался к каждому слову, и казался сам себе злым духом, принесшим в этот дом несчастье.

— Отец! — прошептал больной, выходя из оцепенения.

— Джордж, сынок! Мальчик мой! — отозвался старик Филипп.

— Ты сейчас говорил, что когда-то давно я был любимцем матери. Как страшно думать теперь о тех далеких днях!

— Нет, нет,— возразил старик.— Думай об этом. Не говори, что это страшно. Для меня это не страшно, сынок.

— От этого у тебя сердце разрывается,— сказал больной, чувствуя, что на лицо ему падают отцовские слезы.

— Да, да,— сказал Филипп,— сердце мое разрывается, но это хорошо. Горько и грустно мне вспоминать о тех временах, но это хорошо, Джордж. Думай и ты о том времени, думай о нем — и сердце твое смягчится! Где сын мой Уильям? Уильям, сынок, ваша матушка нежно любила Джорджа до последнего вздоха, и ее последние слова были: «Скажи ему, что я простила его, благословляла его и молилась за него». Так она мне сказала, и я не забыл ее слов, а ведь мне уже восемьдесят семь!

— Отец! — сказал больной.— Я умираю, я знаю это. Мне уже немного осталось, мне трудно говорить даже о том, что для меня всего важнее. Скажи, есть для меня после смерти хоть какая-то надежда?

— Есть надежда для всех, кто смягчился и покаялся,— ответил старик.— Для них есть надежда. О господи! — воскликнул он, с мольбою складывая руки, и поднял глаза к небу.— Только вчера я благодарил тебя за то, что помню моего злосчастного сына еще невинным ребенком. Но какое утешение для меня в этот час, что и ты не забыл его!

Редлоу закрыл лицо руками и отшатнулся, точно убийца.

— О, потом я все загубил,— слабо простонал больной.— Загубил я свою жизнь!

— Но когда-то он был ребенком,— продолжал старик.— Он играл с другими детьми. Вечером, прежде чем лечь в постель и уснуть безгрешным детским сном, он становился на колени рядом со своей бедной матерью и

читал молитву. Много раз я видел это; и я видел, как она прижимала его голову к груди и целовала его. Горько нам с нею было вспоминать об этом, когда он стал на путь зла и все наши надежды, все мечты о его будущем рассыпались в прах, и все же это воспоминание, как ничто другое, привязывало нас к нему. Отец небесный, ты, кто добрее всех земных отцов! Ты, что так скорбишь о заблуждениях твоих детей! Прими снова в лоно твое этого заблудшего! Внемли ему — не такому, каков он стал, но каким был. Он взывает к тебе, как — столько раз нам это чудилось — взывал он к нам.

Старик воздел трясущиеся руки, а сын, за которого он молился, бессильно припал головою к его груди, словно и в самом деле снова стал ребенком и искал у отца помощи и утешенья.

Случалось ли когда-либо человеку трепетать, как затрепетал Редлоу среди наступившей затем тишины! Он знал, что̀ должно случиться, и знал, что это наступит быстро и неотвратимо.

— Минуты мои сочтены, мне трудно дышать,— сказал больной, приподнимаясь на локте и другой рукой хватая воздух.— А я припоминаю, я должен был что-то еще сказать... тут был сейчас один человек... Отец, Уильям... постойте! Что это, мерещится мне или там стоит что-то черное?

— Нет, это не мерещится,— ответил старик.

— Это человек?

— Вот и я говорю, Джордж,— вмешался Уильям, ласково наклоняясь к брату.— Это мистер Редлоу.

— Я думал, он мне почудился. Попросите его подойти ближе.

Редлоу, который был еще бледнее умирающего, подошел к нему и, повинуясь движению его руки, присел на край постели.

— Здесь такая боль, сэр,— сказал Джордж, приложив руку к сердцу, и во взгляде его была немая мольба, и тоска, и предсмертная му́ка,— когда я смотрю на моего бедного отца и думаю, скольким несчастьям я был виною, сколько принес обид и горя, и потому...

Что заставило его запнуться? Была ли то близость конца, или начало иной, внутренней перемены?

— ...потому я постараюсь сделать, что могу, хорошего, вот только мысли путаются, все бегут, бегут. Тут был еще один человек. Видели вы его?

Редлоу не мог выговорить ни слова; ибо, когда он увидел уже хорошо знакомый роковой признак — руку, растерянно коснувшуюся лба,— голос изменил ему. Вместо ответа он лишь наклонил голову.

— У него нет ни гроша, он голодный и нищий. Он сломлен, разбит, и ему не на что надеяться. Позаботьтесь о нем! Не теряйте ни минуты! Я знаю, он хотел покончить с собой.

Неотвратимое наступало. Это видно было по его лицу. Оно менялось на глазах, ожесточалось, все черты стали резче и суше, и ни тени скорби не осталось на нем.

— Разве вы не помните? Разве вы не знаете его? — продолжал больной.

Он на мгновенье закрыл глаза, опять провел рукой по лбу, потом вновь посмотрел на Редлоу, но теперь это был взгляд вызывающий, наглый и бездушный.

— Какого черта! — заговорил он, злобно озираясь.— Вы тут меня совсем заморочили! Я жил — не трусил и помру не трусом. И убирайтесь все к дьяволу!

Он откинулся на постель и заслонился обеими руками, чтобы с этой минуты ничего больше не видеть и не слышать и умереть ко всему равнодушным.

Если бы молния небесная поразила Редлоу, он и тогда не так отпрянул бы от этой постели. Но и старик Филипп, который отошел было на несколько шагов, пока сын разговаривал с Ученым, а теперь вновь приблизился, тоже вдруг отступил с видимым отвращением.

— Где сын мой Уильям? — поспешно спросил он.— Уйдем отсюда, Уильям. Идем скорее домой.

— Домой, батюшка? — изумился Уильям.— Разве вы хотите покинуть родного сына?

— Где тут мой сын? — спросил старик.

— Как это где? Вот же он!

— Он мне не сын! — возразил Филипп, весь дрожа от гнева.— Такому негодяю нечего ждать от меня. На моих детей приятно поглядеть, и они обо мне заботятся, и всегда меня накормят и напоят, и готовы услужить. Я имею на это право! Мне уже восемьдесят семь!

— Вот и хватит, пожили, слава богу, куда еще,— проворчал Уильям, засунув руки в карманы и исподлобья глядя на отца.— Право, не знаю, какой от вас толк. Без вас в нашей жизни было бы куда больше удовольствия.

— Мой сын, мистер Редлоу! — сказал старик.— Хорош сын! А этот малый еще толкует мне про моего сына! Да разве мне когда было от него хоть на грош удовольствия?

— Что-то и мне от вас тоже немного было удовольствия,— угрюмо отозвался Уильям.

— Дай-ка подумать,— сказал старик.— Сколько уже лет на рождество я сидел в своем теплом углу, и никогда меня не заставляли на ночь глядя выходить на улицу в такой холод. И я праздновал и веселился, и никто меня не беспокоил и не расстраивал, и не приходилось мне ничего такого видеть (он указал на умирающего). Сколько же это лет, Уильям? Двадцать?

— Пожалуй, что и все сорок,— проворчал Уильям.— Да, как погляжу я на своего батюшку, сэр,— продолжал он, обращаясь к Редлоу совершенно новым для него брюзгливым и недовольным тоном,— хоть убейте, не пойму, что в нем хорошего? Сколько лет прожил — и весь век только и знал, что есть, пить и жить в свое удовольствие.

— Мне... мне уже восемьдесят семь,— бессвязно, как малый ребенок, забормотал Филипп.— И не припомню, когда я чем-нибудь очень расстраивался. И не собираюсь расстраиваться теперь из-за этого малого. Уильям говорит, это мой сын. Какой он мне сын. А бывало, я весело проводил время, сколько раз — и счету нет. Помню, однажды... нет, забыл... отшибло... Что-то такое я хотел рассказать, про крикет и про одного моего приятеля, да вот отшибло. Кто же это был такой... любил я его, что ли? И что-то с ним такое сталось... помер он, что ли? Нет, не помню. Да и какое мне дело? Мне и дела нет.

Он слабо захихикал, покачал головой и сунул руки в карманы жилета. В одном кармане он нащупал веточку остролиста, оставшуюся там, должно быть, со вчерашнего вечера, вытащил ее и стал разглядывать.



— Ишь ты, ягодки! — сказал он.— Жалко, что невкусные. Помнится, я был еще маленький, вон такой, и шел гулять... постойте-ка, с кем же это я гулял? Нет, не припомню... Не помню, с кем я там гулял и кого любил, и кто любил меня. Ишь ты, ягодки! Когда ягодки, всегда бывает весело. Что ж, и на мою долю причитается веселье, и за мною должны ухаживать, чтоб мне было тепло и уютно: ведь я бедный старик, мне уже восемьдесят семь. Мне восемь... десят... семь... Во...семь...десят... семь!

Жалкий, бессмысленный вид, с каким старик, повторяя эти слова, откусывал и выплевывал листочки остролиста; холодный, бесчувственный взгляд, которым смотрел на него в эти минуты его младший сын, так неузнаваемо переменившийся; непоколебимое равнодушие, с каким старший его сын перед смертью закостенел в грехе,— ничего этого Редлоу больше уже не видел; ибо он оторвался, наконец, от того места, к которому словно приросли его ноги, и выбежал из дома.

Его провожатый выполз из своего убежища и, когда он дошел до арок виадука, уже ждал его.

— Назад к той женщине? — спросил он.

— Да,— ответил Редлоу.— Прямой дорогой к ней, и поскорее.

Сначала мальчик шел впереди него; но этот обратный путь больше походил на бегство, и вскоре ему уже еле-еле удавалось, семеня маленькими босыми ногами, не отставать от широко шагавшего Редлоу. Шарахаясь от каждого встречного, плотно завернувшись в плащ и придерживая его так, как будто даже мимолетное прикосновение к его одежде грозило каждого отравить смертоносным ядом, Ученый шел все вперед и ни разу не замедлил шаг, пока они не оказались у той самой двери, откуда пустились в путь. Редлоу отпер ее своим ключом, вошел и в сопровождении мальчика поспешил по темным коридорам и переходам к себе.

Мальчик следил за каждым его движением, и когда Редлоу, заперев дверь, оглянулся, тотчас отступил, так что между ними оказался стол.

— Лучше не тронь! — сказал он.— Ты меня зачем сюда привел? Чтоб отнять деньги?

Редлоу швырнул ему еще несколько шиллингов. Мальчик кинулся на них, словно хотел своим телом заслонить монеты от Редлоу, чтобы тот, соблазнившись их блеском, не вздумал их отобрать; и только когда Ученый опустился в кресло возле своей лампы и закрыл лицо руками, он стал торопливо, крадучись подбирать деньги. Покончив с этим, он тихонько подполз ближе к камину, уселся в стоявшее там просторное кресло, вытащил из-за пазухи какие-то корки и огрызки и принялся жевать, глядя широко раскрытыми глазами в огонь и то и дело косясь на монеты, которые он сжимал в горсти.

— И больше у меня никого не осталось на свете! — сказал себе Редлоу, глядя на мальчика со все возрастающим страхом и отвращением.

Сколько времени прошло, прежде чем он оторвался от созерцания этого странного существа, внушавшего ему такой ужас,— полчаса или, может быть, почти вся ночь,— он не знал. Но мальчик вдруг нарушил глубокую тишину, царившую в комнате: подняв голову, он прислушался к чему-то, потом вскочил и бросился к двери с криком:

— Вот она идет!

Ученый перехватил его на бегу, и тут в дверь постучали.

— Пусти меня к ней, слышишь? — сказал мальчик.

— Не сейчас,— возразил Ученый.— Сиди здесь. Сейчас никто не должен ни входить сюда, ни выходить. Кто там?

— Это я, сэр,— откликнулась Милли.— Пожалуйста, откройте.

— Нет! — сказал он.— Ни за что!

— Мистер Редлоу, мистер Редлоу! Пожалуйста, сэр, откройте!

— Что случилось? — спросил он, удерживая мальчика.

— Вы видели того несчастного, сэр, ему стало хуже, и, что я ни говорю, он упорствует в своем ужасном ослеплении. Отец Уильяма вдруг впал в детство. И самого Уильяма не узнать. Видно, уж очень неожиданно на него все это обрушилось; я и понять не могу, что с ним; он

на себя не похож. Ох, мистер Редлоу, бога ради, помогите, посоветуйте, что мне делать!

— Нет! Нет! Нет! — ответил Ученый.

— Мистер Редлоу, милый! Умоляю вас! Джордж что-то говорил во сне про какого-то человека, которого вы там видели. Он боится, что этот человек покончит с собой.

— Пусть лучше покончит с собой, чем приблизится ко мне!

— Джордж в бреду говорил, что вы знаете этого человека, что он когда-то был вам другом, только очень давно; он разорился; и он отец того студента... быть беде, чует мое сердце... отец того молодого джентльмена, который был болен. Что же делать? Где его отыскать? Как его спасти? Мистер Редлоу, ради бога, посоветуйте! Помогите, умоляю вас!

Редлоу слушал, все время удерживая мальчика, который как безумный рвался к двери.

— Призраки! Духи, карающие за нечестивые мысли! — воскликнул Редлоу, в смертной тоске озираясь по сторонам.— Услышьте меня! Я знаю, во мраке моей души мерцает искра раскаяния, дайте же ей разгореться, чтобы я увидел, как велико мое несчастье. Долгие годы я объяснял ученикам, что в материальном мире нет ничего лишнего; ни единый шаг, ни единый атом в этом чудесном здании не пропадает незамеченным, но, исчезнув, оставляет пробел в необъятной вселенной. Теперь я знаю, что таков же закон человеческих воспоминаний о добре и зле, о радости и скорби. Сжальтесь же надо мною! Снимите с меня заклятие!

Никакого ответа, лишь голос Милли повторяет: «Помогите, помогите мне, откройте!» — да мальчик рвется у него из рук.

— Тень моя! Дух, посещавший меня в самые тяжкие, самые беспросветные часы! — в отчаянии вскричал Редлоу.— Вернись и терзай меня днем и ночью, но только возьми обратно свой дар! А если он должен остаться при мне, лиши меня страшной власти наделять им других. Уничтожь зло, содеянное мною. Пусть я останусь во мраке, но верни свет тем, у кого я его отнял. Я ведь с первой минуты щадил эту женщину, и отныне я не выйду отсюда. Я умру здесь и некому будет протя-

нуть мне руку помощи, ни души не будет со мною, кроме этого дикаря, которому неопасна моя близость,— так услышь же меня!

И опять не было ответа, только мальчик по-прежнему рвался из рук Редлоу да за дверью все громче, все отчаянней звала Милли: «Помогите! Откройте мне! Когда-то он был вам другом. Как найти его, как его спасти? Все так переменились, мне больше не у кого искать помощи, умоляю вас, умоляю, откройте!»

## ГЛАВА III

### *Дар возвращен*

Темная ночь все еще стояла над миром. На равнинах, с горных вершин, с палубы кораблей, затерявшихся в морском просторе, можно было далеко на горизонте различить бледную полоску, которая обещала, что когда-нибудь настанет рассвет; но обещание это было еще далеким и смутным, и луна с трудом пробивалась сквозь ночные облака.

И подобно тому, как ночные облака, проносившиеся между небом и землей, закрывали луну и окутывали землю мраком, все сгущаясь и нагоняя друг друга, проносились тени в мозгу Редлоу, помрачая его разум. Как тени ночных облаков, капризны и неверны были сменяющие друг друга мгновенные озарения и минуты забытья; и как ночные облака все снова заслоняли пробившийся на мгновенье лунный свет, так и в его сознании после краткой случайной вспышки тьма становилась еще непрогляднее.

Глубокая, торжественная тишина стояла над громадой старинного здания, и его стены, углы, башенки то таинственно чернели среди снегов, то исчезали, сливаясь с окружающей тьмою, смотря по тому, показывалась или вновь скрывалась за тучами луна. А в комнате Ученого, в слабом свете угасавшей лампы, все было смутным и сумрачным; после того как голос за дверью умолк и

стук прекратился, тут воцарилось гробовое молчание; лишь изредка в камине, среди седеющей золы, слышался едва различимый звук, словно последний вздох умирающего огня. Перед камином на полу крепким сном спал мальчик. Ученый неподвижно сидел в кресле; с той минуты, как умолк зов за дверью, он не шевельнулся, точно обращенный в камень.

И вот снова зазвучали рождественские напевы, которые он уже слышал раньше. Сначала он слушал так же равнодушно, как тогда на кладбище; но мелодия все звучала, тихая, нежная, задумчивая, она плыла в ночном воздухе, и вскоре Ученый поднялся и простер к ней руки, точно это приближался друг, кто-то, кого он мог, наконец, обнять, не причинив ему зла. Лицо его стало не таким напряженным и недоумевающим; легкая дрожь прошла по телу; и вот слезы выступили у него на глазах, он низко опустил голову и закрыл лицо руками.

Память о скорби, обидах и страданиях не возвратилась к нему; он знал, что ее уже не вернуть; ни секунды он не верил и не надеялся, что она вновь оживет. Но что-то беззвучно затрепетало в глубине его существа, и теперь он снова мог взволноваться тем, что таила в себе далекая музыка. Пусть она лишь скорбно говорила ему о том, какое бесценное сокровище он утратил,— и за это он горячо возблагодарил небеса.

Последняя нота замерла в воздухе, и Редлоу поднял голову, прислушиваясь к еле уловимым отзвукам. Напротив него, так близко, что их разделяло только скорчившееся на полу тело спящего мальчика, стоял Призрак, недвижный и безмолвный, и смотрел на него в упор.

Как и прежде, он был ужасен, но не столь беспощадно грозен и суров — так показалось Ученому, и робкая надежда пробудилась в нем, когда он, дрожа, смотрел в лицо Духа. На этот раз Дух явился не один, призрачная рука его держала другую руку.

И чью же? Кто стоял рядом с Призраком, была ли то сама Милли, или только ее тень и подобие? Как всегда, она тихо склонила голову и, казалось, с жалостью смотрела на спящего ребенка. Сияние озаряло ее лицо, но Призрак, стоя с нею рядом, оставался по-прежнему темным, лишенным красок.

— Дух! — сказал Ученый, вновь охваченный тревогой.— Никогда я не упорствовал и не был самонадеян, если это касалось ее. Только не приводи ее сюда! Пощади!

— Это всего лишь тень,— ответило Видение.—При первом свете утра отыщи ту, чей образ сейчас пред тобою.

— Неужели рок бесповоротно осудил меня на это? — вскрикнул Ученый.

— Да,— подтвердило Видение.

— Погубить ее спокойствие и доброту? Сделать ее такою же, как я сам? Как те, другие?

— Я сказал: отыщи ее,— возразил Призрак.— Больше я ничего не говорил.

— Но ответь,— воскликнул Редлоу, цепляясь за надежду, которая словно бы скрывалась в этих словах,— могу ли я исправить то зло, что я причинил?

— Нет,— ответил Дух.

— Я не прошу исцеления для себя,— сказал Редлоу.— От чего я отказался — я отказался по своей воле, и моя утрата только справедлива. Но для тех, кого я наделил роковым даром; кто никогда его не искал; на кого нежданно-негаданно обрушилось проклятие, о котором они и не подозревали, и не в их власти было его избегнуть,— неужели же я не могу ничего сделать для этих несчастных?

— Ничего,— ответил Призрак.

— Если так, не может ли кто-нибудь другой помочь им?

Застыв подобно изваянию, Призрак некоторое время не спускал с него глаз; потом вдруг повернулся и посмотрел на тень, стоявшую рядом.

— Она поможет? — воскликнул Редлоу, тоже глядя на образ Милли.

Призрак выпустил, наконец, руку тени и тихо поднял свою, словно отпуская Милли на волю. И она, не шевелясь, не меняя позы, начала медленно отступать или, может быть, таять в воздухе.

— Постой! — крикнул Редлоу с волнением, которое он бессилен был выразить словами.— Помедли хоть минуту! Сжалься! Я знаю, что-то переменилось во мне вот

только сейчас, когда в ночи звучала музыка. Скажи, быть может, ей мой пагубный дар больше не опасен? Можно ли мне приблизиться к ней без страха? О, пусть она подаст мне знак, что для меня еще есть надежда!

Призрак по-прежнему смотрел не на Редлоу, а на тень, и ничего не ответил.

— Скажи одно — знает ли она, что отныне в ее власти исправить зло, которое я причинил людям?

— Нет,— ответил Призрак.

— Но, быть может, ей дана такая власть, хоть она этого и не знает?

— Отыщи ее,— повторил Призрак. И тень медленно исчезла.

И снова они стояли лицом к лицу и смотрели друг на друга тем же страшным, неотступным взглядом, как в час, когда Редлоу принял роковой дар; а между ними на полу, у ног Призрака, по-прежнему лежал спящий мальчик.

— Грозный наставник,— промолвил Ученый, с мольбой опускаясь на колени,— ты, которым я был отвергнут, но который вновь посетил меня (и я готов поверить, что в этом новом появлении и в твоих смягчившихся чертах мне блеснула искра надежды), я буду повиноваться, ни о чем не спрашивая, лишь бы вопль, вырвавшийся из глубины моего измученного сердца, был услышан, лишь бы спасены были те, кого я погубил и кому ни один человек помочь уже не в силах. Но есть еще одно...

— Ты говоришь об этом существе,— прервало Видение и указало на распростертого у его ног мальчика.

— Да,— отвечал Ученый.— Ты знаешь, о чем я хочу спросить. Почему этот ребенок один не пострадал от моей близости и почему, почему открывал я в его мыслях страшное сходство с моими собственными мыслями?

— Это,— сказало Видение, вновь указывая на спящего,— совершенный пример того, чем становится человек, лишенный всех тех воспоминаний, от которых отказался ты. В памяти его нет ни единого смягчающего душу следа скорби, обиды или страданий, ибо этот несчастный, с самого рожденья брошенный на произвол судьбы, живет хуже зверя и никогда иной жизни не знал, ни разу человеческое участие, человеческое чувство не

заронило зерна подобных воспоминаний в его ожесточенное сердце. Все в этом заброшенном создании — мертвая, бесплодная пустыня. И все в человеке, лишенном того, от чего по доброй воле отказался ты,— такая же мертвая, бесплодная пустыня. Горе такому человеку! И стократ горе стране, где есть сотни и тысячи чудовищ, подобных этому.

Редлоу содрогнулся, охваченный ужасом.

— Каждый из них,— сказало Видение,— каждый до последнего сеятель, и урожай суждено собрать всему роду человеческому. Каждое зернышко зла, сокрытое в этом мальчике, даст всходы разрушения, и они будут сжаты, и собраны в житницы, и снова посеяны всюду в мире, и столь распространится порок, что человечество достойно будет нового потопа. Равнодушно взирать хотя бы на одного подобного ему — преступнее, нежели молча терпеть наглые, безнаказанные убийства на улице среди бела дня.

Видение устремило взор на спящего мальчика. И Редлоу тоже с неведомым дотоле волнением посмотрел на него.

— Каждый отец, мимо которого днем ли, в ночных ли своих блужданьях проходят незамеченными подобные существа; каждая мать среди любящих матерей этой земли, бедная или богатая; каждый, кто вышел из детского возраста, будь то мужчина или женщина,— каждый в какой-то мере в ответе за это чудовище, на каждом лежит тяжкая вина. Нет такой страны в мире, на которую не навлекло бы оно проклятья. Нет на свете такой веры, которой бы оно не опровергало самым своим существованием; нет на свете такого народа, который бы оно не покрыло позором.

Ученый стиснул руки и, трепеща от страха и сострадания, перевел взгляд со спящего на Видение, которое стояло над мальчиком, сурово указывая на него.

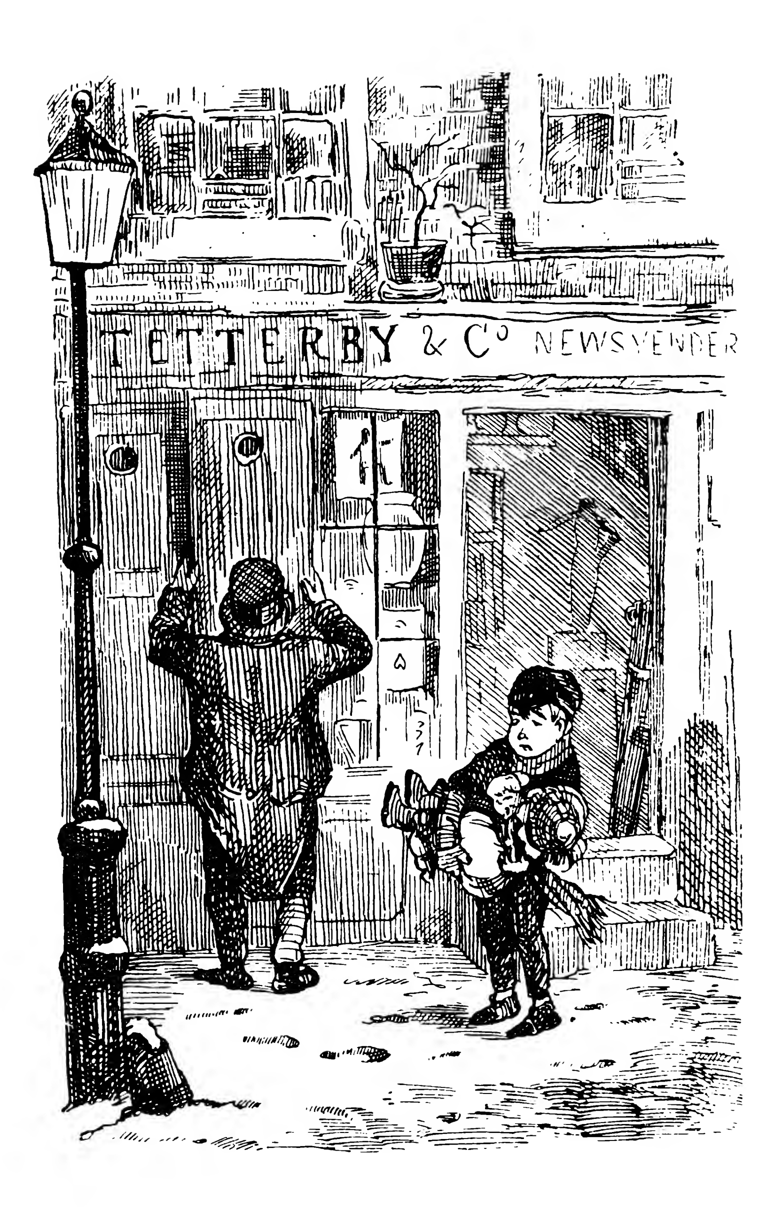
— Вот пред тобою,— продолжал Призрак,— законченный образец того, чем пожелал стать ты. Твое тлетворное влияние здесь бессильно, ибо из груди этого ребенка тебе нечего изгнать. Его мысли страшно схожи с твоими, ибо ты пал так же противоестественно низко, как низок он. Он — порождение людского равнодушия; ты —

порождение людской самонадеянности. И там и здесь отвергнут благодетельный замысел провидения — и с противоположных полюсов нематериального мира оба вы пришли к одному и тому же.

Ученый склонился к мальчику и с тем же состраданием, какое испытывал к самому себе, укрыл спящего и уже не отстранялся от него более с отвращением или холодным равнодушием.

Но вот вдалеке просветлел горизонт, тьма рассеялась, в пламенном великолепии взошло солнце — и коньки крыш и трубы старинного здания засверкали в прозрачном утреннем воздухе, и дым и пар над городом стал точно золотое облако. Даже старые солнечные часы в глухом и темном углу, где ветер всегда кружил и свистал с непостижимым для ветра постоянством, стряхнули рыхлый снег, осыпавший за ночь их тусклый, унылый лик, и весело поглядывали на завивающиеся вокруг белые тонкие вихорьки. Надо думать, что утро как-то ощупью, вслепую проникло и в заброшенные, холодные и сырые подвалы с их низкими нормандскими сводами, наполовину ушедшими в землю; что оно пробудило ленивые соки в ползучих растениях, вяло цеплявшихся за стены, — и в этом удивительном хрупком мирке тоже встрепенулось медлительное жизненное начало, таинственным образом ощутив наступление дня.

Семейство Тетерби было уже на ногах и не теряло времени зря. Мистер Тетерби снял ставни с окна своей лавчонки и одно за другим открыл ее сокровища взорам населения «Иерусалима», столь равнодушного ко всем этим соблазнам. Адольф-младший давным-давно ушел из дому и предлагал читателям уже не «Утренний листок», а «Утренний блисток». Пятеро младших Тетерби, чьи десять круглых глаз успели покраснеть от попавшего в них мыла и от растирания кулаками, претерпевали в кухне все муки умывания холодной водой под бдительным взором миссис Тетерби. Джонни, уже покончивший со своим туалетом (ему никогда не удавалось умыться спокойно, ибо его подгоняли и поторапливали всякий раз, как Молох бывал настроен требовательно и непримиримо, а так бывало всегда), бродил взад и вперед у входа в лавку, больше обычного изнемогая под тяжестью своей ноши; к


TETTERBY & Co NEWSVENDER

весу самого Молоха прибавился еще немалый вес различных вязанных из шерсти приспособлений для защиты от холода, образовавших вместе с капором и голубыми гетрами единую непроницаемую броню.

У этого дитяти была одна особенность: вечно у него резались зубки. То ли они никогда до конца не прорезались, то ли, прорезавшись, вновь исчезали — неизвестно; во всяком случае, если верить миссис Тетерби, их резалось столько, что хватило бы на вывеску трактира «Бык и Волчья пасть». Поэтому у талии Молоха (которая находилась непосредственно под подбородком) постоянно болталось костяное кольцо, такое огромное, что оно могло бы сойти за четки недавно постригшейся монахини,— и однако, когда младенцу требовалось унять зуд в чесавшихся деснах, ему позволяли тащить в рот самые разнообразные предметы. Рукоятки ножей, набалдашники тростей, ручки зонтов, пальцы всех членов семейства и в первую очередь Джонни, терка для мускатных орехов, хлебные корки, ручки дверей и прохладная круглая головка кочерги — таковы были самые обычные инструменты, без разбора употреблявшиеся для успокоения дитяти. Трудно учесть, сколько электричества добывалось за неделю из его десен путем непрестанного трения. И все же миссис Тетерби неизменно повторяла: «Вот прорежется зубок, и тогда наша крошка снова придет в себя». Но зуб так и не прорезывался на свет божий, и крошка попрежнему пребывала где-то вне себя.

Нрав маленьких Тетерби за последние несколько часов претерпел прискорбные изменения. Мистер и миссис Тетерби — и те переменились не так сильно, как их отпрыски. Всегда это был бескорыстный, доброжелательный и послушный народец, который безропотно и даже великодушно сносил лишения (а лишены они были многого) и радовался, точно пиршеству, самой скромной и скудной трапезе. Теперь же споры разгорались не только из-за мыла и воды, но из-за завтрака, который еще и на стол-то не был подан. Каждый маленький Тетерби кидался с кулаками на всех остальных маленьких Тетерби; и даже Джонни — многотерпеливый, кроткий и преданный Джонни — поднял руку на Молоха! Да, да! Миссис Тетерби, по чистой случайности подойдя к двери, увидела,

как он коварно выбрал в вязаной броне местечко поуязвимее и шлепнул драгоценное дитя!

Во мгновенье ока миссис Тетерби за шиворот втащила его в дом и с лихвой отплатила ему за это неслыханное кощунство.

— Ах ты бессердечное чудовище! — воскликнула она.— Да как у тебя хватило духу?

— А чего у нее зубы никак не прорежутся? — возвысил голос юный мятежник.— Надоело до смерти. Попробовала бы ты сама с ней понянчиться!

— И попробую, сэр! — сказала мать, отбирая у Джонни его опозоренную ношу.

— Вот и попробуй! — повторил Джонни.— Не больно тебе это понравится. На моем месте ты бы давно пошла в солдаты. Я непременно пойду. В армии по крайности нет грудных младенцев.

Мистер Тетерби, явившийся на место происшествия, не стал карать мятежника, а только потер себе подбородок,— видно, такая неожиданная точка зрения на профессию военного заставила его призадуматься.

— Если его не наказать, мне самой впору пойти в солдаты,— промолвила миссис Тетерби, глядя на мужа.— Тут у меня ни минуты покоя нет. Я просто раба, да, да, чернокожая раба из Виргинии (это преувеличение, вероятно, было навеяно смутными воспоминаниями, связанными с неудачной попыткой фирмы Тетерби по части торговли виргинским табаком). Круглый год у меня ни отдыха, ни удовольствия! Ах, чтоб тебя бог любил! — перебила сама себя миссис Тетерби, так сердито встряхивая младенца, что это плохо вязалось со столь благочестивым пожеланием.— Да что с ней сегодня такое?!

Не в силах этого понять и не достигнув ясности путем встряхивания младенца, миссис Тетерби уложила его в люльку, села подле, скрестила руки и принялась гневно качать ее ногою.

— Что ты стоишь, Дольф? — сказала она мужу.— Неужто тебе нечего делать?

— Ничего я не желаю делать,— ответил мистер Тетерби.

— А я уж наверно не желаю,— сказала миссис Тетерби.

— А я и под присягой покажу, что не желаю,— сказал мистер Тетерби.

В эту минуту завязалось сражение между Джонни и пятью его младшими братьями: накрывая стол к завтраку, они стали отнимать друг у друга хлеб и теперь щедро отвешивали один другому тумаки; самый маленький, с удивительной для столь юного возраста предусмотрительностью, не вмешивался в драку, а только ходил вокруг и дергал воинов за ноги. Мистер и миссис Тетерби с великим пылом ринулись в гущу боя, словно отныне то была единственная почва, на которой они могли действовать в согласии; без малейшего следа прежней кротости и добросердечия они сыпали удары во все стороны и, покарав правых и виноватых, вновь уселись каждый на свое место.

— Хоть бы ты газету почитал, чем сидеть сложа руки,— заметила миссис Тетерби.

— А что там читать, в газете? — с крайней досадой отозвался мистер Тетерби.

— Как что? — сказала миссис Тетерби.— Полицейскую хронику.

— Вот еще,— возразил мистер Тетерби.— Какое мне дело, кто там что натворил или что с кем сотворили.

— Читай про самоубийства,— предложила миссис Тетерби.

— Мне это неинтересно,— отвечал ее супруг.

— Кто родился, кто помер, кто свадьбу сыграл — ничего тебе не интересно?

— По мне хоть бы с сегодняшнего дня и до скончания века никто больше не рождался на свет, а с завтрашнего все начали бы помирать; меня это не касается. Вот когда придет мой черед, тогда другое дело,— проворчал мистер Тетерби.— А что до свадеб, так я и сам женат, знаю, велика ли от этого радость.

Судя по недовольному виду миссис Тетерби, она вполне разделяла мнение мужа; однако она тут же стала противоречить ему, просто ради того, чтобы поспорить.

— Ну, у тебя, известно, семь пятниц на неделе,— сказала она.— Сам же слепил ширму из газет и сидишь, вычитываешь чего-то детям по целому часу без передышки.

— Не вычитываю, а вычитывал,— возразил муж.— Больше ты этого не увидишь. Теперь-то я стал умнее.

— Ха, умнее! Как бы не так! Может, ты и лучше стал?

От этого вопроса в груди мистера Тетерби что-то дрогнуло. Он удрученно задумался, снова и снова проводя рукою по лбу.

— Лучше? — пробормотал он.— Не думаю, чтоб кто-нибудь из нас стал лучше, да и счастливее. Лучше? Разве?

Он обернулся к своей ширме и стал водить по ней пальцем, пока не напал на нужную ему вырезку.

— Вот это, помнится, все мы особенно любили,— тупо и растерянно промолвил он.— Бывало, дети заспорят о чем-нибудь, даже потасовка случится, а прочитаешь им эту историю — и они растрогаются до слез и сразу помирятся, будто от сказки про то, как малыши заблудились в лесу и малиновка укрыла их листьями. «Прискорбный случай крайней нищеты. Вчера мужчина небольшого роста с младенцем на руках, в сопровождении шести детей в возрасте от двух до десяти лет, одетых в лохмотья и, по-видимому, изголодавшихся, предстал перед почтенным мировым судьей и сделал следующее заявление...» Уф! Ничего не понимаю,— прервав чтение, воскликнул мистер Тетерби.— Просто непостижимо, мы-то тут при чем?

— До чего же он стар и жалок,— говорила себе между тем миссис Тетерби, наблюдая за мужем.— В жизни не видала, чтоб человек так переменился. О, господи, господи, принести такую жертву!

— Какую еще жертву? — брюзгливо осведомился муж.

Миссис Тетерби покачала головой и, ни слова не отвечая, стала так яростно трясти люльку, что младенца подбрасывало, точно щепку в бурном море.

— Может, ты хочешь сказать, милая моя, что это ты принесла жертву, выйдя за меня замуж? — начал супруг.

— Вот именно! — отрезала супруга.

— Тогда вот что я тебе скажу,— продолжал он так же угрюмо и сердито, как и она.— В брак-то ведь вступают двое, и если кто принес жертву, так это я. И очень жалею, что жертва была принята.

— Я тоже жалею, что ее приняла, Тетерби, от души жалею, можешь не сомневаться. Уж, верно, ты жалеешь об этом не больше, чем я.

— Понять не могу, что я в ней нашел,— пробормотал Тетерби.— Уж, во всяком случае, если в ней что и было хорошего, так теперь ничего не осталось. Я и вчера про это думал, когда после ужина сидел у огня. До чего толста, и стареет, куда ей до других женщин!

— Собой он нехорош,— бормотала меж тем миссис Тетерби.— Виду никакого, маленький, и горбится, и плешь у него...

— Уж конечно я был не в своем уме, когда женился на ней,— ворчал мистер Тетерби.

— Уж конечно помраченье на меня нашло. Иначе понять нельзя, как это я за него вышла,— раздумывала вслух миссис Тетерби.

В таком настроении они сели завтракать. Юные Тетерби не привыкли рассматривать эту трапезу как занятие, требующее неподвижности, а превращали ее в танец или пляску, скорее даже в какой-то языческий обряд, во время которого они издавали воинственные клики и потрясали в воздухе кусками хлеба с маслом; при этом обязательны были также сложные передвижения из дому на улицу и обратно и прыжки с крыльца и на крыльцо. Но сейчас между детьми вспыхнула ссора из-за стоявшего на столе кувшина с разбавленным молоком, из которого они пили все по очереди, и страсти до того разгорелись, что это прискорбное зрелище заставило бы перевернуться в гробу достопочтенного доктора Уотса *. Лишь когда мистер Тетерби выпроводил всю ораву на улицу, настала минута тишины; но тотчас обнаружилось, что Джонни крадучись вернулся обратно, припал к кувшину и пьет, давясь от жадности, неприлично спеша, задыхаясь и издавая странные звуки, подобающие разве что чревовещателю.

— Сведут они меня в могилу, эти дети,— заметила миссис Тетерби, изгнав преступника.— Да уж скорей бы, что ли.

— Беднякам вообще не следует иметь детей,— откликнулся мистер Тетерби.— Радости от них никакой.

В эту минуту он подносил к губам чашку, которую сердито пододвинула к нему жена; миссис Тетерби тоже готовилась отпить из своей чашки; и вдруг оба они так и застыли, точно завороженные.

— Мама! Папа! — крикнул, вбегая в комнату, Джонни.— К нам миссис Уильям идет!

И если когда-либо с сотворения мира был на свете мальчик, который заботливее старой опытной няньки вынул бы младенца из колыбели и, нежнейшим образом баюкая и тетешкая его, весело отправился бы с ним гулять, то мальчиком этим был Джонни, а младенцем — Молох.

Мистер Тетерби отставил чашку; миссис Тетерби отставила чашку. Мистер Тетерби потер лоб, и миссис Тетерби потерла лоб. Лицо мистера Тетерби стало смягчаться и светлеть; и лицо миссис Тетерби стало смягчаться и светлеть.

— Господи помилуй,— сказал про себя мистер Тетерби,— с чего это я озлился? Что такое стряслось?

— Как я могла опять злиться и кричать на него после всего, что я говорила и чувствовала вчера вечером! — всхлипнула миссис Тетерби, утирая глаза краем фартука.

— Не чудовище ли я? — сказал мистер Тетерби.— Неужто у меня нет сердца? София! Женушка моя маленькая!

— Дольф, милый!

— Я... со мной что-то такое сделалось, Софи, что и подумать тошно,— признался муж.

— А со мной-то, Дольф! Я была еще хуже! — в отчаянии воскликнула жена.

— Не убивайся так, моя Софи. Никогда я себе этого не прощу. Ведь я чуть не разбил твое сердце.

— Нет, Дольф, нет. Это я, я во всем виновата!

— Не говори так, моя маленькая женушка. Ты такая великодушная, от этого совесть мучает меня еще сильнее. София, милая, ты не представляешь себе, какие у меня были мысли. Конечно, вел я себя отвратительно, но знала бы ты, что у меня было на уме!

— Ох, не думай про это, Дольф, милый, не надо! — вскричала жена.

— София,— сказал мистер Тетерби,— я должен тебе открыться. У меня не будет ни минуты покоя, пока я не скажу всю правду. Маленькая моя женушка...

— Миссис Уильям уже совсем близко! — взвизгнул у дверей Джонни.

— Маленькая моя женушка,— задыхаясь, выговорил мистер Тетерби и ухватился за стул в поисках опоры.— Я удивлялся тому, что был когда-то в тебя влюблен... Я забыл о том, каких прелестных детей ты мне подарила, и сердился, зачем ты не так стройна, как мне хотелось бы... Я... я ни разу не вспомнил о том,— не щадя себя, продолжал мистер Тетерби,— сколько у тебя было тревог и хлопот из-за меня и из-за детей; ты бы таких забот вовсе не знала, если бы вышла за другого, который бы лучше зарабатывал и был поудачливей меня (а такого уж наверно найти нетрудно). И мысленно я попрекал тебя, потому что тебя немножко состарили тяжелые годы, бремя которых ты мне облегчала. Можешь ты этому поверить, моя женушка? Я и сам с трудом верю, что думал такое!

Смеясь и плача, миссис Тетерби порывисто сжала ладонями лицо мужа.

— Ох, Дольф! — воскликнула она.— Какое счастье, что ты так думал! До чего я рада! Ведь сама-то я думала, что ты нехорош собой, Дольф! И это правда, милый, но мне лучшего и не надо, мне бы только глядеть на тебя до последнего моего часа, когда ты своими добрыми руками закроешь мне глаза. Я думала, что ты мал ростом — и это правда, но от этого ты мне только дороже, а еще дороже потому, что ты мой муж, и я тебя люблю. Я думала, что ты начинаешь горбиться — и это правда, но ты можешь опереться на меня, и я все-все сделаю, чтоб тебя поддержать. Я думала, что у тебя и вида-то нет никакого, но по тебе сразу видно, что ты добрый семьянин, а это самое лучшее, самое достойное на свете, и да благословит бог наш дом и нашу семью, Дольф!

— Ур-ра! Вот она, миссис Уильям! — крикнул Джонни.

И в самом деле, она вошла, окруженная маленькими Тетерби. На ходу они целовали ее и друг друга, целовали маленькую сестричку и кинулись целовать отца с матерью, потом опять подбежали к Милли и восторженно запрыгали вокруг нее.

Мистер и миссис Тетерби радовались гостье ничуть не меньше, чем дети. Их так же неодолимо влекло к ней; они бросились ей навстречу, целовали ее руки, не отходили от нее ни на шаг; они просто не знали, куда ее усадить, как

приветить. Она явилась к ним как олицетворение доброты, нежной заботливости, любви и домашнего уюта.

— Да что же это! Неужто вы все так рады, что я пришла к вам на рождество? — удивленная и довольная сказала Милли и даже руками всплеснула.— Господи, как приятно!

А дети так радостно кричали, так теснились к ней и целовали ее, столько любви и веселья изливалось на нее, такой от всех был почет, что Милли совсем растрогалась.

— О господи! — сказала она.— Вы меня заставляете плакать от счастья. Да разве я этого стою? Чем я заслужила, что вы меня так любите?

— Как же вас не любить! — воскликнул мистер Тетерби.

— Как же вас не любить! — воскликнула миссис Тетерби.

— Как же вас не любить! — веселым хором подхватили дети. И снова стали плясать и прыгать вокруг нее, и льнули к ней, и прижимались розовыми личиками к ее платью, и ласкали и целовали Милли и ее платье, и все им казалось мало.

— Никогда в жизни я не была так растрогана, как нынче утром,— сказала она, утирая глаза.—Я должна вам сейчас же все рассказать. Приходит на рассвете мистер Редлоу и просит меня пойти с ним к больному брату Уильяма Джорджу, да так ласково просит, точно я — не я, а его любимая дочь. Мы пошли, и всю дорогу он был такой добрый, такой кроткий и, видно, так на меня надеялся, что я поневоле всплакнула, до того мне стало приятно. Пришли мы в тот дом, а в дверях нам повстречалась какая-то женщина (вся в синяках, бедная, видно, кто-то ее прибил); иду я мимо, а она схватила меня за руку и говорит: «Да благословит вас бог».

— Хорошо сказано! — заметил мистер Тетерби. И миссис Тетерби подтвердила, что это хорошо сказано, и все дети закричали, что это хорошо сказано.

— Мало того,— продолжала Милли.— Поднялись мы по лестнице, входим в комнату, а больной уже сколько времени не шевелился и ни слова не говорил,— и вдруг он поднимается на постели и плачет, и протягивает ко мне руки, и говорит, что он вел дурную жизнь, но теперь от

всего сердца раскаивается, и скорбит об этом, и так ясно понимает греховность своего прошлого, как будто, наконец, рассеялась черная туча, застилавшая ему глаза, и умоляет меня попросить несчастного старика отца, чтобы тот простил его и благословил, а я чтобы прочитала над ним молитву. Стала я читать молитву, а мистер Редлоу подхватил, да как горячо, а потом уж так меня благодарил, так благодарил, и бога благодарил, что сердце мое переполнилось и я бы, наверно, расплакалась, да больной просил меня посидеть возле него, и тут уж, конечно, я с собой совладала. Я сидела с ним, и он все держал меня за руку, пока не уснул; тогда я тихонько отняла руку и встала (мистер Редлоу непременно хотел, чтобы я поскорее пошла к вам), а Джордж и во сне стал искать мою руку, так что пришлось кому-то сесть на мое место, чтоб он думал, будто это опять я взяла его за руку. О господи! — всхлипнула Милли.— Я так счастлива, так благодарна за все это, да и как же иначе!

Пока она рассказывала, в дверях появился Редлоу; он остановился на мгновенье, поглядел на Милли, тесно окруженную всем семейством Тетерби, и молча поднялся по лестнице. Вскоре он опять вышел на площадку, а молодой студент, опередив его, бегом сбежал вниз.

— Добрая моя нянюшка, самая лучшая, самая милосердная на свете! — сказал он, опускаясь на колени перед Милли и взяв ее за руку.— Простите мне мою черную неблагодарность!

— О господи, господи! — простодушно воскликнула Милли.— Вот и еще один. И этот меня любит. Да чем же мне всех вас отблагодарить!

Так просто, бесхитростно она это сказала и потом, закрыв лицо руками, заплакала от счастья, что нельзя было не умиляться и не радоваться, на нее глядя.

— Не знаю, что на меня нашло,— продолжал студент.— Точно бес в меня вселился... может быть, это от болезни... я был безумен. Но теперь я в своем уме. Я вот сейчас говорю — и с каждым словом прихожу в себя. Я услыхал, как дети выкрикивают ваше имя, и от одного этого разум мой прояснился. Нет, не плачьте, Милли, дорогая! Если бы только вы могли читать в моем сердце, если б вы знали, как оно переполнено благодарностью, и

любовью, и уважением, вы не стали бы плакать передо мною. Это такой горький упрек мне!

— Нет, нет,— возразила Милли.— Это совсем не упрек! Ничего такого! Я плачу от радости. Даже удивительно, что вы вздумали просить у меня прощенья за такую малость, а все-таки мне приятно.

— И вы опять будете меня навещать? И закончите ту занавеску?

— Нет,— сказала Милли, утирая глаза, и покачала головой.— Теперь вам больше не понадобится мое шитье.

— Значит, вы меня не простили?

Она отвела его в сторону и шепнула:

— Пришла весточка из ваших родных краев, мистер Эдмонд.

— Как? Что такое?

— Может, оттого, что вы совсем не писали, пока вам было очень худо, или, когда стало получше, все-таки почерк ваш переменился, но только дома заподозрили правду; как бы там ни было... но только скажите, не повредят вам вести, если они не дурные?

— Конечно, нет.

— Так вот, к вам кто-то приехал! — сказала Милли.

— Матушка? — спросил студент и невольно оглянулся на Редлоу, который уже сошел с лестницы.

— Тсс! Нет, не она.

— Больше некому.

— Ах, вот как! — сказала Милли.— Уж будто некому?

— Но это не...— он не успел договорить, Милли закрыла ему рот рукой.

— Да, да! — сказала она.— Одна молоденькая мисс (она очень похожа на тот маленький портрет, мистер Эдмонд, только еще краше) так о вас тревожилась, что не знала ни минуты покоя, и вчера вечером она приехала вместе со своей служанкой. Вы на своих письмах всегда ставили адрес колледжа, вот она и приехала туда; я нынче утром ее увидала, еще прежде, чем мистера Редлоу. И она тоже меня любит,— прибавила Милли.— О господи, и она тоже!

— Сегодня утром! Где же она сейчас?

— А сейчас,— шепнула Милли ему в самое ухо,— она сидит у нас в сторожке, в моей маленькой гостиной, и ждет вас.

Эдмонд крепко стиснул ее руку и готов был сейчас же бежать, но она остановила его.

— Мистер Редлоу так переменился — он сказал мне нынче поутру, что потерял память. Будьте к нему повнимательней, мистер Эдмонд. Все мы должны быть к нему внимательны, он в этом очень нуждается.

Молодой человек взглядом уверил Милли, что ее предупреждение не пропало даром; и, проходя мимо Ученого к дверям, почтительно и приветливо поклонился.

Редлоу ответил поклоном, исполненным учтивости и даже смирения, и посмотрел вслед студенту. Потом склонился головою на руку, словно пытаясь пробудить в себе что-то утраченное. Но оно исчезло безвозвратно.

Перемена, совершившаяся в нем под влиянием музыки и нового появления Призрака, заключалась в том, что теперь он постоянно и глубоко чувствовал, сколь велика его утрата, и сожалел о ней, и ясно видел, как непохож он стал на всех вокруг. От этого ожил в нем интерес к окружающим и родилось смутное покорное сознание своей беды, подобное тому, какое возникает у иных людей, чей разум ослабел с годами, но сердце не очерствело и к чьим старческим немощам не прибавилось угрюмое равнодушие.

Он сознавал, что, пока он все больше искупает благодаря Милли зло, им причиненное, с каждым часом, который он проводит в ее обществе, все глубже утверждаются в нем эти новые чувства. Поэтому, а также потому, что Милли будила бесконечную нежность в его душе (хоть он и не питал надежды на исцеленье), Редлоу чувствовал, что всецело зависит от нее и что она — опора ему в постигшем его несчастье.

И когда Милли спросила, не пора ли им уже воротиться домой, к Уильяму и старику Филиппу, он с готовностью согласился — его и самого тревожила мысль о них,— взял ее под руку и пошел с нею рядом; глядя на него, трудно было поверить, что он — мудрый и ученый человек, для которого все загадки природы — открытая книга, а она —

простая, необразованная женщина; казалось, роли их переменились и он не знает ничего, она же — все.

Когда они вдвоем выходили из дома Тетерби, Редлоу видел, как теснились и ластились к ней дети, слышал их звонкий смех и веселые голоса; видел вокруг сияющие детские лица, точно цветы; на глазах у него родители этих детей снова обрели довольство и любовь. Он всем сердцем ощутил простоту и безыскусственность, которой дышало все в этом бедном доме, куда вновь вернулось спокойствие; он думал о том пагубном недуге, который внес он в эту семью и который, не будь Милли, мог бы распространиться и тлетворным ядом отравить все и вся; и, быть может, не следует удивляться тому, что он покорно шел с нею рядом и крепко прижимал к себе ее нежную руку.

Когда они вошли в сторожку, старик Филипп сидел в своем кресле у огня, неподвижным взглядом уставясь в пол, а Уильям, прислонясь к камину с другой стороны, не сводил глаз с отца. Едва Милли появилась в дверях, оба вздрогнули и обернулись к ней, и тотчас лица их просияли.

— О господи, господи, и они тоже мне рады! — воскликнула Милли, остановилась и ликуя захлопала в ладоши.— Вот и еще двое!

Рады ей! Слово «радость» слишком слабо, чтобы выразить то, что они чувствовали. Милли бросилась в объятия мужа, раскрытые ей навстречу, склонила голову ему на плечо, и он был бы счастлив весь этот короткий зимний день не отпускать ее ни на минуту. Но и старик свекор не мог обойтись без нее. Он тоже протянул руки и в свою очередь заключил ее в объятия.

— Где же это столько времени пропадала моя тихая Мышка? — спросил он.— Ее так долго не было! А я никак не могу без моей Мышки. Я... где сын мой Уильям? Я, кажется, спал, Уильям.

— Вот и я говорю, батюшка,— подхватил сын.— Мне, знаете ли, приснился ужасно нехороший сон. Как вы себя чувствуете, батюшка? Здоровы ли вы нынче?

— Да я молодцом, сынок.

Приятно было видеть, как мистер Уильям пожимал отцу руку, и похлопывал его по спине, и гладил по плечу, всячески стараясь выказать ему внимание.

— Вы, батюшка, замечательный человек! Как ваше драгоценное? Вы и вправду благополучны? — повторял Уильям и снова жал отцу руки, снова похлопывал его по спине и нежно гладил по плечу.

— Отродясь не был крепче и бодрее, сынок.

— Вы, батюшка, замечательный человек! Вот в этом-то вся суть! — с жаром произнес Уильям.— Как подумаю: сколько пережил мой отец, сколько испытал превратностей судьбы, сколько за его долгий век выпало ему на долю горя и забот! Ведь оттого и голова у него побелела. Вот я и думаю: как бы мы ни почитали его, как бы ни старались лелеять его старость, все мало! Как ваше драгоценное, батюшка? Вы и вправду нынче вполне здоровы?

Должно быть, мистер Уильям и по сей день повторял бы этот вопрос, снова и снова жал бы отцу руку, и хлопал его по спине, и гладил по плечу, если бы старик краешком глаза не увидел Ученого, которого прежде не замечал.

— Прошу прощенья, мистер Редлоу,— сказал он,— но я не знал, что вы здесь, сэр, а то я не стал бы вести себя так вольно. Вот нынче рождество, мистер Редлоу, и как поглядел я на вас, так и вспомнил те времена, когда вы были еще студентом и уж до того усердно учились, что даже на рождество все бегали в библиотеку. Ха-ха! Я так стар, что и это помню, и хорошо помню, да, да, хоть мне и все восемьдесят семь. Как раз когда вы кончили учиться и уехали, померла моя бедная жена. Вы помните мою бедную жену, мистер Редлоу?

— Да,— ответил Ученый.

— Да,— повторил старик.— Добрая была душа. Помню, как-то раз в рождественское утро пришли вы к нам сюда с молодой мисс... прошу прощенья, мистер Редлоу, но, кажется, это была ваша сестра и вы в ней души не чаяли?

Ученый посмотрел на него и покачал головой.

— Сестра у меня была,— равнодушно сказал он. Больше он ничего не помнил.

— В то рождественское утро вы с нею заглянули к нам,— продолжал Филипп,— и как раз повалил снег, и моя жена пригласила молодую мисс войти и присесть к

огню, его всегда на рождество разводили в большой зале, где прежде, до того, как наши незабвенные десять джентльменов порешили по-другому, была трапезная. Я там был; и вот, помню, стал я мешать в камине, чтоб огонь разгорелся пожарче и согрел хорошенькие ножки молодой мисс, а она в это время прочитала вслух подпись, что под тем портретом: «Боже, сохрани мне память!». И они с моей бедной женой завели речь про эту подпись. И удивительное дело (ведь кто бы мог подумать, что им обеим недолго оставалось жить!), обе в один голос сказали, что это очень хорошая молитва, и если им не суждено дожить до старости, они бы горячо молились об этом за тех, кто им всего дороже. «За моего брата»,— сказала молодая мисс. «За моего мужа,— сказала моя бедная жена.— Боже, сохрани ему память обо мне, не допусти, чтобы он меня забыл!»

Слезы, такие горькие и мучительные, каких он еще никогда в своей жизни не лил, заструились по щекам Редлоу. Филипп, всецело поглощенный воспоминаниями, не замечал ни этих слез, ни встревоженного лица Милли, явно желавшей, чтобы он прервал свой рассказ.

— Филипп,— сказал Редлоу и положил руку на плечо старика.— Я — несчастный человек. Тяжко, хотя и по заслугам, покарала меня десница господня. Я не в силах понять то, о чем вы говорите, друг мой: я потерял память.

— Боже милостивый! — воскликнул старик.

— Я утратил воспоминания о горе, обидах и страданиях,— продолжал Ученый,— а вместе с ними утратил все, что надо помнить человеку.

Кто увидел бы, какая безмерная жалость выразилась на лице Филиппа, как он пододвинул свое просторное кресло, усадил Редлоу и горестно смотрел на него, соболезнуя столь огромной утрате, тот хоть отчасти понял бы, насколько дороги старости подобные воспоминания.

В комнату вбежал мальчик-найденыш и кинулся к Милли.

— Пришел,— сказал он.— Там, в той комнате. Мне его не надо.

— Кто пришел? — спросил Уильям.

— Тсс! — отозвалась Милли.

Повинуясь ее знаку, он и старик Филипп тихо вышли. Редлоу, даже не заметивший этого, поманил к себе мальчика.

— Мне она больше нравится,— ответил мальчик, держась за юбку Милли.

— Так и должно быть,— со слабой улыбкой сказал Редлоу.— Но ты напрасно боишься подойти ко мне. Я больше не буду таким злым, как раньше. Тем более с тобою, бедняжка!

Сперва мальчик все же не решался подойти; но потом, уступая легонько подталкивавшей его Милли, понемногу приблизился и даже сел у ног Ученого. Тот, сочувственно и понимающе глядя на ребенка, положил руку ему на плечо, а другую протянул Милли. Она наклонилась, заглянула ему в лицо и, помолчав, сказала:

— Мистер Редлоу, можно мне с вами поговорить?

— Ну конечно! — ответил он, подняв на нее глаза.— Ваш голос для меня как музыка.

— Можно мне кое о чем спросить?

— Спрашивайте о чем хотите.

— Помните, что я говорила, когда стучалась к вам вчера вечером? Про одного человека, который когда-то был вам другом, а теперь стоит на краю гибели?

— Да, я припоминаю,— не совсем уверенно ответил Редлоу.

— Вы поняли, о ком я говорила?

Не сводя глаз с Милли, Редлоу провел рукою по волосам мальчика и покачал головой.

— Я скоро отыскала этого человека,— сказала Милли своим ясным, добрым голосом, который казался еще яснее и добрее оттого, что она смотрела на Редлоу такими кроткими глазами.— Я воротилась в тот дом, и с божьей помощью мне удалось найти его. И вовремя. Еще совсем немного — и было бы слишком поздно.

Редлоу перестал гладить волосы мальчика, прикрыл другой рукою руку Милли, чье робкое, но ласковое прикосновенье, казалось, проникало ему прямо в душу, как и ее голос и взгляд, и внимательней посмотрел на нее.

— Этот человек — отец мистера Эдмонда, того молодого джентльмена, которого мы давеча видели. На самом деле его зовут Лэнгфорд. Припоминаете вы это имя?

— Да, я припоминаю это имя.

— А этого человека?

— Нет, человека не помню. Может быть, он когда-то нанес мне обиду?

— Да!

— А, вот что. Тогда это безнадежно... безнадежно.

Редлоу покачал головой и, как будто безмолвно умоляя о сострадании, тихонько сжал руку Милли, которую все еще не выпускал из своей.

— Вчера вечером я не пошла к мистеру Эдмонду,— продолжала Милли.— Мистер Редлоу! Попробуйте слушать меня так, как если бы вы все хорошо помнили.

— Я весь — внимание.

— Во-первых, я еще не знала тогда, правда ли, что это его отец; и потом, я боялась, я не знала, как он после своей болезни перенесет такое известие, если это правда. А когда я узнала, кто этот человек, я все равно не пошла, но уже по другой причине. Он очень долго жил врозь с женою и сыном, он стал чужим в своем доме, когда сын был еще крошкой, так он мне сам сказал,— покинул, бросил на произвол судьбы тех, кого должен бы любить и беречь больше всего на свете. И ведь он был прежде джентльменом, а за эти годы падал все ниже и ниже, и вот, смотрите сами...— Она поспешно выпрямилась, вышла из комнаты и тотчас вернулась в сопровождении того несчастного, которого Редлоу видел минувшей ночью.

— Вы меня знаете? — спросил Ученый.

— Я был бы счастлив, а это слово мне не часто случалось произносить,— я был бы счастлив, если бы мог ответить: нет! — сказал этот человек.

Редлоу смотрел на него, жалкого и униженного, и смотрел бы еще долго в тщетной надежде припомнить и понять, но тут Милли вновь склонилась над ним, взяла его за руку, и он перевел на нее вопрошающий взгляд.

— Посмотрите, как низко он пал, совсем погибший человек! — шепнула она, указывая на вошедшего, но не сводя глаз с лица Редлоу.— Если б вы могли припомнить все, что с ним связано, неужто в вашем сердце не шевельнулась бы жалость? Подумайте, ведь когда-то он был вам

дорог (пусть это было очень давно, пусть он обманул ваше доверие) — и вот что с ним сталось!

— Надеюсь, что я пожалел бы его,— ответил Редлоу.— Да, наверно пожалел бы.

Он мельком взглянул на стоявшего у дверей, но тотчас опять перевел глаза на Милли и смотрел на нее так пристально и пытливо, словно силился постичь то, о чем говорила каждая нотка ее голоса, каждый лучистый взгляд.

— Вы человек ученый, а я ничему не училась,— сказала Милли.— Вы весь свой век все думаете, а я думать не привыкла. Но можно я вам скажу, почему мне кажется, что хорошо нам помнить обиды, которые мы потерпели от людей?

— Скажите.

— Потому что мы можем прощать их.

— Милосердный боже! — молвил Редлоу, поднимая глаза к небу.— Прости мне, что я отверг твой великий дар, который роднит смертных с тобою!

— И если память когда-нибудь вернется к вам (а мы все на это надеемся и будем об этом молиться), разве не будет счастьем для вас вспомнить сразу и обиду и то, что вы простили ее? — продолжала Милли.

Снова Ученый взглянул на стоявшего у дверей — и опять устремил внимательный взгляд на Милли; ему казалось, что луч света от ее сияющего лица проникает в его окутанную сумраком душу.

— Он не может возвратиться домой. Он и не хочет туда возвращаться. Он знает, что принес бы только стыд и несчастье тем, кого он так бессердечно покинул, и что лучший способ загладить свою вину перед ними — это держаться от них подальше. Если дать ему совсем немного денег, только умно и осторожно, он уехал бы куда-нибудь в дальние края и там жил бы, никому не делая зла, и, сколько хватит сил, искупал бы зло, которое причинил людям прежде. Для его несчастной жены и для его сына это было бы величайшим благодеянием, только самый добрый, самый лучший друг мог бы сделать для них так много, и они об этом никогда бы не узнали. А для него это спасенье, подумайте, ведь он болен и телом и душой, у него ни честного имени, ничего на свете не осталось.

Редлоу притянул ее к себе и поцеловал в лоб.

— Так тому и быть,— сказал он.— Я доверяюсь вам, сделайте это за меня немедля и сохраните в тайне. И скажите этому человеку, что я охотно простил бы его, если бы мне дано было счастье вспомнить — за что.

Милли выпрямилась и обратила к Лэнгфорду сияющее лицо, давая понять, что ее посредничество увенчалось успехом; тогда он подошел ближе и, не поднимая глаз, обратился к Редлоу.

— Вы так великодушны,— сказал он,— вы и всегда были великодушны. Я вижу, сейчас, глядя на меня, вы стараетесь отогнать от себя мысль о том, что я наказан по заслугам. Но я не гоню этой мысли, Редлоу. Поверьте мне, если можете.

Ученый сделал Милли знак приблизиться — и, слушая Лэнгфорда, смотрел ей в лицо, словно искал в нем разгадки, объяснения тому, что слышал.

— Я слишком жалкое ничтожество, чтобы говорить о своих чувствах. Я слишком хорошо помню, какой путь мною пройден, чтобы рядиться перед вами в слова. Но первый шаг по краю пропасти я сделал в тот день, когда обманул вас,— и с тех пор я шел к своей гибели неуклонно, безнадежно, безвозвратно. Это я должен вам сказать.

Редлоу, все не отпуская руку Милли, обернулся к говорящему, и на лице его была скорбь. А может быть, и нечто подобное печальному воспоминанию.

— Возможно, я был бы иным человеком и вся моя жизнь была бы иною, не сделай я того первого рокового шага. Но, может быть, это и не так, и я не пытаюсь оправдать себя. Ваша сестра покоится вечным сном, и это, вероятно, лучше для нее, чем если бы она была со мною, даже если б я оставался таким, каким вы считали меня когда-то; даже если б я был таков, каким в ту пору сам себе казался.

Редлоу торопливо махнул рукой, словно давая понять, что не надо об этом говорить.

— Я говорю с вами, точно выходец из могилы,— продолжал Лэнгфорд.— Я и сошел бы вчера в могилу, если бы меня не удержала вот эта благословенная рука.

— О господи, и этот тоже меня любит! — со слезами прошептала Милли.— Еще один!

— Вчера, клянусь, я скорей умер бы с голоду, чем попросил у вас хотя бы корку хлеба. Но сегодня, уж не знаю почему, мне так ясно вспомнилось все, что было между нами, так все всколыхнулось в душе, что я осмелился прийти, как она мне советовала, и принять ваш щедрый дар, и поблагодарить вас, и умолять вас, Редлоу: в ваш последний час будьте так же милосердны ко мне в мыслях, как были вы милосердны в делах.

Он повернулся было, чтобы уйти, потом прибавил:

— Быть может, вы не оставите моего сына, хотя бы ради его матери. Я надеюсь, он будет этого достоин. Я же никогда больше его не увижу, разве что мне дано будет прожить еще долгие годы и я буду уверен, что не обманул вас, приняв вашу помощь.

Уже выходя, он поднял глаза и впервые посмотрел в лицо Редлоу. Тот, пристально глядя на него, точно во сне, протянул руку. Лэнгфорд вернулся и тихо, едва касаясь, взял ее в свои; потом, понурив голову, медленно вышел из комнаты.

Милли молча пошла проводить его до ворот, а Ученый поник в своем кресле и закрыл лицо руками. Через несколько минут она вернулась вместе с мужем и свекром (оба очень тревожились о Редлоу), но, увидев его в такой позе, сама не стала и им не позволила его беспокоить; она опустилась на колени подле его кресла и стала укрывать пледом уснувшего мальчика.

— Вот в этом-то вся суть! Я всегда это говорю, батюшка! — в восхищении воскликнул ее супруг.— Есть в груди миссис Уильям материнские чувства, которые уж непременно найдут выход!

— Да, да, ты прав,— отозвался старик.— Ты прав, сын мой Уильям!

— Видно, это к лучшему, Милли, дорогая, что у нас нет своих детей,— с нежностью сказал Уильям.— А все-таки мне иной раз грустно, что у тебя нет ребеночка, которого ты бы любила и лелеяла. Бедное наше дитя, ты так ждала его, такие надежды на него возлагала, а ему не суждено было жить на свете... от этого ты и стала такая тихая, Милли.

— Но я рада, что могу вспоминать о нем, Уильям, милый,— промолвила Милли.— Я каждый день о нем думаю.

— Я всегда боялся, что ты очень много о нем думаешь.

— Зачем ты говоришь — боялся? Для меня память о нем — утешение. Она столько говорит моему сердцу. Невинное дитя, никогда не знавшее земной жизни — оно для меня все равно что ангел, Уильям.

— Ты сама — ангел для нас с батюшкой,— тихо сказал Уильям.— Это я хорошо знаю.

— Как подумаю, сколько я надежд на него возлагала, сколько раз представляла себе, как он будет улыбаться, лежа у моей груди, а ему не пришлось тут лежать, и как он поглядит на меня, а его глазки не увидели света,— молвила Милли,— так еще больше сочувствую всем, кто надеялся на хорошее, а мечты их не сбылись. Как увижу хорошенького ребеночка на руках у любящей матери — все бы для него сделала, потому что думаю: может, и мой был бы на него похож, и я была бы такая же гордая и счастливая.

Редлоу поднял голову и посмотрел на Милли.

— Мне кажется, мой маленький всегда здесь, рядом, и всегда говорит со мною,— продолжала Милли.— Он просит меня за бедных брошенных детей, как будто он живой. Он говорит — и я узнаю его голос. Когда я слышу, что какой-нибудь молодой человек несчастлив, попал в беду или сделал что дурное, я думаю: а вдруг это случилось бы с моим сыном и господь отнял его у меня из милосердия. Даже в седых старцах, вот как батюшка, я вижу свое дитя: ведь и наш сын мог бы дожить до преклонных лет, когда нас с тобой давно уже не было бы на свете, и тоже нуждался бы в любви и уважении тех, кто помоложе.

Тихий голос Милли звучал еще тише, чем всегда; она взяла мужа за руку и прислонилась головою к его плечу.

— Дети так меня любят, что иногда мне даже чудится — это, конечно, глупо, Уильям,— будто они, уж не знаю как и почему, сочувствуют мне и моему маленькому и понимают, что их любовь мне дороже всех сокровищ. Может, с тех пор я и стала тихая, Уильям, но только во многом я стала счастливее. И знаешь, почему еще я счастлива? Потому, что даже в те дни, когда мой сыночек

родился неживой, и его только что схоронили, и я была так слаба, и мне было так грустно, и я не могла не горевать о нем, мне пришло на ум: надо вести праведную жизнь, и, может быть, когда я умру, на небесах светлый ангелочек назовет меня мамой!

Редлоу рухнул на колени.

— О ты,— вскричал он,— примером чистой любви милосердно возвративший мне память — память о распятом Христе и обо всех праведниках, погибших во имя его, благодарю тебя и молю: благослови ее!

И поднявшись, прижал Милли к груди; слезы обильней прежнего потекли по ее лицу — и, плача и смеясь, она воскликнула:

— Он пришел в себя! И он ведь тоже меня очень любит, правда? О господи, господи, и этот тоже!

Тут в комнату вошел Эдмонд, ведя за руку прелестную девушку, которая робела и не решалась войти. И Редлоу, совсем к нему переменившийся, кинулся Эдмонду на шею и умолял их обоих стать ему детьми. Ибо в этом молодом человеке и его избраннице он увидел как бы свое собственное суровое прошлое, но умиротворенное и смягченное, и к ним устремилось его сердце, словно голубка, долго томившаяся в одиноком ковчеге,— под сень раскидистого древа.

Потом — ибо рождество это пора, когда громче, нежели в любое иное время года, говорит в нас память обо всех горестях, обидах и страданиях в окружающем нас мире, которым можно помочь, и, так же как и всё, что мы сами испытали на своем веку, побуждает нас делать добро,— он положил руку на голову спящего мальчика и, безмолвно призвав во свидетели того, кто в старину возлагал руку на детей и во всеведении своем предрекал горе тем, кто отвратит от него хоть одного из малых сих, поклялся взять этого ребенка под свою защиту, наставлять его и возродить в нем душу живую.

Потом он весело протянул руку Филиппу и сказал, что в этот день праздничный обед должен состояться в большой зале, где прежде, до того, как десять незабвенных джентльменов порешили по-иному, была трапезная; и надо созвать на обед всех тех членов семейства Свиджер,— ведь оно, по словам Уильяма, столь многочисленно, что, взяв-

шись за руки, Свиджеры окружили бы хороводом всю Англию,— всех тех, которые успеют собраться сюда за такой короткий срок.

Так они и сделали. В тот же день в бывшей большой трапезной собралось столько Свиджеров, взрослых и детей, что попытка сосчитать их лишь посеяла бы в умах недоверчивых читателей сомнение в правдивости этой истории. Поэтому мы не сделаем подобной попытки. И, однако, они собрались, их было много, очень много, и их ждали добрые вести, ибо появилась надежда на выздоровление Джорджа, который, после того как его еще раз навестили отец, брат и Милли, вновь уснул спокойным сном. На праздничном обеде присутствовало и семейство Тетерби, включая юного Адольфа, который явился, закутанный в свой разноцветный шарф, как раз в ту самую минуту, когда подали жаркое. Джонни с сестричкой прибыли, разумеется, с опозданием, валясь, по обыкновению, на бок; он едва дышал от усталости, у нее, как предполагали, резались сразу два зуба,— но все это было в порядке вещей и никого не тревожило.

Грустно было видеть, как мальчик без роду, без племени смотрел на игры других детей, не умея с ними говорить и не зная, как с ними резвиться, более чуждый детским забавам, чем одичавший пес. Грустно, хоть и поиному, было видеть, как даже самые маленькие дети чутьем понимали, что этот мальчик — не такой, как они, и робко подходили к нему, заговаривали с ним, ласково брали за руку, отдавали ему кто конфету, кто игрушку, старались утешить и развлечь его. Но он не отходил от Милли и уже начинал смотреть на нее с любовью — и этот тоже, как она выражалась! — и так как все дети нежно любили ее, то им это было приятно, и, видя, как он посматривает на них из-за ее кресла, они радовались, что он с нею рядом.

Это видел Ученый, который сидел за праздничным столом подле Эдмонда и его невесты, со стариком Филиппом и остальными.

Иные впоследствии говорили, что все здесь рассказанное только почудилось Ученому; другие — что однажды в зимние сумерки он прочитал все это в пламени камина; третьи — что Призрак был лишь воплощеньем его мрач-

ных мыслей, Милли же — олицетворением его подлинной мудрости. Я не скажу ничего.

...Разве только одно. Когда все они собрались в старой трапезной при ярком свете пылающего камина (обедали рано и другого огня не зажигали), снова из потаенных углов крадучись вышли тени и заплясали по комнате, рисуя перед детьми сказочные картины и невиданные лица на стенах, постепенно преображая все реальное и знакомое, что было в зале, в необычайное и волшебное. Но было в этой зале нечто такое, к чему опять и опять обращались взоры Редлоу, и Милли с мужем, и старого Филиппа, и Эдмонда с его нареченной,— нечто такое, чего ни разу не затемнили и не изменили неугомонные тени. С темных панелей стены, с портрета, окруженного зеленой гирляндой остролиста, как живой смотрел на них спокойный человек с бородою, в брыжах: он отвечал им взглядом, и в отсвете камина лицо его казалось особенно серьезным. А ниже, такие отчетливые и ясные, точно чей-то голос повторял их вслух, стояли слова:

*«БОЖЕ, СОХРАНИ МНЕ ПАМЯТЬ!»*

# КОММЕНТАРИИ

«Рождественские повести» были написаны Диккенсом в 40-х годах («Рождественский гимн в прозе» — 1843, «Колокола» — 1844, «Сверчок за очагом» — 1845, «Битва жизни» — 1846, «Одержимый» — 1848) и выходили отдельными книжками к рождеству, то есть в конце декабря, почему и получили название «Рождественских книг».

Позднее, с 1850 по 1867 год, Диккенс писал «Рождественские рассказы» для декабрьских — «святочных» — номеров издававшихся им журналов «Домашнее слово» (с 1850 г.) и «Круглый год» (с 1859 г.), причем писал их зачастую в соавторстве со своим другом Уилки Коллинзом, а иногда и с другими писателями.

«Рождественские повести» не случайно приурочены к рождественским праздникам. Их возникновение имеет свою историю.

В феврале 1843 года ученый экономист Смит, представитель прогрессивной английской интеллигенции, член правительственной комиссии по вопросам детского труда, попросил Диккенса, как писателя, пользовавшегося всенародной популярностью и уважением, выступить в печати за проведение закона об ограничении рабочего дня на заводах и фабриках. Он сообщил Диккенсу поистине потрясающие данные о чудовищных условиях труда фабричных рабочих и в частности факты об эксплуатации детей на промышленных предприятиях.

Диккенс полностью разделял взгляды Смита и его прогрессивных единомышленников и согласился написать памфлет «К английскому народу, в защиту ребенка-бедняка», но затем отказался от этого намерения, решив выступить с протестом против эксплуатации не как публицист, а как писатель.

«...не сомневайтесь,— писал Диккенс Смиту 10 марта 1843 года,— что, когда вы узнаете, в чем дело, и когда узнаете, чем я был занят, и где, и как, — вы согласитесь с тем, что молот опустился с силой в двадцать раз, да что там — в двадцать тысяч раз большей, нежели та, какую я мог бы применить, если бы выполнил мой первоначальный замысел».

В таких словах Диккенс сообщал Смиту, что он задумал цикл рассказов, публикуемых ежегодно к дням рождества.

Рождество — любимый традиционный праздник англичан— связано для Диккенса с определенными нравственными представлениями, в частности с иллюзией примирения врагов и забвения обид, установления мира и доброжелательных отношений между людьми, к каким бы классам они ни принадлежали.

«Рождественские повести» были задуманы Диккенсом как социальная проповедь в занимательной художественной форме. Воздействуя посредством образов и ситуаций своих святочных сказок на эмоции читателей, Диккенс обращался с проповедью как к «бедным», так и к «богатым», ратуя за улучшение «доли бедняка» и стремясь к нравственному «исправлению богачей».

Нет нужды доказывать наивность попыток Диккенса добиться решения классовых противоречий посредством апелляции к добросердечию буржуа-капиталистов. Существенно другое. Прежде чем высказать свои нравоучительные идеи, Диккенс считал необходимым изобразить зло и несправедливость, существующие в английском буржуазном обществе. Выступая с позиций гуманизма, писатель в своих рождественских повестях обличает пороки господствующих классов. В первых и наиболее значительных из этих повестей громко звучат сатирические мотивы, продиктованные глубокой и большой тревогой писателя о судьбе обездоленных, его искренним возмущением против их угнетателей.

Из пяти больших повестей, помещенных в настоящем томе, только первая целиком посвящена празднику рождества. Действие второй повести происходит под Новый год, в четвертой и пятой рождественские празднества даны лишь как эпизоды, в «Сверчке» святки не упоминаются вовсе. Однако это не помешало сложиться мнению, что Диккенс «изобрел рождество», поскольку все повести объединены общим идейным замыслом и пропитаны общим настроением. Диккенс облекает свои рождественские повести в форму сказки, щедро черпая из народного творчества образы призраков, эльфов, фей и духов умерших и

дополняя фольклор своей неистощимой фантазией. Сказочный элемент оттеняет картины жестокой действительности, причем сказка и действительность, причудливо переплетаясь, иногда как бы меняются местами. Так, в «Колоколах» счастливый конец, написанный в реалистическом плане, производит впечатление сказки, тогда как сны и видения бедного Тоби, несмотря на участие в них всяких фантастических созданий, изображают ту действительность, которую автор в заключительных строках повести призывает читателя по мере сил изменять и исправлять.

Социально наиболее насыщены первая и вторая повести, которые писались одновременно с романом «Мартин Чезлвит». В «Рождественском гимне», как и в «Мартине Чезлвите», основная тема — губительное влияние на человека корысти и погони за богатством. «Колокола» предвещают роман «Тяжелые времена» (1854). Здесь Диккенс с негодованием обрушивается на теорию Мальтуса об «избыточном населении» и на манчестерскую школу бездушного практицизма, а в олдермене Кьюте и мистере Файлере нетрудно распознать прообразы Баундерби и Грэдграйнда из «Тяжелых времен».

В трех последующих повестях социальные мотивы звучат глуше, а то и совсем затихают. Здесь Диккенса занимают больше проблемы морально-этические: взаимное доверие как основа семейного счастья, самопожертвование в любви, влияние чистой и благородной души на окружающих и другие подобные мотивы. В последней повести — «Одержимый», совпадающей по времени с романом «Домби и сын», — мы находим ту же, что и в романе, тему наказанной гордыни, разработанную на этот раз в романтико-философском плане.

Обращение Диккенса к форме повести-сказки свидетельствует о том, что он сам чувствовал, как утопично его представление о безоблачном рождественском счастье, всепрощении в классовом мире. Некоторые заблуждения на этот счет сохранились у Диккенса до конца его творческого пути, но из позднейших романов явствует, что его взгляды на возможность нравственного усовершенствования буржуазного общества претерпели серьезные изменения и к самой этой идее он стал относиться гораздо более трезво и скептически.

В настоящем томе помещены иллюстрации как современников Диккенса (Лич, Стэнфилд, Барнард), так и художников, работавших в начале нашего века (Рэкхем и Брок). «Рожде-

ственский гимн» дан с иллюстрациями Брока; в «Колоколах» одна иллюстрация (Тоби Вэк) — работы Лича, остальные — Барнарда; в «Сверчке» — иллюстрации Брока; в «Битве жизни» — одна иллюстрация Стэнфилда (гостиница «Терка»), остальные — Барнарда; в «Одержимом» — тоже одна иллюстрация Стэнфилда (старинный колледж), остальные — Лича.

## РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГИМН В ПРОЗЕ

Стр. 11. *...вогнал кол из остролиста.*— Ветками остролиста по старинному обычаю украшают на рождестве комнаты и праздничные блюда. Это растение стало в Англии как бы символом рождества.

Стр. 15. *Св. Дунстан* — в молодости золотых дел мастер, впоследствии — архиепископ Кентерберийский. Считается покровителем ювелиров. Существует легенда, что однажды он схватил черта за нос раскаленными щипцами и не отпускал до тех пор, пока черт не дал обещания больше не искушать его.

Стр. 19. *...как некогда жезл пророка...* — намек на библейскую легенду о пророке Аароне, чей жезл чудесным образом расцвел и даже принес плоды миндаля.

Стр. 35. *Валентин и его лесной брат Орсон* — герои средневекового французского романа. Орсон был похищен и вскормлен медведицей и долго жил в лесах среди зверей.

Стр. 45. *...в отличие от стада в известном стихотворении...*— Имеется в виду стихотворение Вордсворта «Написано в марте», где есть такие строки:

Коровки довольны,
Пастись им привольно,
Сорок щиплют траву, как одна.

Стр. 52. *...двери были еще наполовину открыты...*— В праздники лавки закрывались рано, как только начиналась служба в церквах.

Стр. 53. *...на подвешенную к потолку веточку омелы.*— По английскому обычаю, мужчине разрешается поцеловать девушку, если он на святках поймает ее под веткой омелы, подвешенной к потолку или к люстре.

Стр. 54. *...дабы те могли поклевать их на святках.*— Парафраза Шекспира. В «Отелло» (акт I, сц. 1-я) Яго говорит: «Если

бы мое поведение отражало мои чувства, я скоро стал бы ходить с душой нараспашку и мое сердце расклевали бы галки».

Стр. 54. *...несли своих рождественских гусей и уток в пекарни.*— До 80-х годов прошлого века среди бедного населения английских городов было принято, за неимением в доме удобной печи, носить заготовленные блюда в пекарню, где их жарили или пекли за небольшую плату.

Стр 55. *Ты же хочешь лишить их возможности обедать каждый седьмой день недели...*— Речь идет о возглавлявшейся духовенством кампании за то, чтобы в праздники никакая торговля не производилась. Этот запрет, временами проводившийся в жизнь, больно ударял по рабочему населению, так как рабочие только в праздники и могли пойти в лавку.

Стр. 86. *И взяв дитя, поставил его посреди них.*— Строка из евангелия.

Стр. 95. *Джо Миллер* — автор опубликованного в 1739 году сборника шуток и анекдотов.

## КОЛОКОЛА

Стр. 106. *Когда-то давно их крестили епископы...*— Обычай давать новым колоколам имена существовал в старину и в России.

*...Генрих Восьмой переплавил их стаканчики.*— При Генрихе VIII (1509—1547) Англия отказалась признавать власть папы римского и король стал официально «главою церкви». В Англии было закрыто несколько сот монастырей и конфисковано несметное количество церковного имущества.

Стр. 122. *Стратт* Джозеф — художник-график и историк английского быта (1749—1802).

Стр. 133. *...только два голоса при подписке на пять фунтов.*— В Англии, наряду с благотворительностью официальной — через приходы, распределявшие средства, поступающие в виде «налога на бедных»,— существовало множество частных благотворительных обществ, собиравших пожертвования среди богатых людей и предоставлявших им, в соответствии с суммой пожертвования, то или иное число голосов при выборах правления и административного персонала данного общества.

Стр. 136. *...по новой системе...*— Речь идет о новой системе нотной записи, введенной в Германии в начале XIX века, а несколько позже принятой и в Англии.

Стр. 150. *...отдает мертвых, бывших в нем...*— намек на библейское «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим».

Стр. 159. *...число жен у него было значительно выше среднего.*— Генрих VIII был женат шесть раз. С двумя из своих жен он развелся, две других были казнены по его приказу.

Стр. 161. *Взвесь то и другое, ты, Даниил...*—намек на библейского пророка Даниила, который истолковал таинственную надпись, появившуюся на стене дворца царя Валтасара. Часть надписи гласила: «Ты взвешен на весах и найден очень легким».

Стр. 167. *«Куда ты пойдешь, туда я не пойду... твой бог не мой бог!»* — парафраза библейского текста. Руфь, отказавшись после смерти мужа вернуться в свой родной дом, говорит свекрови: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой бог — моим богом».

Стр. 172. *Он позволил ей сидеть у его ног и отирать их волосами головы своей...*— намек на евангельскую легенду о грешнице, которую Христос простил за искреннее раскаяние.

Стр. 184. *Всю зиму будут пожары...*— Английские крестьяне и батраки, доведенные до отчаяния нуждой и безработицей, еще с 30-х годов XIX века стали прибегать к поджогам как к средству борьбы против землевладельцев и богатых фермеров. Зимой 1843—1844 года, то есть за год до того, как были написаны «Колокола», эти поджоги необычайно участились. Газеты того времени чуть ли не каждую неделю приводят случаи, когда крестьяне сжигали стога сена, скирды хлеба, надворные постройки. В большинстве случаев не удавалось установить, кем был совершен поджог.

## СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ

Стр. 196. *«Ройал Джордж»* — английский военный корабль, затонувший на рейде Спитхед в 1782 году.

Стр. 210. *...некоторые представления суеверного характера...*— «Старым джентльменом» в Англии называют черта.

*«А где остальные шестеро?»*— намек на легенду о семи юношах — христианах, бежавших из Эфеса от преследований императора Деция и проспавших 230 лет в горной пещере.

Стр. 242. *«Кольца фей»* — круги особенно густой или, наоборот, увядшей травы, представляющие собой, по народному поверью, следы хороводов, которые водят по ночам феи.

Стр. 253. *...подражая фокусу, исполненному во время завтрака его злейшим врагом.*— В английской народной сказке «Джек — победитель великанов» герой, смышленый крестьянский паренек, так перехитрил уэльского великана: подсунув себе под куртку кожаный мешок, он незаметно сложил в него огромный мучной пудинг, которым потчевал его великан, а потом, пообещав показать ему чудо, распорол ножом мешок и достал пудинг. Глупый великан, не желая отстать от него, тоже схватил нож, вспорол себе живот и умер.

Стр. 256. *Крошка, карты и доску!* — В карточной игре крибледж счет ведется на особой доске с 61 отверстием на каждого игрока. В эти отверстия втыкаются шпеньки в соответствии с выигранными очками.

Стр. 289. *«Червяк — и тот не стерпит, коль на него наступишь»...*— вошедшая в поговорку строка из «Генриха VI» Шекспира: «И самый ничтожный червяк возмутится, если на него наступить».

## БИТВА ЖИЗНИ

Стр. 309. *...три вещих пророчицы на вересковой пустоши...*— три ведьмы из трагедии Шекспира «Макбет», напророчившие герою власть и славу.

Стр. 315. *«Молодая Англия»* — название недолговечной реакционной партии, возникшей в начале 40-х годов и боровшейся за сохранение «хлебных законов» и за возврат к феодальным формам общественных отношений.

Стр. 316. *Ведь для доктора он был примерно тем, чем Майлс был для монаха Бэкона.*— «Монах Бэкон» — великий ученый английского средневековья Роджер Бэкон (1214?—1294), неоднократно подвергавшийся преследованиям со стороны церкви. Народное предание превратило его в волшебника. В пьесе Роберта Грина «Монах Бэкон и монах Бонгэй» (1591) он тоже представлен как волшебник. Майлс — его подручный в той же пьесе Грина.

Стр. 317. *Это случай для Канцлерского суда!*—Дела об имуществе умалишенных разбирались в Канцлерском суде.

Стр. 355. *Доу и Роу.*— Вплоть до середины XIX века вымыш-

ленные имена Джон Доу и Ричард Роу употреблялись в английском судопроизводстве для обозначения любого истца и ответчика.

Стр. 387. *...просить вашего голоса для поддержки нашего кандидата на выборах.* — Избирательным правом в то время пользовались только домовладельцы или квартиронаниматели, платившие не менее десяти фунтов в год арендной платы.

### ОДЕРЖИМЫЙ

Стр. 394. *Нормандский свод* — полукруглый свод, известный под названием романского и введенный в архитектуру Англии после норманского завоевания (1066).

Стр. 476. *Доктор Уотс.* — Исаак Уотс (1674—1748) — английский богослов и поэт, автор множества церковных гимнов и нравоучительных стихов для детей. Среди этих стихов есть и такие:

Пусть все споры меж волками
Разрешаются клыками,
Их другому не учили.
Пусть когтит ягненка лев,
Утоляя кровью гнев,—
Таким его сотворили.
Но не должен ты, дитя,
Гневной страсти поддаваться,
Ноготки даны тебе
Не затем, чтоб ими драться.

## СОДЕРЖАНИЕ

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

*Собр. соч., т. 12*

Редактор А. Миронова

Художник Е. Семпер

Художеств. редактор Л. Калитовская

Технический редактор Г. Каунина

Корректор В. Седова

Сдано в набор 16/X 1958 г. Подписано к печати 5/I 1959 г. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$—15,88 печ. л., 26,04 усл. печ. л., 24,98 уч.-изд. л.
Тираж 600 000 (150 001—300 000) экз.
Заказ № 436. Цена 10 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Н.-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.